

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 / 2 0 1 4



ГЛЕБ
ГОРБОВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5



ВЛАДИМИР
СЕДОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

51



ВИТАЛИЙ
СЕРОКЛИНОВ
НОВОСИБИРСК

60



ИАНА
КАН
НОВОКУЙБЫШЕВСК

73



ЕВГЕНИЙ
ЖАСТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

78



КИРИЛЛ
АНКУДИНОВ
МАЙКОП

83



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

99



РОМАН
СЕНЧИН
МОСКВА

110



МАРИНА
САВВИНЫХ
КРАСНОЯРСК

142



НИКОЛАЙ
БЕНЕДИКТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

182



АНДРЕЙ
РУДАЛОВ
СЕВЕРОВДИНСК

193



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

200



ЕЛЕНА
ПИЕТИЛЯЙНЕН
ПЕТРОЗАВОДСК

207



ЗАХАР
ПРИЛЕПИН
НИЖНИЙ НОВГОРОД

259



ЮРИЙ
НЕМЦОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

314

В НОМЕРЕ

Глеб ГОРБОВСКИЙ, Санкт-Петербург	
Поклон Волге	5
Проза	
Александр ЛОМТЕВ, Саров	
Мальчик	14
Из цикла «Кавказский дневник»	17
Влад ГОРБУНОВ, Ванкувер, Канада	
Почему ты ненавидишь мою Родину?	22
У вас есть право	28
Дмитрий ЕРМАКОВ, Вологда	
Ножилов	31
Леший	46
Владимир СЕДОВ, Нижний Новгород	
Монтрё	51
Виталий СЕРОКЛИНОВ, Новосибирск	
База	60
Поэзия	
Диана КАН, Новокуйбышевск, Самарская область	
Живи – от Бога в вековечном шаге	73
Евгений ЭРАСТОВ, Нижний Новгород	
Здесь всё уже не так	78
Кирилл АНКУДИНОВ, Майкоп	
Твои слова – алмазный след...	83
Проза	
Олег МАКОША, Нижний Новгород	
Теть Мотя	89
Будь мне сестрой	91
Снусмумрик	93
Алебастр	96
Михаил ЧИЖОВ, Нижний Новгород	
Клипса	99
Валерий РУМЯНЦЕВ, Сочи	
На перекрёстке жизни	107
Роман СЕНЧИН, Москва	
Настоящий парень	110
Валерий БОЧКОВ, Вашингтон, США	
На блесну	116
Зарина КАРЛОВИЧ, Москва	
Адская колесница	127
Олег ВЕДЕНЕЕВ, Нижний Новгород	
Коньки	134
Мэри Пуберпоппинс	138
Поэзия	
Марина САВВИНЫХ, Красноярск	
Я не знаю просторней свободы...	142
Андрей ДМИТРИЕВ, Нижний Новгород	
На семи ветрах	146
Театр	
Егор ЧЕРЛАК, Челябинск	
Хроники забытого острова	153
Публицистика	
Николай БЕНЕДИКТОВ, Нижний Новгород	
Украинская смута	182
Литпроцесс	
Андрей РУДАЛЁВ, Северодвинск	
Премиальная литература вчерашнего дня	193
Елена КРЮКОВА, Нижний Новгород	
О литературных премиях и немного современной литературе	200
Поэзия	
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН, Петрозаводск	
Ниточка вечности – материнство	207
Пётр ЕПИФАНОВ, Пушкино, Московская область	211

Non-fiction

Александр ГУЛЯЕВ, Каховка, Украина Африка прекрасна, Африка ужасна...	216
--	-----

Критический подход

Александр КОТЮСОВ, Нижний Новгород Фотошоп	225
Светлана ГОЛИКОВА, Симферополь Постгуманитарный Улисс	234

Ретроскоп

Николай ПАВЛОВ, Нижний Новгород Госкино. Город Горький	239
Николай НОВИКОВ, Нижний Новгород Годы и вещи	253

Стихи по кругу

Захар ПРИЛЕПИН, Нижний Новгород	259
Наталья ДАМИНОВА, Москва	260
Вячеслав КАРТАШОВ, Балахна, Нижегородская область	261
Игорь ЛЕВИН, Нижний Новгород	262
Ярослав КАУРОВ, Нижний Новгород	263
Кселена ЛИТВИНОВА, Саратов	265
Ольга КОСОВА, Кстово, Нижегородская область	265
Дмитрий ЛАРИОНОВ, Нижний Новгород	266
Светлана ЛЕОНТЬЕВА, Нижний Новгород	266
Марина МАРЕНИНА, Нижний Новгород	267
Евгения МИЛЬЧЕНКО, Самара	268
Наталья МУХИНА, Нижний Новгород	268
Юрий ПРЯДИЛОВ, Павлово, Нижегородская область	269
Владимир РЕШЕТНИКОВ, Семенов, Нижегородская область	271
Владимир САВИНОВ, Починки, Нижегородская область	272
Сергей СТЕПАНОВ, Нижний Новгород	274
Галина ТАЛАНОВА, Нижний Новгород	276
Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ, Ставрополь	277

Вехи памяти

Александр БАЗУРИН, Нижний Новгород «Атака мертвецов»	280
Наталья ЗАЙЦЕВА, Нижний Новгород Из истории нижегородского эшафота.	288

Эпистолярный

«Примите, мой князь, заверения искренней дружбы...» Письма А.Д. Улыбышева князю В.Ф. Одоевскому. (Публикация В. БЕЛОНОВОЙ)	291
--	-----

Реплика

Пять страниц из дневников (Вл. Седов – Ив. Бунин).	297
--	-----

Читатель пишет

Владимир ПЕТРОВ, Нижний Новгород Новые версты Сергея Чуянова	302
---	-----

Детская комната

Любовь СИДОРОВА, Москва Орех с золотым ядром, сказка	308
Анна ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА, Нижний Новгород Рассказы из цикла «Всегда так»	312
Юрий НЕМЦОВ, Нижний Новгород. Стихи	314

Русский смех

Николай ДЕНИСОВ, Кстово, Нижегородская область	315
Татьяна УТКИНА, Кстово, Нижегородская область	316
Анастасия УСТИНОВА, Новокуйбышевск, Самарская область	318

Друзья!

Символично, что факт регистрации нашего журнала и его выход к читателю при поддержке правительства Нижегородской области состоялся именно в Российский год культуры и 300-летия Нижегородской губернии. Но это не просто совпадение и не дежурное мероприятие, приуроченное к дате.

Рождение нового литературно-художественного журнала – показатель того, что в нашем регионе сложилось писательское сообщество, которое обладает общим пониманием писательских задач и уверено, что имеет своего читателя.

Литературный журнал, издаваемый в крупном городе, – это не только площадка для местных авторов, но, что важнее, новое культурное пространство, органическая (и необходимая!) составляющая великого многовекового русского литературного процесса.

Во всех уголках мира есть наши соотечественники и земляки – поэты и прозаики, литературоведы и публицисты, друзья и единомышленники. Мы готовы общаться и сотрудничать на страницах нашего журнала со старинным знакомым названием «Нижний Новгород». Не во всем наши мнения и оценки могут совпадать, возможно, у нас разные способы мировосприятия, но на этой огромной и такой маленькой планете у нас так много общих проблем – и мы нужны друг другу.

Великая гуманистическая традиция русской литературы никогда не отвергала смелых новаторских опытов, напротив, обогащалась от них и черпала материал для развития, отбирая достойное. Велимир Хлебников и Даниил Хармс, Венедикт Ерофеев и Виктор Соснора – все они для нас равновеликие трудники нашей литературной державы, и страницы нашего журнала всегда открыты для достойного эксперимента.

И для вас, друзья!

Олег РЯБОВ, главный редактор журнала «Нижний Новгород»

Глеб ГОРБОВСКИЙ

Глеб Яковлевич Горбовский родился 1931 году в Ленинграде. Русский поэт, прозаик. Член Русского ПЕН-центра, академик Академии российской словесности.

Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1984), православной литературной премии святого князя Александра Невского (2005). Награждён орденом «Знак Почёта».

Живет в Санкт-Петербурге.

ПОКЛОН ВОЛГЕ

Меня обрадовало сообщение моего друга Олега Рябова о том, что в Нижнем Новгороде начинает выходить в свет новый литературный журнал и я приглашён участвовать в его жизни. Сразу вспомнилась Волга, её богатырские размеры, её великая слава и несказанная красота, песенное обаяние. Вспомнилось всё, что было связано с ней. Показалось, что почувствую – не запах её воды, но аромат. Мощный, земной, не забытый с юности.

Причиной моего первого знакомства с Волгой была не экскурсия, не туризм, а... ссылка. Моему отцу, освободившемуся после отсидки в лагере по 58-й статье, было запрещено жить в Ленинграде, откуда его в 1937 году по ложному доносу на глазах у меня, маленького пацана, ночью увели из дома люди в чёрных кожанках. С тех пор я его не видел почти десять лет. За это время в моей жизни произошло очень много нерадостных событий. Отправленный матерью на каникулы в Порхов к родным отца летом 1941 года, я оказался на оккупированной Псковщине. Четыре года скитался там и в Прибалтике по дорогам войны беспризорным бродягой. А когда после войны вернулся в Ленинград и нашёл мать, то вскоре угодил в детскую тюрьму, а затем в колонию для малолетних преступников близ города Маркса, откуда убежал и разыскал отца – в Заволжье, в деревне Жилино. Там он после освобождения стал учителем и директором местной сельской школы, где ученики всех классов занимались в одной комнате.

Там под руководством отца я окончил за один год семь классов, а затем и восьмилетку в селе Богородское Владимирской области.

Самым близким городком в юности после родного Питера стала для меня Кинешма. Туда, за пару десятков километров, приходилось мне в то время часто ходить за продуктами, так как на нашей стороне Волги, в лесной глуши, никаких магазинов не было.

Но всё вышесказанное – лишь внешняя сторона пережитого мной тогда на волжских берегах, а истинный, глубинный смысл был в том, что я именно тогда, в заволжской глубинке, начал сочинять стихи. Начитался Некрасова, Лермонтова, Кольцова, Есенина из отцовской библиотечки – и потянуло рифмовать, да так потянуло, что до сих пор никак не остановлюсь.

Окончить среднюю школу в Ленинграде мне не удалось: прямо из девятого класса пошёл служить в стройбат и не миновал Заволжья. После «дембеля» в 1950–1960-е гг. неоднократно гостил там у отца и его сестёр, моих тётушек, встречался со своей духовной родиной, с Волгой. Так сложилось, что моими очень дорогими и близкими друзьями до конца жизни

стали поэты – Михаил Дудин (родом из Иванова) и хорошо известный всем нижегородцам Юрий Паркаев. И ещё многие поэты, чья жизнь и творчество связаны с Волгой и обоими её берегами. Дороги и памятны мне – и ушедшие к Богу, и поныне здравствующие.

С 1950-х годов, когда была написана моя первая поэма «Мёртвая деревня», я не переставал посвящать стихи воспоминаниям о юности на Волге, о посещениях отца после армейской службы, впечатлениям от встреч с красотой природы и добротой людей волжского края, коих смею считать своими земляками.

В последний раз я побывал в этих дорогих сердцу местах, когда меня удостоили премии имени К. Бальмонта мои ивановские собратья по литературе. Это случилось на 20-х юбилейных Бальмонтских чтениях в городе Шуе. После этого состоялось незабываемое посещение родины Константина Бальмонта – села Гумнищи, где я с удовольствием принял участие в традиционной поэтической перекличке, а затем и в празднике поэзии в культурном центре «Павловский». Спасибо поэту Юрию Васильевичу Орлову, главе Ивановской писательской организации: благодаря его доброму участию нам с Лидией Гладкой удалось поклониться месту упокоения Михаила Александровича Дудина и его матушки в селе Вязовское, а затем побывать в сказочной красоты левитановском Плесе, испить там чистой воды из матушки Волги...

Вечерняя Кинешма

Посмотрите на небо: ни тучки.
На душе у меня – ни пылинки.
Волгари в ресторане с полочки
«обмывают» шкафы и ботинки.

На соборе кресты на закате
загорелись, как будто знаменья!
И, одетое в чёрные платья,
к ним не наше спешит поколение.

На бульваре, над Волгой, над ширью
совершают прогулки девицы...
И деревья – деревья, как ширма,
за которой целуются лица.

...До чего же приятно, опрятно,
до чего же вокруг неизменно...
А девицы – туда и обратно,
и туда, и обратно – смиренно.

Глаза княжны

А мне всегда немного странно,
когда, теряя тишину,
заслышу песню про Степана:
про то, как он сгубил княжну...

Застолье грянет увлечённо
о том, как Разин (или – хмель?)
ту бессловесную девчонку
спровадил в волжскую купель.

Была бы, что ли, баба с перцем,
с шипами, «оторви да брось»,
а то – одни глаза да... сердце,
от страха белое небось.

Недаром приуныли братцы
и не стремится Филька в пляс:
им стало, если разобраться,
весьма неловко в этот час...

И мне сдаётся: в миг ужасный,
когда над Разиным топор
сверкнул, взойдя, как месяц ясный,
не смерть ему застлала взор...

А прежде – взгляд княжны истошный
взошёл, как смертная тоска,
и вдруг, мерцающая искрой Божьей,
погас, прощая казака.

Мы от мира сего

Над твоим изголовьем – бетон и стекло,
над моей колыбелью рябина склонялась.
Нам с тобой повезло: мы от мира сего,
и работает сердце – ещё не унялось.

Оглянись на Россию, на давний рассвет.
Куликовское поле услышь под копытом.
Как там Сергей промолвил? «Скачи, Пересвет!»
И добыта свобода. И кровь не забыта.

Мы от мира сего, от земли и ума.
Нам в своей цитадели светло и уютно.
Но случись басурманы – найдётся Козьма
и Пожарский найдётся: нам это не трудно...

Гей, которые там расседлали коней,
отойдите в сторонку: над миром тревожно.
Нужно память очистить от копоти дней
и ладонь козырьком приподнять осторожно.

Повторяется всё. Неизменна любовь
к этим песням, полям, материнской рябине.
Мы от мира сего, от которого кровь
в наших жилах и в лютую стужу – не стынет!

Заветное слово

Владимиру Чивилихину

Что есть Россия? Хмурая изба?
Фонтан берёзы, бьющей из пригорка?
Россия – память, взгляд из-под лба
сквозь дым веков – и сладостный, и горький.

Что есть Россия? Мудрая река...
Всех наших сил и разумений русло.
И мы – её крутые берега
в сугробах городов и нивах русских.

Что есть Россия? Перекат, порог,
дробящий всё отжившее, пустое.
Россия – Слово (дум людских итог),
Заветное, Нетленное, Святое!

Живая вода

Не выбирал – сложился признак
судьбы: как вещая рука,
всегда вела меня по жизни
та или эта, но – река.
Не море рьяное, не заводь,
не гладь стоячая озёр,
не буйство чувств, не стыд, не зависть,
но – ровный ток души в простор!
Нева родимая, а возле
Шелонь – река моей войны;
Шексна армейская и Волга –
река любви, река страны!
Блужданий реки и скитаний –
Амур и Лена... Всех не счесть.
Но вот ещё: река свиданий
с собою (и такая есть) –
Двина! Точней – её верхушка,
спешит по Белья Руси.
Река-клюка, река-старушка,
мой лик усталый отрази!
Неси меня, как вздох гармошки,
туда, в заречье, в синий лес...
Всё позади. Подумать можно.
И улыбнуться... В глубь небес.

* * *

Заглохший сад, порожняя изба,
на всю округу – полторы старухи.
Что это – сон? Мистерия? Судьба?
«России нет...» – ползут, как черви, слухи.

Дурные слухи, скверные дела...
Отчизны имя – будто плод запретный.
Лети, лети над клевером, пчела,
звучи, звучи в душе, напев заветный!

Всё это враки, выдумки, молва,
всего лишь – пыль дорожная над полем...
Мертва – бывшая... Вечная – жива!
И выть, как по покойнику, – доколе?!

* * *

Юрию Паркаеву

Заунывно, как ветер в трубе,
то, как волк, на луну завывая,
мы слагали стихи о себе,
о печалях родимого края.

«Сколько можно, – корили меня, –
дохлой песенкой сердце лохматить?
Не пора ли к машине – с коня?
Голосить по покойнику хватит!»

...И, случилось, замолкнешь на миг.
И смущённо под дудку чужую –
даже спляшешь. Но истины лик
вновь проглянет сквозь муть неживую.

И затянешь – душа на куски! –
всё о том же, о той же печали...
Потому что от горькой тоски
только сладкая смерть отлучает.

Тёплый огонёк

Разгребая в памяти завалы,
ощутил я тёплый огонек:
домик возле волжского причала,
ночь и я – бездомный паренёк.
Я тогда от пьяного конвоя,
опекавшего лесоповал,
оторвался тропкою кривою
и весьма с тех пор не унывал!
И над Волгой, стоя в буераке,
слушая, как плещется вода,
различил я огонёк во мраке —
тусклый, но манящий, как звезда!
...Дверь открыла женщина-молодка,
тёплая, в бельишке кружевном.
Накормила, угостила водкой
и поцеловала перед сном.

Утром я проник на пароходик,
в воссиявший устремясь денёк!
Многое померкло, стерлось вроде...
Но мерцает тёплый огонёк!

Музыка юности

То было в юности на Волге,
в послевоенном холодке...
Нас окружали волки, толки,
дремучий лес невдалеке;
недельной свежести газета,
зимой – снега, весной – вода
и вдаль бегущие сквозь лето
по Волге белые суда...
Они, крича многоголосо,
неслись, считая города!
...Но лишь на «Чехове» колёсном
играли музыку тогда.
Ещё незримая, но странно
влекущая, как терпкий мёд,
она возникнет из тумана –
и сладко сердце обоймёт!
Минута, две... И вдруг растает,
погаснет, горько задымит.
И глуше глушь лесная станет,
а боль – больнее защемит.
...Давным-давно отпета юность,
всё ближе к финишу забег,
но вальс «Оборванные струны»
остался в памяти навек.
Он там, на Волге суматошной,
в той заповедной стороне,
куда вернуться невозможно
ни этой музыке, ни мне.

* * *

...Словно вырвали с корнем цветок,
по указке какого-то беса
отменили фабричный гудок,
доносившийся к нам из-за леса.
Проживая в заволжской глуши,
мы ловили фабричные вздохи –
и спадала усталость с души,
и вселялась причастность к эпохе.
Это было давненько-давно,
утекло непомерно водички...
И теперь я, косясь на окно,
завыванье ловлю электрички.
Не к тому, чтобы слышать прогресс,
беспределом его ужасаться:

чтоб контрастнее слышался лес,
чтобы глубже в себя погружаться.

* * *

Что запомнилось? –
Запах рабочей воды.
Исходящий от спящей, но долгой,
испитой, но бессмертной, как дух, Красоты,
распростёртой в долине – над Волгой.

А ещё вспоминаю «нарпит», винегрет,
на причальной террасе буфет старомодный,
возведённый купцами за дымкою лет,
и – буфетчица с доброю мордой.

И бедовую, взор окунавшую в грусть,
воровато-прелестную деву... И знаки
приглашенья назад, в непорочную Русь,
в допетровские, мёдом пропахшие мраки.

...Кинешемские звоны, летящие вдаль,
кинешемские улочки, пьющие Волгу.
Что осталось? –
Осталась большая печаль.
И любовь, о которой потом.
Втихомолку.

* * *

Армия. Заволжье. Самоволка.
Девушка. (Как звали мы – «двустволка»!)
Шубка. А под ней – завеса платья.
На снегу – горячие объятья!
А потом – брели в изнеможенье...
И ждала «губа» в «расположенье»!..
Вся зима промчалась в знойных встречах.
А потом – разлука... Слезы. Речи.
Двадцать лет мне было. Ей – чуть меньше.
Но она была одной из женщин,
что меня бесплатно приласкала,
и в мои ресурсы не вникала.
...Подалась куда-то вдаль, к Китаю.
Родилá? Кого? Зачем? Не знаю...

* * *

Серо-синий грязный лёд
на реке сойдёт вот-вот...
На закрайках – чернь воды.
Опустился грач на льды:
что-то ищет, не спеша,
перелётная душа.

...В юны годы, на рысях –
встретил Волгу на сносях.
Помню вспученные льды,
лошадиные следы...
Позади – армейский срок.
Ну, а Волга – как порог,
что нельзя перешагнуть...
Но – чихнул и двинул в путь!

Там, за Волгой, был ларёк,
обещавший «пузырёк»!
Лет полста с тех пор прошло...
Кто-то скажет: повезло!
Ну а я скажу иначе:
молод был, ловил удачу!

В дымке ладана

Свет малиновой лампы.
В дымке ладана – кресты...
Запрокинутые взгляды,
шевелиющиеся рты...

Я пришёл сюда из ада!
Мне пристало жить в аду.
И жалеть меня не надо:
я поплачу и уйду.

Я уйду туда, где Волга,
сад, беседка... И скамья,
где однажды долго-долго
слушал ночью соловья!

Иваново-Вознесенск

Вновь из окон гостиного дома
пятиглавая кровля видна.
Град Иваново – старый знакомый,
мне опять твоя помощь нужна.
Не по улицам гладким и гулким,
не широкой асфальта спиной –
проведи по родным закоулкам,
где бродил я далёкой весной...
Помню дом деревянный, точёный:
там окошко светилось, маня...
И фабричную в доме девчонку,
не жалевшую губ для меня!..
А потом – этот крик паровозный,
смех солдатский, разлуки крыло...
И в глазах – непонятные слёзы,
от которых поныне тепло!

...Возвращался не раз. А надолго
задержаться – не смел и не смог...
Град Иваново, Кинешма, Волга —
всё проездом, всё мимо, всё вбок...
А теперь – уж и помыслы седы.
И другие влекут города...
...Свет в окошке – явись напоследок,
улыбнись и прости навсегда!

* * *

В атмосфере дремучей, огромной,
за лесами, за Волгой-рекой –
слушать издали гомон церковный,
обливаясь звериной тоской...

Лес гудит, как ночная машина,
Ветром-ухарем взят в оборот.
И душа, как стальная пружина:
не опомнишься – грудь разорвёт!

...Как поют они чисто и внятно
в тесном храме, ничьи голоса!
Неужели тебе непонятно:
там от века синей небеса.

Только там – за оградой церковной,
там – под сводами горней мечты
обиталище Воли Верховной!
Так войди же под своды и ты!

Обогни неслепую ограду,
отыщи неглухие врата –
и получишь Свободу в награду.
И – Любовь. И уже – навсегда!

* * *

Юрию Паркаеву

Эти старые, без крику –
синеглазые слова:
брáшно, сúmно, поелí ку,
греховóдник, одновá!..

Эти гра́ды, эти ве́си –
дивных слов косматый ряд –
словно б́уки в тёмном лёсе:
напугают – не съедят!

Ведь за ними, как за синим
окияном, словно луч,
брезжит юная Россия
из-под злых и чёрных туч...

Александр ЛОМТЕВ

Родился в 1956 году в с. Пуза (ныне Суворово) Нижегородской области. Работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтером, корреспондентом газеты. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Как журналист, специализирующийся на «горячих точках», неоднократно бывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Южной Осетии.

Прозаик, публицист. Член Союза писателей России. Живёт и работает в г. Сарове Нижегородской области.

МАЛЬЧИК

Что это? Нужно проснуться, просто нужно проснуться. Какая невыносимая темнота. И тишина. Словно тебя закопали глубоко в землю. Как давит... Что это? Просто нужно проснуться, и всё кончится...

...Они встретились на обычном месте. Со скамейки возле полуразрушенного дома и поваленного забора хорошо просматривались и глухой проулок, и редкие в последних осенних листьях заброшенные сады, и сквозь них – дальние улицы.

Бородатый был спокоен, но всё же время от времени вытягивал шею и, как гриф, которого мальчик видел по телевизору, быстро осматривался.

Короче, смотри, говорил он, приоткрыв довольно поношенную спортивную сумку, тут немного по-другому, чем в прошлые разы. Запоминай, вот провода. Вот это – клеммы. Короче, перед тем как идти, вот этот провод с узелком присоединяешь к вот этой клемме, а вот этот, без узелка, вот к этой. Запомни. Запомнил?

Запомнил.

Теперь смотри. Бородатый вынул из-за пазухи карту, развернул, показал, – короче, вот этот перекресток узнаешь? Знаешь?

Знаю.

Тут у самой дороги, прямо на тротуаре упавшая опора бетонная. Ты приходишь рано утром. Вот тут за зданием, там люк приоткрытый, прячешь сумку, сам сидишь вот тут на втором этаже. Понял? Короче, проходит инженерка, ты спускаешься, берёшь сумку, идёшь к опоре и сидишь. Сумку поставишь перед опорой. Перед, понял? Не за. Короче, увидишь колонну, открываешь сумку, и вот этот верньер, вот эту ручку, видишь? – поворачиваешь на четыре щелчка по часовой стрелке. На четыре. По часовой. Запомнил?

На четыре, по часовой.

И уходишь. Короче, вот за прошлый раз. Бородатый вытащил из-за пазухи завёрнутую в пластик пачку. Застегнул сумку, поднялся. Посиди минут пять и уходи. Сумку дома не держи.

Знаю.

Солнце силилось выбраться из руин, но пока лишь сумело подкрасить розовым восточный край Грозного. Мальчик вышел из дома и, слегка скобочившись под тяжестью сумки на остром плече, побрёл к знакомому перекрёстку. Ничего сложного в этом не было. Сумка, конечно, была тяжелой, но и нести было недалеко.

Всё было как всегда. Бородатый всё понятно описал: вот перекрёсток, вот дом, вот люк приоткрытый. Мальчик просунул под крышку сумку и по засыпанной штукатуркой и осколками кирпича лестнице вбежал на второй этаж. В одной из комнат нашёл шаткую табуретку и сел у окна. Сначала услышал гул БМП, потом увидел, как машина медленно выползла из-за угла. Перед ней и за ней по обеим сторонам улицы шли сапёры. Один с собакой на длинном поводке. Собака суетливо рыскала по сторонам, иногда нетерпеливо дёргая поводок, подбегала к скамейкам, перевёрнутым урнам, брошенным автопокрышкам. Задержалась у остова сгоревшей легковушки и вдруг подняла морду на окна дома. Мальчик испуганно отпрянул, сердце его сильно забило. Однако, когда через минуту он осторожно выглянул наружу, инженерка уже миновала его дом, БМП, чадя солярным дымом, удалялась, собака всё так же шныряла в развалинах, и мальчик глубоко вздохнул.

Когда гула и лязга гусениц БМП стало не слышно, мальчик спустился вниз. Теперь всё самое простое. Он выволок сумку из-под крышки люка, донёс её до поваленной опоры, сел на прохладный ещё бетон, поставил сумку меж колен и чуть расстегнул молнию.

Солнце поднялось над корявыми зданиями многоэтажек, и из центра Грозного стали доноситься неясные звуки городской жизни. Мальчик задумался, потом начал задрёмывать и едва не пропустил появление колонны. Быстро распахнув сумку он проверил, надёжно ли подсоединены провода, двумя пальцами крепко взялся за верньер... И вдруг замер: по часовой – это как? Вправо или влево? Он тут только сообразил, что у него никогда не было часов со стрелкой. Были дешёвые электронные, а потом и вообще не было, зачем, если есть мобильный? Он попробовал вспомнить настенные, которые висели у них дома до войны, но он был маленьким и вспанился на циферблат со стрелками, а большой блестящий маятник, на который он мог завороченно смотреть часами.

Колонна приближалась. Вправо или влево? Он посмотрел на небо за развалинами – солнце всходило слева и, поднимаясь, уходило направо. Вправо. Сердце больно стукнуло, мальчик повернул ручку на четыре щелчка.

Что это? подумал мальчик. Темнота была такой плотной, а тишина такой громкой, что давило на глазные яблоки и барабанные перепонки. Что это? Мальчик ничего не мог понять. Он дома? Проспал?! Почему так темно? Так темно не бывает даже в самой тёмной комнате, так тихо не бывает даже в самую тихую ночь. Что это?

Нужно проснуться, подумал мальчик, нужно обязательно проснуться. Такие сны уже снились ему. Нужно оставить фугас и быстро уходить, а он не может, ноги не слушаются, секунды тают, приближается колонна, он уже различает лица солдат, один из них смотрит прямо на него и недобро усмехается. Нужно бежать! Но ноги налились свинцом и словно приковали его к горячей земле. Он просыпался в холодном поту. Сейчас нужно снова проснуться, нужно проснуться. Но темнота и тишина наваливались бесформенной массой и душили, и сознание таяло, таяло...

Что это? Мальчик попробовал пошевелиться. Темнота была всё такой же непробиваемой. Но тишины не было. В ушах стоял гул, и сквозь этот гул он различал голоса, дребезжанье стекла, шаги. И ещё появился запах. Незнакомый... Что это?

Смотри-ка, кажется, очнулся. Мальчик насторожился. Кто это, хотел спросить, но не смог. Как думаешь, может, ещё... Не надо, видишь боли он пока не чувствует. Начнёт стонать – уколём. Да, блин, не повезло парнишке. Зато нашим повезло. Да, нашим повезло. И куда он теперь, без рук, без ног. Слепой. Знаешь, а мне плевать, куда он теперь без рук, без ног. Так-то оно так, а всё же... Сколько ему лет – двенадцать-тринадцать? А мне плевать, сколько ему. Сколько бы ни было. Так-то оно так, а всё же...

В голове мальчика стало чисто и ясно, исчез гул, он почувствовал своё тело. Он попробовал пошевелить руками и ногами, но не смог. Попробовал подать голос, но не смог. Ему показалось, что он заперт в собственном теле, как в глухой темнице, в мешке, в тесной пустоте. Он всё понял. Он хотел забиться, закричать, зарыдать во весь голос. Но не смог...

Из цикла «КАВКАЗСКИЙ ДНЕВНИК»

Груз-200

– Смотри, Ваня – Багратион! – Бронзовый генерал высокомерно смотрел на пассажиров, бродящих по перрону, словно хотел выстроить их в стройную шеренгу и отправить куда-нибудь под Бородино, чтоб не шлялись попусту, или, на худой конец, под Грозный. Иван обошел памятник и присмотрелся к надписи на постаменте:

– Да он, оказывается, родился здесь, в Кизляре. Не знал!

Впрочем, и мы еще утром не знали, что окажемся здесь. Когда на вертолетном перроне в Ханкале нам сказали, что аэропорт в Минводах закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, мы посмеялись: с первым апреля! Но шутка оказалась правдой – аэропорт действительно не работал, и именно с первого апреля; бронепоезд в ближайшие дни не планировался, вертушки тоже летали крайне редко, да и попутного борта из Моздока не ожидалось, зато подвернулась попутная машина до Кизляра, откуда регулярно ходили поезда до Москвы. По дороге машину тормознули у блокпоста кадыровской милиции. Хмурый чеченец открыл водительскую дверь и сердито спросил:

– Почему на спущенных колесах едете?

– Как на спущенных?! – заволновался водитель. Но чеченец радостно заулыбался:

– С первым апреля! Проезжай, дорогой...

Сначала, купив билеты и не зная, как убить пару часов до отправления, мы сидели на скамейке в зале ожидания, потягивали пиво, поглядывали на народ и листали свежие газеты. Но потом у одного из кассовых окошечек заскандалили.

– Да вы что, не понимаете, у меня «груз двести»! – немолодой коренастый, по всему видно, бывалый прапорщик тряс перед окошечком кассы бумажкой, и лицо его наливалось красным.

Из окошечка что-то бубнил монотонный женский голос, и прапорщик снова тряс бумажкой:

– Какой спецвагон, вы что, не понимаете, что у меня «груз двести»! Спецвагона, может, еще неделю не будет, вы представляете, что я в Ростов привезу, если сейчас не уеду!

В ответ из окошечка снова раздавалось безучастное «бу-бу-бу». Было видно, что прапорщик доведен до отчаянья, но чем сильнее он нервничал, тем безразличнее становился голос в кассовом окошечке.

Смотреть на это было неприятно, вот мы и вышли на перрон. Тут легкий апрельский ветерок гонял по ровно выложенной плитке мелкий сор, птицы щебетали в акациях, Багратион строго смотрел на пассажиров со своего постамента. Пахло расставанием и возвращением, и хотелось уже забыть и Грозный, и пушки за Волчьими воротами, и вертолетный гул, и пыльную многолюдную Ханкалу – хотелось домой...

Устроившись в купе и дождавшись, когда поезд тронется и проводник проверит билеты, мы отправились в вагон-ресторан.

Свободные места оказались лишь за одним столом; одно место у окна занимал тот самый давешний прапорщик. Он уже пообедал и сидел теперь над бутылкой водки, расслабленный и раскрасневшийся.

– Как же вам удалось уехать? – с сочувствием спросили мы, попросив разрешения присесть за стол.

Прапорщик сочувствие оценил и ответил:

– А я солдатикам приказал внести «ящик» в зал ожидания и сказал начальнику вокзала, что оставляю его здесь, а сам вернусь в Грозный. А взятку не дам! Так что погрузили как миленькие и еще платочком помахали вслед...

– А кто... ну, там... – нерешительно спросил деликатный Иван.

– Контрактник один из Ростова. Молодой паренек... Машина под Аргунем с моста упала; мосты-то сами, наверное, видели, какие там.

– А почему вы думаете, что с вас пытались взятку стянуть?

Прапорщик усмехнулся:

– Эх, знали бы вы, сколько раз мне пришлось «груз двести» сопровождать. Не зря в народе говорят: кому война, а кому мать родна. Знаете, сколько вокруг войны паразитов? И с нашей стороны, и с той. За деньги все можно. Хотите, вас на вертушке в Грузию доставят, хотите, любое оружие продадут. Эх, да что там...

Все, что говорил прапорщик, было прекрасно известно нам, настолько известно, что уже не вызывало эмоций. И Ваня сформулировал то, что было на душе:

– Да ладно, на живом солдате все стараются заработать, ладно. Но на мертвом-то грех!

– Мертвые сраму не имут, – почему-то сказал прапорщик. И почувствовав, что сказал не то, махнул рукой: – Да чего уж там, какая жизнь, такая и смерть! В смысле – им все равно...

Где-то в составе стучал колесами грузовой вагон, в вагоне покачивался в такт движению «груз двести», и ему действительно было все равно...

Купе без женщин

Война только закончилась, и я впервые ехал в Грозный обычным пассажирским поездом. Подходя к перрону, ожидал усиленных милицейских нарядов, обязательную собаку, натасканную на взрывчатые вещества, тщательного досмотра, но ничего такого не было. Три скучающих милиционера лениво поглядывали на толпу проходящих пассажиров и никого не останавливали. Позже оказалось: всего будет с лихвой на обратном пути...

В купе устраивались трое крупных чеченцев примерно моего возраста. На моем месте стояли большие сумки. Все трое застыли и словно бы выжидающе уставились на меня. Как-то мне стало не по себе. Плюнув на все, я вошел, решительно отодвинул сумки в сторону и, сев у окна, сказал, обращаясь сразу ко всем:

– Здравствуйте!

Попутчики сразу задвигались, заулыбались, стали знакомиться...

Стоит ли врать, что садясь в поезд на Грозный, я чувствовал то же, что чувствует пассажир, отправляющийся в Крым, в Арзамас или Урюпинск. Конечно, в глубине души трепыхалось: как всё будет, что ждёт, как сложатся отношения с соседями по вагону?

Отчего-то вспомнился давний случай из походной жизни, когда еще в советские времена ночью на темной среднеазиатской станции, где-то на краю Каракумов, ко мне подсел молодой небритый туркмен и, улыбаясь, спросил:

– Не боишься тут один, ночью, мы ведь тут все басмачи? – А потом хлопал меня по плечу и засмеялся: – Шутка, пока шутка!

В чем соль шутки, я тогда не понял...

Поезд тронулся, и через полчаса сработал дорожный рефлекс: попутчики полезли в баулы за провизией, в купе запахло обязательной курицей, чесноком, фруктами и пряностями. Я же отправился в поездку спонтанно, ничего не припас в дорогу и имел при себе лишь томик Довлатова да номер «Совершенно секретно», правда, совершенно свежий...

Естественно, меня пригласили к столу, естественно, я отказался и для отмазки соврал, что сижу на диете. Я хотел разговорить попутчиков на тему современной обстановки в Чечне, но после моей неосторожной лжи последующие несколько часов пришлось разговаривать о диете. Старший из нашей кампании оказался бывшим спортсменом, мастером спорта международного класса по борьбе и рьяным последователем здорового питания и здорового образа жизни. Естественно, он в два счета доказал нам, что все беды и болезни человека от переедания и неподвижного образа жизни.

Все трое чеченцев оказались поборниками здорового образа жизни. Приятель спортсмена привёл очень и очень своеобразный пример пользы голодания.

– Помнишь Салмана, директора нефтебазы? Ну, про него еще по телевизору рассказывали в прошлом году – украли его... Вот это мой знакомый. Когда его освободили, я к нему в больницу ходил. Клянусь, не узнал сначала. Он мне все рассказал. Его украли, держали в лесу в зиндане, сначала совсем не кормили. Потом – чуть-чуть, чтоб не умер. Он рассказывал: когда ему первый раз еду несли, он запах лепешки за полкилометра учуял, клянусь! Такой голодный был, так чувства обострились – обаяние.

– Обаяние.

– Ну да, обаяние – это когда запах... Значит, когда его украли, все решили, что он не выживет, потому что сахарный диабет у него был. Так вот, когда его выкупили за миллион, оказалось – клянусь! – что диабет у него пропал!

– Прямо спасибо этим бандитам сказать надо – вылечили...

– А что, поехал бы он лечиться куда-нибудь в Германию, тот же миллион потратил бы, а неизвестно еще, вылечился ли бы...

Помолчали, каждый по-своему переваривая рассказанное, и тут один из попутчиков сказал весело:

– Смотрите-ка, мы тут все четверо одного возраста, не пьем, не курим, и ни одной женщины в купе не оказалось – как хорошо получилось.

Все согласно закивали...

Дорога до Моздока

Попутного транспорта до Моздока не предвиделось. Бронепоезд только ушёл, вертушки уже вторую неделю не летали – запрет. Автоколонну собирались сформировать и отправить только к концу недели. Я заскучал. Но тут в комендатуру заскочил Умар, знакомый чеченец «из федералов»:

– А сегодня пускают пассажирский Грозный – Моздок, поедешь?

– Что за вопрос, Умар, конечно, еду!

Уже через час Умар на чеченский манер приобнял меня на прощание на перроне и повелительно крикнул в окно тепловоза:

– Возьмете до Моздока журналиста!

И я полез в железное чрево огромной пыхтящей машины...

Тесноватая кабина локомотива слегка напоминала капитанский мостик небольшого морского теплохода. Только не синело в лобовых стеклах море и не пенились барашками волны. А в лобовом стекле – параллельные рельсовые линии.

Машинист Магомет – такой постаревший Мимино – встретил незваного гостя настороженно. Однако чаю предложил и на вопросы отвечать не отказывался.

– Запуск! – Магомет потянулся к каким-то рычагам и кнопкам.

– Запуск! – как эхо повторил помощник Исса. И записал что-то в журнал.

Так потом и было:

– Переезд двести метров. Чисто! – говорил Исса. – Скорость тридцать.

– Переезд двести метров, – повторял Магомет, – скорость тридцать.

А в перерывах разговор:

– Плоховато живут железнодорожники. У многих зарплата всего пять тысяч, а если пятеро детей? А вон, смотри, в каком состоянии дома – как люди зиму переживут? Помнишь, состав взорвали в прошлом году? Тогда еще бригаду всю из поезда выкинуло. Знаешь, какую премию людям дали? Аж по 200 рублей!..

– Нас в прошлом году у Джалки обстреляли, хотели остановить, – вступил в разговор Исса, – не остановились, весь локомотив в дырках. Хоть бы кто спасибо сказал... Несколько раз бреник таскали, военные в кабину заходят и следят, чтоб мы по-чеченски не говорили...

Мы тащились совсем потихоньку, километров сорок в час, но и на этой скорости локомотив качало, словно на волне, что усиливало ощущение, будто ты на капитанском мостике. Тянулись и тянулись кривоватые на вид рельсы, возникая из-за поворотов, холмов и лесных купин, разрушенные поселки проползали мимо. У Ханкалы белесыми гигантскими хвостами висели дымовые завесы, «против гранатометчиков» – кивнул в ту сторону Исса, кружил над сопками боевой вертолет.

– Не боитесь? – спросил я.

Магомет помолчал, взял какой-то инструмент, вышел из кабины. Исса посмотрел ему вслед и ответил:

– Конечно, боимся, но работать-то где-то надо. А где?

Поезд почти совсем остановился. В час по чайной ложке переползли какой-то мост. Кажется: топни посильнее ногой, и мост рассыплется. У самого моста блокпост: бруствер, пулеметный ствол из кирпичного блиндажа, часовой с «калашниковым». На ферме моста белой краской начертано – «Лев Толстой». За мостом поезд начал было набирать ход, но тут же вновь стал притормаживать, а Магомет посигналил. Впереди у самых шпал лежала большая пятнистая корова. Услышав сигнал, животное сделало попытку отползти, цепляясь за насыпь передними копытами, но лишь слегка сдвинулось. Задние ноги были перебиты и залиты кровью. Возле коровы стояли хмурая женщина и заплаканный мальчишка.

– Может, предыдущий состав сбил, – вслух рассуждал Магомет, – а может, на mine подорвалась...

– Коровы часто здесь гибнут, – согласился Исса. – Мин понатыкано...

– Во-он там, – протянул руку Магомет, – мы всегда по праздникам гуляли, мясо жарили, вино пили. Теперь туда ходить нельзя – сплошные мины. И главное, они даже не знают, где и сколько поставили.

– Кто они? – спросил я, но вопрос повис в воздухе без ответа...

И вдруг «Мимино» сказал:

– Ты не пиши ничего, что я сказал. Все у нас хорошо. Я от всего откажусь... Вон, про корову напиши, а про остальное не надо...

За окном проплывал чудный пейзаж: стройные свечи тополей на фоне красивой горы под пестрым в облаках небом. Ну, чистый Сарьян. Магомет смотрел на пути. Исса отвернулся, словно бы для того, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. До Моздока мы молчали...

Влад ГОРБУНОВ

55 лет, родился и вырос в Крыму. Окончил Симферопольский государственный университет. В 2001 году, после 20 лет работы в школе, из них 14 лет директором, вместе с семьёй эмигрировал в Канаду.

Живет в Ванкувере, преподаёт английский язык для иммигрантов и в частных школах для иностранцев.

ПОЧЕМУ ТЫ НЕНАВИДИШЬ МОЮ РОДИНУ?

В классе висела тягучая тишина. Спокойным отчётливым голосом я диктовал глаголы, которые не употребляются с временами Continuous. Готовились к тесту по грамматике.

Рьоко Ито, черноглазая девушка с конопушками на носу-пуговке, подняла руку. Я замолчал и кивнул ей.

– Почему глагол hate, – по-английски спросила Рьоко, засомневавшись на мгновение, какой вспомогательный лучше употребить: does или do, – относится к группе «глаголов любви»?

Со вспомогательными у японских студентов всегда путаница. Даже у лучших. Таких, как Рьоко.

– Потому, – ответил я, остановив своё привычное вышагивание вдоль доски, – что «ненавидеть» – это «любить»... только наизнанку.

Рьоко сконфуженно наморщила носик, потом – эврика! – понимающе вскинула вверх брови и одобрительно закивала головой, соглашаясь со мной.

Я продолжил диктовать глаголы: Believe, think, remember, understand..., но уже не слушал себя. Мои глаза брели по огромной карте мира, висевшей на противоположной стене. От Портленда, штат Орегон, через всю страну до Нью-Йорка, а оттуда, перемахнув Атлантику, в Европу. К Чёрному морю. В город на побережье.

* * *

– Нет, ты мне скажи, – отец взял меня за плечо и развернул к себе. – Как на духу скажи.

– Что сказать, папа? – спросил я, снимая его тяжёлую натруженную руку.

– А то и скажи, – после поллитры язык его с трудом шевелился, – почему ты мою Родину ненавидишь?

Отец мотнул головой, откидывая назад чуб, и в упор уставился на меня глазами в красных прожилках.

– У нас одна Родина, – ответил я, стараясь не смотреть ему в глаза. – Она такая же твоя, как и моя.

– Врёшь! – взвился отец и со всего маха стукнул кулаком по столу так, что посуда подпрыгнула, испуганно дзинькая.

Хайди, сидевшая рядом и почти ничего не понимавшая, вздрогнула, прижалась ко мне.

– Нет у тебя Родины!– крикнул отец, подаваясь вперёд всем телом. –
Продал ты её!

– Something is wrong? – умоляюще зашептала Хайди. – Please, don't
drink anymore.

– Что она сказала? – сурово посмотрел на мою жену отец.

– Ей кажется, что мы ссоримся, – ответил я.

– Правильно кажется, – ухмыльнулся отец и достал из-под стола ещё
одну бутылку «Русской». – Так ты ответишь мне или нет? За что Родину
мою так ненавидишь?

– Я не понимаю вопроса.

– Не понимаешь?

Отец ловко ухватил блестящий хвостик пробки-бескозырки и одним
движением откупорил бутылку.

– От армии улизнул, – сказал он и загнул палец. – Это – раз.

– У меня была отсрочка, – возразил я, но отец не слушал.

– Пусть пиндоска огурцов солёных принесёт, – позвякивая по краям
стаканов, он разливал водку. – Из холодильника. Последние от матери
остались.

Мама умерла полгода назад. Долго болела, но перед самой смертью
успела нас с Хайди благословить.

– Её зовут Хайди, – сказал я.

– Да плевать мне, как её зовут.

– Will you bring some pickles from the fridge? – попросил я Хайди.

Она с мольбой посмотрела на меня. Я погладил её руку и улыбнулся.

– Музыку слушаешь – буги-вуги, – отец загнул второй палец, – опять же
ненашенскую.

– Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст? – скривился я. Над
маразмом пенсионеров-активистов посмеиваться было куда легче, чем вы-
слушивать этот бред от родного отца.

– Правильно, – сказал он. – Именно так.

– Папа, это смешно. При чём тут Родина?

– И последнее, – отец насупился и загнул третий палец, – пиндоску в
жёны взял.

– Так ты подпишешь бумагу или нет?

– Бумагу? – отец ухмыльнулся. – Может, подпишу... А может, и нет.

– Как так?

– А вот так, сынок, – отец поднёс рюмку к бледным истончившимся
губам и одним махом опрокинул её в себя.

– Я не понимаю.

– А что тут... – отдувался скривившийся отец. – ...что тут не понимать?

Хайди принесла маленькие пупырчатые огурчики, плавающие в мут-
ном рассоле. Отец подцепил один вилкой и сунул в рот. Захрустел им, за-
чавкал, закачал головой:

– Хорошо мать огурцы делала. Твоя так не умеет.

– Не умеет, – согласился я. – Зато она печёт маффины.

– Что?

– Кексы с изюмом, – ответил я, поднял нилитую всклень рюмку и вы-
пил залпом. Дыхание перехватило, судорога пробежала вдоль позвоноч-
ника. Я замотал головой, в панике цапнул из рассола огурец и принялся
быстро зажёвывать обжигающую горечь во рту.

– Забористая? – хихикнул, глядя на меня отец. – Не ихняя. Не пижон-
ская. Наша!

– У-ух, – тяжело отдувался я. – У-ух!

– А ты кексы говоришь, – продолжал посмеиваться отец.

– Па, а может, не надо никаких бумаг? – отдышавшись, сказал я. – Может, всё-таки с нами, в Орегон, а?

Отец перестал жевать, поднял пьяные глаза и, кажется, впервые за этот вечер посмотрел на меня снисходительно, даже ласково, как смотрят на неразумное, заплутавшее дитя.

– Мы бы... – продолжил было я, но отец не дал мне закончить.

– погоди, – сказал он.

Оперевшись на край стола, отец поднялся и нетвёрдым шагом подошёл к огромному, духотлитровому аквариуму, его гордости. Закатал по плечо рукав рубашки и, распугивая перетрусивших гуппий, меченосцев и вуалехвосток, сунул руку в аквариум. Загрёб со дна целую жменю пёстрых камешков и, капая на ковёр, вернулся к столу.

– Вот, – сказал он и высыпал аквариумное добро на белую скатерть, – гляди!

Камешки, гладкие, переливающиеся, нарядно блестели мокрыми боками. Некоторые из них, как на подбор кругленькие, были похожи на перепелиные яйца, рябые, в тёмно-коричневую крапинку. Другие, плоские, сияли россыпью цветов: от густого горчичного до небесно-голубого.

– Красиво, – улыбнулся я отцу. – Только...

– Смотри, – перебил меня он.

– They're fading, – сказала Хайди.

В спёртом воздухе гостиной, наполненном тяжёлым духом спиртного и неумело приготовленной пищи, под люстрой с тремя шестидесятиватными лампочками, на застиранной скатерти, промокашкой всасывающей влагу, камешки быстро подсохли. Их прежнее многоцветье потускнело и сменилось одной грязно серой, невзрачной краской.

– Понял? – посмотрел на меня отец. – А ты: в Орегон, в Орегон.

Он смахнул камни, точно кучку щебёнки, в ладонь, вернулся к аквариуму и плюхнул их в зеленоватую воду. Оставляя за собой пузырячатый след, камешки улеглись на дно и снова заиграли разноцветьем.

Отец вернулся к столу и задумчиво поглядел на подсыхающие следы на скатерти.

Дзинькнул звонок, входная дверь шумно распахнулась, и в прихожей громко затопали.

Хайди вопросительно посмотрела на меня.

– Здравия желаю, Командир, – в комнату ввалился Валя Рок. Сослуживец отца. Высоченный кряжистый мужик с заплывшим до узкой щелки правым глазом и разбитыми в кровь костяшками огромных клешней-рук. – Такая хренотень заварилась. Если бы не Сан Сан, торчать мне всю ночь в «обезьяннике».

Не здороваясь ни со мной, ни с Хайди, он подошёл прямым к столу. Отец отодвинул в сторону рюмку, вытащил из буфета гранёный стакан и налил в него доверху водки. Потом подвинул поближе в Вале миску с огурцами.

– Мне, – гудел Валя Рок. – Ветерану! Орденосцу! Сидеть со шпаной подъездной!..

Он ухватил стакан, громко выдохнул и несколькими глотками выпил водку до дна.

– Закуси, – распорядился отец. – И расскажи.

– Да ничего особенного, товарищ майор... – услышал я вкрадчивый голос из прихожей.

Вслед за Валею Роком в гостиную вкатился кругленький краснощёкий человечек в дорогом пиджаке из твида и до голубизны белой рубашке, стянутой на вороте алым галстуком.

– Я этому козлу-военному говорю, – шумел за столом Валя Рок, наливая себе второй стакан. – Как это мне ветеранские не положены! Мальчишкам-афганцам положены, а мне – шиш?

– Александр Александрович Чесных, – поклонился вошедший толстячок Хайди, а мне протянул руку.

– Здравствуйте, Сан Саныч, – сказал я, пожимая его пухлую, не мужскую руку с перстеньком на мизинце.

– Так этот сучий сын военком, – гудел Валя Рок, отдуваясь после второго стакана «Русской», – говорит, что в списке нас нет. Понимаешь, Командир, нет!

– Как нет? – нахохлился отец.

– А вот так! – кипятился Валя Рок. – Во Вьетнаме воевали, в Эфиопии и Афганистане тоже, а в Анголе нас не было!

– Как не было? – хмурился отец.

– Не было, – захохотал Валя Рок. – И под Луандой мы не высаживались. И «гусей диких» в Намибии не резали. И кости пацанов наших там в джунглях не гниют.

– Так у тебя же два ранения и орден «За храбрость»!

– А срать им на это, – задохнулся Валя Рок и выплеснул в свой стакан из бутылки остатки водки. – У тебя, Командир, единственного тропическая лихорадка в этом городишке. С неба свалилась? А орденов сколько?

– Ничего не понимаю.

– Командир, по-ихнему все мы, – Валя Рок посмотрел на отца и Сан Саныча, – служили в базе. Безвылазно.

– А ранения?

– На учениях. И ордена тоже. Так что ветеранские нам, – Валя скрутил огромную фигу, – получи-распишись.

– Гады! – прохрипел отец. – Сволочи!

– А я о чём! За грудки его схватил. Подполковника хренова. Так они дубинками меня. Кулаками по морде!

– Ты, Валентин Егорович, – вмешался Сан Саныч, – тоже хорош. Из «стечкина» изрешетить грозился. Слава богу, ребята понимающие попались.

– Сан Сан, дай я тебя, крысу интендантскую, обниму, – Валя сгрёб Сан Саныча и поцеловал его в розовое блестящее темечко. – Если бы не ты...

Валя вдруг отпустил упирающегося Сан Саныча, вскинул огромные руки и сжал ими виски.

– Э-э-э, – протяжно застонал он и стал оседать. – Э-э-э...

Отец, опрокинув стул, бросился к нему. Он успел поднырнуть Вале под руку. Сан Саныч подхватил с другой стороны. Ноги Вали подкосились.

– Что смотрите! – гаркнул на нас отец, и мы с Хайди бросились помогать.

– В спальню его. На кровать.

– Пусть отдохнёт, – поправил сбившийся галстук Сан Саныч. – Накуролесил сегодня так, что, думал, его там прихватит.

– Может, «скорую»? – спросил отец.

– Сам отойдёт, – сказал Сан Саныч. – Вы же его знаете, товарищ майор.

– Знаю, – ответил отец и полез под стол за новой бутылкой. – Выпьешь?

– Если только стопочку, – сказал Сан Саныч. – Дела.

Он посмотрел на нас. Потом на отца.

– Я тут черновичок подготовил, – Сан Саныч достал из внутреннего кармана сложенную вчетверо бумагу. – Приложение, так сказать.

Он развернул листок и протянул мне:

– Прошу ознакомиться.

Я взял бумагу. Хайди заглянула в неё через моё плечо.

Это был бланк фирмы Сан Саныча с логотипом из якоря и сидевшей на нём чайки.

– Что это? – спросил я.

– Черновичок иншуарэнса, – прикладываясь к рюмочке, сказал Сан Саныч. – Для чёткого понимания ваших обязательств и нашей страховки.

– Страховки от чего? – недоумевал я.

– От забывчивости, молодой человек, – оттопырив мизинчик с золотым перстеньком, Сан Саныч ухватил пухлыми пальчиками скользкий огурец и с хрустом надкусил его. – От забывчивости.

Я ещё раз посмотрел в бумагу и вслух прочитал:

– Раздел один: Денежное довольствие. Обязуюсь ежемесячно до первого числа текущего месяца выплачивать содержание в размере 250 долларов США. Ежегодно сумма пересматривается с учётом процента инфляции.

Я посмотрел на отца. Он, насупившись, точно провинившийся ученик, смотрел на стол.

– Раздел два: Ремонт квартиры по адресу... – читал я дальше. – Раздел Три: Оплата медицинских издержек...

– Отец...?!

– That's O.K., – потрепала меня по плечу Хайди и потянула бумагу из моих рук. – That's business.

– Папа, – растерянно глядел я на отца, – неужели без этого, ты думаешь, я... мы...

– Я буду переговаривать с вами, – говорила Хайди Сан Санычу. – Я не согласен с процентом инфляция. Где вы взяли такая цифра?

Отец на меня не смотрел. Отвернулся. После смерти мамы он сильно похудел. Плечи заострились. Спина ссутулилась. На автостоянке, куда он устроился сторожем, брал все смены подряд. Не хотел оставаться в пустом доме один. Я-то всегда занят да занят. И потом, Хайди.

Отец то сцеплял, то разцеплял пальцы. Узловатые, с обветренной морщинистой кожей и желтоватыми толстыми ногтями.

– Извольте, – Сан Саныч принёс прихожей кожаный портфель с накладными карманами, ремешками и медными застёжками, уселся напротив Хайди и зашуршал газетой. – Вот данные «Финансового курьера».

– Папа...

Отец молчал.

– Мы же семья. У нас же больше никого нет. Неужели ты думаешь, что я тебя брошу? Как они... Вас всех... Неужели...?

– Молодой человек, – осёк меня Сан Саныч, пока Хайди водила пальцем по цифрам в газетной таблице, – не надо давить на эмоции. Это моё предложение. Дело серьёзное... А вы...

– Wait a sec, – воскликнула Хайди и возмущённо глянула на Сан Саныча. – Вы не читал внимательно. Не найн процент, а сикс.

– Это с учётом непрогнозируемости финансовой обстановки, – отпарировал Сан Саныч.

– Отец... – я вскочил на ноги, сунул руки в карманы и ушёл к застеклённой двери на балкон.

Несмотря на поздний вечер, уличные фонари не горели. Может, побили все лампочки. А может, отключили, из экономии. Все давным-давно учились носить фонарики в карманах. Даже школьники.

– Я с вами, девушка, категорически не согласен, – торговался Сан Саныч. – Моему клиенту ваши предложения не подходят.

На заброшенном прежде пустыре, перед самым домом, строили частный гипермаркет, стекло и бетон. По углам площадки и на высоких, точно из «Лего» собранных, перекрытиях горели прожектора. Они по-дневному освещали стройку. Работа там шла даже ночью. Мягко поворачивал шею башенный кран, поднимая и опуская строительные поддоны. То там, то сям мелькали жёлтые и красные каски строителей. Подкатывали громоздкие бетономешалки с надписью La Forge.

– Вы скупитесь! – негодовал Сан Саныч. – Гроши! Сущие гроши!

Часть света со стройки, уже далёкого и рассеянно-призрачного, падала на балкон. Я увидел лопату с обёнутым газетой штыком, маленькие грабельки и банку из-под краски-серебрянки. На прошлой неделе, в воскресенье, мы все ездили на мамину могилу.

– Вы – упрямец, – вскочил на ноги Сан Саныч. – С вами, миссиз, невозможно вести бизнес. Мой клиент...

– Хватит, – тяжело уронил на стол руки отец. – Давай бумаги, сын.

В оконном отражении я видел, как Хайди вопросительно посмотрела на меня.

– Parents, – перевёл я, не оборачиваясь.

– Товарищ майор, – засуетился вокруг отца Сан Саныч, – не глумите...
Времена теперь другие... Люди тоже...

– Это мой сын, – сказал отец, размашисто ставя подпись, – и... моя дочь.

– Как знаете, – Сан Саныч пожал плечами, свернул вчетверо черновик приложения и сунул его во внутренний карман пиджака. – Только я бы подстраховался.

– От детей не страхуются, – ответил ему отец. – Давай лучше по маленькой. Как в старые времена.

Сан Саныч протянул руку к бутылке.

– Сын! И ты, дочка, подсаживайтесь, – поманил нас отец.

– Командир, – на пороге спальни вырос заспанный Валя Рок, – а я?

Мы выпили по одной. Потом ещё. Валя Рок плюхнулся лицом в тарелку и засопел. Сан Саныч, раскрасневшийся, с блестящими губами и красной лысиной, любезничал с Хайди.

– И всё-таки скажи мне, сын, – отец положил тяжёлую руку мне на плечо, – отчего ты...

* * *

– Teacher, – подняла голову Рьоко, – почему believe относится к глаголам «чувств», а не «разума»?

– Потому что верит только сердце, – ответил я, – а разум понимает, помнит и забывает. Приступай ко второму заданию, а то не успеешь до звонка.

У ВАС ЕСТЬ ПРАВО

Границу они перешли в районе Грэнд Форкса, небольшого городка на канадской стороне. В лесу им не встретился ни наряд пограничников, ни проволочное ограждение, ни перекопанная полоса отчуждения. Лишь два пятнистых оленя мирно щипали травку на залитом солнцем косогоре. Олени тревожно вскинули головы и наострили уши, но, увидев людей, снова вернулись к прерванной трапезе.

«Страна непуганых идиотов», – подумал про себя Федор. Он бросил рюкзак на каменистый берег, расстегнул ветровку. Тима в перепачканной лесной трухой курточке и ботинках с налипшей грязью остановился, надувшись, рядом. Метрах в тридцати от них стоял по пояс в воде рыбак. Его желтый комбинезон из прорезиненной материи мокро блестел на солнце. Бурливая речушка, наткнувшись на него, недовольно брызгалась, завихрялась водоворотиками, а потом, словно опомнившись, мягко огибала рыбака и спешила дальше.

– Что он ловит? – спросил Тима. Его капризная мина сменилась любопытством.

Федор постелил ветровку байковой подкладкой наверх и тоже посмотрел в сторону рыбака. Рыбак, словно дирижер, взмахивал удилищем и вычерчивал белой леской округлые узоры над водой.

– Форель, – ответил Федор. – На муху.

– Форель? – переспросил Тима. – Это типа ласкириков? Помнишь? Мы их ловили на Мартышке. С мамой и Танькой. В прошлом году.

Федор отвел глаза и, присев, стал развязывать рюкзак.

– Помнишь? – опять спросил Тима. – Плоские. Как ладошка. Мама их жарила потом.

Федор вытащил из рюкзака бумажный пакет с красно-жёлтой макдональдской «М» и небольшой термос.

– Ты еще думал, что Танькину каталку не протащим. А мы протащили. И она наловила больше всех. Забыл?

– Нет, – вздохнул Федор. – Только форель намного больше. Типа кефали.

– А-а, – понимающе сказал Тима, вздохнул и снова напустил на себя капризное выражение. – Я хочу домой.

– Садись на куртку и снимай ботинки, – сказал ему Федор, достав вслед за макдональдским пакетом и термосом две пары шерстяных носков, одни большие, а другие маленькие, детские. – Ноги небось мокрые все.

– Я хочу домой, – повторил Тима. – К маме. И к Таньке.

Глаза Тимы налились слезами. Еще секунда, и они побежали бы вдоль тонкого, как у матери, носа, к уголкам таких же, как у нее, припухших губ.

– Я тоже хочу, – вздохнул Федор и, немного подумав, извлек из рюкзака красную книжку в старомодном переплете. – Перекусим, немного отдохнем и пойдем дальше. Может, на хайвэе кто-нибудь подбросит.

Увидев книжку, Тима передумал плакать.

– А ты мне считаешь? – спросил он. – Мы после Мексики не читали.

– Считаю, – ответил Федор и стал вытаскивать из хрустящего пакета гамбургеры. – Умойся в речке. И руки не забудь.

До Грэнд Форкса их подвез пузатый драйвер в черной затасканной майке и руками-поленьями, изрисованными от плеч до кистей сине-красными узорами замысловатой татуировки. Его трак, похожий на железнодорожный локомотив, засвистел тормозами и, громыхнув всей своей сорокашеститонной тушей, встал около них, как только они вышли из леса и побрели вдоль хайвэя.

Драйвер оказался немногословным.

– Where?– лишь бросил он из маленького окошка высоченной кабины и, получив ответ, кивнул в сторону двери:

– Hop in.

Когда через полчаса они добрались до Грэнд Форкса, Федор протянул ему десять американских долларов, больше у него не было. Драйвер оскандился, лениво отмахнулся от денег и сказал на прощание:

– Good luck, buddy.

Селлфон иммиграционного адвоката Данилы Стогова, значившегося на визитке как Дэн Джи Стогофф, зазвонил «Турецким маршем» Моцарта.

– Ещё нет, – ответил он по-русски. – Жду с минуты на минуту.

Как и договаривались, он ждал их в придорожном кафе «Блю Джей» и уже допивал свой третий эспрессо. Время от времени Стогов поглядывал на свой новенький цвета бургунди «Лексус».

Громоздкий трак съехал на обочину напротив кафе и затормозил, поднимая пыль и разбрызгивая по сторонам мелкую щебенку. Из него выпрыгнул Федор в застегнутой наглухо ветровке и с болтающимся за спиной рюкзаком. Он протянул руки к раскрытой дверце. На его безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо. «Все еще носит», – подумал Стогов и поднялся, чтобы видеть лучше. Федор снял с высокой подножки мальчика. Потом, поставив ребенка на землю, помахал невидимому в кабине драйверу. Трак, прощаясь, мигнул поворотниками и, словно корабль из бухты, вырулил обратно на хайвэй.

Федор огляделся, заметил «Блю Джей» и взял сына за руку. Данила Стогов помахал им со своего места.

– Как добрались? – спросил он, когда Федор с мальчиком уселись на дерматиновые подушки дивана напротив него. – Без приключений?

– Без, – ответил Федор. – В пустыне погранцы чуть не накрыли. Пришлось повалиться под кактусом.

– На границе с Мексикой такое бывает.

– У тебя все готово?

Стогов открыл кожаный брифкейс и достал несколько заполненных бланков.

– Папа, я хочу мороженое, – сказал мальчик.

– Я куплю, – поднялся Данила. – Тебе какое? Ваниллу, клубничное, мятное?

– Манго, – ответил мальчик и достал из рюкзака большую красную книжку «Сказки Пушкина».

– Окей, – сказал Данила. – А ты, Федор, что-нибудь съешь? Кофе?

– Мы перекусили утром, – сказал Федор. – Может, только кофе. Покрепче.

– Окей, – опять сказал Данила и кивнул в сторону бумаг. – Распишись, где я отметил.

– Когда они приедут?

– В десять будут здесь.

– Хорошо, – сказал Федор и стал расписываться в бумагах.

Данила ушел к стойке. Мальчик, раскрыв на коленях книгу, тихо шевелил губами. Когда Стогов вернулся с кофе и мороженым, книга, раскрытая на «Сказке о рыбаке и рыбке», лежала рядом, а Тима, притулившись к отцовскому рюкзаку и чуть приоткрыв рот, тихонько посапывал.

– Умаялся, – объяснил Федор. – Встали ни свет ни заря.

– У нас отоспится, – улыбнулся в ответ Данила. – Лиза все приготовила. Целую неделю игрушки подбирала.

– Спасибо, – сказал Федор и взял кофе. – Что дальше?

Данила посмотрел на парковку. Свернув с хайвэя и вспыхивая проблесковыми маячками, на нее заплывали два полицейских круизера.

– Приехали, – сказал он. – Через два-три дня тебя освободят под залог.

– Потом?

– Потом поживете до суда у нас. Места хватит.

– Какие у нас шансы?

– Гарантировать трудно, но думаю, хорошие. Ты привез, что я просил?

– Да, – ответил Федор и достал из белесо-вытертого портмоне газетную страничку, сложенную несколько раз.

Данила развернул ее и прочитал заголовок: «Кровавые разборки: за мужей отвечают жены и дети». На крупнозернистой фотографии посреди текста валялась инвалидная коляска с темной лужицей вокруг нее.

Полицейские круизеры сонно подружили к входу в кафе, аккуратно запарковались и выключили мигалки. Из одного вышел высокий мужчина в темно-синей форме Королевской конной полиции, а из второй – хрупкая девушка-азиатка в фуражке, черном бронежилете и брюках с желтыми лампасами.

– Можно я сам отнесу его в машину? – спросил Федор.

– Сейчас спрошу, – ответил Данила. Он что-то сказал по-английски высокому полицейскому, и тот согласно кивнул головой.

Федор бережно положил Тиму на заднее сиденье «Лексуса». Мальчик на мгновение проснулся, облизнул губы и пробормотал:

– Крючки для форели другие, – но тут же снова закрыл глаза и засопел.

– Почитай ему на ночь, – тихонько, чтобы не разбудить, закрыл дверь Федор и протянул Даниле книжку в красном переплете. – Минут пятнадцать. Он любит.

– Не волнуйся, – сказал Стогов.

Подошедшая девушка-полицейский тоненькими пальчиками отстегнула от пояса наручники. Федор завел руки назад. Она щелкнула замками и что-то спросила.

– Не туго? – перевел Данила.

– Пойдет, – хмыкнул в ответ Федор.

Удовлетворенно кивнув козырьком фуражки, девушка принялась зачитывать его права:

– You have the right to remain silent...

– У вас есть право сохранять молчание...

Дмитрий ЕРМАКОВ

Родился в 1969 году в Вологде, член Союза писателей России. Рассказы и повести публиковались в «Литературной газете», в журналах: «Наш современник», «Москва», «Север», «Дон», «Подъем», «Сибирские огни», «Алтай», «Дальний Восток» и в других изданиях. Лауреат Всероссийского конкурса имени Шукшина «Светлые души» (2006). Живет в Вологде.

НОЖИЛОВ

Их было двое в этом большом, богато обставленном и всё же неуютном кабинете. Между ними на столе – доска для игры в нарды ручной, наверное, лагерной работы.

Первый – коренастый, очень плотный, с короткой стрижкой, нагловатыми глазами и всегдашней, будто прилепившейся к губам, усмешкой.

Второй – высокий, рыхлый, краснолицый (видимо, давление), с неожиданно тихим для столь крупного тела голосом.

Перед коренастым пепельница, полная окурков. Дым, несмотря на открытую форточку, пластается по кабинету. Но его некурящего соперника это несколько не раздражает, он человек привычный – профессиональный «игровой».

Партия кончилась, и некурящий положил на свою половину стола ещё одну спичку – выиграл. Запиликал сотовый телефон, и он достал трубку из кожаного карманчика на поясе.

– Да, роднуля, – сказал вкрадчиво, слащаво улыбаясь. – Ещё работаю... Роднуля, игра – это работа... Скоро... Целую в носик, роднуля. – Он отключил телефон и, кивнув на стенные часы, обратился к коренастому: – Как договаривались, Максим Петрович, ещё партеечку и заканчиваем?

– Как договаривались, Костик, – кивнул Максим Петрович и снова закурил.

Расставили фишки. Первый ход был за Костиком, и он выкинул шесть-пять – удачно начал.

Фишки в «дома» загнали почти одновременно. Костик обгонял всего на ход, но построение у него было лучше, почти все фишки стояли на единице, только одна на тройке и одна на пятёрке.

Костик кинул кубики в пластиковый стаканчик, встряхнул и выкатил на доску – четыре-один, выкинул лишь одну фишку, с пятёрки.

Максим Петрович, опустив кубики в стакан, замер на мгновение и, не встряхивая, перевернул – шесть-шесть...

– Ну как с вами бороться, – попробовал пошутить Костик, а бросил снова неудачно – ушли лишь две фишки.

Потом Максим Петрович кинул – пять-пять, три-три... Вырвал партию.

Ошеломленный Костик враз покраснел, молча поднял руки – сдаюсь. Но когда его соперник, так же молча, вытащил из кармана пиджака перхваченную резинкой пачку купюр, отсчитал несколько и протянул ему, настроение Костика моментально поправилось. В целом-то, по партиям, он сегодня выиграл.

– Люблю обязательных людей. – Бережно принял деньги, завернул в целлофановый пакетик и убрал в карман джинсовой куртки.

– Ты свою жену люби, Костик. – Максим Петрович Ножилов, хоть и проиграл, но был доволен – последнее слово всё же осталось за ним.

– В депутаты-то собираешься идти, Макс? – неожиданно спросил Костик.

Ножилов подозрительно глянул на него и ответил:

– Разберёмся.

– С твоим характером надо.

– Разберёмся, – повторил Ножилов.

Они вышли из кабинета, прошли мимо дремавшего охранника. Максим Петрович ткнул его в плечо: «Не спи, замёрзнешь». Вышли на улицу. Было уже утро – тихое, свежее. Всю ночь проиграли.

Расстались. Костик двинул к автобусной остановке, а Максим Ножилов – к машине, джипу.

Максим не торопясь катил по своему городу. Не то чтобы он считал себя хозяином города, но не последним человеком – точно.

Улицы пустынные. В это время рабочий люд и дачники уже разъехались по трудовым местам, а праздный народ ещё спит. Максим ехал бесцельно, сворачивая с одной улицы на другую, лишь бы подольше не видеть укоризненных глаз жены. Договорились, что в десять с Женькой в парк поедут, вот к десяти и подъедет.

Он выпил стакан кофе со сливками и съел пирожное в кулинарии, как делал это в годы учёбы в ПТУ, если, конечно, бывали деньги, и был доволен, что никто не проявляет здесь к нему повышенного внимания, как это было бы непременно, зайдя он в соседний ресторан. Хотя, кажется, девушка за кассой узнала его, впрочем, она, наверное, всем так улыбается, трудно предположить, что она читает газеты и смотрит местное телевидение.

Только закурил на улице – звонок, жена.

– Да, Оля... Скоро, уже подъезжаю к городу. Давай.

Сел в джип. И опять запищал мобильный телефон.

На этот раз звонил тренер по боксу Игорь Николаевич Мышкин и нес какую-то несурезицу: мол, на площадке перед спортклубом, который финансирует Ножилов и который хотя и не является его официальной собственностью, но негласно считается его неприкосновенной территорией, какие-то мужики устанавливают пивной павильон.

– Сейчас буду, разберёмся. – Максим глянул на часы, матюгнулся и поехал к спорткомплексу.

По дороге набрал номер жены:

– Я задержусь. Возьми «десятку», езжайте сами. Увидимся в парке... Так надо.

Спорткомплекс в самом центре города и площадка перед ним, обнесённая высоким металлическим забором, – очень выгодное место. Максим давно бы мог устроить там платную автостоянку или даже торговый комплекс выстроить, не то что пивной павильон на лето поставить, но он твёрдо решил ничего там не строить, как играли его боксёры на этой площадке в футбол, так и будут.

Въехал в ворота спорткомплекса. Мышкин в своём стареньком, но опрятном спортивном костюме стоял на крыльце. Но Максим не пошёл к нему, сразу на площадку двинул, где бригада в синих комбинезонах уже натянула голубой тент с надписью «Пиво» и теперь лихо устанавливала прилавок и столы.

– Построились! – рывкнул Ножилов. Но никто не обратил на него внимания, все занимались своим делом. И тогда Максим вдруг резко качнулся к одному из рабочих, и кулак его вошёл в толстый живот, как в подушку.

Мужик тяжело осел на пластиковый стул, который сразу же повалился под ним, и бедолага лежал с задранными ногами, видны стали стёртые подошвы его полуботинок и белые носки с весёлой желтой каёмочкой.

– Построились, – повторил Ножилов тихо, но на этот раз его услышали. Шесть человек в синей униформе встали перед ним в одну шеренгу. Седьмой – в белой рубашке с короткими рукавами, в чёрных с безукоризненной стрелкой брюках и с блестящей на солнце лысиной – в шеренгу не встал, голос подал:

– В чём дело?

– Сейчас объясню, – Максим лишь повёл плечом в его сторону, будто начиная удар, и лысый испуганно откачнулся, как бы случайно встал в шеренгу. Ножилов шагнул к нему, провёл ладонью по лысине:

– Диалектический переход от головы к заднице... Ты меня знаешь?

– Да.

– А я тебя – нет. Что тут происходит?

– У нас есть разрешение мэрии, у нас заключен договор с директором спорткомплекса...

– Разберёмся с директором. Кто твой хозяин?

– Роман Феликсович.

Ножилов набрал на трубке номер:

– Рома, тут твои орлы заблудились, так я им дорожку укажу... Да, да... Давай, если хочешь...

Максим протянул трубку окончательно раздавленному бригадиру, тот, видимо, выслушал указание своего начальника и подобострастно вернул трубку.

– Десять минут вам, – и Ножилов пошёл к Мышкину, с интересом наблюдая за сценой. Обиженный им толстый мужик сидел прямо на асфальте, постанывал и на Максима с ненавистью глянул.

– Вы ж по-другому не понимаете, – Ножилов хлопнул его по плечу.

Он подошёл к Мышкину, закурил и угостил сигаретой тренера. Тот сигарету взял, прочитал название:

– Дорогие.

– Ничего... Ну как, Николаич, могу ещё? – он на мгновение принял подобие боксёрской стойки.

– Хороший удар, Максим. Кулак, правда, немножко не довернул.

– Где пацаны?

– По домам. Вчера вечером только с турнира приехали, отдыхают.

– Как выступили?

– Семь призёров.

– Хорошо. Не забудь в прессу информацию дать.

– Не забуду, Максим. А лихо ты с этими разобрался.

– А с ними только так и надо. Больше не сунутся. Чужой земли ни пяди нам не надо, но и своей вершка не отдадим! Верно, Николаич?

Мышкин пожал плечами:

– Мне бы только работать спокойно. А ты совсем стал ...

– Какой?

– Солидный. А был – шпана шпаной.

– Да я, Игорь Николаевич, шпаной и остался. Слушай, а директор-то, Комаров-то, где?

– В отпуске. Уехал куда-то.

– Нюх, видать, потерял. Без спросу договора подписывает.

На площадке синие комбинезоны уже скрутили павильонный тент, закидывали в машину, крытую «газель», столы и стулья. А к Мышкину

и Ножилову шёл нетвёрдой походкой Валерий Семёнович Бубель – врач боксёрской команды. Одет он был странно. Парадный китель с погонами подполковника медицинской службы, белые брюки и какие-то босоножки. Он шёл, заранее улыбаясь, так что щёки на глаза налезали, выставив вперёд обе руки для пожатия.

– Что, Валерий Семёныч, празднуешь присвоение звания маршала? – спросил Ножилов, протягивая руку.

– Пап-ра-шу секунду внимания! – торжественно произнёс Бубель, сунул руку в боковой карман кителя, достал что-то, раскрыл ладонь, и на ней засверкал новенький орден Красной Звезды.

– Ничего себе. Это твой, что ли? – удивился Мышкин.

– Мой. За выход из Афгана. Награда нашла героя!

– Долго же она тебя искала. Ты на китель прикрепи, чего в кармане-то... – Максим подержал орден в руке и вернул Бубелю.

– А-а... Кому это интересно... – Подполковник сунул орден обратно в карман. – Обмоем, мужики!

– Не могу, Валерий Семёныч, работа, – отказался Максим.

– Э-э... Ты, Валера, извини, знаешь ведь, закодирован я...

– Эх вы! – Бубель махнул рукой и пошёл через ворота на улицу. В воротах остановился, обернулся и продекламировал, подняв вверх указательный палец правой руки: – Афганистан – страна чудес, зашёл в духан и там исчез, – снова махнул рукой и пошаркал дальше, не оборачиваясь.

– Когда ж он успел орден получить, да и напиться, если вы вчера вечером приехали?

Мышкин хмыкнул.

– Хотя, – Максим глянул на часы, – время-то... Ладно, Николаич, поехал я. Звони, если что.

Минут через десять Максим Ножилов подъехал к детскому парку.

Здесь было солнечно, весело, звонко. Ребятня крутилась на каруселях, бегала по дорожкам и газонам, молодые мамы чинно катали коляски, бабушки сидели на скамейках. Жену и сына Максим нашёл у высокого сетчатого забора, за которым гоняли на электрических машинах дети и взрослые.

– Привет.

Ольга промолчала, а Женька, худенький, русоволосый мальчик десяти лет, ответил нерадостно:

– Привет, папа.

Ольга молчала. Лучше бы она заругалась, истерику закатила. Но она не истеричка и никогда не ругается. Она молчит.

– Ну, пошли, Женька, на карусели, – наигранно весело позвал Ножилов.

– Неохота, – уныло протянул мальчик.

Постояли, посмотрели на суматошную бегодную машинок. Максим отошёл к киоску, купил два эскимо:

– Ну, ваше дело молодое, отдыхайте, а я на работу, – едва сдерживая себя, сказал и растянул губы в улыбку.

– Когда будешь? – подала голос Ольга.

– Я позвоню.

– Можешь не звонить.

Максим поскорее отвернулся, почти побежал к машине. «Так тебе хочется, да? Ну, пусть будет так...»

На встрече с Ромой ехать было еще рано, и он опять катил по городу без цели, и это было необычно для него, ежеминутно на что-то нацеленного.

Проезжая мимо рюмочной, видел Бубеля. Его белые брюки были испачканы чем-то красным, он что-то говорил, взмахивая правой рукой, как ора-

тор на митинге, а под левую его придерживал известный карманник Лёха Череп, наверное, Бубель получил не только орден, но и пенсию... Надо бы отвезти его домой, да ведь пьяный Бубель – это стихийное бедствие...

Тормознул у ресторана. Ел много и торопливо.

Позвонил в офис:

– Меня сегодня не будет, если что-то срочное – звони.

– Тут вас какой-то журналист ждёт, – сказала секретарша.

– Завтра.

Поехал на встречу с Ромой.

Они встретились в открытой кафешке на берегу реки. Сели за крайний столик, поближе к воде, на ветерок, им быстренько принесли кофе.

Зелень кустов и деревьев, солнечные золотистые чешуйки на воде, старинные здания церквей на каждом повороте реки.

– Хорошо у нас, тихо, красиво, – меланхолично изрёк Роман Феликсович Буцельман. Он был рыжеват, нос с горбинкой, глаза водянисто-голубые, в белой рубашке, серых брюках и кожаных шлёпанцах, на шее тонкая золотая цепка, золотой браслет на запястье правой руки. Невысокий, по-мальчишески стройный, даже, можно сказать, хрупкий.

– Мозги не компостируй. Что за дела объясни, чего в мою вотчину лезешь? – не поддержал его мирный, вернее, умиротворяющий тон Максим.

– Да ошиблись ребята, просто ошиблись.

– Не они ошиблись, а те, кто велел тебе устроить мне проверку на вшивость. Москвичи. Верно?

Буцельман ухмыльнулся, помолчал, крутнул зачем-то браслетик на руке:

– Ну, считай, что ты эту проверку выдержал.

К ним подседа молоденькая девушка:

– Господа, у вас свободно?

Рома брезгливо скривил губы и отвернулся. А Ножиллов спокойно, но строго сказал:

– Отойди, мешаешь.

Девушка села за соседний столик, всё посматривала на них.

– Макс, неужели ты не понимаешь, что если мы не войдём в их команду, нас просто отстреляют? – вставая, произнёс Буцельман.

– Я их сам отстреляю, так и передай. – Максим тоже поднялся.

И пошли в разные стороны – Ножиллов к своему джипу, а Буцельман к скромной «девятке».

Ветерок стал уже прохладный, чешуйки на воде порозовели.

Когда Максим открывал дверь машины, услышал через звуки льющейся из динамиков блатной музыки резкий хлопок, обернулся – Рома лежал у своей машины ничком, поджав левую ногу, шлёпанец с неё отлетел в сторону. Сразу было видно, что Буцельман мёртв. К нему бежали люди, девочка, сядившаяся к ним за стол, истерично рыдала, полотняно-белый бармен вызывал по мобильному телефону милицию. Максим Ножиллов быстро сел в машину и уехал.

«Рома не справился с заданием, и его отстреляли... Быстро у них. Ну, я-то им пока живой нужен. Чтоб сам на блюдечке всё поднёс. Не дождётесь».

Подъезжая к своему большому дому с узкими, почти как бойницы, окнами, он почувствовал что-то неладное. Ни в одном из окон не было света, только по углам и над входом горели фонари. Но охранник, распахнувший ворота, был, как обычно, спокоен и молчалив. Максим не загнал машину в гараж, сразу вбежал в дом, поднялся по широкой лестнице на второй этаж,

включил свет. На круглом столе, покрытом белой скатертью с тяжёлыми кистями, лежал криво вырванный из тетрадки листок в клетку. «Мы в деревне. О.» Максим сразу набрал номер жены, но её телефон, видимо, был отключен.

«Ну и ладно, значит, так надо». Он опустился на кожаный диван, сильно прожавшийся под его тяжёлым телом, выкурил сигарету. «Ну и ладно... На карачках и к тебе не поползу». Погасил свет и, не раздеваясь, лёг на диван, попытался уснуть.

Но не уснул. Думалось о жене, о сыне, об убитом Буцельмане. Вспомнилась почему-то та девочка, рыдавшая над Ромой. «Не просто так она к нам подсаживалась...»

Он спустился во двор. Завёл машину.

– Повнимательней тут, Сергей. Если что – сразу звони, – сказал охраннику. Тот молча кивнул.

Ножилов тормознул перед красным огнём светофора. И вдруг увидел себя со стороны: крупный, круглоголовый, немолодой уже мужчина, с усталым лицом, в белой рубашке с короткими рукавами; руки лежат на руле, предплечья мощные, а кисти небольшие, почти женские... Сзади гуднули, и он вернулся в себя. «Уснул я, что ли... Курить надо поменьше тоже...» И он опять закурил.

Припарковался у крупнейшей в городе гостиницы, прошёл в ресторан на первом её этаже.

Машка-чёрная сидела на обычном месте – за крайним столиком. На коленях её здоровенный антроцитно-чёрный котяра с широким золотым ошейником глазищи жёлтые жмурил, мурлыкал. «Ну, Машка... Ну, артистка...» В зале много знакомых: Костик с другого конца зала махнул, Гиви, глава грузинской диаспоры, мило беседует с Машкиными девочками, а рядом его двухметровый дебиловатый охранник. Певица в длинном и узком темно-зелёном платье поёт про то, как «летят перелётные птицы в туманной дали голубой...» Это уж Гиви заказал, его любимая. Тоже – патриот...

Максим подсел к Машке.

– Привет.

Она даже не кивнула ему, сразу сказала:

– Рому Буцельмана убили.

– Знаю... Слушай, у тебя есть такая молоденькая, светлая? Новенькая, кажется...

Её тонкая сигарета со сладким запахом дотлела в пепельнице до фильтра, и Машка длинным фиолетовым ногтем рассыпала аккуратный столбик пепла.

– И когда вам надоест в казаки-разбойники играть...

– В гробу я видал такие игры, – зло ответил Максим. – Молоденькая такая, в сером платье, – повторил.

– Вот именно, в гробу... Наташка... Валерьянкой её напоила и спать уложила... Не трогай её сегодня, Ножил.

– В каком номере?

– Не трогай.

– Да мне только спросить, не трону. Говори.

– В двести двадцатом.

Ножилов поднялся и увидел, как официант трясёт за плечо Бубеля, одиноко сидящего за столом, пошел к ним.

Бубель сидел, уткнувшись лбом в стол, в правой руке был зажат орден, звезда, и струйка крови из пораненной ладони уже засохла на скатерти.

– Сколько с него? – спросил Максим.

– Пять, – охотно откликнулся официант. – Втроём гуляли, двое ушли.

– А ты и рад. На. – Ножилов подал деньги. Добавил ещё купюру: – Посадишь Валерия Семёновича в такси. Таксисту сверху дай, чтоб до квартиры довёл. Я проверю.

– Всё сделаю, не беспокойтесь.

Максим вышел из ресторана и поднялся на второй этаж, нашёл двести двадцатый номер. Дверь оказалась не заперта. Он вошёл. Горела настольная лампа. Девушка, та самая, спала на широкой двуспальной кровати, уткнувшись в подушку, поджав ноги.

Она будто почувствовала его взгляд, встрепенулась, села, одёрнула платье.

– Не бойся, не трону. – Ножилов сел в кресло, двинул к себе пепельницу из толстого зелёного стекла, закурил.

– Ты кто?

– Наташа.

– Знала Рому?

Она кивнула. Губы её опять задрожали.

«Влюблённая проститутка. Рома использовал и бросил».

Только сейчас Максим внимательно разглядел ее: припухшие от слёз, карие, кажется, глаза, чёлка косо спадает на лоб, серое платьице. Вся фигурка ещё девчоночья.

– Студентка?

– А твоё какое дело! – зло вдруг ответила она. – Чего ты пристал!

– Да так... «А может, попробовать?..» – в голове мелькнуло.

И она вмиг почувствовала его мысль:

– Не подходи, – глаза по-кошачьи сузила, даже как будто когти выпустила.

– Я ж тебя, сучка, двумя пальцами удавлю, – процедил Ножилов.

И девушка сразу обмякла, отвернулась к окну.

«И чего я, правда, к ней пристал? Что она может знать?» – Максим раздавил в пепельнице окурок, поднялся:

– Ладно, Наташа, отдыхай. А о Роме не жалея, не стоит того.

– Как у вас всё просто. Любой стоит жалости.

– Ну-ну... Это ты в институте своём заучилась. Он-то тебя пожалел?

Она опять зло вскинулась, но Максим не дал ей сказать:

– Меня знаешь. Приходи, возьму секретаршей. Не трону. – И вышел.

Он уже садился в машину, когда она выбежала на широкое гостиничное крыльцо:

– Подождите!

– Чего ещё?

– Увезите меня.

– Домой?

Она отрицательно мотнула головой.

– Садись.

Он повёз её на одну из своих квартир.

Квартира была однокомнатная. В кухне – стол, две табуретки, холодильник, навесной шкаф, окно без занавески, под потолком голая лампочка.

Максим заглянул в холодильник и захлопнул: ничего там не было, а в магазин он заехать забыл. Но в шкафу нашёл початую банку растворимого кофе, поставил чайник с водой на плиту.

– Ну, рассказывай, как до жизни такой докатилась, – попытался пошутить с девушкой.

– Я в душ, – ответила она, не принимая шутку.

– Ну, в душ так душ. Полотенце там есть.

Максим выпил чашку крепкого кофе. «Ах, что я делаю, зачем я мучаю больной и маленький свой организм? Ах, по какому же такому случаю, ведь люди борются за коммунизм», – вспомнил когда-то слышанный куплетик. И вслух повторил: «За ком-мунизм». Пошёл в комнату, не раздеваясь вальнул на широкую кровать, только полуботинки скинул.

И опять увидел себя со стороны, сверху, лежащего ничком на бордовом в чёрных разводах покрывале; в носке на левой ноге дырка, на пятке. Особо чётко увидел эту дырку и жёлтую пятку – непорядок...

Почувствовал на шее что-то холодное, очнулся, вскинулся.

Девушка с широко распахнутыми испуганными глазами склонилась над ним. Она была укутана до выпирающих ключиц в махровое полотенце, капли с её волос падали на него.

– Ты чего?

А она вдруг заревела, села на кровать, рядом с ним.

– Чего ты?

– Мне показалось, что ты умер. – И заревела опять.

– Поживу ещё.

Спала она тихо-тихо. Максим боялся шевельнуться, потревожить её. А когда проснулся утром, её уже не было.

«Старею, что ли? С бабой спал и не тронул», – сам себе удивился.

Позвонил в офис.

– Как дела? Буду после обеда.

День опять непростой начинался. Сегодня встреча у мэра. Неофициальная, на даче.

В большом загородном доме собрались: мэр города Долгов, зам его по строительству Велиханов, местный банкир Синайский и представитель московской финансовой группы, активно прибиравшей к рукам лесоперерабатывающие предприятия области, а заодно скупившей в их городе уже множество магазинов, швейную фабрику, кирпичный завод, Игорь Степанович Щелкан. И Максим Ножилов там оказался.

Они сидели на веранде второго этажа, в прохладной тени. На столе запотевшие бутылки с минеральной водой, фрукты.

Долгов на правах хозяина начал разговор. Он статен, высок и усат. А глаза – мышастые, бегающие, за взгляд не зацепишься... Заговорил, мол, Москва ведь не чужое государство, и если москвичи восстанавливают предприятия, вкладывают средства в местную экономику, что в этом плохого?

«В тебя, видать, уже прилично вложили», – подумал Максим.

Разговор-то, собственно, шёл о двух леспромхозах принадлежащих Ножилову, которые он никак не хотел отдавать-продавать.

Максим всё понял, что для него было сказано. Ответа прямо сейчас никто и не ждал. Но долго ждать тоже не будут, вот этот Щелкан щелканистый – не будет. Рома – последнее предупреждение.

Щелкан – вальяжный, в сером льняном костюме, уперся взглядом в него. И Максим, с ухмылочкой своей нагловатой, отрицательно мотнул головой.

Засобирались в баньку, что во дворе стоит у пруда, хотя всем уже было неинтересно общение. Всё было ясно. Но нужно было сохранять видимость непринуждённых приятельских отношений.

Каждый из них (кроме Ножилова) приехал со своим охранником-телохранителем, которые всё это время находились внизу, в бильярдной. Все они были крутые ребята. И что уж они там не поделили, неизвестно. Боссы, спускаясь по лестнице, лишь слышали, как телохранитель Щелкана спрашивал:

– А чего ты благуешь-то, а?

– Тебя не спросил, – резонно ответил хранитель банкирского тела.

Они сошлись – один резкий, взрывной, второй – неторопливый, самоуверенно-спокойный. И не могли же они знать, что у обоих излюбленный приём – удар лбом в переносицу противника.

И сшиблись два могучих лба.

Оба, постояв, будто пытаясь переждать супостата, начали медленно оседать, закатывая глаза.

– Чего стоишь! – рявкнул Долгов на дежурившего у входа милицейского лейтенантика. – Аптечку тащи!

– Не к добру это, господа, – прокомментировал ситуацию Щелкан. И опять в Максима взглядом уставился. Они рядом стояли, но Максим ещё шагнул к нему, в ухо сказал: «У меня лоб покрепче будет. Твоего».

Он не пошёл в баню. Распрощался. Поехал в офис.

И с депутатством решил окончательно – будет выдвигаться.

А жара была: казалось, ещё немного, и весь город упадёт от солнечного удара – люди, мосты, дома, животные, деревья. Возможно, лишь вон та ворона, тяжело проталкивающая себя крыльями в горячем небе, вырвется в прохладу болотистых лесов к северу от города...

И джип его встал, будто влип, поблизости от пивного ларька. Ножиллов решил взять холодненького. Вышел. И тут его окликнул явно чем-то напуганный, неопрятный мужчина:

– Друг, тебя можно спросить?

– Спроси.

Мужчина быстро огляделся по сторонам и тихо произнёс:

– Мы на какой планете находимся?

– Мы находимся на планете Земля, – серьёзно ответил Максим.

– Значит, и сюда добрались! – с неподдельным отчаянием вскрикнул мужик. И на Максима пронзительно глянул, выдохнул: – Да ты ведь и сам из них! – И рванул в сторону, побежал бедолага.

Ножиллов как-то особенно чётко увидел окружающее. Улица похожа на картинку из глянцевого журнала: зеркальные витрины магазинов, рекламные щиты, красивые вызывающе-полуголые девушки, самоуверенные юноши, иностранные машины... И разрушая эту картинку, не давая ей сбиться: старик, собирающий пустые бутылки, усталые глаза идущей мимо женщины. И он, Максим Ножиллов, зачем-то тут...

Забыв про пиво, Максим сел в машину и уже вскоре входил в свой офис.

Его подждал какой-то парень, сидел в приёмной на стуле. Поднялся, как только Ножиллов вошёл: среднего роста, худощавый, в высоких шнурованных ботинках, джинсах, футболке с какой-то надписью, длинные волосы, усики, бородёнка.

– Максим Петрович, здравствуйте, – затараторил, – я корреспондент газеты «Курилка», хочу взять у вас интервью. – И удостоверение протянул.

Ножиллов не поленился, взял книжицу с надписью по красному фону – «Пресса». Раскрыл. На фотографии, точно, был этот парень, а фамилия его была – Заборный.

– «Мурзилка», говоришь...

– «Курилка», – поправил журналист.

– Ну, пошли, Подзаборный, потолкуем. – И бросил молодой симпатичной секретарше: – Катя, я занят.

– Максим Петрович, вы известный в нашей области человек, расскажите, пожалуйста, каким был ваш путь наверх. Нынешняя молодёжь

нуждается в подобных примерах, – опять забарабанил Заборный, едва вошли в кабинет.

«Ментами, что ли, подослан? Или дурак?.. Похоже, что дурак».

И он взял да и рассказал, как начинал когда-то с мелкого вымогательства в юности, с киосков коммерческих, и, изображая отчаянную откровенность, приврал про устранение конкурентов.

Паренёк заметно струхнул от таких откровений, диктофон в руке задрожал.

– Вот и всё, господин журналист, – закончил Ножилов, выдернул из его руки диктофон, достал кассету и бросил в ящик своего стола. – Не задерживаю. Будь здоров, не кашляй.

Заборный, пятась и даже, кажется, кланяясь, вышел.

Максим удовлетворённо откинулся в кресле, усмехнулся. Он и сам не знал, зачем поиздевался над этим Заборным. Так захотелось. Пар выпустил. «Пример для молодёжи... Дурак...» Потыкал в кнопки сотового:

– Коля, зайди.

И вскоре зашёл упругой и в то же время расхлябанной походочкой Коля – невысокий, худошавый, в простых чёрных брюках и цветастой рубаше. Развалился небрежно в кресле для посетителей, но чувствовал себя явно не посетителем – если уж не хозяином, то ровней хозяину.

– Коля, надо узнать всё по убийству Буцельмана, по всем каналам. – И глянул на него внимательно: – Или уже знаешь?

– Нет... Странно. Никому он вроде уже не мешал. Хотя мало ли кому Рома на мозоль наступил... Узнаем. – И тут же сам сказал Ножилову: – Пора, Макс, братву подогреть.

– На следующей неделе будут деньги.

– Ладно, – сказал Коля, поднялся, подмигнул Ножилову и вышел, не до конца закрыв за собой дверь.

Максим видел и слышал, как Коля, подойдя вплотную к секретарше, спросил:

– Шлёпаешь? – и сам её шлёпнул.

– Руки не распускайте!

– Не тявкай, сучка, удавлю, – спокойно ответил Коля и блатной своей походочкой прошаркал к двери, вышел из приёмной. Секретарша, Катя, глянулась в зеркальце, стоящее перед ней на столе, и поправила причёску. Максима через приоткрытую дверь она не видела. А он глядел на неё с усмешкой. Было у него с ней пару раз – будто и не было, и сейчас она, красивая и доступная баба, абсолютно ему безразлична. «Правда, что ли, старею?...»

И увидел – Наташа в приёмную входит.

– Здравствуйте, – Кате сказала.

– Проходи, проходи, – не давая вступить в разговор секретарше, позвал Максим девушку.

Она прошла в кабинет, прикрыла дверь.

– Садись.

Села на краешек кресла.

– Здравствуйте. Я подумала и пришла, хочу работать у вас.

– А я звал тебя, что ли, работать?

– Да, вчера... – удивление и обида в глазах.

Максим даже сморщился болезненно, к сигаретам потянулся:

– Ну нельзя так, нельзя, – то ли самому себе, то ли девушке сказал. Закурив. А она сидела, опустив голову, не решаясь, видно, сразу уйти. – Ну что ты, как маленькая, – добавил Ножилов. – От Машки-чёрной ушла, что ли?

Она кивнула.

– Совсем?

– Совсем.

– Ну, и здесь тебе нечего делать, целее будешь.

Она встала, не глядя на него, пошла к двери.

– Стой! Вернись. Есть тебе работа.

– Нет уж, спасибо...

– Вернись, говорю. Обидчивые все до чего...

Девушка села на прежнее место.

– Значит, так. Будешь моим доверенным лицом. Прямо сейчас поедешь в избирательную комиссию, узнаешь, какие документы нужно подавать для выдвижения кандидата в депутаты городской думы... Чего так смотришь-то? Не устраивает что-то?

– В общем, устраивает.

– Ну, вот – всё это на тебе будет. Мне можешь звонить в любое время, на вот, – он достал из нагрудного кармана рубашки и подал Наташе белый кусочек картона с золотым тиснением – визитку. – Вот ещё, пока, – положил на стол две сотенные бумажки, достав их из того же кармана. Добавил к ним ещё одну и подвинул к девушке. – На транспорт, ну и мало ли...

– Спасибо... Как-то неожиданно...

– Ничего. Это жизнь, Наташа. Не бойсь, платить нормально буду.

Она не спросила сколько, и это ему понравилось.

– Ну так я пойду, Максим Петрович?

– Давай.

Когда девушка ушла, он попросил секретаршу сделать кофе.

Пил кофе, курил. Попытался отключиться, не думать. Но мысли о жене, о смерти Буцельмана, о Наташе этой – не оставляли. «Бестолково как-то всё в последнее время...»

Набрал номер жены. Всё то же: «выключен или вне зоны действия сети».

Домой ехать не хотелось, пусто там. И он позвонил Бубелью:

– Семёныч, я заеду минут через сорок, будь готов. В парк.

Набрал другой номер:

– Вовчик, ты мне нужен сегодня. Заеду в течение часа.

«В парк» – это на собачьи бои, которые проводят в пригородном парке.

Всё же пришлось ехать домой за Фредом.

– Как он? – спросил у охранника, по совместительству надсмотрщика за собакой.

– Готов. Меня-то возьмёте, Максим Петрович?

– Нет, Сергей. Оставайся и повнимательнее тут.

Охранник молча кивнул.

Бубель уже ждал его у своего дома. Одет сегодня прилично, в штатское. Только одутловатое лицо в лиловых прожилках и нервозность движений (он ходил по дорожке вдоль дома, торопливо куря) выдают похмелье.

– Ну, ты гульнул вчера, Семёныч, всю зарплату за этот месяц ухнул.

– Какую зарплату? Я в этом месяце не получал ещё.

– И не получишь. Ухлопал, Семёныч, ухлопал всю.

– А-а, – Бубель понял, в чём дело, махнул рукой.

– Да ладно, не переживай, отдельный гонорар выпишу сегодня.

Бубель оживился. Взглянул на себя в машинное зеркальце.

– Да-а, страшен лик алкоголика! Петрович, мне бы остограмиться, в счёт гонорара.

– Перебьёшься... – Но заметив, как нахмурился доктор, передумал. – Ладно, быстро давай. – Тормознул у рюмочной.

Минут через пять Бубель вернулся – порозовевший, весёлый.

– Жить стало лучше, жить стало веселей! – И пропел неожиданно: – А мы гуляли – не пропали и гульнём – не пропадём!

Фред недовольно рыкнул с заднего сиденья.

– Лежать, Фред, – пристрожил пса Ножилов.

Вовчик тоже ждал. Сидел на скамейке у своего подъезда. Гора мускулов и низкий лоб.

Когда-то Вовчика, мастера спорта по боксу, прихватили за драку, после которой его оппонент попал в реанимацию. Ножилову удалось откупить его от суда и следствия. Так он и получил в своё распоряжение эту бесплатную на всё готовую силу.

Выехали из двора. На обочине стояла бабулька, обычная, с палочкой и кошёлкой. И вдруг метров за десять перед машиной она шагнула на дорогу.

Максим резко тормознул, гуднул старухе, а она, не оглядываясь, семенила.

– Камикадзе, – процедил сквозь зубы Ножилов.

– Ещё нас переживёт, – не согласился Бубель. И добавил: – У этих старухек рефлекс на близкоидущий транспорт, как у собаки Павлова.

– А чё за собака, чё за Павлов? – заинтересовался Вовчик.

Бубель подробно и спокойно рассказал об учёном Павлове, о его экспериментах на собаках.

– Да, Семёныч, – уважительно сказал Вовчик, – сразу видно – высшее образование.

– Это же школьная программа, Володя.

– Не, Семёныч, в моей школе этому не учили, – твёрдо возразил боксёр.

Выехали в пригородную парковую зону, свернули на грунтовку и вскоре оказались перед круглой полянкой, обставленной машинами. Тут уже сустились собачники со своими «бойцами».

В бою против кавказца всё складывалось вроде бы удачно для Фреда. Но, хотя он всё время атаковал, результата не было. Пасть его забивалась длинной шерстью, и он уже явно уставал.

Ножилов смотрел, стиснув зубы. Вовчик глыбоподобно вздымался за немелкой фигурой шефа, посматривал строго по сторонам. Бубель переживал, будто сам дрался: наклонялся, отшатывался, взмахивал правой рукой. Только что сам не рычал и не кусался. В левой руке он держал чёрную матерчатую сумку с медикаментами.

– Рви его, рви! – не выдержав, заорал хозяин кавказца, плешивый и пузатый мужик в спортивном костюме. Максим обернулся на этот дикий крик, а когда снова глянул на собак – Фред полз по вспаханной когтями земле, собирая на выпавшие из брюшины кишки грязь, пыль...

Ножилов бросился к нему, подхватил на руки, безнадежно пачкая одежду, заорал на Бубеля:

– Защищай, зашивай, падла! Делай что-нибудь!

Вовчик расталкивал перед шефом зевак, расчищал дорогу к машине. Уложили пса на заднее, застеленное клеёнкой сиденье:

– Семёныч, сделай что-нибудь.

Бубель обломил наконечник ампулы, набрал жидкости в шприц и сделал укол. Через несколько секунд Фред, скульнув последний раз, закрыл глаза.

Ножилов сел за руль, рванул с места. Бубель тронул его за руку:

– Спокойно, Максим, спокойно... Когда-нибудь это должно было случиться. – И Ножилов внешне успокоился.

Вовчик решил пособлезновать:

– Ответят, суки, ответят они нам, Петрович.

– Заткнись.

Ножиллов остановил машину. Они были на въезде в город, с обеих сторон дороги болотина поросшая кустами.

– Доставай, – сказал Максим боксёру.

Вовчик достал мёртвое тело.

– Чего делать-то?

– Не знаю... Похорони, что ли, как-нибудь, – Максим сунул ему деньги и газанул, оставив задумавшегося боксёра на ночной уже почти дороге.

Ножиллов подвёз доктора домой и только тут сказал:

– Ты не обижайся, Семёныч, что я орал на тебя.

– Да ладно, Максим Петрович. Я ж вижу – тяжело тебе. – И неожиданно добавил: – А с женой тебе повезло. Любит тебя Ольга...

Ножиллов кашлянул, будто поперхнулся.

– На вот, – протянул Бубелью деньги. – Я бы выпил с тобой, Семёныч, да вот за рулём.

Доктор махнул рукой:

– Ерунда всё... А Вовчика зря обидел.

– А-а, – Максим тоже махнул рукой.

Бубель ушёл. А Максим Ножиллов поехал к своему дому.

Сказав про жену, Бубель задел его за живое. Тревога, неясная пока, нарастала в душе. «Ох, Ольга. Ольга...»

... Ольга долго сидела на крыльце. Темнеть уже стало, и ветерок знобкий с озера тянул. В деревне пустынно и тихо было. Проехала ещё засветло легковушка к озеру, шумно, с музыкой. И такие рожи уголовные на неё из машины пялились... И всё, тихо, пустынно. Тёмные дома. Лишь в одном горит ещё свет – тоже какие-то городские гости к бабушке приехали.

Дом его, Максима, родителей. И сам он тут родился. И разве она уехала от него. Нет – к нему. И он обязательно приедет сюда.

Ольга вошла в дом.

То ли она разбудила сына, то ли он и не спал.

– Мама.

– Что, Женька, ты чего не спишь?

– А ты?

– Я ложусь.

– Мама...

– Ну, что ты... Всё хорошо, всё хорошо, – погладила сына по голове.

Женька скоро уснул, а она ещё долго лежала в своей постели. С глазами открытыми в темноту.

Любит она своего Ножилова. Втюрилась в него, что называется, с первого взгляда. На какой-то училищной дискотеке, на которую пришли ребята из ПТУ, и Максим был среди них.

Она помнила, как ругались всё время её родители. Отец – человек слабый и добрый – пил, а сильная и властная мать пилила его. И отец умер. И Ольга не могла простить мать. Трудно жить с этим, а не могла... Поэтому хотела, чтобы в её семье всё было хорошо. Её не смущала его репутация сначала хулигана, потом бандита, а теперь удачливого богатого человека, она как-то и не думала обо всём этом, просто любила.

У них долго не было детей. Ольга лечилась, ездила на курорты. Она знала, что Максим изменяет ей, но не показывала вида. А он знал, конечно, что она знает, и не скрывал особенно-то измен, хотя и напоказ не гулял, но городок-то маленький... Но не сказав ничего сразу, она уже не могла сказать и потом. Она прощала его, находя оправдание в том, что не может

родить. И, главное, она знала, что нужна ему, что ни с одной другой ему не будет так хорошо и надёжно. Но теперь она жалела, что не сказала тогда... Может, он и правда работает круглыми сутками, как говорит. Не в этом дело. Устала она...

Наконец, родился Женька. Болезненный, с врождённым, как вскоре выяснилось, пороком сердца.

И рождение сына никак не повлияло на Максима, он так же отдавал всё время своим «делам». Но любил Женьку. И любит. Она знает это. И Женька знает.

И хотя Женька почти всё время был с ней, характер стал проявляться отцовский – упёртый. Как ни оберегала его – то подерётся в школе, то убежит с друзьями купаться на реку, в прошлое лето смастерил из картофельного мешка боксёрскую грушу, повесил за домом на дереве и лупцевал до истощения болезненных силёнок. Ольга, увидев его у этой груши, чуть в обморок не упала.

И всё молчит Женька. Слушает, кивает и делает по-своему.

Она вслушалась в дыхание сына. Прикрыла глаза. И уже в полудрёме вспомнила первую поездку на курорт.

Ездил без Максима. Отпустил. Даже – отправил. Очень хотелось, чтобы он поехал с ней, но не поехал. Поселилась в частном домике, на втором этаже, куда нужно было подниматься по крутой лесенке вдоль стены. Собственно, это была крытая веранда, разделённая на две комнаты тонкой перегородкой. Хозяева – муж и жена – жили внизу. Соседкой её оказалась тоже молодая женщина, тоже без мужа. Подружились ни к чему не обязывающей курортной дружбой.

На пляже Марина (так звали новую подругу) сразу познакомилась с двумя парнями. Понятно было для чего... Но в первый день ничего не произошло: выпили с кавалерами местного вина и разошлись, договорились встретиться завтра.

– Ну, сегодня пора, – сказала Марина на следующий день, собираясь на пляж.

– Без меня, – ответила Ольга.

– Ты чего?

– Ничего. У меня муж.

– Ну-у, подруга... Каждая имеет право на красивый короткий роман. Это не измена. Они там без нас – будь спокойна – не теряются.

Ольга не пошла с ней. Слышала скрип лестницы ночью, стук двери.

Через перегородку был слышен даже шорох скидываемой одежды...

Не изменяла она Максиму. И не изменит никогда. «Приезжай, приезжай...» – просила уже во сне.

... Максим гнал машину. Себя гнал. Туда – к жене и сыну.

Запиликал телефон.

– Да.

– Максим Петрович, добрый вечер, – приторно пропело в трубке. Костик – игровой.

– Здорово.

– Как насчёт партии в нарды?

– Да пошёл ты, – взорвался Максим. Выключил телефон, бросил трубку на соседнее сиденье. Трубка, вдруг, жалобно запищала, замигал экран. И затихла, вырубилась совсем, умерла – заряд кончился...

Близко уже деревня, скоро увидит своих. Фары выхватили знак у дороги – отворотка вправо. И Максим притормозил. Тяжёлый джип медленно, будто раздумывая, повернул вправо, в сторону от деревни...

Вскоре грунтовка круто взяла вверх, и здесь он остановил машину, вынул из-под сиденья фонарик, вышел, просветил себе путь.

Трава здесь была густая, а тропка совсем сузилась, стебли цеплялись за ноги, и подъём показался Ножиллову очень тяжёлым, а когда-то взбегал...

И выбрался на угор, негусто поросший соснами. Здесь сразу стало светлее. Ближе к звёздам, к небу. Максим выключил фонарик.

Деревенское кладбище. Тихое и нетесное. Погост. Оградки – больше деревянные, крашеные, есть и металлические, а многие могилы вообще без оград. Кресты деревянные либо железные, тумбы со звёздочками. Бугорки, густо поросшие травами, кто здесь лежит – уже никто не скажет... Вот похоронили человека, поставили крест, ходили на могилу дети, внуки, потом крест упал, сгнил, скоро и бугорок сровняется... И в этом есть какая-то глубокая правда. Сгниют когда-то и металлические кресты, и даже мраморные плиты городских кладбищ обратятся прахом...

Вот и его уголок – за единой оградой два креста. Отец и мать.

Стоял над ними Максим Ножиллов, думал... Простые были люди., жили, трудились на этой земле, дали жизнь ему, Максиму, и умерли, и всё... И он живёт. Мечтал, между прочим, в детстве стать археологом. А стал... Ну, кем стал-то?.. Ведь уже тридцать пять. Или ещё тридцать пять. И кто он? Зачем он?..

...А на въезде в деревню, у разбитого участка дороги, где Ножиллов неизбежно притормозит, в зарослях придорожного ивняка поджидают его двое, и у одного в руках автомат. Час назад им позвонили из города: «Встречайте, едет». И они – встречают. Минут двадцать назад слышали звук машины впереди. Предохранитель сдвинут, затвор передёрнут... Но куда пропала машина? Где Ножиллов?

Максим не стал спускаться к машине, напрямиком в деревню пошёл. К своим...

ЛЕШИЙ

Лес стал его домом...

Но он долго жил среди людей: обычным деревенским мальчишкой, подростком, парнем, мужиком.

Он отучился в сельской школе, потом в городе на механизатора, в армии два года отбыл и жил колхозным трактористом в родной деревне. Ничем не сманил его город.

Не успев жениться, к тридцати с чем-то годам он уже спился и состарился.

Отец его утонул по пьяни в пруду – нырнул и расшиб голову о лежавшее на дне тележное колесо, когда он, будущий Лёха Сафронов, ещё не явился на свет, а только удивлённо-сосредоточенно вслушивалась его мать в зарождавшуюся жизнь...

Когда умерла мать, он остался один в старом, ещё крепком, но уже надорванном доме.

Так бы, наверное, и жил без всяких изменений до смерти...

Объявившийся вдруг новый председатель колхоза сказал на собрании, что нужно, ежели хотят и дальше колхозом жить (а уже решено было за всех, что хотят), подписать какие-то заёмные бумаги... Подписали.

А потом все окрестные деревни оказались в таком долгу, неизвестно и перед кем, что деньги окончательно перевелись в их домах, и люди, выживая за счёт огородов и браконьерства, лишь чесали затылки, проклинали безвестно пропавшего из их краёв председателя и собственную глупость.

Да и людей-то в их краях немного осталось. Чуть оживала местность летом, с наездом дачников, а зимой – глушь, безлюдье.

Оставшиеся мужики пили (на что-то ведь пили!), да не отставали от них и многие бабы.

Лёха бы и так жил. Жили ведь другие-то.

Но вот в ту ночь решил не жить дальше дружок его Вовка Балуев – к сарайной потолочине верёвку приладил. И вёз Лёха гроб с телом друга в тракторной телеге на кладбище, помогал опускать в яму, бросал глинистую землю... Нет, не от долгов и безденежья он это сделал, а скучно стало, бессмысленно – так понял он про дружка своего Вовку.

И ему, Лёхе, тоже ведь скучно. Смертельно скучно. И тоже захотелось всё это прекратить. Но не как Вовка.

Уволился он из колхоза, собрал кой-чего, пса Шарика свистнул и в лес ушёл.

И лес принял его, как дом. Но поначалу это был будто бы и родной, но давно покинутый дом, который надо было узнавать-вспоминать, привыкать к жизни в нём.

Неспешно срубил избушку. Прикатил с недалёкой брошенной деляны-лесосеки бочку из-под соляры (три дня только на эту бочку ушло), установил её на камни (неподалёку был и лесной ручей, вымывавший на поворотах валуны), вырубил зубилом (ещё два дня) отверстие в боку (за печными трубаками пришлось ходить в деревню), обложил её теми же камнями, обмазал глиной – знатная печь получилась. Верши на ручье поставил – с рыбой жил. Рябков постреливал. Успел за осень и грибов-ягод заготовить. Грибы солил, сушил. Ягоды мял с сахарным песком.

Поначалу частенько ещё в деревенский дом наведывался – то одно, то другое... Потом жизнь лесная наладилась.

И уже поздней дождливой осенью бывало время посидеть у печурки, стругая какую-либо нужную в хозяйстве палочку; и Шарик, старый, беспородный и бесполезный в охоте пёс, но единственная живая душа при нём, лежал у его ног, прикрыв глаза, уложив большую седую голову на лапы. И странно было Лёхе Сафронову, что вот так просто оказалось уйти от тех проблем, что постоянно нудили душу среди людей. И жалко было Вовку Балуюва, избравшего иной выход.

Иногда ему казалось, что в этой лесной жизни он проживает какую-то другую, не свою жизнь, может, давно бывшую или какую-то параллельную жизнь. Но особо, как и сам говаривал, «не грузился» всякими «философиями», а постоянная работа помогала тому. Бывали спокойные дни, а бывали такие, что едва ноги до топчана дотягивал.

Нет, ниточка, вязавшая с внешним миром, всё же осталась. Зимой стал ходить (раз в две недели примерно) в посёлок (не в свою деревню, чтобы не было вопросов да разговоров). Продавал там пушнину (белка, куница, хорь, двух лис взял капканами), покупал хлеб и соль, больше ему почти ничего и не требовалось. В оплату за пушнину брал ещё порох и дробь. Обманывал его перекупщик (знакомый мужик, в одной же и школе когда-то учились), конечно, безбожно. Но Лёха не то что не жалел, даже не думал об этом – о том, что обманывают-то его...

Поначалу он всё боялся, что начнут искать его да таскать за долги (полторы тысячи нужно было платить каждый месяц, притом что заработок в две тысячи считался в их местах хорошим). Но не искали, не таскали... Он и не знал, что к зиме вся эта история с кредитами утряслась – то ли нашли и призвали к ответу афериста-председателя, то ли с банком расчитались «из бюджета», как обещал сперва глава района, а потом даже и губернатор, когда история эта попала на бойкое перо какого-то журналиста. Всё это Лёху уже не интересовало. Он жил своей (другой, параллельной?) жизнью.

...Он шёл на лыжах по твёрдоукатанной синей лыжне, чуть припорошенной за ночь, проезжал под арками согнутых снегом берёз, мимо елей с черно-зелёными в белых пластах ветвями, он легко скользил в искристом солнечно-морозном беззвучном воздухе.

«Лиса!» – ярко мелькнуло в голове, когда увидел рыжий ком на снегу. И он быстрее зашлёпал короткими широкими лыжами. Но, ещё не подбежав к капкану, знал, что ошибся, но не мог понять, что там за добыча.

Оказалось, что это здоровенный тёмно-рыжий кот. Никакой не лесной (таких в этих краях не водится), обычный деревенский котяра. Он лежал не двигаясь, беззвучно, и только по быстро поднимающемуся при дыхании боку было видно, что он живой. Задняя правая лапа его была перебита стальными клещами капкана, и если б были у кота силы – дёрнулся бы и оторвал (лисы иногда даже перегрызают зажатую капканом лапу).

Лёха высвободил мявкнувшего от боли кота, скинул ватник, снял свитер, завернул в него бедолагу, натянул снова фуфайку и побежал, оставив в стороне палки, прижимая к себе живой, временами жалобно мявкующий, свёрток.

Привязанному у избушки, не взятому сегодня в лес Шарикку скомандовал:

– Фу! Нельзя! – и выпустил пса тоже в жильё. – Вишь, какая беда-то приключилась, – добавил ещё для Шарика, который, нервно дёрнув носом, лёг у выстывшей печки, равнодушно прищурил глаза.

Лёха уложил кота поближе к печке, перевязал лапу чистой тряпицей и, несмотря на его нутряной рывк, поправил, вроде бы соединил перебитую

кость. Растопив быстренько печурку, разогрел вчерашнюю налиమ్ью уху (налимьи часто попадались в ондатровые ловушки, стоявшие на незамерзающем речном перекате), налил в блюдце, под нос коту поставил. Тот вроде бы сначала ткнулся, лакнул, но не стал есть, отвернул даже к стене большую лобастую голову с короткими и какими-то вялыми ушами...

Вечером Лёха решил размотать тряпицу на лапе – плохо было дело, гниль уже от раны тянуло.

И он решил...

Короткий и узкий, бритвенно отточенный «шкуровочный» нож прокалил над огнём, истолок в пыль сухую дровяную труху.левой рукой безжалостно прижал кота: «Терпи, Рыжик», – сказал. А правой – одним махом отпазгнул мёртвую лапу. Кот беззвучно оскалил вострые мелкие зубы... Присыпав культу трухой, Лёха накрепко завязал её и больше не смотрел на кота (не хотелось увидеть смерть). И он не увидел, как Шарик приблизился к Рыжику, деловито обнюхал и отошёл на своё место.

Утром кот был жив, лежал, всё так же мелко и быстро дыша. Лёха опять налил ему уха, свистнул Шарика, закинул за спину ружьё и ушёл по пути-ку проверять капканы да и белок пострелять.

И вечером Рыжик был жив. Причём блюдце было пустое, а кот спал...

Так и зажили втроём.

Рыжик вскоре бегал на трёх лапах, опираясь и на культу. И даже при-тащил как-то в избушку синичку, к ногам Лёхи положил.

Так прожили первую зиму. Однажды, в странно-неудобное для таких работ время, в середине весны, он услышал рёв трактора в направлении недалёкой лесосеки, вскоре оттуда же налетел и адский вой бензопил.

Лёха стал искать новое место. Приглядел на берегу тихой лесной речки, впадающей в такое же тихое озеро.

Километрах в десяти это было от первой, уже полюбившейся, обжитой избушки. Быстро, в два дня сруб поставил, крышей накрыл. Потихоньку стал перетаскивать вещи. Успел. В последний раз к старой избушке пришёл – там уж и забирать-то было нечего, но захотелось проститься. Как чувствовал – всё там было разворочено, загажено... И рёв бензопильный, чад дымный...

Стал обживаться на новом месте. И Шарик при нём. А Рыжик пропал. Перенёс его Лёха на новое место, а он ушёл куда-то. Может, в деревню, может, в лес... Ну, работы опять много было – некогда о котах горевать... И к новой зиме Лёха не хуже, чем к прошлой, приготовился.

Зашёл как-то в поселковый магазин – хлеба, соли, спичек купить. Тут-то и окликнул его участковый старший лейтенант Козлов:

– Здорово, леший...

Он уже знал, что так его называют. Не обижался, чего обижаться-то. Лёха – Леший, какая разница. Леший, значит, лесной...

– Здорово.

– Вот что, – сразу быка за рога взял Козлов, – ты давай, меняй дислокацию или вообще, выходи из леса...

– А чего?

– Ничего. Заповедник будет вокруг озера, не положено там охотиться. Всё! – рывкнул вдруг милиционер. – Я сказал! Я тебя по пяти статьям привлечь могу! Чтoб ни тебя, ни собаки... Проверю! – И вышел из магазина, дверью хлопнув.

Осень уже была. Не успеть новую-то избушку срубить. Да и зачем уходить? Кому он мешает? Какой заповедник?..

Подумал Лёха да и не стал никуда переселяться. Жил тихонько, как и жил.

... Никакой не заповедник, конечно, а вот что: вспомнил один крупный культурный деятель из Москвы своё дворянское происхождение и что будто бы в тех краях, где жил ушедший от мира Лёха Сафронов, была вотчина его предков. Приехал, посмотрел. Заместитель местного губернатора при нём был – все прихоти исполнял. По озеру на моторке прокатились, порыбачили, поохотились – аж сорок с лишним гусей сбили, расстреляв перелётную стаю (весной ещё дело было), место под усадьбу насмотрели. А над окрестными лесами на вертолёте летали. Сперва лесосеку приметили. «Убрать!» – скомандовал заместитель губернатора. Потом сам деятель культуры, дирижёр мирового уровня, разглядел избушку в лесу, неподалёку от озера. «Это что?» – спросил. Начальник районной милиции подобострастно откликнулся: «Разберёмся!»

Ну и закрутилось с тех пор. Все земли вокруг озера вскоре стали частными владениями. «Чёрных лесорубов» быстренько выкурили из леса. Ну, а Сафронову Лёхе участковый всё объяснил...

Не знал Лёха ничего этого. И уходить никуда не собирался. Думал, что так – пугает участковый, а может, на свою долю от Лёхиного пушного «бизнеса» претендует.

... По осени московский барин решил приехать на охоту в свою вотчину. К этому событию всерьёз готовилось областное руководство. И даже сам губернатор решил вдруг стать охотником. В район были спущены строжайшие указания о пресечении всяческого браконьерства на частных землях мирового дирижёра. И в одно пасмурное волглое осеннее утро участковый милиционер капитан Козлов, проклиная дождь, начальника районной милиции, Лёху Сафронова и всех дирижёров на свете, в плащ-палатке с накинутым на голову капюшоном, в резиновых сапогах, пробирался к новому месту обитания Лешего.

– Я же тебя предупреждал. Чтоб завтра же тебя здесь не было. А могу и сейчас задержать тебя. Ружьишко-то не зарегистрированное... Так, так... – Козлов стоял посреди избушки, занимая добрую её треть, вода стекала с него ручьями. – Чего, Леший, арестовать тебя, а?

– Нет... – обречённо ответил Лёха.

– А ты молчи, – как человеку, сказал капитан рыкнувшему псу. И Шарик от этих слов по-человечески испугался, под нары лёг и глаза зажмурил.

– Уходи, Леший, и подальше, подобру-поздорову. Тут скоро не я буду ходить, а такие... чикаться не будут...

– Уйду, – обречённо сказал Лёха.

Козлов ушёл, даже не обсохнув, не выкурив сигарету.

Лёхе впервые захотелось пнуть пса, но тот всё не вылезал из-под низких, грубо сколоченных нар. Сафронов стал собирать вещи, скидывать в потрёпанный рюкзак нехитрое своё барахлишко.

Уходить надо в деревню, в родительский дом. Хотя дом-то его настоящий, древняя родная таинственная родина – здесь под влажной сенью вековых елей, между красных смолистых стволов сосен, в запахе прелой хвои, папоротника, в шорохе зверя... Не успеть уж избушку срубить, запас сделать к зиме где-то на новом месте, не успеть...

Уже больше года он не пил. И ведь и не хотелось ничуть, а в той жизни не мог без водки ни дня прожить. А бутылка на всякий случай была у него, от простуды. И сейчас, не задумываясь, сорвал пробку.

... Думалось, что вырвался из той адской машины, перестал винтиком быть. Но нет, достали – иди-ка ты, винтик, на своё место...

А участкового Козлова уже ждали в посёлке. Начальник райотдела, а с ним (вернее, конечно, он при них) трое крепких, немногословных мужиков в неброском камуфляже.

– Ну, веди, поторопим твоего Лешего. Завтра ведь прилетают. Ты чего раньше-то думал? – выговаривал подчинённому начальник райотдела. А трое камуфляжных шли за Козловым молча, цепко и неприметно вглядываясь в окрестности.

– Да уйдёт он сегодня сам. Не надо его трогать, – подал вдруг голос Козлов, когда вышли на неприметную тропку, тянущуюся вдоль озера.

– Веди, веди, – бесцветным голосом проговорил один из троих камуфляжных.

...Грохнул выстрел, и их окатило холодным душем с еловых ветвей. И все пятеро рухнули в мокрую траву, и трое, натренированно откатившись с мест падения, мгновенно сунули правые руки под одежду...

– Ну... ну... – забормотал главный районный милиционер.

– Подождите, я переговорю с ним, – сказал Козлов.

– Давай, говори. Говори! – приказал камуфляжный, откатился за кусты, поднялся и, пригнувшись, побежал к избушке.

– Сафронов! Лёха! Не стреляй!

И опять грохот выстрела...

Когда он перезаряжал ружьё, камуфляжный, выбив ногой дверь, влетел внутрь. Он бы, может, и не стал стрелять, но пёс бросился на него и в прыжке был сбит выстрелом из короткоствольного, будто игрушечного автомата. Вторым выстрелом наповал был убит Алексей Сафронов.

...Ободранный, мокрый, трёхлапый рыжий кот обошёл, выгибая спину, то и дело фыркая от едкого запаха, вокруг груды обгорелых брёвен. Навострил вдруг уши, видно, услышав, что-то опасное для себя. Мгновенно пружинисто прыгнул в траву, под лапы вековой ели и исчез.

Владимир СЕДОВ

МОНТРЕ́*

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России. Живет в Нижнем Новгороде.

Меня совсем неожиданно пригласили на киносъёмки, в качестве актёра на небольшую роль в новый фильм известного режиссёра.

Швейцария, Женевское озеро, бархатный сезон.

Зачем я для этого нужен – непонятно. Ладно был бы я звездой Голливуда, но я никогда не снимался в кино, тем более у такого мастера, обладателя почти всех, да не почти, а всех кинопремий мира и не по одному разу.

Когда впервые прослышал о планах снять меня в новом шедевре, не поверил. Я не настолько глуп, чтобы не понимать – актёр из меня никакой.

Ещё будучи учеником второго класса средней школы, с позором был изгнан из драмкружка клуба имени Кринова, после того как в групповом прочтении стихотворения Сергея Владимировича Михалкова: «Делать было нечего, дело было вечером...», на репетиции концерта в честь Восьмого марта, никак не мог произнести фразу «... вот у Коли, например, мама – милиционер!» Как бы я ни старался, у меня получалось «мильцинер». Мне даже пригласили актёра, специалиста по технике речи из нашего академического театра, чтобы он со мной поработал.

Актёр долго и упорно учил меня правильно выговаривать слово «милиционер». Но он приехал больной и разговаривал со мной, кутаясь в шарф и держа руки в перчатках, что очень удивило меня и отвлекло. И я никак не мог сосредоточиться на том, что он мне говорил. Мне понравились его перчатки с тремя строчками на каждом пальце. Я упрямо повторял «мильцинер» и все время смотрел на его перчатки, качающиеся из стороны в сторону перед моим носом. Намучившись вволю, артист театра сказал руководителю кружка о моей полной безнадежности. Меня отстранили от участия в концерте, а затем выгнали из драмкружка за профнепригодность.

И поэтому, чем руководствовались при отборе на эту кинороль, пока было непонятно.

Вначале я подозревал, что мне готовят какую-то каверзу, но когда прислали текст, я успокоился.

Фильм по новелле Бунина: путешествие на пароходе по Волге в 1907 году. Мой герой, преуспевающий промышленник, ввязался в спор со студентом о необходимости или ненужности перемен в Российской самодержавной империи, как раз после первой русской революции 1905 года. Роль мне понравилась.

Но я понимал, что даже сняться в кратком, едва заметном эпизоде у режиссёра, имеющего за своими плечами «Оскара», несколько золотых «Львов»

* Монтрё – город на западе Швейцарии, во франкоязычном кантоне Во. Курортный город на Швейцарской Ривьере.

и «Медведей», Гран-при Каннского кинофестиваля, это и для любого народного артиста было бы за честь, а уж для молодого, начинающего – прямая дорога к славе, успеху и востребованности. А тут – я. Что? К чему?

Но, так и не найдя объяснения, я подписал договор и вылетел в Цюрих.

Ночью меня встречала машина, и вскоре я был на берегу Женевского озера, в отеле «Монтрё-палас». Номер на втором этаже напоминал огромную квартиру. Одна только ванная комната была метров пятьдесят. Как мне сказали, здесь в этом номере жил Владимир Набоков.

В десять утра меня разбудил звонок помощника режиссера. Она предупредила, что через час за мной приедет машина, то есть на сборы и завтрак будет шестьдесят минут.

Машина пришла минута в минуту.

Уютный микроавтобус катил меня по берегу Швейцарского озера.

Я не глядел по сторонам и не восхищался этой сказочной страной, не вдыхал с жадностью этот высокогорный, экологически чистый воздух. Я не любил Швейцарию. Но я не любил ее не за то, что здесь все так хорошо, а у нас все так плохо, а за то, что у нас очень плохо, а здесь все слишком хорошо. Эта нелюбовь была не от зависти. А от страха, что и мы когда-то доживем до этой пугающей стерильности и правильности. А для настоящего русского это – смерть.

Наконец микроавтобус въехал в съемочный городок, состоявший из ангаров и огромного количества пассажирских и технических автобусов.

Вначале, меня повели в костюмерную.

Молодая полненькая русская девочка армянского происхождения стала комплектовать для меня костюм. Все время сверяясь с какой-то своей шпаргалкой. Брюки, шляпу, жилетку, рубашку, ботинки и галстук подбирали быстро. Я примерил. Все подошло. В зеркало на меня смотрел этакий полубанкирчик, полубуржуа, полноватенький хитрован. Но когда приклеили бороду, подстригли усы и подрисовали глаза, то я уже стал более солидным и более серьезным.

Готового к мировой известности, теперь меня повели на смонтированную для съемок пристань с русским названием «Приволжск». Там посадили в маленькую моторную лодку, и мы поплыли к черной точке, где-то там вдалеке на озере.

Точка оказалась пароходом, на котором и должны происходить все события во время путешествия героев Бунина по русской реке Волге.

Я уже знал, чем была вызвана эта ситуация, почему Волгу снимали на Женевском озере. Просто к нашему настоящему времени в России не сохранилось ни одного колесного парохода. Все «колесники», которые плавали сегодня по рекам России, были «новоделами». Они только снаружи, как декорации, напоминали знаменитые волжско-окские колесные пароходы, а внутри были простыми современными винтовыми баржами.

А здесь, на Женевском озере, сохранились два парохода выпуска 1910 года в том виде, какими были сто лет назад. А так как часть съемок должна была проходить и в машинном отделении, где мощные металлические машины с огромными шатунами крутили колеса, то решено было снимать здесь, на Женевском озере. Единственное, что омрачало, – это швейцарская погода. Здесь, в Монтрё, с утра могло быть солнышко, к обеду – дождь, а к вечеру – снег. Это не российский Приволжск, где если уж наступило ведро (теплая, ясная, солнечная погода), так оно и стоит неделю, а то и месяц, что в общем-то и было у Бунина в его новелле.

Наконец, мы на моей «пыхтелке» догнали пароход, который носился по озеру и ловил солнце.

За ним, этим пароходом, гонялась баржа, на которой было все оборудование для съемок. За этой баржей носились маленькие катера обеспечения. Так вот: эта кавалькада, кочующая по озеру, вносила шумное разнообразие в лагерь тихих и мирных швейцарцев, живущих по берегам этого спокойного озера, и еще раз подтверждала мысль о том, что русские – это не швейцарцы, тишины не любят.

Когда я подплыл к пароходу, мне с его палубы вдруг замахали платочками, зонтиками, моноклями или просто милыми ладошками в перчатках более полусотни русских красавиц начала девятнадцатого века.

А когда я поднялся на палубу, то чуть не потерял сознание. Меня окружили дамы одна краше другой: в шляпках, вуалетках, кофточках, юбочках, оборочках, с зонтиками от солнца и веерами.

В эту минуту я понял, почему в начале девятнадцатого века население России увеличилось за десять лет почти на тридцать миллионов. Я бы тоже с такими нашими прабабушками успешно поучаствовал в этом росте населения Российской империи.

И быстро помчался по трапам в толпу этих русских красавиц. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что вся эта красота принадлежит французским дамам, набранным в массовку по предместьям французской Швейцарии. Все они ни слова не понимали по-русски. Вдобавок после того, как закончился первый съемочный день и я увидел этих французских девушек без грима, шляпок, вуалеток и зонтиков, мне расхотелось участвовать в «стольпинской» программе роста населения.

Но это было потом, а в этот день и час по просьбе реквизиторов я едва оторвался от прекрасной массовки.

Реквизиторы снабдили меня тростью с набалдашником из слоновой кости, золотыми перстнями с крупными бриллиантами и брошью в галстук.

Потом постановщики повели на корму и стали меня, как фигуру на шахматной доске, примерять – то в одном углу, то в другом.

Вскоре прибыл Мэтр.

Он долго ходил по верхней палубе. Увидев меня, остановился. Посмотрел. Кивнул. Я, честно, не больно уж и хотел попадаться ему на глаза. Хотя снаружи был готов к съемкам: в костюме, гриме и при бриллиантах.

Но вот внутри...

Внутри все же был страх. Одно дело смотреть, как снимают кино, а другое – когда ты сам в этой киношкуре. Вокруг полсотни людей, камеры, хлопушки, и все ждут от тебя чуда. Чуда исполнения замысла режиссера. А со мной, кстати, не было ни одной репетиции, и я вообще не представлял, как и с кем буду участвовать в создании киношедевра.

Хотя в салоне, где я пил кофе, ко мне подошел ушастый паренек лет девятнадцати, на полголовы выше меня ростом, и, жуя пирожок, пробормотал, что ему очень приятно и что мы будем сниматься в сцене вместе. Он тот самый студент, с которым я должен философствовать о русской революции, самодержавии и счастье Родины. Я приподнял шляпу, шаркнул ножкой и заверил его, что и мне приятно.

Мэтр передвигался по верхней палубе, изучая небо, а весь корабль ждал его команды.

Наконец, команда была дана.

Все забегали, засуетились, как будто кто-то включил повышенную скорость.

Я тоже заметался по палубе. И страшно занервничал. Съел пять пирожков, выпил шесть стаканов кофе и обошел корабль по периметру восемь раз.

Наконец, все разом затихло, и я понял, что где-то идет съемка. И точно, доснимали на верхней палубе вчерашнюю сцену.

«Фу, – облегченно вздохнул я, – слава богу, что не моя сцена», – и пошел искать туалет.

Часам к пяти съемки закончились. Я успел к этому времени перезнакомиться со всей русскоговорящей командой, а французам пообещал завтра привезти свою книгу, сборник новелл на французском языке.

Мэтр, довольный, что съемки вчерашней сцены закончились сегодня успешно, умчался на катере назад в Монтрё.

Меня уже никто отдельно от группы везти не собирался, да я и рад был этому. И вместе со всей съемочной группой, веселый и довольный, прибыл на русскую пристань «Приволжск», стоящую на Женевском озере.

С меня смыли грим, сняли костюм, отобрали трость, бриллиантовые кольца и в автобусе повезли в гостиницу. По дороге выдали суточные, чем очень обрадовали всех, в том числе и меня.

Я, немного интересующийся историей человек, знал, что здесь, в пригородах Монтрё, покоится великий Чарли Чаплин.

Поэтому, когда в моем номере раздался звонок Мэтра с предложением съездить на могилу Чарли Чаплина, я сразу согласился. Когда спустился в холл, Мэтр был уже там. Мы вышли из гостиницы под полупоклон швейцарского швейцара и направились к остановке троллейбуса.

Под мышкой у Мэтра был гостиничный зонтик. Мы сели на местный низкопольный троллейбус и очень быстро помчались куда-то вдоль Женевского озера, потом в сторону от него по деревенским закоулкам. У какой-то кирхи вышли, пошли темным переулком.

Закапал мелкий дождь. И если до этого я был уверен, что мы идем правильно, то теперь по заглядываниям в закоулки стал сомневаться.

Начали плутать. Наконец, уже почти в темноте, под моросящий дождь, уперлись в стену. Пошли вдоль нее. Вскоре стена закончилась, впереди был тупик. Справа овраг, влево вверх вела узкая лесенка куда-то в неизвестность.

Мы пошли в эту неизвестность. «Уф», – вздохнул я: впереди было маляпусенькое кладбище. Я сразу пошел в центр, где в круге из мрамора стоял памятник. Но это оказался памятник мэру этого городка.

Стали искать, ходить между надгробий.

Уже стемнело прилично, дождь усилился, и ветер начал трепать одежду и деревья вокруг.

Ни стрелок, ни указателей к могиле Великого Немого не было. Вдобавок где-то справа завyla собака, а слева глухо ударил колокол, и как-то сразу стало неуютно бродить по незнакомому кладбищу, где нет ни одной живой души, в том числе и сторожа.

Наконец, уже в припадке отчаяния, я начал бубнить, «...что это наверняка не то кладбище и вообще надо было хотя бы порасспросить кого-нибудь». Я не имел, конечно, в виду тех, кто здесь лежит. И вдруг мы почти одновременно наткнулись на два небольших, в пояс, памятника, почти одинаковых. Как в зеркальном отражении, они стояли рядом и полукруглой стороной как бы тянулись друг к другу. На одном надпись: «Чарльз Спенсер Чаплин», годы жизни и смерти. На другом памятник фамилия, инициалы его жены, также с годами жизни и смерти. И все.

Два земляных надгробия, покрытых осенней листвой. Скромно и вечно.

Мы в благоговении встали перед этими местом и, задумавшись, смотрели на этот клочок земли, где покоился прах маленького человечка, не-

леплого, смешного, доброго и наивного. Постояли и уже на ощупь пошли с кладбища.

Молча добрались до остановки. Когда подъехал тройллебус, вошли внутрь и, хотя все места были свободные, садиться не захотели. Стояли, держась за поручни, смотрели в разные стороны, и каждый думал о своем. Я о своем, теперь актерском, Мэтр о своем, наверное, режиссерском.

В номере я принял теплую ванну и лег в роскошную кровать. Но, вспомнив темное, пустое кладбище, холодный дождь, почему-то пожалел Великого Чарли, залез с головой под подушку и так уснул.

Поутру встал и пошел завтракать. Навстречу мне из ресторана выходила девушка, мне показалось, что я ее где-то видел.

– Здравствуйте, – поздоровалась она первая. – Я знаю, вы вчера приехали. А я актриса. Играю в этом фильме главную роль.

– Очень рад, – ответил я, – а вы что, позавтракали?

– Да, – ответила она и улыбнулась.

– А я вот перекусить собрался, – просветил я ее, будто можно было подумать, что я направлялся в ресторан кататься на лыжах.

– Нетрудно догадаться, – ответила она.

«Ладно, – решил я, – надо как-то знакомиться».

– А пойдете еще раз позавтракаем? – предложил я. – А я покажу вам, как ел великий Набоков.

– Набоков? – сморщила она носик. – А, это тот человек, в чьем номере вы живете, и ему памятник есть здесь в саду, у гостиницы, он писатель, но я его не читала, но его, кажется, звать так же, как и вас – Владимир, – радостно закончила она.

– Да, – ответил я, – это писатель, и это ему стоит памятник, скорее, садовая скульптура, здесь, перед отелем, и звать его так же, как и меня, и он тоже родом из России, и я живу в его номере, вот видите, вы все, оказывается, знаете, а то, что его не читали – это не страшно по вашей молодости, еще почитаете, я тоже в школе ничего о нем не знал. Так что пойдете.

– А знаете, пойдете, мне уже интересно.

Мы вместе вошли в роскошный зал с хрустальными люстрами, серебряной посудой и официантами в смокингх. Невозмутимый метрдотель удивленно проводил нас к столику у окна.

Я заказал три каши, сыр и виноград с кофе. Она сидела и смотрела, что я буду делать дальше, ожидая, как я понимал, чего-то необычного. Я поставил в ряд все, что мне принесли, посмотрел на свою спутницу.

– И что? – спросила она.

Я прикрыл глаза, сосредоточился, потер руки, громко назвал каждое блюдо, как бы выбирая, и выбрал рисовую кашу.

– И что? – опять спросила она.

– Дело в том, что Набоков, прежде чем есть какое-либо блюдо, вначале озвучивал его.

– Как вы?

– Да.

– И что оно ему отвечало?

– Нет, оно ему не отвечало, просто у Набокова был «цветной слух». Когда он произносил название чего-либо, то эти слова окрашивались в разные цвета: зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый и так далее.

Глаза у моей собеседницы начали округляться.

– Так вот, – продолжал я, – Набоков и писал, и использовал в своей жизни только те слова и предметы, а также еду, которые в его эстетическом

сознании имели зеленый цвет. Так и моя рисовая каша, только, что окрасилась в зеленый цвет, и я ее ем.

– Что, у вас тоже цветной слух?

– Вообще нет, но раз я ночую в номере Набокова и гляжу целый день на его памятник, вполне возможно, что и я заразился его цветовой эстетикой окружающего мира. Вообще-то насчет себя я шучу, и насчет Набокова я не совсем уверен. Он был великим мистификатором.

Она оглянулась на окно, где темнела грустная бронзовая фигура великого соотечественника, и с сожалением сказала:

– Я вам уже говорила, что я не читала его произведений, мне вообще-то из писателей очень нравится Грибоедов, его «Горе от ума».

– Что вы говорите? А вы читали продолжение «Горе от ума»?

– А что, есть продолжение? – с недоверием спросила она.

– Конечно, есть, только называется это произведение «Возвращение Чацкого в Москву, или встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки», но написано это продолжение было не Грибоедовым, а графиней Раstopчиной, дочерью известного генерал-губернатора Москвы, времен войны с Наполеоном.

– Понятно, – сказала моя сотрапезница, видя, что я уже допиваю кофе, – вы все это придумали, чтобы вам было не скучно завтракать.

– Частично, частично, – согласился я.

Так мы весело болтали, и уже под конец завтрака я пожалел, что мне через день улетать.

– Почему вы так решили? – спросила она.

Я ответил, что так мне сказали. Теперь улыбнулась она:

– Не знай, не знай.

Но на этот раз меня переодели гораздо быстрее, чем вчера, и я успел на отплытие самого парохода.

Французам я отдал свои книги *Songes a Vendre** на французском, а русскоязычной группе – «Любовь – это жизнь» на русском.

Через полчаса я был самым популярным персонажем в этом пароходно-колесном киношном таборе. Французы и русские группами вслух читали мои книги.

До обеда мы опять ловили солнце и гонялись за ним по озеру. Опять начались съемки или досъемки еще одной недоснятой сцены с «Попом» и «Близняшками». Поп был почти настоящим. Все время с похмелья, и по роли и по жизни. «Близняшки» – две замечательные девочки, лет четырнадцать, были, очевидно, влюблены в Мэтра этой своей детской невинной, первой любовью и не сводили с него глаз. Играли легко и правдиво, видимо, эта влюбленность и была нужна мастеру. И он ее очень умело использовал в процессе съемок, переводя эту влюбленность на главного героя.

Наконец на второй прогулочной палубе постановщики стали готовить мою сцену.

Теперь меня познакомили и с главным героем – этакий двадцатилетний «Поручик», с типичным лицом русского дворянина. Как же я был удивлен, когда оказалось, что он чистокровный литовец. И говорит по-русски с большим акцентом. «Вот, – подумал я, – гениальный результат тысячелетней войны России с Великим Литовским княжеством».

Постановщики собрали сцену. Шарф, стол, стулья. Операторы, звуковики выставились. Реквизиторы оборудовали столик, где мы должны сидеть со студентом и разглядывать немецкие технические журналы на-

* Французское издание книги «Сны на продажу».

чала XX века с новинками, которые окружают человеческий быт через сто лет.

Мэтр кратко проинструктировал операторов, звуковиков, поправил сцену и ушел к мониторам. Мотор. Хлопушка. И мы со студентом начали спорить. Потом к нам примчался с нижней палубы «Поручик», он же главный герой, и начал ловить шарф своей возлюбленной около нас и под нашим столиком. А мы спорили и спорили. Главный герой повертелся около нас и умчался дальше по корме.

Камеры плавно ушли за офицером и..

– Стоп, снято. Еще несколько крупных кадров, и все.

Я ушам своим не поверил, что это все. День прилета, день съемок и день отлета. В прекрасном настроении я отснялся и в «крупняках», а когда точно сказали, что съемки сцены закончены, я просто был счастлив.

Вечером мне позвонил Мэтр, сказал, что идем в ресторан, этот мой дебют надо отметить, тем более что прилетел сценарист.

Приехали в ресторан. Его содержала русская семья. Нас обслуживал сам хозяин, эмигрант из-под Воронежа.

После нескольких бокалов виноградного вина с северных склонов Женевского озера я пристал к хозяину ресторана, что да как и каким образом оказался он в Швейцарии. В ответ услышал историю, которая могла произойти только в России и только с русскими.

Он работал бригадиром на военном заводе, где выпускали военные вертолеты. Наступила перестройка. Армия перестала покупать вертолеты. Ненужными военными вертолетами завалили все заводские ангары. Зарплату его бригаде не платили. И когда долг по зарплате превысил годовую, дирекция предложила им вертолет в качестве натуральной выплаты за год работы. «Берите вертолет, продавайте, а на полученные деньги живите. А у завода денег нет». Вот он как бригадир и продал вертолет в Швейцарию. Деньги поделил среди своих работников, а сам возвращаться в Россию побоялся. Все же боевая машина. На свою долю бригадир купил ресторан в центре Монтрё, а затем вызвал семью.

Вот так и живут здесь уже двадцатый год.

Обед был вкусный, сытный, неторопливый.

После такого позднего обеда меня позвали посмотреть то, что отсняли сегодня. Я отказался, сославшись на то, что мне надо собирать чемодан. Остальные пошли в номер к Мэтру на просмотр.

Я собрал чемодан и, умиротворенный, лег спать. Но спал недолго. Утром меня разбудил телефон в шесть. «Вы что там, с ума сошли, я лег только в три, и у меня нет съемок, я отснялся».

«Да нет, – ответили мне там, – нам поступила команда – вас опять на площадку».

Чертыхаясь, но до конца еще не понимая, в какую историю ввязываюсь, я стал собираться на площадку.

Меня привезли в съемочный городок, но почему-то одели уже не в тот костюм в котором я вчера снялся, а в другой, похожий, но, как мне показалось, более зловещий, и грим стал более агрессивным, и вместо шляпы мне выдали котелок, а трость стала более увесистой.

Я ничего не понимал. И мне никто ничего не объяснял. Только уже на пароходе ко мне подошел мой напарник, студент и озабоченно сказал, что переучивает роль.

– А вам дали новый текст.

– Какой текст? – удивился я.

– Вы что, ничего не знаете?

– Нет, – ответил я.

Студент показал на сценариста, стоявшего на верхней палубе и задумчиво смотрящего вдаль, на заснеженные швейцарские вершины.

– Вот он решил, что то, что сняли вчера, не подходит. Нас будут переснимать, но уже в другом амплуа.

– В каком амплуа? – поразился я.

– Не знаю, – пожал плечами студент, – приедет Мэтр, объяснит.

Наконец приехал Мэтр.

Сцена наша была готова, я от нечего делать сидел за постановочным столиком и, нервничая, прикидывал разные варианты, что меня ждет.

Наконец подошел Мэтр и сел рядом со мной.

– В общем, так, – сказал он, – меняем твое амплуа.

Я молчал.

– Будешь играть «негодяя».

– А как же «философ»? – робко пытался спасти я своего уже бывшего положительного героя.

– Мы с Сашей (Саша – сценарист) решили, что лучше, если ты сыграешь такого объевшегося, пресытившегося буржуа начала века.

– А как же текст? – спросил я его.

– А ты сам давай импровизируй. Прочувствуй образ этого буржуа, безнравственного богатея, отрицающего все хорошее, чистое. Он и так доволен своей жизнью, и на все, что будет говорить студент, отвечай «нет», понял?

– Понял, – ответил я.

И Мэтр ушел.

За стол ко мне подсел студент.

Он сильно волновался, сильно нервничал и был перевозбужден. Я уже потом понял, что таким образом его умело и легко ввели в образ «горячего», нервного студента. Во вчерашней сцене студент был скучен и вял. Теперь аж трясся от возбуждения.

Я же, наоборот, был спокоен, как удав перед жертвой. Текста нет, на все, что говорит студент, надо говорить «нет» и ощущать себя полным негодяем.

«Смогу», – посидев и подумав, решил я.

Всю жизнь хотелось быть негодяем, с самого раннего детства. Но вначале не давали родители, затем учителя, потом жена, начальники, положение, а вскоре – здоровье. Иногда были такие ситуации, когда аж дрожал от злобы, а сделать гадость не решался.

А тут... Сейчас все это мое второе, гнилое «Я» может наконец реализоваться. Дрожь пробежала по всему моему телу, и я вошел в образ. Вошел и вдруг понял, зачем меня, почему именно меня пригласил на эту роль мой друг.

На то он и друг, что за десятилетия нашей дружбы разглядел мою животную сущность и мое тайное желание – быть в этой жизни негодяем.

Разглядел и решил дать мне возможность наяву ощутить, каково оно – быть настоящим подлецом и сволочью.

И как я узнал, сценарист тут был совсем ни при чем.

Это все было продумано без сценариста.

И первый мой съемочный день был обыкновенной хитрой подготовкой ко второму, настоящему съемочному дню.

Сыграл я легко и просто.

Мэтр сказал: «Великолепно!»

Мне даже хлопали. Оказывается, я могу быть и «иконой», и «дубиной»*. Правда, было еще очень много дублей, потом погода мешала, но я уже не ныл, не скучал от Швейцарии. Я снимался.

Как бы довольный, играл роль, которая по оригинальной версии моего друга режиссера, как бы была отражением моего второго «я». Но все же мне было противно играть эту роль.

Мог бы отказаться? Мог. Но этого не сделал.

Почему? Наверное, из-за своей глупости.

Хотел надеть «корону на свою вшивую голову»**.

Потом я улетел назад домой, в Россию.

И когда через полгода приехал к моему другу в гости, в его поместье, где он монтировал картину, он позвал посмотреть смонтированный кусок моей сцены. Только эту сцену, а не весь фильм.

Я не пошел.

И не потому, что было неинтересно. Нет, мне было интересно. (Я тоже, как и все люди, произошел от «любопытной обезьяны».)

Не пошел от страха.

Боясь увидеть свою нереализованную сущность.

Вдруг понравится.

* Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, – и дубина, и икона», – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. *И. Бунин, «Окаянные дни».*

** Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. *Ф. Достоевский, «Бесы».*

Виталий СЕРОКЛИНОВ

Виталий Николаевич Сероклинов родился в 1970 году на Алтае, учился на матфаке Новосибирского университета. Работал грузчиком, кровельщиком, садчиком кирпичей, проводником, продавцом, вышибалой, журналистом, директором магазина, занимался бизнесом.

Автор трех сборников – «Записки ангела» (Новосибирск, 2009), «Местоимение» (Нью-Йорк, 2010), «Предложение» (Нью-Йорк, 2012).

Главный редактор журнала «Сибирские огни».

БАЗА

Умник

На базе, когда-то овощной, мы грузим всякое: лук, картошку, банки с соками, иногда мороженую рыбу.

В бригаде у нас пара молодых азербайджанцев, таджикский цыган, два казаха, два дагестанца со странным мешком, который они все время держат при себе, и гыкающий малоросским акцентом мужик в летах. И я.

Цыган пытался украсть картошку – еще утром запихал четыре больших картофелины под дурацкий растянутый свитер с чужого плеча. Когда днем стало теплее, свитер не снял – боится, что картошка выпадет.

– Выложи, – говорю. – Я с хозяином договорюсь, вечером честно пару кило унесешь, не пались.

У него дома семья. Восемь или девять детей у сестры... и столько же, кажется, у него самого.

Казахи пытаются командовать и не работать.

Мы переглянулись с гыкающим, уронили пару мешков с морковкой на халявщиков, прямо на голову. Те молча стали таскать мешки, еще и помогли младшему азербайджанцу – у того не хватает роста под подачу.

Перед обедом дагестанцы обиделись из-за случайно услышанного «черные» – от гыкающего. О том, что это было сказано про гнилые мешки, кажется, они поняли не сразу, насупились, отошли в сторону и зачем-то полезли в свой загадочный мешок. Стало немного страшно; я взял в руку щепку от ящика, я умею бить точно, а Одесса – так прозвали гыкающего – схватил камень поувесистее и намотал на руку пакет. Но дагестанцы достали из мешка судок с пахучим мясом и разделили его на всех. Картошку варили в подсобке сразу на все бригады, укроп тоже халявный, прихваченный из разгруженных фур, – вкуснее я давно ничего не ел, на свою редакторскую зарплату я не могу прокормить даже кота.

Пока наворачивали, младший казах рассказал дагестанцу, как коптить в камнях рыбу. Оказывается, рыбы в Дагестане полно, хотя за нее теперь могут и убить. Но убить теперь могут за все – за это вместе повздыхали.

Когда разгрузились, Селим-хозяин раздал всем деньги. Оказывается, Селим тут самый щедрый хозяин – остальные платят своим бригадам не каждый день. Или вообще не платят. Раньше, еще до моего прихода, платили, говорят, пинком и сеткой с гнилыми овощами, теперь вроде бы стало честнее и сытнее.

Мне Селим выдал больше других. На всякий случай сказал всем:

– Бригадирские. Без Умника загрызли бы друг друга.

Никто не возражал.

Умник – это я. Хотя, конечно, фильм Бондарчука по Стругацким Селим не смотрел и уж тем более не читал книгу о нем. Просто я подсказал Селиму, который разговаривал с кем-то из контрагентов по телефону, что треть – это тридцать три процента, а не тридцать. Он об этом рассказывал всем своим соплеменникам, хозяевам других бригад, целый день и издавал какой-то гортанный восторженный звук.

Два кило картошки нашему многодетному цыгану Селим выдал. Почти не побитой, только с содранной кожурой – ее нужно сразу приготовить.

Каска

На базе именами почти не пользуются – в ходу клички. Например, Марика из соседней бригады называют Марсом.

Марс – здоровенный дядька. Писатели про таких любят говорить – могучий.

Мужики часто Марса подкалывают – мол, как ты мог поместиться в вертолете своем, потому и выгнали, наверное, да?

Марс когда-то был вертолетчиком. Потом было сокращение, списание с борта и мизерная пенсия – с его-то налетами. Пovyлезали все болячки; про больные почки Марика я догадываюсь по отекам, но не спрашиваю – тут не принято спрашивать, люди делятся сами, если хотят.

Марик охотно рассказывает об одном – о дочери. Пока он болтался в небе, с детьми у него не выходило. Первая жена ушла еще и поэтому. Ну и из-за того, что он не летал больше – раньше-то он привозил ей из командировок импортную экзотику, а сейчас – ну кто он теперь такой, а она еще молодая...

Со второй женой получилось враз – так говорит сам Марик. Еще он говорит, что на радостях, как узнал, что дите у него будет, выдернул столб вместе с калиткой, которая на нем висела. В столб я верю – дом Марика неподалеку от базы, калитка и впрямь висит чуть косомерно из-за столбика.

Девочку зовут Маришка. Марик ее называет Мартышкой, подтрунивая. Он тоже читал Стругацких. Маришка уже доросла до трехколесного велосипеда и катается по пятницам у нас перед складами – Марик выгородил ей старыми досками небольшой полигончик, чтобы не попала под колеса приезжающим фурам.

Все поглядывают в сторону полигона – девочка у нас как бы дочь полка. А она наворачивает круги на велике и хохочет, напевая детские песенки под сипловатую дудочку.

На дудочке играет Мандавошка. Вообще-то она требует называть себя Амандой, но на базе она – Мандавошка. Это не презрение, – констатация. Баба она опустившаяся, по пятницам приходит за выбрасываемой со складов гнилью – в пятницу день уборки. Говорят, она бывший инженер. Лет ей неизвестно сколько, ее именем любят подкалывать новичков – мол, гляди-ка, как на тебя Мандавошка смотрит, понравился, теперь с цветами и конфетами подваливай к ней, она у нас девушка строгих правил. Но ее не обижают – тут так не принято. Да и Маришке она нравится.

На базе вообще не принято выражать эмоции, кого-то обижать или нахваливать – когда тут радоваться или горевать, если идут фура за фурой и Ахмет может оштрафовать за любой проступок. Ахмет тут главный, самый старший над всеми нашими хозяевами – склады его. Но мы его почти не видим. Если увидел – обязательно не к добру, значит, будет штраф.

В эту пятницу даже Ахмет не гневается на то, что все ходят как потерянные. Сегодня во дворе нет Маришки и полдня не было Марика. Марик пришел, рассказал своим, остальные узнали во время перекуров – Маришку вместе с мамой позавчера сбила машина. Магазин у них через дорогу, по трассе вечно несутся большегрузы, но сбила их какая-то легковушка, даже не остановившись. У мамы сотрясение, ничего страшного. Маришка тоже жива, только вот с ножками теперь проблемы. В ортопедии сказали, что диагноз еще будет уточняться, но лечение будет непростым. Хорошо, что у детей срастается все быстро – вот только нужны специальные скобы и какие-то стержни не то для правильного срастания, не то...

Слушать было тягостно, оставшиеся часы работали без криков и подначек, на перекурах молчали. Марик тоже работал – деваться ему было некуда, только пахать и пахать. Сколько времени ему понадобится, чтобы заработать требуемую сумму, подсчитал, наверное, не только я.

Перед последним перекуром, не сговариваясь, бригадиры собрались у забора, напротив нашего склада – там, где каталась Маришка. Мужики смолили папиросы – некурящих, кроме меня, у нас мало, только бригадирша с уголовного склада, я ее раньше и не видел. Она стояла, отвернувшись от всех – наверное, мешал дым.

– Моя чуть старше, – первым вздохнул я, чтобы что-то сказать.

Остальные подхватили один за другим: «моей меньше», «внучка в первый пойдет», «сами ждем».

Бригадирша повернулась к нам – на щеках у нее были слезы.

Решение приняли без обсуждения. На столбик во дворе повесили старую каску. Сегодня должна быть получка; у кого-то она каждый день, кто-то из хозяев платит раз в неделю. Иногда задерживают, но сегодня всем бригадам выплатили честно – повезло.

Зарплату за день все сложили в каску. Каска оранжевая, видно ее издалека.

На глазах у всех к каске поплелась Мандавошка и сунула внутрь руку. Кто-то угрожающе закричал, но подбежал к Мандавошке только Селим. Поговорив с ней, он понятиливо кивнул, достал из кармана какие-то купюры, доложил от себя.

Никто не уходил. Селим отозвал меня и спросил – посчитал ли я, хватит ли?.. Я считал – и знаю, что мало. Даже с селимовскими, сколько бы он ни положил.

Потом появился Ахмет, они с Селимом о чем-то долго спорили, направляясь к каске. Наконец Ахмет рубанул рукой воздух, что-то еще раз объяснил Селиму и ушел.

Селим рассказал сначала нам, потом другим бригадам: Ахмет предлагает выйти всем желающим в воскресенье. Будут фуры, их надо разгрузить за три часа. Если успеем – Ахмет платит каждому как за полный день, плюс еще столько же – в каску.

В воскресенье законный выходной – работает только дежурная бригада. Но раз так...

В воскресенье вышли почти все. Когда поняли, что не успеваем, крутящаяся рядом Мандавошка стала лезть с советами. По ее полупьяному лепету стало понятно, что она предлагает обвязывать ряды с ящиками стропами, приторачивать к другой фуре и вытягивать на землю по брошенным вместо трапа доскам-сороковкам.

Управались таким образом за два часа, еще час перетаскивали товар под навес. Наверное, Аманда и правда была инженером...

Ахмет расплатился к вечеру понедельника.

Распивать у нас категорически запрещено, но сегодня прощалось все. Кто-то сбегал в магазин; Марик принес самогон; Дора – так прозвали ту могучую бригадиршу, в честь героини Юлиана Семенова – принесла спирт. Закуски, понятное дело, хватает.

Все пили из пластиковых ячеек для фруктов. Только бригадиры глотали спирт из эмалированной кружки – по очереди.

Я забыл, как правильно пить спирт – то ли вдохнуть и хлебнуть, то ли, наоборот, выдохнуть сначала. Перепутал, конечно, – хлебнул, вытарашил глаза, закашлялся, засипел, аж слезы выступили. Все расхохотались, даже Марик, у которого постоянно текли слезы, и он всех благодарил, благодарил, а сам обнимал огромный пакет с оранжевой каской, набитой купюрами. Через дырку пакета торчала откуда-то взявшаяся дудочка.

А все хохотали, заливались – и даже Селим с Ахметом в окошке подсобки довольно улыбались.

На следующий день Ахмет оштрафовал Селима и нашу бригаду за оставленный после вчерашнего мусор.

Но это уже другая история.

Гаврик

Наш Гаврик влюбился в Дору.

Шибздик – в бригадира. Это надо видеть!..

Гаврик – он Игорь, но имя его на базе не прижилось, а кличка Гаврош – та приклеилась. Потом уж и до Гаврика усохла.

Гаврик очкаст, ушаст и беспросветно наивен. У Гаврика – мама. Мама каждый день меняет Гаврику футболки, каждый раз выдает новую, все пять дней – Гаврик на «пятидневке». Все футболки у Гаврика разных цветов: в понедельник красная, во вторник оранжевая, в среду желтая... В общем, уже со второй недели все догадались, что мама Гаврика в курсе истории про охотника, желающего знать, где сидит фазан. Мама ни разу не сбилась, с этим у нее строго.

У всех футболок Гаврика – воротничок-стоечка и две пуговицы с надписью «Пума». На английском.

С собой на работу мама варит Гаврику картошку и сыпет в нее мелко наструганный укроп. Гаврик, который каждый день тоннами перекладывает с места на место эту самую картошку и расфасовывает укроп, ничего ей на это не говорит. Хотя надо было давно сказать – картошку на базе варят на всех.

Зато мама Гаврика очень вкусно маринует лук – маленькие луковички нанизывает на нитку и замачивает в пахучем маринаде. На базе нельзя пить, но иногда мужики шкеряются за воротами и прямо в лесочке опрастывают принесенные пакеты Гаврика, нахваливая его и маму. Он и рад – лук он не любит, но стесняется сказать маме.

Доре он тоже стесняется сказать про то, что она ему нравится, – об этом знаем только мы. Ну и все остальные бригады – кроме самой Доры, конечно.

Время от времени к нам приходят делегаты с вариантами. Селим, хозяин, называет их придурками с пропеллерами – делегаты шастают, выдвигают свои предложения по охмурению Доры и не дают нормально работать. Селим грозит штрафами, его это хождение раздражает – обеих своих

жен Селим взял, потому что хотел. А еще он немного завидует, но об этом знаю только я.

Гаврик уже опробовал предложение делегата из соседней бригады – тот подметил, что Дора плохо ест. Я не поверил: Дора выглядит покрепче большинства тутошних мужиков – еще неизвестно, плохой ли у нее рацион. Но я молчу.

Гаврик принес мамины пирожки – «на всех». Предупрежденные бригадники отказались от угощения во время обеда, а когда Гаврик дошел до сидящей на старом бревне Доры, она, не глядя, отмахнулась от него и даже обиделась: у Доры диабет – кто бы знал...

Кто-то советует банальное – цветы. Советчик точно помнит, как еще при Черненко ухлестывал за одной фифой в Ялте, и с букетика тогда все и началось...

Гаврик вечером долго мял в руке три белые хризантемы, потом суетливо прокрался вдоль стен склада, пряча за спиной цветы, пока не наткнулся на Дору, сморкающуюся по-мужичьи и о чем-то привычно матерящуюся с соседями, испугался и мгновенно выбросил цветы куда-то наверх, на гофрированную крышу.

Из высушенных за два дня на палящем солнце цветов Дора сделала икебану у входа в склад, обравив стебли проржавевшими шлангами от душа, похожими на кашаки.

За обедом все опять тихо смеются над Гавриком, сочувствуя и наслаждаясь ситуацией. Каждый вспоминает свой похожий случай – Ялту, Сигулду, Армавир – все на один лад, с непременной прикушенной мочкой уха в порыве ее страсти. Или даже похуже того.

Я рассказываю про нашего универовского Женюшу – прибабахнутого, малорослого, немного придурковатого четверокурсника, влюбленного в Лариску. Лариска была нашей Дорой – гандболисткой, зычной и прямой особой, сразу заявившей Женюше, что ему не светит.

Женюша надеялся до самой Ларискиной свадьбы и даже на ней. Через день после свадьбы Женюша пошел сдавать экзамен, взял билет, что-то быстро написал на нем и положил перед преподавателем. Удивленный препод спросил:

– Что это?

– Ответ, – уверенно глядя ему в глаза, сказал Женюша.

Вызванные санитары ехали недолго; Женюшу забрали – и больше о нем никто ничего не слышал.

На экзаменационном билете он написал: «8».

Про несчастный конец истории я при Гаврике не рассказывал – сказал, что на свадьбе Женюша танцевал с Лариской, и она... Ну и всякое такое.

Наконец Гаврик сдался. Он все перепробовал, он уже не может, он... А я – я уговорил свою будущую жену, не сразу, но уговорил. Я про это рассказывал бригаде. Гаврик хочет тоже уговорить – я ведь хвастал, что любого могу женить на ком угодно.

Точно, было дело, хвастал – тогда пили спирт, вот и...

В конце рабочего дня я взял Гаврика с собой – надо было забрать большую стремянку в бригаде Доры.

Дора красила внешнюю гофру склада; краска была старой, крышку вырубали зубилом из банки, во все стороны торчали куски жести. Проходя мимо, я вдруг толкнул Гаврика на банку с краской, стоявшей на коробке из-под сока, банка упала, на нее сверху тюфяком повалился Гаврик, толкнув Дору. Дора выругалась на неуклюжего Гаврика, но осеклась, когда увидела, как у Гаврика хлещет кровь из разрезанного запястья.

Дора жила недалеко, Гаврику пришлось тащиться за ней – у нее и аптечка нормальная есть – на базе-то попробуй найти медика, – и краску можно смыть в бане, со вчерашнего еще теплая...

На следующее утро Гаврик сидел на корточках вместе с Дорой у ее склада и водил кисточкой по стенам – помогал доделать то, что вчера пришлось бросить. На нем была зеленая футболка с воротничком-стоечкой, хотя четверг был вчера. На футболке остались следы краски. Мочка уха у Гаврика распухла. Когда Дора касалась коленями Гаврика, она прыскала как девочка и отводила глаза, а он...

Впрочем, я уже не смотрел за ними. Тоже мне, Ромео и Джульетта... Но Гаврика пришлось звать «домой», в свою бригаду – иначе придет Селим и оштрафует лопухого влюбленного за опоздание на рабочее место.

С этим у нас строго.

Ата

Уже две недели в бригаде трудится Дед. Впрочем, «трудится» – сильно сказано. В его годы полный мешок не поднимешь, ящик с овощами не перенесешь, даже старые ржавые откатные ворота с разобранным механизмом не закроешь. Но Дед пытается не отстать от других, пыхтит.

Дедом его в первый день назвал Селим, так и приклеилось: «Дед, картохи подай... Дед, прими насыпной контейнер...»

Дед на базе не от хорошей жизни. Как и все. Но ему труднее – годы, здоровье. А еще – дома больной брат, за которым нужен уход: на лекарства уходит большая часть заработка.

Про его заработок мужики недовольно ворчат – Деда жалко, конечно, но таскать за него надоело, деньги-то из общего котла идут, лучше бы их раскидать на тех, кто покрепче. Но с Дедом, если честно, веселее – он и баек знает множество, и анекдоты у него незаезженные, особенно про медиков – он из докторов, детишек лечил, говорит. Анекдоты у него, правда, не детские – все соленые, про ту студентку, например, что на экзамене про соответствующий орган из трех букв на ушко профессору шептала, стыдись, а ответ оказался проще – «мочеполовая система», эмпээс.

А на прошлой неделе Мишка-Цыган себе нечаянно бедро порезал. У него все «нечаянно» – сует свой нос куда не надо. Так и в этот раз – полез в машине без спроса водительские ящики переставлять, а там кусок жести торчал, вот и вспорол себе ногу – аж фонтаном кровь брызнула. Все замерли в ступоре, только Дед кинулся, пояс с Цыгана содрал, перетянул ногу выше раны, майку к дырище прижал, крикнул, чтобы скорую вызывали. В общем, спас Цыгана, чего уж там. Никто ничего и не понял – порез и порез, только больно уж глубокий, до артерии. А Дед рассказал, что через ту артерию у человека за полторы минуты вся кровь может вытечь. Или вообще за минуту... Да какая разница, главное, что был человек – и нету. А у нас и помочь некому – медкабинет на базе положен, да только нет его давно.

Потом, после выходных уже, к нам отец Цыгана приезжал – и не сказать по виду, что таборный, точно говорили, что Мишка и не цыган вовсе, а кто-то из южных, вроде таджика. Но говорят оба чисто и совсем не матерятся, между прочим... И отец Цыгана привез Деду в подарок рубаху пеструю. Аляпистую, конечно, зверушками нелепыми разрисованную, но красивую. Дед рубаху прикинул на себя, но надевать не стал – в пакетик убрал и подальше отложил, чтобы не замарали ненароком.

После случая с Цыганом на Деда перестали коситься в бригаде – ну, подумашь, где-то не поднимет, не перехватит, да и ладно, здоровых и без

того хватает, а Дед старается. Один Селим на Деда ворчал – все грозился урезать заработок, да мужики за старика попросили, уважил.

А тут вскоре Селим своих мальчишек привез на базу. Уж не знаю, зачем их притащил, они ж такие шалопаи, что при них работать невозможно, – того и гляди, под ноги попадутся или штабель с ящиками опрокинут. Старший-то еще ничего, отца боится и слушается, а вот младший...

В этот раз младший, на удивление, вел себя прилично – ходил у ворот, ковырял чего-то. Ну и наковырял подшипник в том самом разобранным механизме от ворот – засунул себе крохотный шарик в нос и стоит, будто окаменел. И Селим – тот тоже окаменел, только успел заметить, как шарик в ноздре пропал, а сам замер и сказать ничего не может. Потом Селим все же выдал из себя что-то сиплое – кто рядом стоял, те услышали. Дед как раз неподалеку был – подскочил, две щепочки из ящика выломал, прямо так, ногтями, улыбнулся пацаненку, прошипел кому-то за спиной, чтобы переноску с лампой быстро притащили – и опять к мальчишке: держит его за руку, что-то говорит непонятное и ласковое – песню, что ли, поет... Тут со светом ему помогли, он щепочками ловко, как китайскими палочками, в носике у мальчика что-то проделал – и достал шарик. А сам поет в это время или что-то бормочет – будто колыбельную для чада набедокурившего. И тут же, без перехода, оборачивается к Селиму и рыком его спрашивает – сколько, мол, подшипников было в механизме, говори быстро, папаша недотепистый. Селим-то так из ступора не вышел, глазами хлопает, а Дед как подпрыгнет, как хрястнет Селима по щеке, как рявкнет – отвечай, мол!

Тут выяснилось, что все подшипники на месте, если с тем, вытащенным, считать. Селим пацана на руки и в больницу – старик ему сказал, что надо смазать слизистую, ссадина может остаться или чего похуже. А сам Дед сел и руки опустил, только тогда и увидели, что дрожат они. Так до вечера и просидел – сигареты ломал одну за одной, мусолил их – не курит, сердце. Мужики чаем его отпоили, но работать уже не звали...

А наутро Селим сказал, чтобы Дед не переодевался и подождал у ворот базы, пока Ахмет не приедет – самый главный из хозяев. О чем Селим с Ахметом разговаривали – кто ж поймет, они на своем ругались. Но в конце, мы видели, Ахмет кивнул и согласился. А потом Селим к Деду подошел, по плечу его погладил и сказал что-то.

Теперь в бригаде одного работника не хватает, но это ничего. Зато у нас появился медкабинет – один на всю базу, но свой. Заправляет там Дед, в белом халате поверх своей дареной парадной рубахи со зверями – кому царапины замажет, кому руку вправит. Мне с давлением помог – очень уж зашкаливало. Селим к Деду потом обоих мальчишек привозил на осмотр – Дед у старшего пацана без всякого УЗИ нашел увеличенную аорточку. Это ничего, это бывает – главное, диагностировать вовремя, потом следить будет легче и динамику наблюдать – так Дед говорит.

Все так и зовут его Дедом. Только Селим теперь его называет «ата».
Отец, значит.

Хранители

Сегодня пятница.

Пятница – это не только тяжелый день на базе, когда все мелкооптовики норовят закупиться вдвое-втрое больше обычного, в преддверии выходных.

В пятницу народ организуется на шабашки.

Правила простые: кто нашел шабашку, тому десятина с общей доли, остальное – поровну на всех.

Всех пронырливее в таких делах Шура, на базе зовут его Шустриком.

На дело идем обычно впятером, чтобы четверо таскали тяжелое, а пятый – тот «пристяжной», для мелочовки. С машиной договорено заранее, водитель старенького ГАЗ-66 с самодельной будкой берет немного и всегда вежлив с клиентами: окно в машине закрыть или бабушку в кабину посадить – это он завсегда.

Обычно шабашка – это переезд, со всеми атрибутами, по известной поговорке, трех пожаров – узлами, шкапами, внезапно выпадающими из трюмо зеркалами и жвачками за спинками диванов. Вся сложность с такими переездами – в этажности. В городе почти нет домов с грузовыми лифтами или хотя бы широкими лестницами, люди переезжают с одной хрущобы в другую, с точно такими же узенькими клетушками, только с маленькой комнатушкой в довесок. Или, как сегодня, в квартиру поменьше. Размен или развод – Шустрик не говорит. Да нам и все равно, лишь бы платили.

Обычно бригады, похожие на нашу, требуют надбавок за этажность и прочие сложности. Метод проверенный: бросаешь шкаф на лестнице и идешь ругаться с хозяином – мол, мы так не договаривались, тут у вас проемы нестандартные. Ну а хозяину куда деваться – доплачивает чуть не вдвое. Но мы сразу уговорились, что так ерундить не будем, несолидно это. Наверное, потому мы нарасхват – у Шустрика все пятницы расписаны вперед на месяц, мне он уже три раза об этом сказал, бегаёт вокруг и не затыкается. Это у него недержание после того случая, когда мы уже собрались выносить мебель из квартиры, но мне показались странными хозяева – суетливые какие-то, да и в хате всякой полиролью пахнет, паркет дубовый, откуда он только взялся в наших краях; ну и в ванной флакончики дорожные, а у хозяев ногти с заусеницами и «трауром»... и ключи сверкают, будто только что выточены.

Хорошо, в ментовке потом удалось отмазаться от привлечения по делу, свидетелем вызывали только Шустрика; он потом каялся и плакался, что ни сном ни духом, знакомые попросили, а что там хату вскрыли – кто ж знал, он же не прокурор. Теперь Шустрик лебезит и всю дорогу до сегодняшней квартиры уговаривает меня не брать в голову – мол, бригадир, больше такого не повторится. Ну-ну...

Сегодняшние хозяева зажиточны и понимают толк в моде, по словам Шустрика. Это хорошо – у таких обычно мало мебели, как в Европе – у них там, в Будапештах и Венах, я слышал, вообще не принято покупать шкафов и диванов, обходятся встроенными гардеробами и креслами в холле.

В квартире, и правда, не так много мебели – в моей двушке ее больше, чем тут, в четырех комнатах. В одну, правда, мы не заходим – нас просили там ничего не трогать.

Одно плохо – много книг, да еще и не упакованных. Книги – это тяжело и неудобно, тут надо или все складывать в приготовленные хозяевами огромные коробки, таская вдвоем, или воспользоваться нашим ноу-хау – сумками на колесиках, они всегда наготове в «газике». С такими управится и один, перекатывая и оттаскивая, плюс ручки там проложены поролоном, не режут руки – все сделано как для себя. Для себя и есть.

Те книги, что на полу – их уже можно паковать. Мужики выносят последнюю мебель, я остаюсь в большой комнате с книгами – тут их, кажется, больше, чем у меня, тысячи четыре, наверное. Видно, что книги часто

перечитывают, я такие люблю. Но пыли на них все равно предостаточно, надо бы протереть, неловко складывать эти богатства вперемешку с мусором, нужна какая-нибудь щетка, смахнуть осевшее, надобно поискать...

Две комнаты уже пустые, третья прикрыта, но в щелочку видно, что кто-то там был, хоть за время нашей работы не шумел и не появлялся.

Я осторожно открыл дверь – в центре комнаты оказалась молодая, коротко, совсем по-мальчишески стриженная женщина. Вокруг нее в беспорядке валяются старые детские вещи, перевернута разобранная кровать с надставленными перекладами, всюду мягкие игрушки, яркие разноцветные и непарные детские носочки, детали от конструктора... В руках у женщины фотография маленького ребенка в рамочке. Женщина, кажется, не замечает меня.

Тихо прикрываю дверь – я уже видел таких женщин, потому могу себе представить, почему они часами бездумно и отрешенно сидят с фотографиями ребенка в руках.

В большой комнате, заваленной книгами, я сажусь на продавленную коробку, начинаю складывать старые томики – и почему-то думаю про разноцветные носочки. Наверное, это девочка; однажды я купил на рынке целую пачку черных и серых носочков для дочки, «немарких», как я объяснил покупку недоуменной благоверной, за что был многократно высмеян: девочки не любят серой безликости.

Среди книг нахожу несколько знакомых алма-атинских изданий девяностого года – тогда переводили в спешке, коверкая иностранные фамилии: Зилязны, с «Хрониками Янтаря» вместо привычного «Амбера», один и тот же роман Чейза с разными названиями, Агата Кристи с далекими от канонических фамилиями героев. А вот еще и Толкин – это вообще дайджест трехтомника из трилогии о кольце всевластья, – и ведь читали же такую ересь вместо полных переводов!

Кажется, я удивляюсь вслух – мужчина на пороге комнаты сам смеется, увидев у меня в руках Толкина. Оказывается, это хозяин, пришел посмотреть, почему работа застопорилась. Мои мужики, кутившие внизу, сказали ему, что бугор в курсе их перерыва. Бугор – это я.

Я щелкаю ногтем по «дайджесту» и, ухмыляясь, спрашиваю:

– Неужели читали?..

– А то ж! Я продолжения ждал еще с тех пор, когда «Хранители» вышли, первая часть. Это чего ж у нас было-то... восемьдесят... мм...

– ... третий! – подхватываю я. – Рупь двадцать стоила.

– Рупь десять и пятнадцать сверху! – поправляет меня хозяин, протягивает руку и представляется: – Вадим.

Имечко из тех, что не запоминаются, так бывает. Я представляюсь – и знаю, что потом нужно напомнить: мое имя частенько тоже не остается в памяти собеседника.

– А у нас сверху не брали – у нас просто две книги на весь город пришло, а директор книжного – мать одноклассника, вот мы и обзавелись оба, на зависть друзьям! – хвастаюсь.

– А у нас «жучки» крутились и выменивали, потому я Моэма принес и что-то еще из «Библиотеки приключений»... «Блада», кажется. Потом обменял все это на что-то ефремовское, а уже Ефремова – на «Хранителей».

– Это в каком году?.. В восемьдесят шестом «Лезвие бритвы» ефремовское было как золотой рубль – в смысле, ценилось стандартно, по нему все остальное равняли: Толкиен вытягивал на четыре-пять «Лезвий», не меньше, Моэм за два-три шел, а «библиотека» – та подороже, ну и смотря какая...

– Не-е, я-то сразу, только он вышел, еще в восьмом классе обменял Мозма. Мама ругалась: «Луна и грош» ей очень нравилась, а я сдал. Но не жалею – я потом еще год в школе королем был – за то, чтобы выпросить почитать, мне та-а-акие ценности предлагали, будьте-нате! – смеется собеседник.

Получается, что он ровесник. Хотя выглядит посolidнее, да и одет не как я, не в драную джинсу. Видно, что начал лысеть, раньше был полноват, но за последнее время, судя по коже, сбросил много веса... и плохо спит, наверное.

– Блин, а ведь так никто к тому переводу и не приблизился, – сокрушенно жалуясь, как своему. – Кистяковский с Муравьевым там были, если не ошибаюсь?..

– Они самые... Там еще, помнишь, на форзаце написано: «Немного сокращенный перевод», – меня это «немного» всегда так смешило...

– А я и не помню, надо посмотреть дома, забавно...

– Да я тебе сейчас покажу, погоди, у меня где-то есть, только найти не могу с тех пор как... было тут всякое...

Книги нет: разрозненных изданий мало, все стоят по сериям, вряд ли мы пропустили такую нестандартную книгу – «Хранители» выше и шире обычного тома. Хозяин чертыхается и говорит, что все пошло наперекосяк, теперь еще и вещи пропадать стали – вот с книги и началось, вечно у нее ничего не найдешь, она только на разное другое горазда...

Она – это, наверное, та женщина со странной стрижкой в закрытой комнате.

Хозяин вдруг кричит куда-то вглубь квартиры:

– Ли-и-ика-а! – и в комнату забегают маленькая девочка лет пяти-шести в разноцветных гольфиках со смешной кошачьей мордочкой на резинке. Девочка точь-в-точь как та, что на фото, – ну вот, а я, как всегда, нафантажировал себе ужасов.

– Ли-ика, доча, ты не видела тут такую книжку?.. – неловко разводит руками Вадим. – Там еще на обложке что-то вроде буквы «Х», как бубенчики у шута, и... – оборачивается он ищуще в мою сторону.

– ... и еще большие глазки нарисованы на обложке! – подхватываю я.

Ли-ика книжку не видела, ей с нами скучно – и она убегает вниз, к подъезду и машине, там интереснее.

Я бы такую девочку не отпускал одну из квартиры, но молчу.

– Балуешь, смотрю... вся в «Китти» одета... – улыбаюсь папаше.

– Откуда знаешь? – щурится он. – Неужели и в этом коллеги?

– А-то ж! Моей в школу в следующем году, не успели оглянуться, как выросла. А твоя?..

– Моя чуть постарше, в этом году поведем... поведу. Мороки сейчас со всем этим, да тут еще и... – он досадливо машет рукой в сторону спальни.

– Разосрались?.. Может, еще как-нибудь устроится... – обрываю себя, не зная, что еще добавить. Не люблю говорить о разводах. Начинает болеть где-то в промежности, как тогда, на наших совместных с благоверной родах.

– Нет, ничего уже не устроится. Я ж ее на горячем поймал, теперь видеть не могу... И дочку отсудил – знать эту... не хочу. Лечил, ухаживал, нервы рвал в больнице, а она там же, прямо в палате...

Он опять машет рукой, потирает голову. Седины у него гораздо больше, чем у меня. Теперь понятно, откуда седина – больница.

Он, наконец, приходит в себя и, неловко переминаясь, просит номер моего телефона – может, еще что-то потребуются перевезти, да и вообще,

мало ли что... На той квартире, куда мы все доставим, его не будет – он повезет девочку к бабушке, потом у него какие-то дела – вот ключи, сами справимся, он потом заберет.

Нам так даже лучше, меньше споров, куда поставить и где не царапнуть стенку. Расплатился он тоже заранее.

После всего этого я пошел звать напарников, что-то они совсем уж закурились. Только вернувшись, понял, что некоторые книжные серии поделены пополам: все «миры» из «Поляриса» (у меня из них только Азимов и Саймак), Лем в супере, старая новосибирская Агата Кристи в красном переплете, тридцать с чем-то томов, – и все пополам. Стругацкие были в двух изданиях – он взял старое «текстовское», у нее осталось аляповатое современное, «с гайками». Зато в нем устранены опечатки, я где-то про это читал.

«Хранители» так и не нашлись.

Я зачем-то еще раз заглянул в комнату к хозяйке – она посмотрела на меня и вдруг начала говорить. Кажется, она слышала наш с Вадимом разговор, но не оправдывалась, просто тихо и почти без интонаций монотонно перечисляла:

– Я не хотела, я просто устала, меня уже так искололи, а потом химия, а до этого все вырезали, а я так устала, я очень устала, хоть мне и говорили, что все в порядке и ничего страшного, все вовремя сделали, а химия – это на всякий случай, чтобы потом не беспокоиться, а я лежу-лежу, а он на меня как на больную смотрит, я же вижу, а у меня и волос-то нет, как пупсик Ликин, даже ресниц нет, а Леша – он за мной с института ходил, только Вадик уже никого не подпускал, а Леша как узнал про больницу, сразу приехал, он рассказывал, у них там, на севере, только вертолеты, а потом еще на чем-то – и прилетел, а я ему так обрадовалась, начала какую-то чепуху говорить, про книжку какую-то, про волшебство – и книжку ту ему в руки подаю, а сама нагнулась к тумбочке, я же тогда еще лежала, но это уже в конце было, а Леша меня так обнял, что мне отпускать его не хотелось. Но это ничего не значит, хоть мне тогда так хорошо стало, я себя почувствовала такой... ну-у, как это сказать – ну вот желанной для него, потому что у него, ну ты же понимаешь, сразу же стало понятно, что он хочет, я же не дура, я же понимаю, мне и самой тогда... А тут Вадик приехал, он не должен был, он прямо с самолета ко мне с Ликой, а мы тут как раз, хоть и ничего не было. И все. Все...

Кажется, она говорила что-то еще, уже не видя меня – но я, стараясь не слушать, прикрыл дверь и разложил в коридоре по кучкам полученные деньги – вышло даже чуть больше, чем мы планировали. Надо будет аккуратнее заносить вещи – как-то неудобно теперь филонить при такой оплате. А про больницы, если честно, я слушать не люблю даже больше, чем про разводы.

Вадим позвонил часа в два ночи. Кажется, немного пьяненький, но не навеселе, наоборот, какой-то подавленный. Извинился, спросил, выпью ли я с ним, если, конечно...

Семья была в отъезде, на душе тоска – почему нет.

Минут через двадцать он приехал – с парой бутылок виски, грейпфрутовым соком, колой, орешками и дорогим сыром. Сыр попросил я – он сказал, что это компенсация за поздний звонок, никаких проблем. Сыр чуть с плесенью, и когда макаешь кусочек в белый острый соус, накалывая его на зубочистку, то вкус получается специфическим – хоть это и не очень подходит к виски. Потому я больше налегаю на свою водку с грейпфрутовым

соком, один к трем. Через час я обычно перехожу на «один к двум», если есть лед или замороженные ягоды.

Вадим тоже пьет разбавленное – виски с колодой, как есть, теплыми. Дело вкуса, наверное, но я жду, когда охладится в морозилке вторая бутылка – тогда и присоединюсь, все же нечасто у меня в доме появляется виски, я его пил всего раз, очень давно.

Говорим про алкоголь, про книги, про дочек. Книг у него больше – было до того, – но некоторым моим он завидует: у меня, например, все «супера» от Лема целы, а у него давно растерялись. У меня весь Вудхауз – давняя его мечта, да все никак не соберет. Зато у меня растащили четырехтомник Довлатова, и теперь непонятно, когда я его заново куплю, пусть даже не вагриусовский, а новый, почти идентичный.

Его телефон начинает вибрировать – пришло какое-то старое оповещение. На экранчике появляется фото Лики. Я молча протягиваю ему свой мобильник – там фото моей дочки. За дочерей решили пить виски, уже пора, охладился.

Куда-то выпадают из памяти три часа – мы что-то доказываем в это время друг другу про Китай, про то, что логарифмы вовсе не изобретали желтолицые хитрецы, это известно всем математикам, а про компас вообще полная чушь, зачем им на джонках компас, придумали тоже...

Потом, уже совсем-совсем потом, он, кажется, плачет, жалуется, что так и не нашел ту книгу, и спрашивает меня, а смог бы я сам простить такое. Я не отвечаю, только спрашиваю что-то про дочку, про то, как он первый раз ее увидел, про роддом, про знакомство с мамой Лики. Кажется, временами мы смеемся, когда вспоминаем, какими нелепыми папашами были в первые дни и какое счастье было в первые минуты – у них тоже были совместные роды.

Потом он лежит на диване и почти засыпает, только бормочет с закрытыми глазами, уже без вопросительных интонаций:

– А ты бы... ты бы... ты бы... простил или нет...

И он уже, кажется, не слышит, когда я, наконец, отвечаю:

– Я – простил.

Наутро совсем не болит голова, немного стыдно за выболтанное вчера, но остатки виски сглаживают неловкость. Когда он уже стоит на пороге, собираясь уходить, я вдруг неожиданно для себя прошу его задержаться и судорожно ищу на самой верхней и неудобной полке нужный томик. Наконец искомая книга с буквой «Х» на обложке в виде бубенцов шута и двумя глазиками обнаруживается – я протягиваю Вадиму потрепанный временем экземпляр: бери, пока не передумал. Зачем-то говорю, что купил на книжном развале три штуки таких, мне не жалко.

Он кивает и только спрашивает:

– Думаешь, у нас получится?

Я в ответ пожимаю плечами, мне не до патетики – с похмелья я плохо высыпаюсь и еще хуже соображаю. И я снова забыл, как его зовут.

В следующую пятницу Шустрик ворчит, что пришлось поменять все планы и передвинуть клиентов из-за одного умника – тот платит вдвое, ему срочно.

Когда приходим по адресу, Шустрик начинает виновато озираться – кажется, мы тут уже были на днях, он все напутал. Но нет, все верно: хозяйка, пожилая дама, показывает, что нужно увезти – все те же книги.

В квартире, куда привозим нагруженное, на книжных полках нет никакой пыли, не то что у меня. На стеллажах сиротливо стоят половинки

собраний Азимова, Желязны, к которым мы привезли «пары». На самой нижнем ярусе, там, где, как и у меня, находятся книги, которые читаются прямо сейчас, виден знакомый шутовской корешок с буквой «Х».

Пока мы носим вещи, с кухни доносится запах свежеспеченного пирога. После того, как все закончено, хозяйка поит нас чаем и накладывает каждому по огромному куску – между бисквитами вишня и абрикосы, а еще пирог пахнет ванилью, как у мамы. Один кусочек она относит в детскую – для Лики.

Шустрику хочется добавки, он стесняется и дурашливо спрашивает, не объест ли хозяина. Хозяйка, смешно взъерошившая свои короткие волосы, как у какой-то известной артистки, отвечает, что для мужа приготовлен еще один пирог, на всякий случай, – он такие любит, пусть толстеет, она не против, лишь бы ему понравилось.

На пороге она протягивает мне кусок пирога, завернутого в пакет, он теплый и мягкий. Из пакета пахнет ванилью. Когда выходим на улицу, мужики подкалывают – охмурил, дескать, бабу, теперь она будет нас заказывать туда-сюда книжки возить, а бугор наш тем временем...

Я недослушиваю, мне пора домой, завтра приезжают от бабушки мои девочки, надо бы прибраться.

Мне немного грустно. Наверное, оттого, что я соврал о «Хранителях». Это были последние.

Поэзия

Диана КАН

Родилась в городе Термез Узбекской ССР. Окончила МГУ им. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Лауреат всероссийской литературной премии «Традиция» правления Союза писателей России (2002), всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия» (2007), литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского (2009).

Член Союза писателей России. Живет в Новокуйбышевске, Самарская область.

ЖИВИ – ОТ БОГА В ВЕКОВЕЧНОМ ШАГЕ

* * *

Сладкими восславленная снами,
Проклятая трижды наяву,
Полыхнёт – о, если б куполами! –
Сторона, что отчиной зову.

Полыхнёт – от края и до края!
Кабы знать – рассвет ли то? Закат?
Угли ада или розы рая
В небесах над отчиной горят?

Поцелуй Авроры розоперстой
Воспевала я сама не раз,
Позабыв: Аврора – это крейсер!
Только так заведено у нас!

Только так – от залпа и от залпа.
От одной Авроры до другой!
Только так у нас, привыкших залпом
Пить за здоровье и за упокой.

Расцветай, Аврора, розой райской,
Адовым угольем небо жги.
Ведь чем дальше в нашей русской сказке,
Тем страшней и не видать ни зги!

Пусть в кровавом роковом узоре
Через сутемь бренной суеты
Встанут зори в пламенном уборе,
Обагрив на куполах кресты.

* * *

Россия, Русь... А дальше многоточие...
Что ж, в этот скорбный судьбоносный век

Обочину мы приняли за отчину
И побрели по ней и в дождь, и в снег.

Мы люди Божии, калики перехожие.
Мы эмигранты в собственной стране...
Но как ни тщились, нас не изничтожили
Все те, кто мимо мчались на коне.

Все те, кто напылили-накопытили.
Все те, кому чертовски повезло.
Все те, кто записались в небожители
Родной земле отверженной назло...

...Под вопли автострадные-эстрадные,
Летающие в лицо нам пыль и грязь,
Идём-бредём пообочь, невозвратные,
На купола церквей перекрестясь.

И нам не надо с отчиной сцепления
Шипами оцетинившихся шин,
Когда у ног почти в благоговении
О вечном шепчет скорбная полынь.

* * *

Караван-Сарайская – не райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени майские –
Так цветут, что кругом голова!

А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) –
Улица с названьем Казаковская
Муравой-травой поросла.

Так живут – без лести, без испуга! –
Приговорены, обречены,
Улочки, что в центре Оренбурга
Детские досматривают сны.

Им не привыкать! Иль это снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-ресницами
На ветрах неласковых эпох?..

...Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть...
Железобетонные коробки
Вытесняют из России Русь.

Сторона моя обетованная –
Оренбуржье! Всё ты тут, как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.

* * *

Дом аспиранта МГУ.
А в просторечье – ДАС.
Хочу забыть, но не могу
Таких счастливых нас.

Таких несчастных нас с тобой
Я не могу забыть.
Ту обречённую любовь
Доселе не избыть.

Сквозь мутный гласности поток,
Сквозь плюрализма взвесь,
Демократизма едкий смог,
Сепаратизма спесь

«Дас ист совковая страна!..» –
Нам не твердил немой.
Но на хрена нам, на хрена
Любви стесняться той –

К вдвойне обманутой войной,
Оболганной втройне,
К той ошельмованной родной
Растерзанной стране?..

...Сухой закон. Мы пьём вино,
Не чувствуя вины,
Так непростительно юны,
Так страстно влюблены!

На царской мантии зимы
Проталин вешних грязь...
Смущают юные умы
Равно и князь, и мразь.

Радеют рьяно за народ –
Не разберёт никто –
Искариот ли? Патриот?
Иль просто хрен в пальто?..

Нам гласность не нужна с тобой!
Хотя сюжет не нов,
Но наша юная любовь
Красноречивей слов!

Не нужен суверенитет,
Сепаратизма хлам,
Ведь жизни нет и смерти нет
Поодиночке нам!

Покуда пьём с тобой вино,
Не чувствуя вины,

Сжимается спираль Бруно
На шее у страны.

Пускай обманута страна –
В том не её вина!..
Пусть в магазинах ни хрена,
Зато в душе – весна!

* * *

Событий смутных нам темно значенье,
Но Судный день грядёт:
Исполнится библейское реченье,
И гада гад пожрёт.

И, не суля безоблачного рая,
К нам наконец,
Овец от злобных козлищ отделяя,
Придёт Творец.

Господь придёт пожар лечить потопом,
И – ной, не ной! – библейский ладь ковчег.
На скорбном стыке Азии с Европой
Ты призван свыше, русский человек!

Пусть неоглядна матушка Расея –
Пожар, потоп, поклёп, сума, тюрьма...
Но даже на семи ветрах Рифея
Живи, не выживая из ума!

Живи – от Бога в вековечном шаге,
Что одолел за несколько минут!..
...Пусть вострубит пикирующий ангел,
Призвав земное на небесный суд.

* * *

Собирай, зима, котомку
Ледяных напрасных слёз!
Трясогузку-ледоломку
На хвосте журавль принёс.

И, верна своей привычке
Быть первой в деле том,
Эта птичка-невеличка
Разбивает лёд хвостом.

В поднебесье не летает,
Но усердием её
Лёд, сковавший сердце, стает
И стечёт в небытиё.

Припасла для всех подарки,
Несмотря на суету –

Юной яблоне-дикарке –
Подвенечную фату.

Речке-старице – свиданье
Со стремниной молодой.
Иве-брошенке – страданья
Над высокою водой.

Снежной бабе-несложёнке
Солнечной любви оскал...
...Всё, что мне, дрянной девчонке,
Ты когда-то обещал.

* * *

Если от горя народ обезножен –
Прялку под лавку, шашку – из ножен.
Свистнешь – и конь пред тобою – огонь!
И под копытом ковыль одолонь.

Не богатыршей-Микулишной вроде
Кличут тебя, величают в народе –
Дочка, сестрица, супружница, мать...
Статочно ль прялку на шашку менять?

Слыш-ко, по пьяни куражатся: «Ухнем!»
Богатыри по пивнухам и кухням?..
Всё о Руси неустанно радеют –
То похмеляются, то фанатеют.

Ну проявила бы бабью смекалку,
Да поменяла бы прялку на скалку.
Скалкой сподручнее – так твою мать! –
Богатырей в честный бой подымать!

Ой, поменяла бы!.. Только вот жалость:
Богатырей-то почти не осталось!
Надо нам, бабоньки, вот о чём речь,
Богатырей на племя поберечь!..

Али мы, бабоньки-девоньки-сёстры,
Лишь на язык боевиты да востры?..
Аль богатырски у нас не крепка
И прикипела лишь к скалке рука?

Не осудите, родимые, строго!
Да пожелайте удачи в дорогу,
Ведь унывать нам никак не годится,
Матушка-шашка да прялка-сестрица!

Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут (семинар замечательного русского поэта Юрия Кузнецова). Доктор медицинских наук. Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, многочисленных публикаций в «толстых» журналах, зарубежной периодике. Победитель международных поэтических конкурсов «Рождественская звезда» (2011), «Цветаевская осень» (2011), имени Сильвы Капутикян (2013).

Член СП России (1998). Живет в Нижнем Новгороде.

ЗДЕСЬ ВСЁ УЖЕ НЕ ТАК

* * *

Я уже ничего не услышу –
Долгий дождь продолдонит в траве,
Прощарапает тихо по крыше,
Застучится в муругой листве.

Не увижу, как ярко и криво
Отблеск молний сверкает в реке,
Как растет через доски крапива
На колючем своем стебельке.

Не увижу, как в поле синее
Колокольчиков нежный прибор,
И потрогать тебя не сумею,
Суховатый цветок зверобой.

В чистом поле стреножены кони!
На ветру холодеют ладони!
Я в прихожей слегка наследил,
Ничего в этом мире не понял
И не знаю, зачем приходил.

* * *

Речка Пыра течет между сосен,
Между хилых березок, и осень
Золотые швыряет листы.
В этом холоде ты ль виновата?
Что ни день – то урон и растрата,
И всё больше ночной темноты.

Что ни день, то кошмарней заботы.
И до зимней могильной дремоты
Вот уже и рукою подать.
Ветер ветку озябшую клонит,
И настойчиво дует и стонет –
Начинает в душе холодать.

Нет ни мысли, ни зыбкого звука –
Сторожит круговая порука
Мир поруганной русской трухи,
И на дне горевого оврага
Повисает росистая влага
И сквозь глину растут лопухи.

Вылезают из вкрадчивой глины
Анемичные стебли малины,
Ежевика резные листы,
И неловко, смешно, виновато
Из пеньков проползают опята,
По-плебейски милы и просты.

Ветхий ветер гуляет по коже,
И, увядшее время итожа,
Вою ветра вникает земля.
А однажды возьмет и предложит
Очарованный мир хрусталя.

Заморозит вселенские дыры,
И застынет печальница Пыра
В толстой корке шершавого льда.
И покажется – это навеки.
Подо льдом не шевелятся реки.
Мутно светит стальная звезда.

* * *

Прочно поселились в подсознание
Наледи чудовищной зимы,
Белые причудливые зданья
В ореоле снежной бахромы.

Гулкие простуженные слезы,
Зимнее искристое вино.
Словно ошалевший от мороза
Крошечный поселок Лукино.

Звезд нагих просыпанное просо,
В небо уходящие дымки.
С ведрами встречает баба Фрося
Мастера изысканной строки.

Вот она, картина мироздания!
Милый мой безмасочный наркоз.
Прочно поселился в подсознание
Неослабевающий мороз.

* * *

Наездник страстей и желаний палач,
В преступном сообществе с сорной травой,
Совковый дебил и нескладный рифмач,
Живу и нелепые замыслы строю.

Белесое небо пронзили стрижи,
И каждый стрижонок бодрей и моложе
Тебя, что лелеял всю жизнь миражи
И лез впопыхах из подростковой кожи.

Из кожи шагреневой лез впопыхах,
Из власти мигреневой – напропалую,
И жил, недоделанный, в вечных стихах
Как в вечных грехах, но должно быть, не всеу.

Должно быть, не всеу. Земная гроза
Тебе, недоумку, подарит раскаты.
Я жил не напрасно! Не как стрекоза,
Которую мудрый Крылов припечатал.

Я жил ради точной, умелой строки,
Во имя округлого, лунного звука.
Вот так и живут на земле чудаки,
И новый синяк чудаку не наука.

Россия! Огромный, цветной лохотрон!
Бесстыдный фантом, депутатская случка.
Здесь прожитый день – только боль да урон.
Но все ж, как в обойме последний патрон,
Себе оставляю бумагу да ручку.

* * *

До боли и острого свиста
Спрессована крошка-душа.
В расхристанном полюшке чистом
Повисла, над бездной шурша.

На фоне родных плоскогорий,
Славянской стези на краю
Решительный всадник Егорий
Пронзил слюдяную змею.

И тихо земля задрожала,
И ветер прошел стороной,
И свесилось узкое жало
С отравленной, липкой слюной.

Когда ж этот всадник угрюмый
Доскачет до Вечной Весны?
...Какие печальные думы!
Какие тяжелые сны!

* * *

Здесь всё уже не так – не так цветет кипрей,
И ласточка парит над окскою волною

Совсем уже не так. Мы сделались мудрей,
Отчаянней, грустней – и что тому виною?

Здесь всё уже не так. Кружатся в голове
Пять этих гулких слов, и худшее пророчат.
«Здесь всё уже не так» – мне слышится в траве.
«Здесь всё уже тик-так» – кузнечики стрекочут.

Вселенский кавардак. Простуженный скворец.
Колодезной воды серебряный стаканчик.
Зачем тебе туда, где розовый малец
Шатался босиком и дул на одуванчик?

В ту теплую страну, где ласточка легка,
Где свежи и чисты младенчества порывы,
Где в небе голубом застыли облака,
Где все еще с тобой, где все добры и живы.

Где все еще с тобой, и живы, и добры,
И жизнь твоя течет ни шатко и ни валко.
Но что тебе, дружок, до сладкой той поры?
Здесь всё уже не так... да это и не жалко.

* * *

Сколько мальков на речном берегу гниет!
Сколько их там, вероятно, сам Бог не знает.
Стоит ли верить, что кто-нибудь их спасет?
Так неужели их кто-нибудь Там считает?

Счастье земное трясется на волоске.
Нам только кажется твердою эта крыша!
Сколько их сгнило уже на речном песке!
Кто этот маленький – как его, Саша, Миша?

Как червячки, эти крошечные кишки!
Как чешуя серебрится смертельным цветом!
Чем успокоиться, скажете ли, дружки?
Может быть, простеньким, резвым каким сюжетом?

Слышишь ли ты, как русалку Садко зовет?
Пусть ты погиб, но ты вечно живешь в молитвах!
Сколько мальков на речном берегу гниет!
Сколько их там! Но не меньше, чем павших в битвах

Легионеров и рыцарей, что за честь
Родины пали, не бросив свое оружие.
Сколько их сгнуло в пропасти? Перечесать
Их невозможно, милоч, да и вряд ли нужно.

Нам за всю жизнь и не вымолвить стольких слов!
Бедный язык онемел и как будто высох.

Толще всех ленинских-сталинских, друг, томов
Этот земной поминальный огромный список.

Даже архангел, что в чистой струе поет,
Нам никогда этот список не прочитает.
Сколько мальков на речном берегу гниет!
Сколько их там, вероятно, сам Бог не знает.

* * *

Заражает ритмом больной кузнечик.
Он скрипит возле маленьких тихих речек,
Он скрипит возле тихих болот и скважин
И привычный скрип ему дорог, важен.

Поражает ритмом упрямый дятел.
Вот уж кто не зря свою жизнь потратил,
Альтруист лесной, эскулап сосновый,
Поражает крепкой своей основой.

Провожает ритмом кулик болотный:
«Что забыл ты у нас, неврастеник потный?
Здесь Россия, милок! Убегай, подранок,
Здесь дрожит потолок от ночных гулянок».

Убеждает ритмом своим кукушка,
Наш дельфийский оракул, вещунья, душка.
Забредешь в лесок наколоть лучины
И узнаешь срок до своей кончины.

* * *

Ах, как ландыша ягоды жестки!
Буйный ветер свистит в голове,
Предприимчиво гладит по шерстке,
Шелестит в пышнотелой листве.

Горевое мое государство,
Темно-серый плебейский лопух,
Крупношерстной крапивы коварство,
Тополиный застенчивый пух.

Колокольчиков синее диво,
Камыши у кривого пруда
И багряно-лиловая слива –
Я от вас не уйду никуда.

Кукушиной тоски отголоски,
Соловьиный сквозной звукоряд.
Ах, как ландыша ягоды жестки!
Ядовиты они, говорят.

Кирилл АНКУДИНОВ

Литературный критик, поэт. Родился в 1970 году в Златоусте. Окончил Адыгейский государственный университет, там и преподает в настоящее время на кафедре литературы и журналистики. Кандидат филологических наук (диссертация «Русская романтическая поэзия второй половины XX века»). Публиковался в журналах «Октябрь», «Москва», «Литературная учеба», «Новый мир», «День и ночь» и др. Живет в Майкопе.

ТВОИ СЛОВА – АЛМАЗНЫЙ СЛЕД...

Молчанье

Всю эту осень я молчал,
Таился, словно рысь лесная.
Меня сквозняк не замечал,
Как будто бы в упор не зная.
Я умалился, точно дым
В потоке солнечного света.
Меня могли б назвать своим
Обыкновенные предметы.

Вот так же молодой монах
Зовёт сырое время года:
Всё те же вожжи на возах,
Топор, разбитая колода.
Плывут закатные лучи,
Растут осенние растенья,
А он твердит: молчи, молчи,
Слова страшней, чем запустенье.

Пустая келья и тряпье,
Листва, которая ветшает, –
Привыкни – это всё твоё,
А всё иное – искушает.
Молчи. Не вздумай оставлять
Следов и слов неосторожных.
Повсюду сети. Но поймать
Тебя отныне невозможно.

И если правда, что душа
Подобна типу кислорода,
Живи, почти что не дыша,
Чтоб не истратилась свобода.
Избыточен любой ответ,
Одно другого не новее.
Твои слова – алмазный след,
И с каждым словом ты слабее.

Берег

Отцу

Летит огонь, но только где –
Поди узнай –
По убегаящей воде
К ночной звезде
В далёкий край.

Там проплывающей ладьи
Синеет ют,
Бегут весёлые ручьи
И соловьи
Везде поют.

Там почтальон к тебе домой
Тебе вослед.
Сверкает солнечной каймой
Его немой
Велосипед.

Он всем разносит по письму,
Как активист,
Но адресован не тому
Иль никому
Бумажный лист.

Там даже виден тусклый свод
По выходным,
Но взгляд туманится, плывёт –
Который год
Какой-то дым.

Тоните, дальние края,
В дыму любви,
Звучите, звуки соловья,
Вперёд, ладья,
Плыви, плыви.

Ночной ливень

Наталье Черных

Ночь. Приморский город. Фонари
Не горят во мгле у поворота.
Будет бить сегодня до зари
Этот дождь в незримые ворота.

Льёт вода, струится у оград,
В водосточных трубах громыкает.
Чёрный ангел в дикий виноград
Медленно и нехотя всплывает.

Что он сделал? Как сгорел дотла
Он, такой свободный и единый?
Что за предстоят ему дела
На мостах, на горных серпантинах?

Там, вдали, таможня и тюрьма,
Там, вдали, полночные квартиры
Вделаны в огромные дома,
Как стаканы синего эфира.

Ветер лижет тонким языком
Впадины, обмётывает щели.
Двигается по ветру страшный ком
Чёрной размотавшейся кудели.

Холодно ему в краю чужом,
Свет его просвечивает тонко.
Меж вторым и третьим этажом
Мечется сырая перепонка.

Ни звезды в пустыне ледяной,
Ни следа в проёмах балюстрады.
Ливень льёт. Вода стоит стеной
И орут летящие громады.

Падение дома Ашера

Александру Кушнеру

Темны просторы небосклона,
Но гладь воды освещена.
В расщелину так изумлённо
Глядит багровая луна.
Змеится трещина фронтона –
Распалась ветхая стена.

Зачем ты осознал впервые,
Что значит этот странный стыд?
Не буря валит вековые,
Не падает железный щит –
То рвётся среди тьмы Россия
И дерево дверей трещит.

Когда она открыла вежды
В гробу, в узилище, в плену,
Ты знал, но ты таил надежды
Не опознать свою страну.
Её кровавые одежды
Изобличат твою вину.

Ведь скрип замков – не звуки скрипки
И невозможно стон пропеть.

Кто захоронен по ошибке?
 За кем забыли присмотреть?
 Ты гибнешь, Ашер. В этой сшибке
 Уже тебе не уцелеть.

* * *

Александру Адельфинскому

В Северном море спускается чёрная ночь,
 В дальней Атлантике пусто и ноль отсчитало.
 Радиоволны кругами расходятся прочь
 Как бы вода амстердамского как бы канала.

Ах, Амстердам, полурей в полукружье пустом,
 Чёрная птица на розовом фоне заката.
 Там никому не обидно заснуть под мостом,
 Там неопасная грязь, как халва, серовата.

Да и не спят под мостом, потому что не спят,
 Спать не положено, ветер, открытые бары.
 Там никогда не отчалит летучий фрегат,
 Там ничего не услышат ночные радары.

Я не у кромки прибоя, должно быть, стою.
 Чёрная бездна гордится своей глубиной.
 Где ты, Европа, и что у тебя на краю –
 Крест или камень, и что, чёрт возьми, подо мною?

Изгнание из рая

Дмитрию Быкову

Когда Адама прогнали вон,
 Должно быть, чёрная ночь была.
 Полюбовался, вздыхая, он
 Небом, выгоревшим дотла.
 От яблока оловянный вкус –
 Как долго помнится вкус беды.
 Пора собирать свой скарб, свой груз –
 Прощайте, яблоневые сады.

– Служи, Адам, как Отец служил –
 В поте лица, вытягиваясь из жил.

Врата разверсты, простор открыт,
 А память – оглядывается туда,
 В дни, где ещё не изведен стыд,
 Куда как правильной – без стыда,
 Чтоб мир не слоился на свет и мрак,
 Чтоб яблоки на ветвях – целей.

А все запреты – не боле как
Закон заслуженных дембелей.

– Служи, братан, как дембель служил,
А дембель на службе неплохо жил.

Терпи, казак, выгребай, урод,
Когда-то выслужишь что-нибудь.
Всё цену имеет, даже тот
Воздух, который втекает в грудь,
Даже те бесплотные облака,
Даже самый махонький колосок,
Даже эта свинцовая река,
Воды стремящая на восток.

– В поте лица, вытягиваясь из жил,
Служи, сынок, как отец служил.

Ты вскоре научишься выживать,
А выживание – разврат и грех.
Ты вскоре научишься выжигать
Чужое, чтоб быть не хуже (не лучше) всех.
Ты станешь думать лишь об одном –
О теле родном, здоровом или больном.
И так отрезвеешь к тридцати,
Что будешь, парень, бревно бревном.

– Прости, Адам. Вытягиваясь из жил,
Служи, Адам, для того, чтоб твой сын служил.

Но только не думай, что не взойдёт
Солнце, что не вернётся свет.
Ведь кто-то же требует, кто-то ждёт –
Молодец – твердит – наконец-то попрал запрет –
Когда-то же надо, отбросив лень,
Хоть с опозданием, но всё ж начать.
Завтра твой первый будний день
Поставит сургучную печать.

А отслужишь – скажут, что отслужил,
Что голову, мол, не зазя сложил...

Ведь Он так хотел, чтобы ты служил,
Чтоб голову не зазя сложил.

Саламандра

Ю. М.

Как будто чей-то голос звал,
Какой-то голос звал меня.
Я саламандру увидал,
Она металась средь огня.

А я – стоял пыланья вне
И руку в пламень протянул,
И пламень тот почти что не
Обжёг, почти что не лизнул.

Но голос вспыхнул и погас,
Как будто искра на ветру:
– Меня сгубил ты, а не спас,
Мне душно, я сейчас умру.

Всё туже смертная броня,
И воздух плавится в груди.
Верни в огонь, верни меня
И сам в огонь за мной иди.

Я снова руку протянул
Руке несчастной на беду:
– Вернул в огонь тебя, вернул,
Но за тобою не пойду.

Как хорошо, что пуст проём,
Как хорошо, что рвётся нить,
Как хорошо, что не вдвоём
Судьбой назначено нам жить.

Как хорошо, что кончен риск:
И я живу, и ты живи.
И не родится василиск
От нашей гибельной любви.

Тропинка

Эта тропинка тихо следует мимо дома,
Тянется, где пустырьник возле стены растёт,
Медленно огибает ржавые пятна лома
И, покругив по полю, нам обещает вход.

Но почему цикады в роще стрекочут тише,
Ветер слабее, птицы будто поют не в лад?
Встань в переливах света и пожелай услышать,
Как из темниц рядовки вслед за тобой глядят.

Так далеко уводит трепетная морзянка.
Вспыхнет и отовьётся воздуха злая грань.
Рядом с лесным шалфеем вырастет наперстянка.
Станет лилово-синей розовая герань.

То не герань мерцает – то цепенеет яма –
Омуты, водокруты, жёлтые огоньки.
Мы тебя не меняли. Мы направлялись прямо.
Ты привела, тропинка, к устью большой реки.

Проза

Олег МАКОША

Родился в 1966 году в Горьком. Работал слесарем в трамвайном депо, охранником, строителем, заведующим гаражом, консультантом в книжном магазине. Лауреат премии журнала «Флорида» 2012 года. Живет в Нижнем Новгороде.

ТЕТЯ МОТЯ

Буду называть ее – Мотя.

Мотя – самодеятельный художник и, как это часто бывает, очень оригинальный человек. Оригинальный до оторопи окружающих и обморока малочисленных родственников. Яркая бабочка на грязном снегу. Невысокая, сама себя поперек шире, обладательница мощного голоса. Вдруг исполняющая партию князя Игоря. Или просто зычно хэкающая на прохожих.

Одета в оранжевую куртку, поверх куртки – фиолетовая шуба из искусственного меха, на голове – мохеровый платок. Она – футурист. Именно так, с мужским окончанием. Тетя Мотя, подруга Маяковского и братьев Бурлюков. Последний русский футурист, родом из города Кенигсберга.

– Я, бывало, выйду на балкон да как запою! А снизу: ты что, девочка? Что? Меня весь город знал!

Я и не сомневаюсь.

– А потом кричат моей матери: немедленно заткните свою дочь.

Выставляется у районного суда. На заборе висят картины, сама сидит на раскладном стуле, ежится. Подошедшим любителям, советует:

– Дальше идите. Открытки там перерисовывают.

Запахивает шубу, говорит мне:

– Меня тут ненавидят. Опричники! Сходи, купи пол-литра, согреемся.

Я оправляюсь в магазин, здесь Мотю знают, охранник спрашивает:

– Замерзли?

Продавщица:

– стакан-то возьми, у нее же никогда нет.

Мотя выпивает полстакана, манит рукой бомжа, наливает ему. Коллегам не предлагает. Закуску, хлеб с колбасой, скармливает подбежавшим собакам. Вокруг нее всегда много собак.

– Я уеду. Во Францию. Там умеют ценить искусство. А здесь... Я вчера кошку нашла: глаз нет, брюхо вспорото.

– Блин.

– Сатанисты, точно тебе говорю.

– Может, вороны?

– Какие вороны?! Я участковому ее отнесла, сказала: прими меры.

– А он?

– Да что он... Налей еще.

Бомжик тактично стоит чуть в стороне. Мотя зовет:

– Ну, чего ты?

Ей вчера всем двором ключи искали, которые, естественно, оказались в кармане. Причем наиболее активные участники поисков с самого начала предлагали именно там и посмотреть.

– Идиоты. Ты понимаешь?

Я понимаю.

Потом спрашиваю:

– Как у тебя занятия?

– Нормально.

Мотя изучает французский язык, а до этого занималась с учителем вокала, а еще раньше почти окончила курсы экскурсоводов. Почти, потому что ее кошки отвлекают. Кошек двенадцать штук, и они все хотят жрать круглосуточно. А еще у них своя комната в Мотиной квартире.

– Такие скоты. Зайду, еду оставлю, и бежать оттуда.

– ..?

– Дикие совсем. Наброситься могут.

А во Франции ее работы ценят, судя по тому, что последний арт-дилер, увезший туда десяток картин, так и не вернулся обратно с деньгами. Зато на вырученные евро, по недостоверным сведениям, открыл небольшой тату-салон.

Мы молчим. Мотя вздыхает. Я знаю, по какому поводу. Ее главная трагедия жизни, незаживающая рана – мужчина-предатель. Тридцатипятилетний красавец, оперный певец, клявшийся, что разведен и влюблен. Но оказавшийся безнадежно женатым. Еще и с двумя очаровательными дочками. Мотя ездила к его жене в Санкт-Петербург, и у них состоялся доверительный разговор. Мотя вернулась с разбитым сердцем.

– Налей.

Выпивает. Ярко-красная помада разъехалась.

– Прав был Маяковский.

– В чем?

– Во всем. Любить – это революция.

Кивает головой:

– Я вчера новую картину закончила, показать?

– Конечно.

Достает из огромного пакета холст в раме, ставит к забору.

На холсте желтые дома с красными крышами, с раскручивающейся Земли, улетают в синее небо. Черные человечки машут руками им вслед. Собака с огромными глазами, в углу картины, зацепилась за край и висит, свернув хвост бубликом.

Вокруг трансцендентные цветы.

Земля набирает обороты, дома мелькают и, минуя синее небо, исчезают в космосе. Собака остается.

Картина невыносимо прекрасна.

Тетя Мотя – тоже.

БУДЬ МНЕ СЕСТРОЙ

Бес попутал.

Увидела – схватила. Сама не знает почему. Как будто что-то под руку подтолкнуло. В ЦУМе сапоги выбросили, все побежали, как нахлыстанные, и она вместе со всеми. Встала в очередь, впереди девица столичная волнуется, хватит – не хватит, деньги пересчитывает. Кошелек достала, пошуршала купюрами, бросила незакрытый в сумку, голову вытянула, смотрит. Тут Геля и схватила. Вышла из очереди, растерянная, кошелек в руке держит, думает... Да ни о чем она тогда не думала, стояла – ворон считала в прострации. Здесь ее под руки и подхватили двое в штатском. Девчонку из очереди выдернули, сказали:

– Гражданочка, проверьте деньги.

Та поковырялась в сумке и в крик.

Понятые.

Туда-сюда.

К Олимпиаде готовились.

Она к сестре в гости приехала. Сестра у нее в Москве замужем. Училась здесь, познакомилась с гарным хлопцем, окрутила его и осталась жить в столице. Любовь, значит. Хороший парень конечно, двухкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке, инженер на АЗЛК. Сын у них растет, Сережка пятилетний, дача недалеко, на машину копят, все как у людей.

В день приезда они посидели немного, Геля гостинцев из дома привезла, здесь такого не найдешь. Сало домашнее, пряники мятные, халву, горилку отцовскую самодельную, тушенку (мама делает) в банках поллитровых, абрикосов довезла, не испортились, она их чуть недозревшими брала, сахар вареный коричневыми кругляшами. Выпили, закусили, поговорили обо всем. Они с Наташкой сводные сестры, от разных отцов, но похожи, обе крупные, жгучие, улыбчивые. Муж Валера, сидел, любовался.

– Эх, красавицы!

А на следующий день она погулять пошла по магазинам. ЦУМ, ГУМ, Калининский проспект посмотреть. Вот и погуляла. Чего ее за этими сапогами понесло, денег все равно в обрез. Юбку же хотела и косметику, а побежала за сапогами. Когда увидела кошелек в сумочке у девчонки, как затмение нашло, никогда ничего чужого не брала, не прикасалась, брезговала. А тут, купюры новые, ровные, гладкие, она даже не поняла какие, сами в руку лезли, просились.

Соблазн.

Потом, уже на следствии, закончившемся очень быстро, узнала, что это двадцатипятирублевки были, узнала, когда соображать начала хоть что-то. До этого как во сне все путалось. Люди какие-то, бумаги, камера, бабы что-то спрашивают, лица мелькают, иногда рожи, как из страшной сказки, что в детстве бабка рассказывала.

Плакала.

Товарки ее утешали.

В туалет ходить стеснялась. Опять плакала, спать почти не могла, ночью лежала, то прислушивалась, то вспоминала, жизнь казалась конченной.

Мать приехала, им свидание дали, не знала, как в глаза ей смотреть. Передачку следователь разрешил с собой взять, все раздала, не лезла еда в горло.

Мама так и жила у Наташи до суда. Быстро все было. Да.

На суде не видела вокруг ничего. В голове звенело негромко, плохо понимала, что происходит. Учили ее, учили сокамерницы, а что толку. Вставала, когда велели, отвечала. Вроде мама плакала, скорее догадалась, чем слышала. Потом только дошло, что полтора года дали. «Химии». Увезли в Горьковскую область на завод. В цех определили. Большой.

Как-то все наладилось. Привыкаешь.

Восемь месяцев отсидела, под амнистию попала, у нее срок не тяжелый, вышла.

Устроилась на швейную фабрику, там общежитие давали, не захотела домой возвращаться, не прошел стыд. Работала, стала забывать потихоньку, девчонкам все равно, их не напугаешь судимостью, и хозяйственная она, в комнате всегда гости, смеются, сплетничают. Лучше, чем в общаге при заводе, «химической», закрытой наглухо.

Она салат приготовит из ничего, девочки всегда голодные, мама посылки присылала, домой звала; чай пили с пряниками.

К сестре в гости съездила, опять посидели, но только без гостинцев из родных краев, так, привезла хохломы в подарок, и все. Вспоминали, выпили чуть-чуть, Сережка-сынок подрос, вроде и немного времени прошло, а дети растут так, что каждый раз вздрагиваешь, как другой ребенок. Потом Валера с работы вернулся, обрадовался, он Гелю не осуждал, понятно же, что случайно получилось. Глупость.

Может, и глупость.

На машину у них очередь подходит, будут «Жигули» покупать.

Сестра говорит:

– Ты как теперь?

– Так.

– Замуж когда выйдешь?

Геля в ответ смеется, мол, успею еще, какие мои годы.

Какие мои годы, какие мои ночи темные, когда небо бархатное низко и его можно потрогать руками, взять звезду, покатать в ладонях и прилепить обратно или поменять их местами. Арбузы в кадке плавают, огромные, как детское счастье, трещат и обещают бесконечность радости на земле. Ребятя в округ бегает, гомонит, залазает на шелковицу, собирает ягоды. Коленки разбитые.

Она в стороне стоит, не думает ни о чем, как тогда в очереди.

И уже почти не жалеет.

Муж Наташкин Валера спрашивает:

– Ты когда домой-то уезжаешь?

Когда-когда, тогда и уехала.

Вот до сих пор в дороге.

СНУСМУМРИК

Я нашел Снусмумрика, он сидел на батарее отопления, когда я вылез из канавы.

Вообще в вагонах много чего забывают.

Зонты, портмоне, детей, куртки, удостоверения.

Не всё доезжает до ремонтных боксов, но и нам достаются приятные сюрпризы. Вчера пацана в дрова пьяного привезли, проглядели и кондуктор, и водитель. На прошлой неделе в генераторе нашли пятисотку. Засосало.

Все найденное, но в хозяйстве не нужное, складывается на ближайшие поверхности. Вот и Мумрика кто-то посадил на батарею греться.

Я мимо пройти не мог. Как увидел, думаю, ну точно он. Накануне услышал от одной дамы твердых политических взглядов – Снусмумрик – что за хрень такая? А тут сидит. Вылитый – уши торчат, морда грустная, лапы на животе сложил и молчит.

Подобрал я его и принес домой. Дома у меня до фига таких, целый зверятник, я всех найденных чуч домой несу. И не только, есть у меня коллекция камней и пластмассовый вагончик, найденный в вагоне железном.

Но дело не в умилении мягкими игрушками довольно взрослого дяденьки.

И даже не в Туве Янсон, авторе «Мумми Тролля».

Дело в бесконечности печали.

Ты каждый день вынужден зарабатывать себе на жизнь, юмора не хватает, сил хватает, а юмора – нет. Подобрал игрушку, принес домой, отмыл, поставил куда-нибудь и забыл. Через год наткнешься, хмыкнешь и пойдешь дальше. А она там стоит, болтает с товарищами, я хочу думать, что болтает. Или с товарками.

Это не круговорот, это движение вперед, просто его не видно ни черта.

Но, делая шаг и получая по морде, ты даешь по морде в ответ и все-таки делаешь шаг.

Немного сложно, но переделывать не буду.

Пишешь рассказы, иначе придется пить с коллегами дрянную водку на пьяном камне возле забора или дорогую водку со старыми друзьями в офисах и ночных клубах. Вывешиваешь на сайтах, получаешь отзывы, в том числе довольно загадочные, мягко говоря.

Пишешь.

А рассказы такие.

Есть у меня знакомые дамочки, одержимые жаждой познания потустороннего. И оно к ним приходит. В лице соседей, воров и убийц.

* * *

Случай первый.

Ирина Петровна Комарова.

Место действия – одноподъездная девятиэтажка.

Пришла Ирина Петровна домой с работы, а света нет, отключили электричество для профилактических работ. В подъезде темно, соседи бегают

с этажа на этаж, переговариваются и дебоширят. Ну, подумала Ирина Петровна и легла спать, а что еще делать одной в темноте. Проснулась от невнятного шебуршания, и что неприятно – в коридоре свет горит. Сначала она обрадовалась – электричество включили, а потом испугалась, потому что точно помнила – свет в коридоре гасила. И в слабой надежде, что это все-таки сын явился, Ирина Петровна пищит:

– Кто там?

А из темноты раздается голос, с поражающей сознание логикой отвечающий:

– Кто-то из тьмы!

Вскрикнула она, как раненая птица, и слегка отрубилась, вполглаза, но к происходящему прислушивается.

А чего там прислушиваться, сперли все-таки мобильный телефон и бутылку подсолнечного масла, охальники, и пошли дальше бухать

Хорошо на честь не посягнули.

* * *

Случай второй.

Таисия Ефремовна Кутырникова.

Место действия – третий этаж хрущевки.

На дворе август месяц во всей своей истоме. Таисия Ефремовна идет выносит мусор на помойку около подъезда, оставив дома спящего племянника. А перед этим она белье гладила и выглаженное развесила на доске гладильной.

Перед диваном, а на диване, значит, племянник.

Ну, выкинула мусор, а погода, елки-палки, да когда еще в России такая погода? Чтоб не отупляющая жара и не марсианский холод. Только в августе.

Зацепилась она, короче, языком с бабами у подъездной лавки.

Обсуждают животрепещущее.

Племянник спит.

И сквозь сон слышит разговор.

Заинтересованно открывает глаза и видит двух деятелей, нарезающих по комнате. От испуга племянник орет, понятно, матерно, но нечленораздельно. Мужики, не будь дураками, бросают награбленное и ломятся к окну. Они лестницу, скромно так, поставили и влезли в открытую балконную дверь. И этим же путем собираются ретироваться.

Но племянник мужчина мужественный

Первый-то ворюга на лестницу прыг и вниз, а второй не успел. Схватил племянничек ножницы теткинны портновские и засадил мужику по самое не могу.

Хорошо в ляжку, а не между.

А мужик в ответ, находясь в состоянии аффекта, племяннику по челюсти. И тоже удачно попал. Перелом в двух местах с блуждающим костным фрагментом. Зарядил в репу и на лестницу. Но племянник, то ли сам впал в аффект этот, то ли действительно исключительного мужества человек, но лестницу с мужиком пнуть успел.

Третий этаж, как я уже говорил.

Упал мужик и не встает.

И племянник упал, потерял все-таки сознание.

А Таисия Ефремовна, наговорившись, возвратилась домой.

Где ей представилась картина полного, но не окончательно разгрома.

* * *

Случай третий.

Зинаида Альбертовна Чудик.

Место действия – первый этаж элитного дома в центре города. Окна на детский сад.

Спит Зинаида Альбертовна Чудик сладко. Рядом со своим мужем. И чувствует, как в бархатной темноте субботней ночи муж нежно гладит ее по ноге. Ближе к тому месту, где сходится перспектива из стихотворения Бродского. И даже во сне понимает, что что-то не так. Не может муж эту ногу гладить, с другой стороны муж лежит. А этот, который гладит, присел на край супружеской кровати и наяривает. Трепетно, но целеустремленно.

И чего тут делать?

Притаилась Зинаида Альбертовна и ждет, что дальше будет.

А дальше ничего и не было.

Встал таинственный незнакомец и, сделав шаг, растаял в сумраке ночи.

Полежала еще Зинаида Альбертовна и решила, что все это ей приснилось – и сладостное поглаживание, и тень от тени в бликах фар проезжающих автомобилей.

А вот окно утром оказалось открыто, хотя вечером было крепко затворено, первый этаж же, и никаких решеток. Не ставили в те годы решеток на окна. Устойчивые ассоциации вызывали решетки у граждан страны. Короче, не принято было.

Это самый красивый случай из трех. Самый романтичный.

Мой любимый.

Из всей коллекции он наиболее тонкий и загадочный.

Потому что через неделю квартиру Зинаиды Альбертовны обнесли. Помыли супостаты фамильное золото и сервиз «Мадонна». Не пощадили святого.

Надо было сразу ей решетки поставить, наплевав на общественное мнение.

Но ведь гладил ее по ноге разведчик?

Ведь вождедел?

Или просто не смог удержаться, увидев обнаженную женскую ногу, с атласной прохладой выглядывающую из-под одеяла?

Кто знает.

* * *

Объединяет все три случая сон. Может быть, он же их объясняет.

Снусмумрик, как становится понятно из текста, попал в рассказ случайно.

АЛЕБАСТР

В одной из своих книг классик кенийской литературы Нгуги Ва Тхионго писал: «Народ, говорящий на языке кикуйю, непобедим».

Или не писал, какая разница, человек, знающий этот самый кикуйю, уже может всю жизнь не работать.

Еще цитата:

«При шизоаффективных расстройствах с депрессивным синдромом пациенты ощущают тоску, тревогу, у них отмечаются речевая и двигательная заторможенность, идеи самообвинения, суицидные мысли и намерения».

А цель творчества, естественно, самоотдача, а не шумиха и не успех.

Как начать.

Сейчас.

Тогда еще не было времени.

Нет, не то.

Тогда не умели его считать. Поэтому установить, в котором часу герой этого рассказа оказался на окраине города, невозможно. Может быть, была полночь, по-нынешнему исчислению. Короче, стоял Витек у дороги и ковырял носком ботинка асфальт. Ждал попутку. Потом ковырял в носу и снова ждал попутку.

В это время в лесу двое закапывали третьего. Так совпало. Чистая случайность.

Закопали, сели в машину, поехали. Видят, стоит Витек, руками машет. Остановились. Чего ты? – спрашивают. Витек говорит – домой хочу. Садись, чего ж. И тебя закопаем, если что.

Едут.

Витек предлагает:

– Хотите, анекдот расскажу?

– Расскажи.

– Значит, так.

Рассказывает анекдот. Не смешной.

Парни спрашивают:

– Ты вообще что?

– Я из больницы сбежал. Из психиатрической. (Витек не так четко произносит, как здесь написано, у него получается – «из психитисеской»).

– Псих?

– Да.

– Это хорошо.

Парни думают, как его можно использовать в криминальном плане с большей выгодой. А Витек вытаскивает из кармана куртки отвертку и бьет водителя в висок. И пробивает кость как арбузную корку. Тот умирает, заваливается на бок, выпускает руль из рук, и машина летит в кювет.

Второй паренек при кувырании внутри автомобиля несколько раз ударяется головой и теряет сознание. Витек расшибает коленку об крышу. Не сильно.

Выбирается из покореженной машины, отряхивает штаны, выдергивает из трупа отвертку, поднимается на шоссе. Стоит, ковыряет ногой асфальт. Ждет попутку.

Он не маньяк, просто так получилось.

По трассе прет дальнобой Семенов. На КамАЗе. Везет какую-то дрянь, типа чипсов из дальнего Подмосковья. Ему скучно. Радио надоело. Он останавливается и подсаживает Витька.

Спрашивает:

– Тебе куда?

– В город.

– Расскажи что-нибудь.

– Анекдот хочешь?

– Давай!

Витек рассказывает. На этот раз смешной. Семенов долго хохочет:

– Во блин! Нет, во блин!

На ключах зажигания болтается брелок. Женская фигурка. В темноте кабины плохо видно.

Семенов:

– А вот я сейчас расскажу. Значит, так.

Рассказывает.

Витек, не думая ни о чем, просто так, вытаскивает из кармана отвертку и (нет, не бьет Семенова в висок) прячет ее под сиденье.

КамАЗ летит. Витек болтает с Семеновым. То есть Семенов спрашивает, а Витек охотно отвечает. Оба страшно довольны разговором.

– Нет, ты понял?!

– О! О!

Парень, брошенный Витьком в кювете (пятьдесят два условных километра назад), очухивается. Мотает головой, встает на колени, потом на ноги. Смотрит на машину, на труп подельника, достает мобилу и звонит. Первый звонок остается без ответа. Второй тоже. Набирает третий номер. Разговаривает.

– Приезжай. Нет. Нет. Понял.

КамАЗ подъезжает к городу.

Семенов высаживает Витьку, едва они проезжают дорожный указатель с названием, а сам отправляется дальше по объездной. Ему еще груз сдавать и в гараж. Потом помыться, выпить и спать. Дома подруга Ларка, шей небось сварила и водочки припасла. Холодной. Огурчики откроет. Эх.

Отвертка выкатывается из-под сиденья к дверце пассажира.

Время еще не началось, но похоже на раннее утро.

Витек подходит к остановке. Прячется под навес, укрываясь от мелко-го, только что начавшегося дождя. Стоит в одиночестве, ковыряет ботинком асфальт, ждет автобус. Мимо проезжает старый «форд скорпио». Таких сейчас уже не встретишь. В нем парень из перевернувшейся машины и его приятель. Витька они не замечают. Едут дальше. В объезд. Догоняют заглохший КамАЗ. Семенов поднял кабину.

В руке у него Витькина отвертка и тряпка. Отвертку он уже вытер.

«Форд» тормозит рядом. Пацан с водительского места спрашивает, навалившись на другана :

– Ты с трассы?

– Да.

– Подсаживал кого?

– Тебе-то что?

– Я серьезно.

– И я.

– Мы тебе денег дадим.

– Свои есть.

Пацан смотрит на Семенова, на отвертку у него в руке, быстро думает и достает самодельную битку. Выходит. Друган остается сидеть. Похоже, он снова потерял сознание. Под глазами у него фиолетово-рубиновые полукружья.

– Мужик, тебе что, трудно ответить?

– Хочешь, анекдот расскажу?

– Ну, сука.

Чувак делает выпад битой, целя Семенову в живот. Тот уворачивается, чуть приседая. А выпрямляясь, засаживает отвертку пареньку в селезенку. Выдергивает. Выдыхает.

Смотрит на скорчившегося на асфальте человека, на поднятую кабину машины, на отвертку у себя в руке. На увеличивающуюся лужу крови.

Садится спиной к колесу, кладет отвертку рядом. Закуривает. Звонит по телефону.

– Нет, задерживаюсь, да.

Спустя некоторое время из проезжающего автобуса Витек видит обгоняющий их милицейский «уазик». Он равнодушно провожает его глазами.

Ему хочется спать, чего-то он устал сегодня.

Время начинается.

Михаил ЧИЖОВ

КЛИПСА

Михаил Павлович Чижов родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт, работал в химическом объединении «Капролактам» в Дзержинске, затем в органах охраны природы.

Автор нескольких сборников прозы. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Первое пробуждение после шестичасовой операции случилось ночью. По крайней мере, ему показалось, что ночью. До этого он будто парил в безвоздушном, темном и невесомом пространстве. Рядом с ним летали ангелы с трубами в нежных, пухленьких ручках, подобные тем, что красовались на потолочном плафоне в краеведческом музее. Да и как бы он узнал, что это ангелы, если бы не частые посещения музея в раннем детстве? Чистые, безгрешные, картиночные, они нашли время, чтобы сопроводить парящую его душу во сне с названием «операция». И вот полет заканчивается: ангелы трубят и трубят, и громкий звук их труб, как звонок будильника в детстве, разрывает в клочья сладкие сновидения и безжалостно зовет, зовет в школу. Бесполезно зарываться в одеяло или накрываться подушкой, будильник сильнее, и надо спускаться в мир человеческой несправедливости. И теперь душа его, словно самолет в ночном полете, ищет посадочные огни и не находит. Пришлось срочно открыть глаза, чтобы спастись от грядущего крушения.

Камерный, неяркий свет, доходивший до его воспаленных глаз, пробивался откуда-то сзади и не мешал взглянуть в тот узкий сектор мира, доступный для обозрения. Сектор был на редкость мал и ограничен: рядом серела стена, подернутая туманом полузабытья и эфемерностью, и белел потолок над просыпающейся головой. Повернуться бы на бок и расширить обзор, но руки и ноги были крепко привязаны к полым трубкам, приваренным вдоль краев кровати. Впрочем, и без этих мер предосторожности он бы не смог двинуться.

Лицо закрывала маска искусственной вентиляции легких. Оставался только голос, что мог бы позвать на помощь и донести до тех, кто явно где-то копошился поблизости, весть о своем пробуждении. Он точно не был уверен в том, нужна ли ему помощь, положена ли она ему. Может, и кричать не надо? Зачем?

Боли нет, а, значит, не было и страха. Или наоборот: нет страха, и потому ничего не болит? Что первично, а что вторично? Этого он ещё не мог понять. Слишком сложный философский вопрос для только что очнувшегося от наркоза человека.

Сейчас он не мог себе даже ответить: счастлив ли он, что жив и сознание вернулось в его грешную голову. Да и была ли сложнейшая операция с остановкой сердца на полтора часа, в которые оно, как слабо исторгающая кровь безвольная тряпка, лежало в руках хирурга. Дорогое и очень необходимое всем сердце, о котором столько написано стихов, поэм, рассказов, романов, что их количество, их вес, наверное, превысил бы вес Земли, упорно утаптываемой теми, в чьих грудях оно

бьется. И в большинстве своем все эти оды, гимны и драмы лживы и недолговечны, потому что человек слишком самонадеянное существо. Все его велеречиво мудрые измышления и так называемые «движения сердца» могут в момент исчезнуть, как утренний туман в лучах горячего солнца, сердца Галактики, от одного лишь неловкого движения хирурга. Во время операции он для больного бог, царь, судьба, воплощает рок и фатум, как их ни называй, и помехой ему может быть лишь его физическое состояние. Ругался ли он накануне со своей женой, изменившей ему, или был недоволен школьными оценками сына, принесшего очередное замечание в дневнике. Все это мелкое и несущественное приобретало вселенское значение для того, чье тихое, молчащее сердце лежало в руках хирурга, вшивающего в коронарные сосуды перемычки с техническим названием «шунты». Тонкие сосуды, такие же по размерам шунты, микроскопические нитки, толстые на их фоне пальцы. Все мы находимся в чьих-то руках, реальных или виртуальных, или попадаем в них рано или поздно, но попадаем непременно и надежно. Редко кто минует этого, но тот, кому это удастся, видимо, и есть свободный человек.

Сейчас он был не свободен в прямом смысле этого затаканного слова, затертого, как царский медный пятак. Сознание крепло, и не важно, что его видимый мир в это время был узок, убог, несовершенен и зыбок в своем объеме. Мир мыслей возвращался быстро, если не сказать стремительно, и был обширен, как вселенная. Ведь в самом деле, думал он, если умножить шесть бессознательных часов операции на число дней в году, а потом на 24 часа (зачем?) да еще на сотни разговоров, реплик, действий, размышлений, то получится многомиллионный интеллектуально-словесный раствор, из которого может выкристаллизоваться личность. Может и не вы-кри-стал-тал...л-л... Ох, какое трудное слово. Он опять закрыл глаза.

Еще вчера, представил он, на поля, на редкий лесок, остаток некогда большой загородной рощи вокруг больницы, густо валил снег. Он стоял у окна, ожидая приезда медсестер с медицинской «каталкой», и вспоминал, как он в молодости бегал по этой роще на лыжах. Быстро, по-молодецки выкидывая попеременно руки с палками, а затем, разом оттолкнувшись, сводил их сзади, чтобы принять оптимальную, обтекаемую позу при спуске в ложбину. Её, уходящую далеко на восток и взбирающуюся на возвышенность, хорошо видно из окна. По ту сторону водораздела течет могучая река, вбирающая воду из тысяч таких вот лощин. По этой ложбине тоже бежит ручей, узкий, сноровистый, холодный помощник великой реки.

Человек по жизни тоже чей-то помощник, советник, друг. Без этого нельзя, думал он, вглядываясь, будто в первый раз, в снежную круговерть за окном и в очередной раз спрашивал себя: боится ли он смерти. Вот усыпят его на долгое-долгое время, чтобы провести сложную операцию, а где-то в необъятном, как космос, и сложном организме (один мозг чего только стоит) лопнет какой-нибудь сосудик, и он не проснется. Просто не проснется и перейдет в вечное небытие, длящееся миллиарды лет. Душа спокойно воспринимала такую возможность и не вздрагивала в испуге, а тело не покрывалось липкой испариной страха за свое телесное, а потому недолговечное, и пот не лился струйками из подмышек. И это было правдой.

Он не кривил перед собой. Ради чего, собственно? И не представлял, как в детстве, горьких слез родных. Не утешал себялюбиво жалостливой картиной похорон: плачем жены и хмурыми взглядами детей, отводящих

глаза от бескровного, неживого, ставшего чужим лица с заострившимися чертами и темно-лиловыми кругами вокруг впалых глаз, жадным, болезненным интересом соседей и сотрудников по работе. Будь что будет, думал он.

Все, кто сейчас его окружает, пойдут вперед по жизни или будут беспомощно топтаться на месте (кому как суждено), он же останется таким же, и не достать их ему ни рукой, ни голосом, а им его. Только память способна творить чудеса, и в ней он останется таким же. Наверное, это хорошо, думал он, но тоже ненадолго. На срок им отпущенных дней. Дети, внуки – продолжение его жизни. Только будут ли они ходить на его могилку? Хотелось бы, конечно, но не из-за тщеславия, а памяти о прошлом, без которой люди, да и сама жизнь, дичают, как культурные растения без ухода: перекопки земли, полива, подкормок, обрезки лишних ветвей. Они, эти способы ухода, – суть воспитания. И потому, но и не только, надо заниматься с внуками и пытаться вдохнуть в них свою душу и существенные «мелочи» жизни. Что такое хорошо и что такое плохо? Если они разницу эту усвоят нутром своим, то сохранят твой образ и придут. Куда угодно придут. Вот, видишь, сказал он себе, почти все хорошо: ведь ты же отдаешь им свое время. Потом они отдадут тебе свое. Есть же на свете высшая справедливость. Так о чем же грустить?

Он и не грустил, но мысли раз за разом возвращались к предстоящей операции. Живой думает о живых. Это нормально. Сейчас или совсем скоро решительно распахнется дверь в палату, и в неё войдет симпатичная черноволосая медицинская сестра, стройная, высокая, под стать высшим, модельным требованиям. И ему будет приятно, что на эту сложную операцию его повезет она, внимательная и неравнодушная. Какой пустяк, думает он, кому везти тебя на возможную смерть, и не может с этим согласиться. Кажущиеся условности совсем таковыми не являются, особенно в критические моменты жизни. Это те «пустяки», без которых она становится пресной, пустой, обезличенной. Если тебя окружают убогие духом люди, то и сам ты станешь со временем таким же, как они. Нет, даже в самом малом деле надо искать красоту и прекрасных людей, радующих глаз и душу.

Вчера эта модельная медсестра, что-то забыв, вернулась на свой пост. На ней было черное, кожаное и длинное пальто, опущенное по краям крашенным в тон песком. Она ходила всегда стремительно, и даже недлинные волосы её развевались, как у финиширующей на короткие дистанции спортсменки. Он, сидя в коридоре, читал грустно-веселые рассказы О. Генри (самое подходящее чтение в столь ответственный момент ожидания) и поднял голову, услышав быстрый шум её шагов.

– О-о-о, – только и сумел он вымолвить, чтобы успеть донести до неё, летящей, свое восхищение.

Она притормозила. Симпатичное лицо озарилось теплой улыбкой, в которой заключалась вся суть её, мягкая, завораживающая, добрая. Он встал, подошел близко-близко и таинственным шепотом спросил:

– Таня, у вас какой рост?

Её глаза вспыхнули горделивым и шаловливым озорством, но не как у кокетки, празднующей очередную «победу», а как у ребенка, получившего признание взрослых. Другая отмахнулась бы в своей чопорной недоступности от осознания мужского, больничного и временного «вдовства», но не она, умеющая отличать зерна от плевел.

– Один метр и 78 сантиметров. – Но женское начало все же проявилось: – Зачем это вам? – добавила она лукаво.

Отнюдь не осуждение прочитал он в этом вопросе («ну вот, и вы туда же, а я думала, что вы серьезнее»), а элемент игры, важной и отвлекающей от беспокойных дум перед операцией.

– В модельном бизнесе вам бы цвести, – ответил он серьезно. Потом подумал и добавил: – хотя вдруг испортили бы там вас.

Она засмеялась.

– Меня трудно испортить.

– Верю, – улыбнулся он, и душе стало тепло, как от мудрого, неназойливого и скорого разговора. Он тут же ушел в палату, чтобы не смотреть ей вслед и не смущать её своим излишним и пустым любопытством. Впрочем, не до любопытства ему было в то время...

Скоро она войдет, время подкатывает к девяти, а такие операции начинаются обычно рано. Она скажет решительно: «Пора» и будет ждать в тамбуре, отвернувшись от него, снимающего с себя всю одежду. Он должен остаться в том одеянии, что подарила ему мать при рождении. Нужно освободиться от всего земного. От обручальных колец, нагрудных крестиков, зубных и прочих протезов.

Он не очень везуч по жизни и достаточное число раз попадал на операционный стол по разным причинам. Возможно, и по своей глупости. Вся эта совокупность, состоящая из глупости и мудрости, случайностей и закономерностей, грусти и веселья, и есть жизнь. Смысл ее ему давно был понятен, и, скорее всего, он был счастлив, а если он не боится жизни, то незачем бояться и смерти. Он вспомнил православную бабку, кроткую, почти прозрачную старушку, так она была худа и невесома на вид. Именно она произнесла перед смертью слова, которые сейчас легко всплывают в памяти: «Верующий в Бога человек смерти не боится». Месяца за два до ее смерти он сломал руку, и она неправильно срослась, и бабка думала перед своей ясной для нее кончины только о нем. Она водила своей невесомой рукой по его коротко стриженной голове и говорила с щемящей жалостью в голосе: «Как же тебе дальше-то жить?» И ее жалостливость не расслабляла его, а заставляла успокаивать ее, говоря: «Ничего, ничего, буду бегать, ноги целы». Он в десять лет думал только о спорте, потому что не хотелось отличаться от других мальчишек. Ему тогда было десять лет.

Верил ли он сейчас в Бога? Наверное. Он читал на ночь любимые бабушкины молитвы «В час беды» и «Всемилоливую», но где-то внутри было осознание, что этого недостаточно, хотя ясно понимал, что не только в руках хирурга его жизнь, а того, которого не опишешь словами и чувствами. Скорее всего, он принадлежал к фаталистам, которые по большому счету и являются самыми ортодоксальными верующими...

Он опять открыл глаза, и вновь никто не обратил внимания на его пробуждение после наркоза и наркотиков. Наконец в поле зрения оказалась женщина. Простоволосая, с крашеной белой прядью в темно-русых волосах, узкой полосой закрывающей левый глаз. Она возилась, не глядя ему в лицо, рядом с правым плечом, под ключицу которого был шит катетер: вводила в него новые порции питательных растворов, антибиотиков и, возможно, наркотики.

Легкая эйфория, создаваемая ими, закружила легкую, беззаботную голову. В таком подвешенном, полубезумном состоянии у человека всегда просыпается правдоискательство и жажда дисциплины. Более глубоких мыслей в таком мозгу, видимо, и не бывает. Так ведут себя люди после получения долгожданного приказа о назначении на высокий пост.

«Чегой-то она без шапочки? – думал он раздраженно, сверля, как ему казалось, её лицо глазами. – Нарушает инструкцию, "простоволосая"».

Он уже придумал ей прозвище. Наверное, ему не нравилось, что она не замечает его. Он пытался поймать её взгляд, но тот ускользал, расплывался. И перед очередным полетом в космос забывшись с удовлетворением отметил, что все-таки успел отметить и оценить вид медсестры. Это хорошо... Мозги, значит, работают.

Нет, на дворе точно полночь. Человек, что бы ни говорили, животное, а оно способно различать ночь и день всегда. Слева и за спиной закричал беспокойным петухом пациент. Крик, долгий, пронзительный и бессмысленный, внушал тревогу даже сонному. Это он разбудил его в очередной раз. И тогда женские голоса зазвучали за его головой.

– Чистое наказание этот пятый номер. Сейчас забуянит. Хорошо тебе, у тебя спокойный больной. Надо же, как наркоз проявляет истинную суть мозгов. Ходят, рассуждают, говорят умно, кажется, все одинаковы до операции, а расщепление сознания – вот оно, стоит лишь только дать наркоз.

– Да, – согласилась «простоволосая».

Он самодовольно улыбнулся этому признанию. И в то же время понял эти слова как предупреждение: не будь таким. Ему захотелось в ответ проявить свои способности. Чтобы сказать слово, он набрал больше воздуха в грудь и закашлялся. Грудь запылала нестерпимым огнем, и он провалился в небытие.

– Курильщик? – спросила «простоволосая», когда он очухался.

Он покачал в отрицании головой.

– Тогда почему кашель такой булькающий? – она адресовала вопрос скорее себе, чем ему.

Он не мог ей помочь в диагнозе, если не считать доступные в его положении качания головой. Видимо, что-то ей не понравилось, она обеспокоенным голосом позвала недавнюю свою собеседницу. Его тончайшая ниточка жизни в эти минуты, возможно, потолстела на несколько микрон.

Сестры принялись проверять торчащие из его живота дренажные, полихлорвиниловые шланги. Они лениво шевелились в их молодых руках, будто сонные змеи после зимней спячки или червяки, выползшие после проливного дождя на асфальтовую дорожку. Вдруг из одного шланга брызнула жидкость. Черная, грязная, густая. Похожа на отработанную серную кислоту, слитую из хлорных компрессоров, подумал он. И вновь порадовался, что в мозги не проник какой-нибудь малюсенький живчик-тормб и не закупорил столь необходимые ему артерии. А есть ли у него мозги? – привычно и устало пошутил он сам с собой. Что это? Скорее всего, кровь? Откуда? И зачем он об этом думает? Не надо сейчас думать, и тогда всё пойдет прекрасно.

Вторая сестра нагнулась и подняла мерную банку, привязанную к той же штанге, что и руки. Кровь, торопясь и пенясь, потекла в емкость, стараясь быстрее заполнить её всю целиком. Боли не было: наркотики хорошо делали свое дело. Крашеная седая прядь «простоволосой» моталась перед его глазами, закрывая даже тот маленький сектор мира. Или сестра вглядывалась в его лицо? Он слышал лишь жадное бульканье крови.

– Дышит сам? – прозвучал несколько взволнованный голос другой медсестры.

– Сам, – ответила простоволосая.

Простые, стертые до неузнаваемости слова, как на старых угольных грампластинках. Разве они могут выразить всю гамму чувств? Они, как плохо формованный кирпич, с трудом укладываются в ровную стену отношений. Корявая стена, корявый разговор, корявые мысли. И слова. Ими трудно выразить свои переживания. Всегда недоговоренным останется

самое главное, близкое и родное. Это способно домыслить и понять только сердце. Особенно больное, страдающее. Ах, как важны они, страдания. Душа без них как бесформенный шлепок глины. У всех так. Страдания – это руки, что лепят добрую душу. Только надо собраться, не раскрываться в бою, как боксеру нельзя опустить руки во время боя...

Вот так, скорее всего, и уходят люди. Буднично, обыденно и просто: потекла кровь, не могли её остановить. Просто не смогли. Ну, так, как обычно говорят без затей громкие, кем-то придуманные, красивые, на первый взгляд, но жестокие по сути слова: «Мы сделали всё, что могли».

Пытались ли сделать? Где-то что-то порвалось, прохудилось, переполнилось. Это выше наших сил. Выходит так, что свободного жизненного пространства для него вдруг оказалось на удивление очень мало, так мало, что кто-то выталкивает его с этого света.

В голове разведрилось, и Некто прогнал все тучи и облака с его предсмертного небосклона.

– Отвяжите руки, – громко, как позволяла маска, закричал он. «Простоволосая» вздрогнула, и часть крови из мерной банки пролилась на него, лежащего по пояс голым. Будто выполняя его последнее желание, она молча отстегнула специальные застёжки. Он тут же стянул маску с лица.

– Я хочу дышать сам.

– Нельзя, не положено, – тупо и решительно сказала она и вновь натянула маску.

Никаких ободряющих слов, как в голливудских фильмах: «молодец», «держись», «потерпи», «не молчи, говори». Да, в этих фильмах требуют, чтобы пациент не молчал. Нам-то это зачем? То, что американцу смерть, русскому благо. Конечно, это благо сомнительно, но уж лучше несуетное, гордое молчание, чем пустая, необязательная болтовня, от которой трещит голова.

Заляпанный кровью, он, наверно, выглядел ужасно. «Простоволосая» смочила спиртом марлевую салфетку и стала стирать с него кровяные, успевшие запечься и стать грязными потеки. «Отработка», подумал он, вновь вспомнив серную кислоту и производство, которому отдал лучшие годы жизни. Мог ли он использовать их лучше, чем на опасном хлорном производстве, уносящем здоровье и треплющем нервы? Конечно, мог, но кто-то должен работать и здесь и добиваться, чтобы работа была честной, прямой, приносящей пользу. Жаль, что завод развалили неумные и ленивые начальники и можно лишь прийти и побродить по его останкам. Понятно, где и как поистрепал он свои нервы и тем самым подсадил свое сердце. Но почему ныне людям, вдвое моложе его, делают такие же операции? Чем они изнасили свои сердца? Распутством? Лениью? Отсутствием достойной работы?

Он, как мог, помогал «простоволосой» протирать свое облитое кровью тело: изгибался, как червяк, чтобы она просунула руку с тампоном под поясницу, с трудом отрывал от кровати по очереди руки, ноги. Смешно, наверное, смотреть на потуги бегемота со стороны, думал он, но делал это. Он не мог по-другому. Взгляд сестры задержался на уродливой руке его, и впервые он заметил отсвет интереса в её равнодушных, усталых глазах, повидавших столько крови и страданий.

«Парень, – будто вопрошал он, – ты, видно, пострадал немало?»

«Возможно», – отвечал его тускнеющий от потери крови взгляд.

У сестры не было времени отмечать интенсивность блеска его глаз, она приводила тело в порядок, чтобы сдать смену. Теплое тело обтирать легче, не надо подогревать салфетку. Неумолимо надвигалось утро, когда придут

дневные врачи и спросят: «Что? Где? Когда?» И не забыть и надеть шапочку к их приходу.

Сознание уходило, и ему с настойчивостью пьяного мужика, тщащегося доказать недоказуемое, приходилось силой возвращать его на место. В тяжелеющую, непослушную голову. Только теперь обстоятельства были на его стороне и помогали. Испаряющийся спирт охлаждал тело до дрожи и бодрил мозг. Бульканье крови, сливающейся в аккуратную, мерную баночку, также не давало расслабиться.

– Ку-ка-ре-ку, – кричал время от времени беспокойный больной, и он тоже помогал ему сохранять сознание.

Всплыл в памяти несчастный поэт Бездомный из «Мастера и Маргариты», и он попытался нашептать самому себе любимые строки: «В красном плаще с белым подбоем...» Нет, этот подвиг памяти ему не совершить.

Бессильно распростертое, синеющее от испаряющегося спирта тело казалось не способным вобрать в себя еще какую-то дополнительную боль и страдание. «Простоволосая» не успела накрыть его простыней, а в палате было не жарко. Тело бросило в дрожь, словно его перекинули на телегу, а та полетела, помчалась во весь опор по лесной дороге, подсакивая на торчащих из песка корнях сосен. А может быть, то была булыжная мостовая, которую он еще застал в детстве и оценивал в полной мере, катаясь на велосипеде с литыми шинами.

– Эко, братец, как вас растрясло, – услышал он голос хирурга, делавшего ему операцию и пытавшего пошутить.

«Сейчас и вас затрясет!» – хотел нагрубить он, обидевшись и не приняв шутки, но сдержался, хотя знал, что «приподнятые» нервы помогают в трудные минуты. Он решил беречь сознание до конца и узнать, что же с ним приключилось и почему из него, как из жертвенного барана, безостановочно течет кровь. Он надеялся, что ему еще рано класть в рот монету, чтобы паромщик Харон перевез тело на другой, неживой, берег к воротам Аида.

«Срочно», «быстро», «эхограмму» – доносились сверху и сзади слова, и совсем уж резко и с раздражением: «Да, и накройте его простынью!» Прикатали переносной аппарат. Сняли эхограмму.

Зазвучали новые слова: «перикард», «кровотечение», «анастомоз», «операционный стол», «слетела клипса». При чем тут женское украшение, подвешиваемое к ушам модницами? Зачем здесь это слово, столь чуждое кардиохирургии? Почему слетела? Как это слово похоже на «кляксу». Клипса, клякса, клипса, клякса... Нет, оно очень точно в его положении: хирурги наставили «клякс». Женщины со своими безделушками здесь не к месту.

Уже другие, круглые, ярко-синие глаза уставились на него. Аккуратно подкрашенные, они лучились лаской и радостью, казалось, столь неуместной здесь среди крови и печали. Душа чуть согрелась под их лучами. Бейдж с фамилией, именем и отчеством почти навис над ним, когда она освобождала подключичный катетер и вводила новый раствор.

– Тонечка? – полувопросительно и фамильярно спросил он, чувствуя, что имеет на это право.

– Да, да. Родное имя? – улыбнулась она. Ему показалось, что даже тело стало согреваться.

– Вполне. – Он помолчал. Времени оставалось мало. – Что такое «клипса»?

– Зачем вам это знать? – ответила она вопросом на вопрос. – Не надо, не берите себе в голову.

Как глас иерихонской трубы загудел с небес приказ:

– Анестезию! Готовить к операции!

– Вы видите меня? – донесся нежный голосок Тонечки.

– Да, – он поднял глаза. Словно над глубоким колодецем, в котором он сидел, повисли взоры-звезды. «Как же быстро они опустили меня в колодец», – подумал он.

– Вы можете дышать?

В его колодец опустили трубку, и она мешала дышать, прижимая язык.

– Чуть поднимите, – он попытался растопыренными пальцами показать нужное расстояние.

– Смотрите на нас, – приказали свыше. Это приказание было излишним: лица тех, что наверху, кружились в осеннем танце желтыми листьями, летевшими прямо в его глаза. Он зажмурился.

– Жарко?

– Да!

Как в перевернутый бинокль, в нескончаемой дали к краям окуляра прильнули маленькие овалы бледных лиц. Он глядел на них, ощущая себя раздавленным на дне колодца лягушонком, и ждал, что те наверху пошевелят шутливо и играючи пальцами, чтобы развеселить его, находящегося на краю жизни и смерти. В паху разливалось огненное тепло. Он плавился. Раздавлен, расплавлен и... выброшен.

«Боже, угаси огневицу, прикоснись телеси...»

– Дышите! Можете дышать?

Мог ли он кивнуть или ещё как-то обозначить своё отношение к вопросу? Кто-то точил скальпель, как ножи булатные в сказке об Аленушке, и разводил зубья ножовки, что вновь будет разрезать железные скобы, скрепляющие его несчастную и многострадальную грудь.

«Пропустите, пропустите меня к нему: я хочу видеть этого человека...» Захотелось увидеть жену и сказать ей: «прости и прощай». Нет, не надо: пусть ЭТО останется с ним. Только с ним. К этому, сугубо личному, нельзя подключать никого. Слышите: никого. Посиневшие губы его приоткрылись и попытались что-то сказать.

Диаметр окуляра уменьшался и уменьшался, превращаясь в точку. Вскоре исчезли лица, прилепившиеся к нему. В образовавшуюся точку хлынул яркий свет, и, чтобы не ослепнуть, он ещё крепче сжал веки.

– Пора, – последнее, что довелось услышать ему.

Через пять минут его повезли в операционную. Сбоку от каталки бежала операционная сестра с мерной банкой, в которую продолжала струиться нетерпеливая кровь...

Клипса – маленькая (3 мм) металлическая скобка. Ею при помощи прибора, напоминающего степлер, отсекают ставшие ненужными артерии.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Живет в Сочи.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ЖИЗНИ

Когда идёшь на поводу у обстоятельств, думай, как избавиться от повода. И Николай Сапожников думал. А обстоятельства в его жизни были таковы.

В 1948 году, после окончания юршколы в городе Куйбышеве, он по направлению приехал в Красноярский край и уже почти год работал прокурором Сосновского района. Добравшись первый раз до райцентра под названием село Сосновка, Николай понял, что оптимизм – чувство преждевременное. Такой глуши он ещё не видел. Во дворе прокуратуры его встретила старая служебная лошадь, которая к тому же и прихрамывала. Тягостное впечатление от лошади на следующий день слегка рассеялось, когда Сапожников узнал, что в суде автомашины тоже нет, а только одна лошадь. В районном отделе милиции имелась одна машина и тридцать две лошади. Были, конечно, новые впечатления от общения с людьми, от необычной сибирской природы, от рыбалки и охоты. Но восторга от новой жизни, мягко говоря, не было. «Деревня, она и есть деревня», – каждый день мысленно повторял Николай. Судья и начальник милиции были фронтовиками. В праздники на груди каждого из них поблёскивали и позвякивали медали, – и от этого Сапожников чувствовал какую-то неловкость и свою неполноценность. На фронте он не был (имея бронь, работал на одном из оборонных заводов города Куйбышева). Николай был холост, после работы его никто не ждал.

Его ждали, когда он утром шёл на работу; ждали все: заместитель, помощник, следователи, секретарша и конюх. Когда он заходил в деревянное здание прокуратуры, больше всего ему хотелось увидеть лицо секретарши Тони. У него была любовь с первого её взгляда. Хотя любовь с первого взгляда нередко заканчивается со второго, здесь был другой случай. С каждым днём Тоня нравилась ему всё больше и больше. И чем чаще и пытливее он всматривался в неё, тем соблазнительней она казалась. Но вот беда так беда: она была замужем. Детьми почему-то ещё не обзавелась; может быть, поэтому излучала молодой задор, рвущиеся наружу силы здорового организма искали работу для души и тела.

Однажды зимой, когда в помещении было холоднее обычного, Сапожников подошёл к секретарше, сидевшей за своей печатной машинкой Тоня пожаловалась, что у неё застыли пальцы. Жалоба была высказана мимоуслётно; возможно, потому, что она не успела отпечатать все документы. Николай машинально взял её за ладонь и увидел, как вдруг порозовели щёки и заблестели восхищением её глаза. Он смотрел в её глаза и больше ничего не видел. Ничего! В последующие дни Сапожников часто вспоминал эти глаза и проклинал себя за то, что дотронулся до её руки.

Есть женщины, в манерах которых проскальзывают еле уловимые тени бесстыдства. Тоня была из таких. В её манере, походке, интонации звучали

струны, затрагивающие слух мужских сердец. Часто Николаю казалось, что Тоня слишком близко, почти вплотную, подходит к нему сбоку, чтобы положить на его стол какой-либо документ. В этот миг у Сапожникова появлялось горящее и неугасимое желание обнять её за талию. Да что там! Желания мгновенно наслаивались и трансформировались: исполни их – и с работы выгонят, и из партии исключат за аморалку. Николай понимал, что близкие отношения могут завести далеко, и молчал изо всех сил. Но всё равно было слышно, о чём он молчит. И опять же – муж! Ему оставалось упиваться её красотой, а упиваясь женской красотой, пьют до опьянения...

Проходили дни, недели. В глазах Тони молодой прокурор уже читал томительное ожидание. При малейшей возможности она стала интересоваться прошлой жизнью Николая, его родителями, его родным городом Куйбышевом... Сапожников почти каждый день раздумывал, как же уехать отсюда, но ничего придумать не мог. Безвыходная ситуация – это всего лишь незнание выхода. И прокурор продолжал ломать голову.

Количество уголовных дел в прокуратуре росло как снежный ком. Николай работал как проклятый и нередко покидал свой кабинет в полночь. Одной пачки папирос на день уже не хватало. Судья и начальник милиции были не в лучшем положении. Периодически Сапожников просил Тони выйти на работу в выходной день. Она приходила, нет, она прибегала, и у неё был вид женщины, догнавшей своё счастье.

Эта ситуация бесила Николая. Ложась спать, он всё чаще мысленно представлял зовущее тело чужой жены, которое неотвязно преследовало его в сновидениях. «Чёрт-те что! Надо что-то делать! Нужно уезжать!» – твердил он сам себе по утрам, но продолжал двигаться в тупик повседневности...

По итогам первого полугодия Сосновский район лидировал по количеству нераскрытых умышленных убийств. На совещании в краевой прокуратуре Сапожникова речитали как мальчишку за слабый надзор за работой милиции. Николай реагировал бы на это спокойно, если бы его сняли к чёртовой матери с должности, уволили из прокуратуры и отпустили на все четыре стороны. Но этого не произойдёт. Из практики он знал, что проштрафившегося прокурора непременно отправляют с понижением в другой район заместителем или помощником прокурора.

Расстроенный, обуреваемый желанием побыть в одиночестве и выпить водки, Сапожников вышел из здания краевой прокуратуры и не спеша двинулся навстречу городской суете. Люди тонули в дверях магазинов, надеясь извлечь оттуда что-нибудь дефицитное. По дороге наперегонки мчались автомобили, но пыл их моторов охлаждал красный глаз светофора. Николай свернул в переулочек и зашёл в знакомую забегаловку. Сквозь густую пелену табачного дыма с трудом можно было рассмотреть лица посетителей. Не обращая внимания на выкрики, сдобренные порой увесистым матом, буфетчица, на лице которой плавала улыбка, ловко разливала по гранёным стаканам спиртное и чувствовала себя в этой атмосфере как дома.

За одним из столов сидел младший лейтенант, который был также одинок, как звёздочка на его погоне. Зарплата не позволяла прокурору шутить с деньгами, и, взяв у буфетчицы водку и нехитрую закуску, он присоседился к младшему лейтенанту. Офицер с разговорами особо не приставал. Каждый из них сидел и думал о чём-то своём... После стакана водки любой пессимист становится оптимистом. Доедая закуску, Николай пришёл к выводу, что утешением прожитого дня служит день завтрашний. Успокоенный, он встал и, бормоча себе что-то под нос, вышел из забегаловки.

Жизненные испытания редко идут по графику. Вскоре было совершено новое убийство. На сей раз в самой глухой таёжной деревушке убили заготовителя. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Доклад выезжавших в ту деревушку следователя прокуратуры и начальника уголовного розыска был неутешителен. Сапожников решил ехать сам. Дорога оказалась долгой и муторной. Свой путь он начал на лошади, затем плыл на лодке, потом снова лошадь и опять лодка.

Угрюмый сибиряк, управлявший моторкой, иногда исподлобья бросал взгляды на прокурорский китель Сапожникова и подозрительно молчал. Николай смотрел на таёжные сопки и думал, что всё-таки самые лучшие соседи – это лес, река, горы. Часа через два лодочник вдруг заговорил:

– Вы едете по убийству Грицаева?

– Да, – неохотно отозвался прокурор и в который раз стал рассматривать поразительно громадные кисти рук своего попутчика, которые начали сжиматься в кулаки.

– Зря вы едете.

Сапожников насторожился и ничего не ответил. После долгой паузы лодочник снова заговорил:

– Гляньте: кругом тайга, болото. Убьют вас тут, сунут в болото – и с концами. – При этом лодочник сплюнул за борт и, как бы завершая разговор, добавил: – Зря едете.

Его слова прозвучали как приговор, который осталось привести в исполнение.

Инстинкт самосохранения подтолкнул руку прокурора к кобуре. Убедившись, что пистолет на месте, Сапожников закурил и, не сводя глаз с лодочника, стал настойчиво думать, что делать дальше. Он был обижен на судьбу, но интуитивно понимал, что обида – это заблуждение слабых. А слабым он себя не считал. Как же найти умный выход? Безусловно, мудрые мысли толпами не ходят. Нужен всего один, но верный ход...

Когда начало смеркаться, прокурор достал папиросу и, выбросив пустую пачку за борт, крикнул лодочнику:

– Поворачивай назад!

Через полтора месяца Сапожникова вызвали в Красноярск на бюро крайкома партии. Когда он, немного робея, вошёл в просторный кабинет, ему предложили присесть на сиротливо стоящий стул. Не успел он всмотреться в усталые лица членов бюро, как услышал, что поступило анонимное письмо, автор которого сообщает, что отец Сапожникова ранее был раскулачен, а старший брат судим. И всё это Сапожников скрыл при поступлении в юршколу. Николай внешне спокойно выслушал вопросы и ответил, что всё это соответствует действительности.

Вскоре он был исключён из ВКП(б), снят с должности и уволен из прокуратуры, хотя в анонимке не было ни единого слова правды. Быстрое течение жизни размывает берега обиденности. Получив «волчий билет», Сапожников вернулся в свой родной Куйбышев, где начал новую жизнь.

Раны, которые наносит время, оно само и зализывает. В дальнейшей жизни Сапожникова было немало хорошего, около сорока лет он проработал адвокатом. Сделка с совестью прошла успешно.

Он часто вспоминал ту анонимку, которую написал сам на себя. Тоню он почти не вспоминал и давно забыл её лицо. Наверное, потому, что за любовь часто принимают её тень. А может быть, многое в памяти стирается, чтобы сделать новую запись.

Сейчас он на пенсии, живёт в своём родном городе. Жизнь Сапожникова продолжает улыбаться, но глаза её остаются холодными.

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Регулярно публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

Заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия». Живет в Москве.

НАСТОЯЩИЙ ПАРЕНЬ

Каждое лето я езжу из Москвы, где живу, к родителям под Минусинск, что на юге Красноярского края. Это больше трех суток поездом по Транссибу, потом еще автобусами... Плацкартные вагоны я предпочитаю купейным, и не из-за их относительной дешевизны (хотя и это имеет значение), а чтобы посмотреть на людей, послушать, что и как они говорят (в моей профессии это важно), что едят, как одеваются. На улице или в кафе они совсем другие, чем в поездах – поезд как-никак дом, кому на сутки, кому на двое-трое-четверо...

Вести задушевные, неспешные беседы, какие умеют вести пожилые женщины и мужчины, у меня не получается. Да я и не стремлюсь откровенничать и выводить на откровенность других. Чаще всего покупаю билет на верхнюю полку и лежу там – читаю (в поезде читается как нигде) и в то же время прислушиваюсь, кошусь на тех, кто проходит мимо, устраивается на постой в нашем плацкартном отсеке.

Запомнились многие, но странно запомнились – всплывают время от времени по мере надобности. Нужно ввести в повесть или рассказ эпизодическое лицо, и вот оно, из вагона. Со своими словечками, жестами, взглядом.

Но есть те, кто буквально стоит перед глазами. Не ложится в повесть или рассказ, но и не растворяется в тысячах тех, кого я увидел и отмел, стер из клеточек мозга.

Вот один. Довольно еще молодой мужчина, но нескладный, измочаленный, с темной то ли от природы, то ли от солнца кожей. В выцветшей рубашке, нечистых штанах. В руке истертый пакет. Вошел в вагон на какой-то большой станции – Свердловск, или Тюмень, или Омск, – потыркался в узком проходе, нашел свое место. Боковую верхнюю полку. На нижней спал человек.

Мужчина постоял, как-то всем мешая, всех стесняя своим стоянием, и присел на краешек нижней полке в нашем отсеке. Тут же подскочил и спросил у хозяйки этой полки:

– Можно?

– Да сидите, сидите, – разрешила она, но разрешила так, словно делала великое одолжение.

Мужчина уселся, но снова на самый краешек, слепо посмотрел в окно и сказал:

– Ну не убивать же их.

Мы, обитатели отсека, помню, все вздрогнули. Это почувствовалось. И напряглись.

После нескольких секунд напряжения хозяйка той полки, на которой сидел мужчина, не выдержала и строго спросила:

– Кого – не убивать? – А слышалось: «Мне милицию вызывать?»

Мужчина объяснил:

– Обманули меня. В бригаду записался, два месяца работал, а потом, когда расчет привезли, выгнали. И ни за что. – Говорил он убито, без всякой надежды на сочувствие. – На билет вот сунули... Дома жена – трое детей. В школу собирать. А на что теперь?..

Помолчал, подумал и, кажется, всё взвесив, снова сказал:

– Не убивать же.

Поезд тронулся, пришла проводница, оторвала копию билета у мужчины. Спросила:

– Белье брать будете?

– Нет, – сильно мотнул он головой.

– Вам почти сутки ехать. Подушкой, матрасом без белья пользоваться запрещено.

– Да, что ж делать...

– Так не будете брать белье?

– Нет, не буду.

И он, сняв ботинки – сразу запахло долго ношенными носками, – залез на полку. Положил под голову свой тощий пакет. Отвернулся.

Так он пролежал все сутки. Но вряд ли спал – вздыхал очень тяжело. Во сне так не вздыхают...

Или вот такой случай, такой застрявший в голове попутчик.

Я сидел на нижней боковушке, за столиком. Напротив меня – сосед с верхней полки. Смотрели в окно.

– Ничего хуже нет этих равнинных сел, – сказал сосед. – Ни бугра, ни оврага. В лучшем случае – рошица торчит жидкая, в которой не укроешься.

Мы как раз проезжали Барабинскую степь. Темнело, и небольшие лежащие на плоском пространстве деревни выглядели действительно тоскливо.

– Да, – сказал я, – приятного мало.

– А как брать их? – вдруг спросил сосед.

Я глянул на него. Парень лет двадцати семи – тридцати. Крупный, светловолосый. Смотрит и ждет ответа.

– В каком смысле – брать? – не понял я.

Наверное, он увидел в моем взгляде недоумение, а может, и испуг, потому что как-то виновато усмехнулся и сказал:

– Я в Чечне... ну, воевал. И теперь всё ею меряю.

У меня были знакомые писатели, служившие в Чечне. О службе, а тем более о боевых действиях они не рассказывали. Расспрашивать было неудобно, могли подумать, что хочу использовать в своей работе. Они сами писали об этом повести и рассказы. Но вот послушать... И тут оказался рядом такой человек.

Я приготовился слушать, в то же время опасаясь как-нибудь не так отреагировать, не в том месте кивнуть, промолчать, когда надо поддержать.

– Но самое гадостное там, – после долгого молчания, глядения на темнеющую степь, заговорил сосед, – бухгалтерия. За всё надо отчитаться, всё посчитать... Особенно – погибших.

Он кашлянул как-то для своего мощного, здорового сложения жалобно, мокротно. Снова долго молчал. Но – не выдержал:

– Особенно когда сразу после боя начинают: «Где такой-то, такой-то? Ищите!» Понятно, что надо искать, а как... Сидишь, руки трясутся, раненый орёт, в голове дым... Там для начальства главное, чтобы наши в плен не попадали. Для отчетности... Ну, или им там за это вставляли. И, знаешь, бывало, найдешь куски человека, на нем гражданка, а они: «Всё нормально, вот он такой-то». Жгли иногда, чтоб неузнаваем стал. Сдавали, отправляли... А потом чечены говорят: «А такой-то у нас». А на него уже документы оформлены...

Парень снова кашлянул, потянул туловище в одну сторону, в другую. Достал кожаный бумажник, покопался в нем и поднял на меня глаза:

– Может, в вагон-ресторан? Примем по двести пятьдесят.

Осторожность оказалась сильнее любопытства, и я сказал:

– Нет, извини... – Придумал причину: – Извини, у меня желудок больной... Я свое отпил.

– Ну что ж. – Парень поднялся, глянул вправо-влево по коридору, видимо, вспоминая, в какой стороне ресторан.

Я подсказал:

– Он – там. На стоянке видел.

– Спасибо. – Ушел.

Я стал устраивать кровать. Спать еще не хотелось, но лучше, если, когда он вернется подпившим, я буду спать. Сплю и сплю...

Парень вернулся часа через два, сопя залез на своё место, повозился там, что-то бормоча, и затих... Рано утром его растолкала проводница:

– Юрга, мужчина, давайте скорей!

Он соскочил, стащил сумку с третьей полки и исчез.

Теперь я жалею, что тогда я не пошел с ним, не услышал чего-то важного. Живу и жалею...

Однажды (могу даже высчитать год – две тысячи второй) я возвращался в Москву, и где-то в Новосибирске, а может, в Омске (впрочем, нет, в Омске поезд стоит ночью, а тогда был день), короче, на одной из станций в наш плацкартный отсек заселились две девушки. Одна, постарше, лет двадцати семи, заняла нижнюю полку, а другая, на вид четырнадцатилетняя, – верхнюю. И, что свойственно полуподросткам-полудевушкам, стесняясь посторонних, злясь на себя за неловкость, вторая стала устраивать свое временное жилище.

Положила на сетку косметичку и щетку с пастой, сунула под подушку книгу и плеер, а на стенке (там есть такая упругая полоска, неизвестно мне, для чего) укрепила портрет Сергея Бодрова... Я лежал на соседней полке и наблюдал.

Девушка обернулась на меня; я тут же притворился дремлющим. Убедившись, что не смотрю, она быстро поцеловала портрет, что-то прошептала. Легла, вставила в уши наушники. Шипяще зазвучала мелодия; я сумел разобрать, что это «Наутилус», песня «Крылья». Усмехнулся: «Поклонница "Брата"».

В то время меня раздражала мода на Бодрова, и я часто иронически говорил, увидев его на экране: «Вот он, герой поколения. Двух слов не может связать. Типичный Серёга. Зато мочит всех подряд без рефлексий». И его быстрое продвижение вверх раздражало – и актер культовый, и сценарии востребованы, и уже сам фильм снял. «Еще бы. Папаша-то у него не слесарь с завода»...

Прошло часа два. Я успел действительно подремать, полистать неинтересную книгу, от души позевать со скуки; девушка спустилась и поела там

со своей сестрой. Потом забралась обратно и, перед тем как улечься, снова шепнула что-то портретику.

– Любимый артист? – не выдержал я.

Девушка торопливо, горячо на меня взглянула, как на нахала, но ответила:

– Типа того.

– М-да, девушки таких любят. Уверенный, сильный. Жалко, что в жизни таких что-то нет.

– Он и в жизни такой. – И девушка легла, потянула к ушам наушники.

– Вряд ли. В жизни все слабоваты. Сама жизнь делает человека слабым. Компромиссы, общепринятые ценности, ограничения... Я вот, – я кашлянул вроде как смущенно, – писатель, третья книга выходит, много журнальных публикаций...

Я сделал паузу, ожидая, что девушка спросит мою фамилию, но она не спросила. Впрочем, и наушники вставлять уже не спешила.

– И меня постоянно ругают, что у меня герои слабые, плывут по течению. В общем, правильно. Но я ищу сильного героя, крепкого. К каждому человеку приглядываюсь. И... я сейчас сильных имею в виду... и – или животное, зверь точнее, или притворяется до первого осложнения. Зверей не хочу плодить в литературе. Да и что в них интересного? Шагают по жизни, остальных топчут, если кто-то дернется – в харю. А те, кто сильными притворяются... Да ну их тоже... Приходится писать о слабых. И вот кумир ваш... это на экране он такой, а в жизни реальной...

– Он настоящий парень, – уверенно сказала девушка.

– Откуда вы знаете? Знакомы с ним, что ли?

– Нет.

– А в Москве вообще бывали?

– Нет, не была.

Я вздохнул:

– А я живу там пятнадцать лет. Нету там настоящих. Настоящих или убили, или, если вдруг кто появляется сильный, быстро размякает. Я тоже когда-то отсюда, из Сибири, в Москву сильным приехал.

Я остановился, передохнул. Лежа на спине монологи произносить не так уж легко... Девушка смотрела на портрет Сергея Бодрова, руки лежали на почти плоской груди.

– Сергей вписался в систему, сделал имя, стал знаменитым, – понимая, что внимание девушки может в любую секунду исчезнуть, продолжил я. – И помогли, конечно, стать таким. И что впереди? Будет играть долго-долго крепких парней, братьев, офицеров в Чечне. Фильмы снимать. По тусовкам ходить, «Кинотаврам».

– Ну и что, он достоин...

– Достойн, понятное дело. Но я о другом – никогда он, как в фильме, не выйдет на улицу, чтобы навести справедливость. То есть...

– Если надо будет – выйдет.

Я снова, уже как-то умудренно, вздохнул:

– Вряд ли, вряд ли. Он с детства живет в другом измерении. Папа – режиссер известный, тусовки, свой круг...

Говорил я искренне, и в то же время дразнил девушку, вызывая на спор. Мне нравилось при случае спорить с такими вот, лет четырнадцати, – они еще ко всему относятся всерьез, жарко отстаивают свои только-только сформировавшиеся принципы и в то же время прислушиваются к мнению других; если приложить усилия, их можно переспорить, переубедить, переделать.

- Фильм «Сестры» видели? – спросил я.
- Да, конечно.
- Понравился?
- Да.
- И там вон, помните, Бодров встречается с героиней, удивляется, что она так хорошо стреляет...
- Да, помню. – Лицо девушки напряглось, видимо, гадала, к чему это я.
- Предлагает ей идти к себе в охранники, кажется. И уезжает. И – всё. У нее проблемы, жизнь на волоске, а он уезжает с пацанами.
- Но он ведь не знал.
- Ну, мог бы узнать.
- Спасти их должен был их отец. Это его миссия.
- Миссия, месседж, – я усмехнулся. – Наверно... Да, скорее всего, вы правы. Его миссия... А вы бы хотели оказаться на месте этой сестры?
- В каком смысле?
- Ну, в жизни?
- Не знаю, – девушка дернула плечами, глянула на портрет; Бодров серьезно, без улыбки словно бы слушал наш разговор.
- А в фильме этом сняться? С Бодровым познакомиться вообще?
- Девушка посмотрела на меня, как на дурака, и отвернулась к стене. Зашипела в наушниках музыка. Кажется, все те же «Крылья».
- Я открыто, без спешки оглядел ее – острое плечо, впадина талии, круглый, уже почти женский зад, маленькие стопы в красных носочках. Года через три-четыре замуж потянет. «И выйдешь за какого-нибудь настоящего парня, который ларьки бомбит, – подумал иронически. – Удачи». И тоже отвернулся, с полчаса усиленно пытался уснуть и потом уснул – укачал.
- Утром девушки и ее сестры уже не было. Сошли где-то между Омском и Тюменью. Я обрадовался, что так – за вчерашний разговор было слегка неловко, за свои откровения, что я писатель. Поговорили – и ладно, и перестали друг для друга существовать.
- ...О девушке я вспомнил через несколько месяцев, когда узнал, что Бодрова и его съемочную группу накрыло на Кавказе лавиной. Представлял, как она не отходит от телевизора или компьютера, ожидая новостей, как рыдает, а скорее всего (это ближе ее характеру), тихо, сдерживаясь, глотает слезы, подобно Оксане Акиньиной в финале фильма «Сестры»...
- С тех пор прошло уже много лет. Действительно, много. Бодрова так и не нашли – он погребен подо льдом и камнями в Кодорском ущелье. Фильмы с его участием время от времени показывают по телевизору. Наступили новые времена, пришли новые киношные герои. Но что-то более настоящих, чем Бодров, я не увидел. Зато в жизни стал встречать парней, напоминающих его. Правда, без пистолетов они и не бьют при первой возможности морду противнику, но, по всему судя, если возникнет ситуация, будет крайняя необходимость – раскрошат.
- Хотя не в этом их настоящесть, а в какой-то внутренней силе и в природной доброте. Есть у них инстинкт честности, благородство... Сложно это выразить – сущность людей вообще показать непросто, да и разобраться в ней. Но не похожи они на пацанов из девяностых, безбашенных и звероватых, а, скорее, смахивают на ребят-комсомольцев из ранних советских лет, хотя их я знаю по книгам да фильмам...
- И девушек, подобных той, с которой несколько минут разговаривал тогда, лежа на верхней полке, тоже встречать стал немало. Немногословных, спокойных, понявших что-то важное, что-то для себя решивших. Может, –

да наверняка, – жизнь большинство из них ломает, попортит, сделает слабыми и пустыми. Хочу верить, не всех. И кто-нибудь из таких парней и девушек наверняка сделает что-то настоящее. Не знаю, что именно, но, уверен, угадаю: именно это – настоящее.

И когда еду в поезде из Москвы в сторону Минусинска и обратно, надеюсь встретиться с той, что тогда, много лет назад, повесила на стенку портрет Бодрова. Не помню ее внешность, да она, естественно, очень изменилась, но, думаю, окажись мы рядом, в одном плацкартном вагоне, я узнаю ее. Подсяду, извинюсь за ту свою иронию. Спрашивать, как складывается ее жизнь, не буду. И так будет понятно – по-настоящему или нет.

Валерий БОЧКОВ

Родился в 1956 году в Латвии. Окончил художественно-графический факультет МГПИ в Москве. Профессиональный художник, основатель и креативный директор The Val Bochkov Studio.

Рассказы публиковались в журналах «Знамя», «Волга», «Новая юность». Лауреат «Русской премии» 2013 года.

С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США.

НА БЛЕСНУ

Серьги из желтой железки напоминали тощих рыбок, в глазах краснели бусины, чешуйки неровными дугами были отчеканены на выпуклых боках. Полина приложила одну серьгу к уху, протиснулась к маленькому зеркалу, мутному и неудобному. Сложив губы уточкой, подвигала бровями. Продавщица, молодая, с грязноватой челкой на глазах, умирая от скуки, отколупывала лак с ногтей. Она изредка поглядывала на Полину. Больше в лавке никого не было.

Полина взглянула на часы, нужно было убить еще двадцать минут. Она опустила рыбок на стекло прилавка, те звякнули, девица лениво спросила:

– Берете?

Полина отошла, сделала неопределенный жест, всматриваясь в слепые корешки антикварных книг: Гете, Шекспир, рядом стоял путеводитель по Турции. Она вытащила Шелли начала века, бережно пролистав сухие страницы, чайные по периметру и светлеющие к середине, поставила том обратно. Провела пальцем по бугристой корешку с остатками позолоты. Было бы здорово такую книгу подарить Саймону.

– А русских авторов нет? – Полина повернулась к прилавку. – Толстой там...

Девица поглядела на нее из-под челки:

– Я про это не в курсе. Сережки брать будете?

Полина прищурилась, положила рыбок на ладонь, те в ответ поглядели лукавым глазом. Отступить было поздно – она кивнула.

– Вам завернуть? – чуть оттаяв, почти вежливо спросила девица. – У нас подарочная упаковка. Блестящая, вот смотрите. И бесплатно. – Она была уверена, что Полина одна из тех нищих задрыг, которые все перероят, перемеряют, а после так и уйдут, ничего не купив.

– Спасибо, я их сейчас... – Полина, зажав сумку под мышкой, вытащила из мочек маленькие фальшивые бриллианты, сунула их в джинсы. – Я их прямо сейчас...

Продавщица, подцепив ногтем ценник, прилепила его себе на руку, ткнула пальцем в кассовый аппарат. Тот, радостно звякнув, выплюнул чек.

Полина вышла из лавки, пружина захлопнула дверь. Магазин был зажат между прачечной и мексиканской харчевней. Из обжорки воняло жареным луком, а из мрачного нутра прачечной несло химической свежестью. Полина поглядела на часы, закурила. Еще десять минут. Прошлась, искоса поглядывая в отражение витрины. Поправила волосы, выдула тонко дым.

Солнце вспыхнуло, выскочив из толкотни облаков, которые неслись по диагонали вверх. Другая сторона улицы утонула в синем, дорогу с пыльным бульваром посередине перечеркнули полосы света. У столба остановился красный седан с открытым верхом, Полина, быстро спрятав руку за спину, уронила окурки на асфальт.

– Опять? – Саймон сделал строгое лицо. – Ведь договорились!

Он дотянулся и приоткрыл дверь. Полина кинула сумку назад, там было крошечное сиденье, очевидно, рассчитанное на карлика или пару мелких детей.

– Вот! – она покрутила головой, сверкнув рыбками. Чмокнула Саймона в скулу.

– Блесна. На щуку? – он резко воткнул передачу и дал газ.

До Саймона у Полины был Грэг. Он тоже учился в Колумбийском, только на международных отношениях. Грэг относился к старомодному типу, в университете таких было немало, казалось, что все они – холерные, румяные, с опрятной скобкой на крепкой шее – состоят в родстве, что все они ходили в одну и ту же частную школу в Новой Англии и до сих пор по привычке одеваются в темно-синие блейзеры с гербом на кармашке. Рубашки бледных расцветок, лимонные и голубые, иногда розовые, аккуратно заправлены в серые штаны под тонкий ремень с латунной пряжкой.

Грэг оказался скучноватым педантом, впрочем, внимательным и нежным. В постели у него отчаянно потели бедра и икры, удивительно волосатые, при полном отсутствии растительности на бледной костистой груди. Он предпочитал одну позу – сверху, двигался осторожно, будто боясь там что-то повредить. Впрочем, он был достаточно ритмичен, а главное, неутомим и напоминал Полине опытного чистильщика сапог. Она иногда ловила себя на том, что мысли ее утекали из спальни куда-то вдаль и там бродили в безмятежной скуке. Она пыталась внести разнообразие в процесс, но, не встретив одобрения, постепенно сдалась. На носу маячила защита диплома, потом выпуск, а в ее постуниверситетские планы Грэг уже не входил.

В конце марта, неожиданно жаркого в ту весну, они стояли у гуманитарного факультета и ели подтаявшее мороженое. Полина при этом умудрилась курить, подавшись вперед и стараясь не закапать юбку. Грэг с кем-то поздоровался, Полина повернулась. Грэг представил ее. Профессор Саймон Лири пожал ей руку, крепко, чуть задержав ее ладонь в своей. Она смутилась, от мороженого ее рука была липкой.

Профессору было за пятьдесят – старая гвардия, знакомая ей по родительскому дому в Нью-Джерси. Отцовские приятели, важные и неторопливые: покер, сигара, скотч в толстом стакане, иногда они оказывались остроумными, порой даже симпатичными. Но главное – запах, эта смесь горького табака, виски и пряного одеколлона, этот дух вносил в мир порядок. Иногда под Рождество Полина получала от них десятидолларовые купюры. Эти мужчины знали жизнь, они твердо стояли на ногах и серьезно относились к своим удовольствиям: покер, рыбалка, скотч, сигары. Они знали цену справедливости. В них угадывалась основательность и надежность, таким вполне можно было доверить управлять миром.

Профессор Саймон обладал вкрадчивым голосом, седые виски переходили в жесткую пегую шевелюру, на подбородке гнездилась ямочка, которую (как Полина узнала потом) невозможно было чисто выбрить. В своем твидовом пиджаке с замшевыми локтями, вельветовых мешковатых

штанах болотного цвета, мордатых ботинках свиной кожи он производил то самое впечатление надежности и напоминал ей старый отцовский саквояж, может, не такой стильный, но уж зато прочный и удобный для путешествий на любую дистанцию.

Полина отчего-то смутилась, на вопрос ответила сбивчиво, что диплом у нее по русской литературе, по Льву Толстому. Профессор хитро улыбнулся и, чуть помешкав, произнес:

– Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Акцент у него был жуткий, но впечатление на Полину профессор произвел. Грэг русского не знал, но тоже улыбался и довольно потирал ладошки. Через неделю Грэг уехал в Европу.

Профессор Лири читал курс по истории холодной войны и еще что-то про распад коммунистического блока. Полина политикой не интересовалась, поэтому в аудиториях они не встречались. На кампусе он ей безразлично кивал или делал вид, что не замечает. Вообще профессор соблюдал осторожность, встречались они в условном месте за пять кварталов вверх по Бродвею. На углу Сто тридцать шестой улицы, у антикварной лавки с синей дверью. Полине нравилась скрытность их связи, таинственность казалась ей романтической и переводила Полину в разряд взрослых. У нее теперь был не просто парень, у нее появился настоящий любовник.

Хотя и здесь амурные дела обстояли не совсем гладко. Профессор предпочитал говорить, он обожал, когда его слушают. Полина слушала. Профессор мог часами рассуждать о том, что именно информация убила коммунизм, что роль Горбачева в перестройке минимальна – изменения диктовались экономикой, что Рейган просто дурак и посредственный актер, случайно угодивший в президенты.

Профессор говорил, когда готовил, обычно он стряпал что-то итальянское: равиоли с грибами, сицилийские баклажаны, моцарелла с томатами, макароны с пармской ветчиной. Готовил Саймон артистично, смело импровизируя, – на кулинарные рецепты он плевал.

– Для настоящего маэстро они лишь руководство к действию, – говорил профессор. – Рецепт есть догма, а догма убивает творчество.

Щедро добавляя оливковое масло, он сыпал соль, перец и специи на глаз, не забывая отхлебнуть «кьянти» из бокала. С поварской ловкостью шинковал петрушку и базилик, иногда перебивая сам себя восклицаниями типа «бениссимо» и «магнифико». Еда получалась действительно вкусной.

Профессор подбирал Полину у антикварной лавки и обычно вез к себе на Ист-Сайд. За такую квартиру запросто можно было заложить душу дьяволу: с мраморным холлом и швейцаром, квартира была на двух уровнях, в гостиной три сводчатых окна выходили на Пятую авеню, слева виднелась колоннада музея Метрополитен, справа зеленой горой вставал Центральный парк. Если лечь в ванну, то в круглое окно были видны верхушки небоскребов Мидтауна. Самое удивительное, что в этой квартире никто не жил, иногда ключи выдавались проезжей родне или друзьям, посещающим Нью-Йорк.

Ребекка Лири предпочитала жить за городом, в Вестчестере. Эта квартира казалась ей тесной, город шумным, народ суетливым и неприятным. Ребекка много путешествовала. Она считалась специалистом по Дюреру и немецкому Ренессансу в целом, ее приглашали на всевозможные конференции и прочие мероприятия околохудожественного характера. В спальне стояла фотография, которую профессор каждый раз незаметно поворачивал к стенке. Там Ребекка снялась на фоне какого-то готического собора,

Полина иногда разглядывала ее лицо и совершенно не могла представить эту холеную, высокомерную суку рядом с милым Саймоном. Сам профессор говорил, что их семейные отношения давно эволюционировали в дружеское партнерство, при этом Саймон грустно улыбался и гладил Полину по колену. Полина верила и отчасти даже жалела искусствоведку.

Полина понимала тупиковость отношений с профессором, этим апрелем ей исполнилось двадцать четыре, она все еще считала себя достаточно молодой, и будущая жизнь с вероятными детьми и предполагаемым мужем виделась Полине расплывчато и в общих чертах. Гораздо больше ее занимало трудоустройство после получения диплома, впрочем, ясности здесь тоже не было.

Профессор был в отличной форме, разумеется, для своего возраста. Когда он садился на край кровати и стягивал носки, кожа собиралась в складки, отвисала в неожиданных местах. Особенно уродливыми казались ступни ног, желтые, словно из воска, с корявыми бледными ногтями. На бедре темнело родимое пятно размером с маслину, а от пупка по диагонали вверх тянулся шрам. История шрама так никогда и не прояснилась, Саймон уклончиво ответил, упомянув Ленинград и какого-то Герхарда. Именно тогда Полина решила, что Саймон не всегда был всего лишь профессором.

Любовником он оказался торопливым, иногда эгоистичным, Полине казалось, что Саймон обычно пытается поскорее покончить со всей этой постельной канителью и перейти к действительно приятным делам: к вину, ужину, к разговорам. Но старая школа брала свое – он каждый раз собственноручно раздевал ее, ловко расправляясь с застежками, молниями и крючками, после подолгу занимался ее грудью. Грудь Полины действительно заслуживала внимания, тем более что, судя по фотографии, профессорше похвастать особо было нечем.

От антикварной лавки Саймон всегда гнал по Бродвею, раскручивался вокруг статуи Колумба, одиноко скучающей на колонне в центре тесной площади, потом ехал вдоль парка, сворачивал у Плазы на Пятую. Тем днем маршрут изменился – профессор неожиданно нырнул на первом светофоре направо, спустился к Гудзону и понесся по набережной на юг.

Полина знала правила игры: это какой-то сюрприз, спрашивать бесполезно. Она сползла вниз по сиденью, уперлась коленями в бардачок. Очень хотелось курить, даже не курить, а просто держать в губах сигарету, чтоб огонек от ветра раздувался и горел рыжим, а дым улетал быстрой белой струйкой за плечо.

Она поправила черные очки, потыкала в приемник, нашла какую-то древнюю песню, записанную за год до ее рождения. Саймону тогда было столько же, сколько сейчас ей. Он слушал эту песню тогда, мускулистый, молодой, без дряблых складок и шрамов. Песня звучала точно так же. Пройдет еще лет двадцать пять, и Полина, потертая и седая, будет куда-то ехать, а по радио опять будут крутить эту песню. Хотя наверняка к тому времени придумают какие-нибудь пилюли от морщин и складок и вообще двадцать пять лет – это почти вечность. Песня неожиданно рассыпалась испанской гитарой, пронзительно грустной и хрупкой, мелодия потекла плавно: «Ты можешь быть кем ты захочешь, но для начала стань свободным, стань самим собой».

Все верно, все именно так, Полина переключила канал. Станный механический женский голос зашептал из динамиков:

– ...ласточки не успеют стряхнуть пыль со своих острых крыльев, но день полнолуния уже близок, Козерог в доме Марса, дева непорочная с серпом, готовым для жатвы. В ту ночь я, Махатма Ас-Гам-Зи, сыграю

Лунную сонату задом наперед, что повернет вспять историю рода человеческого, и все грехи людские будут прощены. Для тех, кто...

Полина ткнула кнопку, и странная тетка сменилась разболтанным регги. Боб Марли пел про шерифа, которого он пристрелил в порядке самообороны.

Саймон лихо вписывался в виражи, выставив наружу острый загорелый локоть. Машина взлетела на мост, гулко понеслась под циклопическими стропами с гигантскими гайками. За ажурной решеткой, слившейся в пульсирующий серебристый звон, далеко внизу искрилась вода с игрушечными яхтами. Сзади по берегу торчали терракотовые кубики Гарлема, дальше, почти на горизонте, из бетонного марева Мидтауна выросла стальная конус Крайслера. Мост кончился, и они въехали в Квинс.

Пошли пыльные домишки, заборы, промелькнуло кладбище с серым частоколом надгробий, ангелов, крестов. На бесконечной кирпичной стене старого склада проскочила полусмытая реклама давно исчезнувшей компании автошин. Потом пошла корпуса заброшенной фабрики с выбитыми стеклами. Полина родилась и выросла в Нью-Джерси, она по себе знала, что некоторые реки иногда бывают пошире морей, а соединительная функция мостов порой становится унижительной насмешкой.

У Полины была забавная фамилия – Рыжик, она смущалась всякий раз, называя ее. В ее голове тут же возникали оранжевые ассоциации: носатые клоуны, грибы-рыжики, снеговики с морковками. Смешная фамилия досталась от бабушки: совсем юной, сразу после войны, она оказалась в Австрии, а оттуда, переплыв Атлантику, попала на Восточное побережье и обосновалась в Нью-Джерси. Здесь от развеселого паренька (на единственном фото в бабкином альбоме он снялся с гитарой и в ковбойских сапогах со скошенными каблуками) родился отец Полины, Чарльз Рыжик, сделавший удачную карьеру в жевательном бизнесе. Он работал директором по маркетингу в «Риглис» – флагмане жевательной индустрии.

Детство Полины было пропитано мятным ароматом бесчисленных образцов и тестовых экземпляров, раскиданных по дому в виде пластинок, подушек, шариков и трубочек в пестрых фантиках. Бабка читала Полине на ночь Бунина, Толстого, Набокова, все на русском. В нежном возрасте пяти лет Полина прослушала «Смерть Ивана Ильича», в семь – «Крейцерову сонату». Сейчас Полина говорила по-русски почти без акцента, изредка перевирая ударения да не попадая задирая хвосты повествовательных предложений.

Они встали на светофоре, шофер грузовика с мрачной завистью поглядел на профессорскую руку, переключавшую с коробки передач на голое девичье колено. Полина улыбнулась шоферу, тот вздохнул и зажмурился, словно у него заныли зубы. Включился зеленый. Через пять минут унылый Квинс остался позади, по сторонам зазеленели поля, лохматые кусты, могучие вязы и клены. Вкусно пахло летней травой. Свернули на грунтовку, дорога весело покатила вниз, петляя и наклоняясь то вправо, то влево. Сквозь листву вспыхнула рыжим черепичная крыша, показались три островерхие башни, центральная с флюгером в виде птицы. Полина догадалась, что это и есть логово тощегрудой дюрероведки.

– Она, – не называя имени, сказал Саймон, глуша мотор. – Она в Штутгарте. Немцы нашли Гольбейна. Она им скажет, настоящий или нет.

Полина хлопнула дверью машины, гравий захрустел под каблуками, она со вкусом потянулась, осмотрелась. Стало ясно, отчего Ребекка считала городскую квартиру тесной – это жилище напоминало замок среднего

калибра. За домом темнел старый парк, сквозь частокол стволов во тьме проглядывал то ли пруд, то ли озеро, кроны вязов нависали над черепицей крыши и бросали сетчатую тень на гравий перед входом и неухоженные клумбы с мордатыми хризантемами.

Саймон церемонно распахнул дверь, Полина шагнула в холл, высокий беленый потолок перечеркивали старые балки из темного дерева, каждая толщиной с телеграфный столб. Холл переходил в гостиную с камином, в который можно было войти не сгибаясь. Полина с надеждой искала глазами мечи, доспехи и прочую бутафорию – ничего, даже кабаньих голов на стенах не было. Пришлось признать, комната была обставлена безукоризненно. В спальне она уловила приторный запах, так пахнет прокисшая парфюмерия. Запах Ребекки – она подумала, улыбнулась и откинулась на подушки. Саймон уже раздел ее и увлеченно нянчился с грудью, прихватывая губами соски и громко сопя.

Потом был пикник у пруда. На пологом берегу между ив висел гамак, у Полины тут же возникло желание покачаться, которое было благоразумно подавлено.

Саймон бросил на траву верблюжий плед, угнездил бутылку холодного шабли, завернутую в льняную салфетку, из корзины выудил два бокала, фаянсовые тарелки, столовое серебро. Разложил сыр, виноград, инжир с орехами, откупорил банку с медом. Полина наблюдала за ловкими руками профессора и думала, что сверстники мужского пола для нее потеряны как минимум лет на десять. Саймон разлил вино, придвинувшись к ней, щекоотно шепнул в ухо банальное:

– За нас!

Сверху голосили невидимые птицы, голова приятно плыла, Полина пыталась слушать историю Карибского кризиса, но мешали птицы. Она постепенно сдалась и, продолжая изредка хмыкать и поддакивать, провалилась в ленивую истому. Мысли обо всем и ни о чем неспешно тянули ее куда-то, убаюкивали.

– ...Этот недоумок от авиации генерал Лэммей, – профессор хрустнул сочной виноградиной и продолжил, – игнорируя приказ президента, продолжал полеты над Союзом. В тот же день русские чуть не сбили еще один самолет-шпион. Над Сибирью. Первый был сбит утром над Гаваной, пилот майор Андерсон погиб. В учебниках этот день называется «Черная суббота». Русские телеграфировали в Кремль, что ожидают нападения в ближайшие сутки. Хрущев объявил готовность номер один. Мир оказался на пороге ядерной войны. Ближе мы не оказывались ни до, ни после.

Ни до, ни после – эхом откликнулось в голове Полины. Она не понимала, зачем профессору понадобилось тащить ее сюда, демонстрировать все эти роскошные интерьеры, экстерьеры, пейзажи и натюрморты. Единственное, в чем у нее теперь не было сомнений, так это в том, что мужчины (в отличие от женщин) не взрослеют, внутри каждого матерого зубра сидит резвый козленок и умение прятать его и выглядеть солидно зависит целиком от индивидуальных способностей и таланта к мимикрии.

Стемнело. Они сидели у камина (день продолжал разыгрываться по сказочному сценарию), огонь покрасил руки и лица, в углах сгустились тени, потолок исчез, сверху нависла черная бездна. Саймон шурился на огонь, поглядывая то в коньячный бокал, то на Полину. После ванны она забрала волосы наверх, выставив напоказ неожиданно долгую шею. Отвергнув искусствоведкины тряпки, Полина накинула вместо халата белую профессорскую рубаху, из-под нее выглядывало белье, красное с фиолетовыми

кружавчиками. Полина считала, что это кич, но белье подарил Саймон, пришлось надеть.

– В лучшем случае будешь заведовать каким-нибудь архивом имени братьев Карамазовых, – профессор сделал маленький глоток, помолчал, оценивая вкус. – За сорок тысяч годовых. Или читать в Мидлберри прыщавым подросткам письма Онегина к Печорину.

– К Татьяне.

– И к Татьяне тоже. И все за те же сорок тысяч.

Полина засмеялась:

– Но ты ведь сам примерно этим и занимаешься!

Саймон улыбнулся.

– Вот именно. Поэтому и говорю.

Он подался к ней.

– После Берлинской стены, – он понизил голос, словно их могли подслушать, – после Горбачева, после Ельцина... – он оглянулся в пустой холл, – наступила эйфория, Конгрессу удалось срезать бюджет, да и в контуре не очень сопротивлялись. Восточный сектор свернули. Вручили ордена и медали... – профессор сделал глоток. – Почетные пенсии... Ну и под зад коленом.

Полина выставила руки и смотрела в огонь сквозь растопыренные пальцы. Сделала птицу, скрестив большие пальцы.

– Сейчас ситуация изменилась.

Птица расправила крылья и полетела.

– Они набирают, – Саймон улыбнулся. – Могу дать рекомендацию.

Полина улыбнулась в ответ.

– У меня диплом по Толстому.

– Да кому твой Толстой нужен? – спросил профессор чуть резко. – То, чем ты собираешься заниматься, – тупиковая ветвь. А я предлагаю перспективу. Интересную перспективу. Ты – умная, красивая баба, молодая...

– Спасибо.

– Это не комплимент, а констатация факта. Будешь работать в посольстве, консульстве или под крышей какого-нибудь Сороса. Москва, Прага, Питер... – он усмехнулся. – Восточная Европа – весьма занятный регион.

Полина поджала под себя ноги, натянула на колени рубаху. От нее пахло крахмалом, прачечной. Полина подумала о бабе Нине, Нине Егоровне Рыжик.

– Мою бабушку немцы угнали в плен. В самом начале войны. Они жили под Брестом, – Полина говорила тихо. – Следом за войсками шли эсэсовцы. Полдеревни, всех мужчин и пацанов согнали в амбар, амбар облили бензином. Моя бабушка все это видела. Она мне рассказала перед самой смертью, говорит, крики из амбара до сих пор слышит. Там отец ее был, два брата.

Профессор вздохнул, допил коньяк. Полина зябко поежилась и добавила обычным тоном:

– Мне нужен.

Саймон не понял, рассеянно поглядел на нее.

– Ты спрашивал, кому нужен Толстой. Мне.

Прошла неделя, профессор не позвонил. У них было заведено, что всегда звонил он. Полина вытерпела до вторника, вечером набрала номер. Он взял трубку сразу, ответил чужим, сухим голосом, что перезвонит. Сразу нажал отбой, Полина что-то пролепетала в частые гудки, осеклась на полуслове. К горлу подкатила тошнота, Полина налила в кружку воды из крана, рука была слабой и чуть дрожала. Отпила, вода оказалась теплой,

она выплюнула ее в раковину. Телефон запиликал. Она вздрогнула, метнулась к столу. Завтра в три, сказал профессор тем же чужим голосом.

Полина минут десять стояла с телефоном в руке. В голове было пусто. Постучали в дверь, Полина вздрогнула, открыла. Мона со второго этажа, толстая мулатка с бородавкой на подбородке и в роговых очках. Попросила сигарет. Полина спустилась с ней вниз, они сели на асфальт, закурили. Мона что-то говорила про свой диплом, потом про какую-то Жасмин, которая крутит голой жопой в «Экстазе» и делает по штуке за ночь. Полина глубоко затягивалась и кивала, разглядывая окна общаги. Тусклые желтые квадраты лежали на тротуаре, сквозь деревья мутным конусом светился физический факультет.

Она почти не спала, препарируя в памяти последнюю встречу: дорогу туда, секс, пикник, разговор в гостиной, секс, завтрак, дорогу обратно. Она ничего не понимала, и от этого становилось совсем тошно. Подходила к окну, курила в форточку, спрятав сигарету а кулак. Ложилась. Постель казалась жесткой и грубой, все тело чесалось. Она снова вставала и шла к окну. Под утро провалилась в полубред, отчетливый и яркий: она голая стояла по пояс в воде, коричневой и грязной. За ее спиной кто-то прятался, она с ним спорила. Она знала, что поворачиваться нельзя.

После душа Полина разглядывала себя в узкое зеркало, прибитое к дверце шкафа. Хлопнула ладонью по загорелому животу, провела по бритому лобку: профессор не одобрял отсутствие волос, говорил, что это напоминает педофилию. Полина брызнула одеколоном на шею, плечи, провела рукой по груди, в паху, по ляжкам. Надела черный лифчик, соски выглядывали наполовину из-под сиреневых кружев, как и было задумано. Натянула трусы. К полудню она уже убедила себя, что случилось какое-то недоразумение. Что они встретятся и ошибка моментально вскроется. Они посмеются и поедут на Пятую авеню. Она сунула запасные трусы в сумку.

Когда Полина пришла к антикварной лавке, профессорская машина уже стояла там, правда, за углом и с поднятым верхом. Он толкнул дверь. Полина, привычно бросив сумку назад, села. Она хотела что-то сказать, но Саймон, не взглянув на нее, дал газ. Он смотрел вперед, сосредоточенно, словно собирался идти на таран. Костяшки рук побелели, он резко бросал машину вправо и влево, зло втыкая передачи и резко давя на газ. Прошло двадцать минут. Они неслись по Ист-Сайд, с одной стороны за ржавыми контейнерами мелькала река, с другой тянулись глухие, пыльные стены каких-то складов. Полина не могла представить, что такие места вообще существуют на Манхэттене. Саймон затормозил и въехал на заброшенную автозаправку. Окна конторы были заколочены щитами, по фанере и стенам тянулись иероглифы граффити. Саймон вылез, хлопнул дверью. Полина вылезла вслед.

С самого утра парило, у Полины сразу вспотели ладони. Теплый ветер гнал пыль, от нее першило в горле и чесались глаза.

– На блесну, значит? – Саймон сердито глядел мимо нее. – На блесну...

Полина растерянно повернулась, открыла рот.

– Только вот не надо... – Саймон раздраженно махнул рукой. – Вот этого только не надо! Хорошо?

Он резко прошелся взад и вперед. Остановился у ржавого корпуса бензиновой колонки. Пнул его ногой.

– Придумано все на «пять». Только один момент ты не учла: мы с Ребеккой уже тридцать лет вместе. И вместе через такое прошли, что тебе и не снилось.

Полина обхватила себя за плечи, ей вдруг стало зябко. Она не знала, что сказать, с чего начать, ей казалось, что профессор сошел с ума. Или она сошла с ума. Или весь мир.

– Саймон! Ты можешь, наконец, объяснить? В чем дело?

Профессор с ненавистью взглянул ей в лицо и громко засмеялся.

– Молодец! Ох, молодец! – он снова пнул ногой колонку. – Полина, это конец. Все, понимаешь? Кончай дурочку ломать.

– Я ничего не понимаю, – у Полины першило в горле, голос вышел си-
пльй, словно она собиралась расплакаться. – Правда...

От этого профессор только раззадорился. Он перешел на крик:

– Овечка! Ничего она не понимает! Неужели тебе могло прийти в го-
лову, что я женюсь на тебе?

– Что?!

– Ты думаешь, я не видел? Ты думаешь, я не знаю вашу славянскую
породу? Вашу зависть, вашу азиатскую хитрость? – он закашлялся.
Кашлял долго, его лицо покраснело, он сплюнул на асфальт. – Знаю!
Знаю!

– Господи... Что происходит? – Полина поняла, что плачет, она быстро
провела рукой по лицу. – Саймон, ради бога!

Она слышала свой голос, противный, в нос. Голос человека, безуслов-
но, виноватого, голос обманщика. Она не знала, в чем виновата, но такому
голосу не поверила бы сама.

– А знаешь, что она сказала? Ребекка. Когда нашла их. Что я таскаю в
дом дворняжек! Что такие серьги не наденет даже портовая шлюха!

Полина вздрогнула, мир качнулся и встал на место.

– Саймон! Клянусь... Я думала... я искала... неужели ты думаешь... – она
осеклась, словно у нее кончился завод, как у пружинной игрушки.

Профессор достал с заднего сиденья ее сумку, брезгливо бросил Поли-
не под ноги. Внутри тихо звякнули ключи.

– Я надеюсь, ты понимаешь, что на этом все? – он сделал паузу и испод-
лобья посмотрел на Полину. – И не дай тебе бог...

Полина подняла сумку, достала сигареты. Руки у нее тряслись, она не-
сколько раз чиркнула зажигалкой, ветер тут же гасил пламя. Саймон сел в
машину, хлопнул дверью. Наконец прикурив, Полина глубоко затянулась.

– погоди, – выдохнула она.

– Чего еще? – спросил он грубо, включая стартер.

Полина достала из сумки связку ключей, выбрала английский, воткнула
острие бороздки в крыло машины и сказала:

– Да нет, ничего.

Профессор выжал сцепление, дал газу и рванул машину с места. На
крыле и двери красовалась глубокая, свежая царапина.

Грэг прислал цветную открытку с закатом над Эдинбургским замком.
На обороте была марка с королевой в профиль, припечатанная грязным
фиолетовым штемпелем. Грэг малюсенькими буквами, словно писал из
тюрьмы, расписывал шотландские красоты: вересковый дух над вечерни-
ми полями, клочья тумана меж скал, руины замков – банально и в меру
поэтично. В постскриптуме, втиснутом в угол открытки, упоминался не-
кий Рональдо, танцор, с которым Грэг собирается переехать в Амстердам.
Вместо подписи стояло кривое сердечко и буква «Г».

Полина, дочитав, хмыкнула и прикрепила вечерний замок к стене меж-
ду портретом босого Льва Толстого и фотографией Чехова, которого все
принимали за ее дедушку. С Грэгом ситуация более или менее проясни-

лась. Профессора Саймона Лири она видела пару раз издали, разумеется, он ее не замечал. С профессором тоже все было ясно.

Третьего июля Полина защитилась, ее хвалили, завкафедрой славистики Левенталь два раза произнес слово «превосходно». На другой день было вручение дипломов, из Нью-Джерси приехали родители. Мать вытирала глаза, зажатым в кулак платком, отец балагурил, говорил бодрим и громким голосом, знакомился с другими родителями. Он выставлял энергичную ладонь и рычал: Чарльз Рыжик. Полине, как всегда, было неловко за свою смешную фамилию. Стояла жара, Полина взмокла в фиолетовой мантии, сшитой в Китае из какой-то синтетической дряни. Когда подошла ее очередь, она чуть не грохнулась в обморок на подиуме, что-то пробормотала в микрофон, уронила шапку, кое-как вернулась на место. Отец воскликнул «ого!», ухватил диплом, пробуя на вес, словно приценивался, купить или нет. Полина разглядывала готические буквы, университетский герб, золотую раму, ей отчего-то стало тоскливо. Родители смеялись, мать гладила ее по голове, как ребенка, что-то спрашивала. Она улыбалась, молча кивала, закусив губу. Она боялась разреветься.

Через день на двери общаги появилась бумага, предупреждавшая, что все комнаты должны быть освобождены к концу месяца. Полина с минуту глазела на объявление, весь текст угрожающе был набран заглавными буквами. В слове «администрация» вместо первого «и» стояла «е». Полина хотела исправить, но не нашла ручки. Она поднялась к себе, стала ходить от окна к двери, четыре шага туда, четыре обратно. С улицы долетал резкий женский голос, ругались по-испански. Полина захлопнула форточку. Подошла к столу, включила компьютер. Мрачно поглядела на экран. Потом тихо опустилась на кровать и закрыла лицо руками.

Она проснулась ночью, проснулась внезапно, будто ее кто-то выдернул из сна. Она резко приподнялась, вытянула шею, плясь в темноту. Сердце ухало где-то в горле. Что ей снилось, она не помнила совсем, осталось лишь ощущение жути. Полина встала, дошла до окна. Деревья черными лапами загоразживали улицу, в рваных просветах маячили слепые фонари. Полине эти огни напомнили пристань, тихий прибой. Она распахнула форточку. Дух ночного города обдал теплом, она тихо стояла, вдыхая резкий запах асфальта и гари. Невидимый автобус, грозно рыча, мощно набирал обороты и, казалось, шел на взлет.

Два дня Полина не выходила из общаги, ее комната провоняла китайской лапшой, картонки от которой валялись по полу, стояли на подоконнике. Резюме продолжало выглядеть неубедительно, Полина несколько раз редактировала текст, меняла шрифты – суть оставалась прежней: диплом Колумбийского университета и никакого опыта. Три статьи в студенческой газете «Квест» плюс летняя работа в библиотеке Конгресса год назад – вот и вся практика.

Полина вздыхала, копировала письмо, меняла имя адресата и название конторы. Цепляла файл с резюме, нажимала «отправить». Вычеркивала из списка. Эту операцию она проделала уже сорок семь раз. На краю стола лежали две последних сигареты. Полина несколько раз порывалась закурить, но каждый раз сила воли одерживала верх.

Последним в списке оказался журнал «Еврейское книжное обозрение», им требовался ассистент редактора со знанием русского языка. Полина захлопнула крышку ноутбука, потянулась. Нашла зажигалку, зажав в кулак, сбежала вниз по лестнице.

На бордюре клумбы сидела Мона, выставив вверх толстые бледные колени. Она говорила по телефону, курила, часто затягиваясь и стряхивая пепел в пустую банку из-под пива. Полина села рядом. Мона нажала отбой, спросила:

– Про Росса слыхала? – и, не дожидаясь ответа, сразу продолжила: – Кафедра русского в Дюке – охренеть! У тебя, наверное, тоже все тип-топ? Видела твоего папашу – козырный такой!

Мона подмигнула.

– Не-е, – Полина помотала головой. – Мой же не сенатор. А ты куда?

– Я? – Мона ввинтила окурочек в дырку банки. – Я в школу. В Цинциннати.

– Школу? – растерянно повторила Полина. – В смысле?..

– В прямом. Учителем.

– С нашим дипломом? В школу?

Мона повернулась к Полине, на ней не было ее толстых очков в роговой оправе, близорукие глаза оказались по-детски светло-серыми.

– Я с февраля триста сорок резюме раскидала. Триста, твою мать, сорок! По всему миру! – она снова закурила, выпустила дым Полине в лицо, замахала ладонью. – Триста сорок! На хрен мы не нужны. Никому!

– С февраля? – поникшим голосом переспросила Полина.

«Господи, а я-то что с февраля делала? – мысли запутались, неясная паника начала расти, она нервно вдохнула, закашлялась дымом – Вот дура! Дура!»

Ей казалось, нет, она просто была уверена, что надо хорошо учиться, получить диплом, отправить несколько резюме, сходить на пару интервью, а потом начать работать. Просто начать работать. Это как ступеньки, ты идешь по ним, шаг за шагом. Ведь так и было всю жизнь – шаг за шагом.

– Ты чего? – Мона спросила с грубоватым сочувствием. Полина помотала головой, в горле стоял ком.

– А этот... – Мона подмигнула. – Профессор с международной? Не поможет?

Полина открыла рот, не зная, что сказать. Она сидела, как деревянная, зажав между пальцев тлеющий окурочек и чувствуя, как медленно разгораются ее скулы.

Зарина КАРЛОВИЧ

Родилась в городе Фрунзе. Филологическое образование получила в Киргизско-Российском славянском университете.

Лонг-листер литературной премии «Дебют». Финалист мультимедийного конкурса «Живое слово» в номинации «Живые истории» (2013).

Редактор издательства «Эксмо». Живет в Москве.

АДСКАЯ КОЛЕСНИЦА

– Ззззым! Зззым. Зззым!

Три звонка были их с Севой сигналом. Но в этот раз Игорь не услышал шарканья тапок Севиного деда. Дед умер неделю назад, и Сева, видимо, еще не вернулся с похорон – хоронить деда повезли на родину, под Челябинск.

Игорь дал обычный круг – через два перекрестка, за гаражами – покурить перед школой. Но до гаражей он не дошел.

Возле магазина, между входом и щитом с тремя огромными колбасами и ценами, на затоптанном асфальте переминались с ноги на ногу трое в слишком легких для весны одеждах.

На шеях у них болтались маленькие барабаны, из которых они добывали удивительную музыку. Глубокие, бездвижные глаза музыкантов были сосредоточены внутрь, словно сквозь увеличительное стекло они рассматривали себя самих.

Игорь остановился: музыка была загадочна и грустна. И тут он понял, что музыкантов четверо. Четвертый был совершенно незаметный, крайне худой, прозрачный. Игорь хотел посмотреть ему в лицо, но не мог поймать момента, когда тот взглянет в его сторону. Он так увлекся этой забавой, что вздрогнул, когда бестелесный вскинул голову и посмотрел ему в глаза.

Игорь отшатнулся и боком, еще глядя в ощерившееся лицо, пошел прочь.

Он не свернул направо, к школьному двору, а пошел вкось, к незнакомой улице, на которую никто из их пацанов ходить не любил – в одиночку туда не казал носу даже сам Пономарь...

Он слышал за спиной затухающие звуки, курил и шагал дальше. Магазин, дом и музыка скоро растворились в зелени деревьев.

Букву «М» Игорь увидел слева, пересек проспект. Полупустое полуденное метро на секунду оглушило горячим воздухом, и в этом ни с чем не сравнимом запахе подземки Игорь различил еще один – посторонний, еле слышный – острый аромат приключения. Привычным движением перемахнул через турникет, и, сбегая по эскалатору, вялого возмущения контролерши он уже не услышал.

Игорь направился к правой платформе. В самом конце перрона колыхалась кучка подростков. Они громко ржали и по очереди просматривали что-то на видеокамере. Все были в натянутых на голову капюшонах.

Он подошел, и они разом обернулись.

– Никитос, – первым вытянул руку вертлявый, гнусоватый заморыш.

– Гаррисон, – ответил Игорь, хопнув его с несильным размахом по сухой маленькой лапке.

– Марсельсон... Вантисон... Михельсон... – послышались клички.

Игорь жал руки всем. У одного не было пальца. У другого до локтя тянулся уродливый рваный рубец. И сами они были покоцанной, мельтешащей и борзой пацанвой.

Тот, который был Марсельсон, все время ходил взад-вперед, сильно хромая, по крошечному отрезку перрона, на котором они находились. На одной ноге у него был башмак на толстенной высокой платформе, и, когда он наступал на нее, он будто проваливался. Игорю очень захотелось спросить, почему у него одна нога короче другой, но все повернули головы к рельсам.

Стены засветились, будто кто-то провел по ним фонариком. Кафельные стены, как те, что у него, Игоря, на кухне. Внезапно вспыхнуло зарево, и в ту же секунду взорвалось предупреждающим ревом и заобещало: «Да-дам, да-дам, да-дам, да-дам...»

Ребята потянулись к концу перрона, туда, где посадка запрещена. Ворвалась гусеница, прогремела, остановилась и простионала последнее:

– Иишшшшшш.

Никитос вдруг сделал короткий взмах рукой и отработанным движением, схватившись за крашеную синюю подпорку, взлетел на урчащую гусеницу. Так же молниеносно все это повторили двое по бокам от Игоря.

– Давай, давай скорее, – жарко зашептал ему коротконогий. И толкнул Игоря к гусенице.

«Пшшшш!» – выпустила парок гусеница и, лениво, позевывая, завела свои механизмы, заорала благим матом и пошла.

Вой и гвалт, скорость, какой не испытывал он никогда... безумное счастье, тьма, жар и еле слышный за ревом хохот Никитоса в левое ухо. Как будто тысячи ураганов обрушились на его глаза, уши, рот его.

В голове вспыхнула картинка, как он, Игорь, лет семи, на американских горках и в голове пульсирует горячий шепот белобрысого Юрки: «Нет никакой страховки, если свалишься – сам будешь виноват, и никто тебя не спасет».

«Как же так? А вдруг я точно упаду?»

«Тогда не катайся!»

И снова лицо маленького Игоря – сначала со стиснутыми зубами и ошалевшими глазами, потом с огромным разинутым ртом, орущим так же, в безумном скрежете и всеобщем хаосе. И адская колесница, дребезжащая, пылающая, наполненная воплями, ужасом и запоздалым раскаянием. От тебя уже ничего не зависит, и адреналин бьет по коже, как хорошо выученная плеть, и по ушам – оглушительная сирена, и по глазам – ужас и дикий восторг в темноте...

Никитос ехал с включенной камерой, и красный глазок ее светился, ухмыляясь. Михельсон держался за поручень одной рукой, а второй играл на телефоне. Он периодически посматривал на Игоря и обнажал в улыбке кривые желтые зубы, казавшиеся огромными, между которыми, перекатываемая языком туда-сюда, болталась жвачка. То вдруг скалился и в темноте, светил фонариком снизу на лицо и корчил рожи, оттого было еще более похоже на комнату страха в Луна-парке.

Мягкий толчок, и ветра стало меньше. Гусеница замедлила ход, мучительно заскрипев всеми своими железными, круглыми и раскаленными рессорами, вздохнула: «Аа-аа-аа...» и умерла. Игорю никогда не пришлось бы в голову, что ехали они всего две с половиной минуты.

Игорь дрожащими ногами спрыгнул на платформу. Здесь их уже встречали: несколько в хаки, взбитых, как сливочный крем, с непроницаемыми лицами и пистолетами на широких бедрах.

И они дернули врассыпную. Так быстро, как могли. Игорь сам не мог понять, как он бежит: там, на гусенице пару минут назад у него отнялись ноги... Он бежал по эскалатору, задыхаясь, смеясь. Вертикальная вереница спин справа от Игоря уходила вниз. Пару раз он кого-то толкнул, и позади слышались возмущенные окрики, но он бежал дальше, перескакивая через ступеньки, не оглядываясь, не замечая ломоты в ногах, не думая ни о чем.

Он выбежал из стеклянных дверей и только здесь остановился, согнувшись, перевел дух. Ребят не было. Он обошел метро, и только тогда слева к нему подошел коротконогий.

– Ну, пошли.

Чуть дальше, в сквере возле скамеек курили остальные. Они встретили его улюлюканьем и смехом.

– Ну как дебют? – усмехнулся Никитос.

– Как на американских горках!..

– Американские горки у тебя впереди, – засмеялся прыщавый парень, имя которого Игорь забыл.

Игорю было неловко за бурю переживаний, которую он так бесхитростно выплеснул на зацепинге. Он сам не понял, откуда так хорошо знает это слово.

– Первый раз всегда так... – отозвался коротконогий.

– Да откуда ты уже помнишь про первый раз-то? – заржал Михельсон. И все снова одобрительно засмеялись.

До станции было рукой подать, и пошли пешком. По дороге Игорь поймал обрывки разговора Михельсона и Марсельсона.

– ...прикол в том, чтобы точно знать их расписание. В субботу, где-то около 11 утра между Карачарово и Серпом*, ее догоняет «Спутник». Так вот, аккурат когда она мост проезжает, оба мощно замедляются, потому что проходят почти вплитык друг к другу! Прыгнуть с собаки на «Спутник» как два пальца. Ну ты прикинь, что он вытворяет уже через десяток километров, там же просто мегабитвинтрейн-руфджампинг**!

Никитос догнал Игоря и потянул его за рукав.

– Красава. А то бывает, знаешь, всякое.

– Что?

– А не слыхал, как летом два анона*** разбились на красной ветке?

– Что-то помнится...

– Громкая история была. Представь, насколько глупо – так отойти в мир иной! Не проверить место, не рассчитать, где можно поднять голову, а где ее надо прижать к крыше... Они просто не вписались в проем – их раздавило... Да ладно, не грусти так, мы же будем умнее!

Игорь и Никитос засмеялись.

* Имеются в виду название платформ «Карачарово» и «Серп и Молот», расположенные в направлении от Москвы (здесь и далее примеч. авт.).

** «Перепрыгивать с крыши одного поезда на крышу другого, который едет параллельно или стоит рядом. Некоторые делают это на полном ходу. При недопрыгивании чревато падением на рельсы, при перепрыгивании – возможностью поцеловать контактку или пантограф и стать «героем». (Из пояснений зацепера. Стилистика и лексика не изменены.)

*** Нехороший глупый человек.

– Ладно, смотри, сейчас все объясню. Видел когда-нибудь такую штуку у собаки на морде железную?.. – продолжал Никитос.

– Чего?

– Блин, ну на переднем вагоне электрички есть такая выступающая фигня...

– А... ну да.

– Вот, значит. Есть три VIP-места на зацепинге, где можно спокойно прокатиться, особо не напрягаясь... Два VIP-места расположены по бокам на фарах: ноги ставим на козырёк фары, а руками держимся за верхнюю подвеску. Понял?

– Ну так...

– Вот морда собаки. Представляешь себе?

– Ну да.

– Третье VIP-место расположено по центру. Ногами встаём на хреновину, которая обычно вагоны сцепляет, а руками держимся за центральную подвеску... Вот туда встаешь, крепко держишься руками и спокойно едешь. Увидишь, как на собаку упадем. Ремень есть?

– Зачем?

– Ни за чем. У тебя по физике трояк небось? Переменное магнитное поле, слышал о таком? – индуцирует любой замкнутый контур, и может стукнуть даже пряжка от ремня. По той же причине на крыше опасно пользоваться мобилями. Так что не надо всяких там развлечений типа галопа по крышам, а то, не успев стать настоящим зацепером и транссерфером, станешь кандидатом в «герои».

– В смысле – в «герои»?

Вместо ответа Никитос начертил указательным пальцем горизонтальную полосу на горле. Игорь понимающе кивнул.

Группкой они шли по перрону. Остановились перед стендом с выведенными наверху красными буквами направлением. Никитос рассеянно водил глазами по строчкам, наконец, остановил взгляд где-то посередине расписания. Остальные негромко переговаривались между собой. Никитос сплюнул, кивнул ребятам, и те побрели по платформе в самое начало, он пошел следом. Они шли туда, где должен был остановиться первый вагон.

На перроне кучковались пассажиры. Среднестатистическая семья: жирная гундящая мать, изможденный с сизым и бессмысленным от пьянки лицом отец, характерного вида сын, беспрерывно насилюющий большим пальцем клавиатуру телефона, и прелестная, молчаливая, вобравшая в себя все достоинства этого мини-сборища, юная дочка.

Никитос скользнул по семейке пренебрежительным взглядом.

– От таких надо держаться подальше, – пробубнил он в висок Игорю, – такое говно разведут, если увидят.

Поодаль курили и пили пиво подростки, молодая мамаша катала вперед коляску, одной рукой доставая чипсы из хрустящего кулька. Хруст был очень громким. Все было громким, ярким, любая мелочь впечатывалась в сознание Игоря, пытаясь закрыть, загородить собой то самое, что надвигалось на них со скоростью 200 километров в час. Наконец, раздался вой собаки. Протяжный и короткий.

Люди стали подтягиваться к краю платформы.

Через несколько секунд увидели морду. Стремительно обдав стоящих в ожидании плотным дыханием, собака, наконец, остановилась, выдохнула.

– Теперь главное, чтобы помогала* не заметил, – пробурчал Михельсон.

– На «Серпе» часто помогали выходят из будки...

– Не... главное, чтобы гудок не дал, а то в тот раз на «Курской» меня встречная заметила и дала нашему сигнал, мол, я еду у него спереди, у меня уши в трубочку свернулись, когда встречный моему просигналил... Этот, мой-то, как даешь пневмогудок, и я уже думал спрыгну, а руки заняты...

– Офигеть!.. У меня однажды такое же было. Так тот машинист, встречный вообще высунулся из двери и стал жестами показывать, что типа на зацепе кто-то сидит... Пришлось давать дёру, чтобы избежать кары злобных машинистов... И чё они так реагируют? Может, мне острых ощущений захотелось?!

– Да потому что всякие школоло нам весь лулз ломают**. Портят репутацию зацепера...

Никитос жестом оборвал дискуссию.

В кабине сидел машинист и смотрел в правое зеркало. Они прошли мимо кабины и, имитируя зайцев, спрыгнули прямо перед поездом.

– Давай, вот сюда. Я ж тебе объяснял, цепляйся... – сбивчиво шептал Никитос.

– А машинист?

– Здесь слепая зона, он не видит!.. Ну...

Никитос подсаживал вдруг некстати впавшего в ступор Игоря. Тот закинул ногу и влез на выступающий железный язык электрички.

– Фронт-зацепер! Будь бдителен! Фронт-зацепинг, в отличие от ass-зацепа, ошибок не прощает! Если сзади свалишься то заработаешь кучу синяков и ссадин, ну, максимум перелом будет.. но жить будешь, а если спереди – то по тебе ещё поезд проедется, и жизнь закончится...

– А ты спереди ещё крепче держись. Это как на атракционе, ты же любитель американских горок, а, Гаррисон?

Игорь стоял в самом центре, на том самом приспособлении для сцепки. Руками он крепко уцепился за центральную подвеску.

Впервые в жизни он почувствовал телом, как захлопываются, лязгнув, двери электрички, как неведомые механизмы внутри этой гигантской железной «собаки», как называли ее зацеперы, оживают после короткого перерыва и что внутри нее не меньше мускулов и тайн, чем в теле человека. Он услышал, как машинист надавил на какие-то рычаги, и по собаке прошла волна электрического восторга. Тронулись.

– Эй, подожди! – хотелось крикнуть Игорю. Он почувствовал себя голым на ветру. Нет, собака уже не остановится, не посадит его внутрь в безопасный вагон. Он почувствовал необратимость происходящего и кайф от этой неотвратимости.

– Давай, поддай газку, дедуля, мы тебе устроим! – заорал Михельсон, и все заржали.

– Помогала вышел?– свистел через Игоря Михельсону Никитос.

Тот кивнул.

Собака уже мчалась, и Игорь, чуть привыкнув, оглянулся и заорал. Прямо под ним стальные колеса резали дорогу. По бокам проносились вроде бы знакомые места, но выглядели они совсем по-новому. Это привело его в экстаз. Он развернулся и встал лицом к движению. Ветер хлынул в глаза, и теперь он стоял так и глотал спрессованный оглушительный воздух.

Глаза слегка болели, он видел людей, шедших по обочине, заходящих в дома рядом с железной дорогой; их лица – обычные и вдруг резко

* Помощник водителя поезда.

** Школьники портят нам все удовольствие.

искаженные, когда они поднимали глаза и видели его. Их. Игорю казалось, что видят только его. Он был в полуприпадочном чуме, драйве таком, что хотел было спрыгнуть – казалось, он может теперь летать...

И когда Михельсон стал карабкаться наверх, Игорь полез за ним.

Михельсон и Игорь подтянулись к окну кабины и, выглянув, увидели лицо машиниста. На этом моменте Михельсон нервно заржал прямо в лицо Игорю, хотя смех его почти не доходил до ушей Игоря, тут же улетающая куда-то вбок.

Уцепившись за подпорки, Михельсон забрался на морду собаки сбоку, чтобы не загораживать при этом вид дороги машинисту, и резко несильно ударил раскрытой ладонью в стекло.

Игорь увидел дернувшееся лицо машиниста, его округлившееся, потом зло сузившиеся глаза и испытал ни с чем не сравнимый восторг. Он не отставал, и скоро они оба стояли на кабине напротив стекла и невозмутимо смотрели сквозь побелевшее лицо машиниста, деланно разглядывая что-то позади него. Такого Игорь не испытывал никогда.

Но они уже карабкались наверх, на крышу. Сбоку маячила рука машиниста, на мгновение сжавшаяся в крепкий кулак, который из-за стекла казался маленьким и смешным. Михельсон, лежа животом на крыше, показывал ему поднятые большие пальцы обеих рук.

Осколки событий резали мозг, пульсировали где-то в затылке и жгли, жгли руки раскаленным железом. Вокруг все ревело и гремело, и Никитос настойчиво дергал его за штанину. Игорь обернулся, хмурый Никитос делал ему знак, мол, спускайся, но Игорь отдернул ногу и полез вверх, не обращая внимания на теперь злого как черт машиниста.

Он в точности все повторил за Михельсоном: держась руками за выступающие ручки ободранно-красного цвета, ногами наступил на верхние боковые фары. И сквозь искаженное яростью лицо водителя за непроницаемой защитой стекла кабины, сквозь свою прошлую и настоящую жизнь, по скользким от его же экстаза подпоркам, заполз на крышу поезда. Туда, где нет уже страха, боли и любви, только ветер, металл, адреналин и смертельный накал электричества.

Он повернул голову и уперся глазами в красный с белым наконечником прыщ на Михельсоновской шее. Прыщ был огромным, словно через увеличительное стекло, и окружали его слипшиеся грязные черные волосы. Михельсон орал ему что-то в ухо, подвигаясь все ближе и заглядывая в лицо, но Игорь видел только огромные желтые гнилые зубы. По губам Игорь понял, что он кричал, и закивал головой: так хорошо, так счастливо.

Михельсон закрыл руками уши, и не напрасно: откуда-то из-под Игоря выстрелила и оглушила их пушка – это водила дал пневмогудок. Игорь вобрал голову в плечи, боясь отпустить выступы на крыше – эфемерную страховку.

Поезд повернул, и Игорь чуть не упал. Михельсон встал и стал ходить по крыше движущейся электрички. Он побежал к концу вагона и, на секунду присев, словно в замедленном кадре кинофильма, перепрыгнул на соседний вагон.

Игорь слегка перегнулся, чтобы позвать Никитоса, но внизу Никитоса не было. Он подумал, что тот, вероятно, ушел на боковой зацепинг, куда же еще ему деться? Игорь снова слегка удивился, откуда ему знакомо это выражение, но не было времени раздумывать. Он встал и, пошатываясь, побежал за Михельсоном.

Трупы троих подростков не афишировали. Тем более что афишировать было нечего. Один, разрезанный пополам, словно кусок телятины, валялся возле полотна. Его ноги были похожи на зигзаг. Второй, с искромсанным черепом, упавший со сцепки между вагонами, – кости его были раздроблены, а кишки свисали из порванного живота, словно потроха из холщового мешка.

Третий поджарился на рогах, и волосы его все еще дымились, когда бригада, привычная ко всякому, все же ждала прихода специального человека.

Наконец, пришел старик, хотя по возрасту был и вовсе в расцвете сил, но все по какой-то причине называли его за глаза стариком и правда считали его таковым.

Натянул плотные перчатки, он сгреб сгоревшее бесформенное мясо в испачканный чем-то коричнево-бурым мешок, отодрал часть прилипшей кожицы бывшего когда-то молодого лица, что не смог отодрать, оставил на память поезду. Когда встряхнул мешок, содержимого оказалось паразитов мало, как будто даже не было ничего в этом мешке.

Олег ВЕДЕНЕЕВ

Родился в 1972 году в Горьком. Высшее образование получил на историческом факультете Горьковского госуниверситета. Работал почтальоном, учителем в школе, экономистом в банке, ведущим на радио, журналистом печатных и интернет-СМИ.

Живет в Нижнем Новгороде, работает в сфере паблик рилейшнз.

КОНЬКИ

У бабули я бываю наездами, и каждый раз это словно возвращение в детство. Старый двухэтажный двухподъездный дом на окраине Автозавода, построенный методом «народной стройки» в 50-х годах прошлого века, кренится, ветшает, но продолжает стоять памятником ушедшей молодости нескольких выросших в нем поколений. Наверное, его боится время... На чердаке все так же воркуют голуби. Стены светят теплым, грязно-желтым с потеками, обманывая непосвященного своим убогим видом: вроде ткнешь кулаком и развалится, а попробуй, разбей их! Известковое молоко и шлакоблоки плюс время – крепче камня! Да и весь дом – приземистый, коренастый, с подслеповатыми окошками с тех еще времен, когда все окна были деревянными; с низенькой лавочкой у подъезда и неизменной рыжей кошкой, свернувшейся на ней калачиком; с крашенной в тридцать слоев лестницей в вымытом подъезде, с ковриком для ног на входе, с пожженными первыми подростковыми сигаретами перилами – напоминает мне крепкого старика, обладающего завидным здоровьем. И вроде не скажешь по нему, что давно за шестьдесят. Но нет – издалека видна его крыша с ржавыми потеками, стены выщерблены, как после выстрела картечью, а в одном месте торчит бельмом пластиковое окно, оскорбляя своей неестественной зубной рекламной белизной благородное старение дома. Моего дома.

Ловлю себя на мысли, что ищу домофон, но вспоминаю, что его здесь нет, и, потянув за ручку шаткую дверь, попадаю в полумрак, пахнущий сыростью, кошками, известковой побелкой.

На площадке стоит дородная тетка в старом халате, в платке, с тазом, полным белья.

– Здрасьте, тетя Лен.

– Здорово! К бабуле, чай?

Я киваю, вспоминаю торчавшую у забора бельевую палку и понимаю маневр. Да, здесь сушат свежевывстиранное белье на улице, подпирая веревку, один конец которой привязан к столбу, а другой – к соседской вишне, бельевой палкой – длинной, тяжелой, с острой выемкой на конце. А когда собирается гроза, нужно бежать, чтобы успеть схватить белье до того, как оно плюхнет в грязь или его посыпет поднятой ветром дорожной пылью.

Поднимаюсь по лестнице, и каждый шаг отзывается в сознании воспоминанием. Двадцать семь ступенек: тринадцать – в нижнем пролете, четырнадцать – в верхнем. По числу прожитых мною здесь лет.

На втором этаже светло. Волны света свободно проникают сквозь огромное окно. Я замираю перед железной лесенкой, ведущей с площадки

на чердак, трогаю ее заскорузлые от времени края, и в памяти оживает детское приключение – поход на чердак, полный голубей. Потом поворачиваюсь к нашей двери, провожу рукой по ее окрашенной поверхности, чувствуя прохладу, стираю пальцем пыль с таблички с номером шесть и нажимаю звонок. Жду. Вспоминаю. «Ключ под ковриком» – такие записки оставляла мне бабуля, если уходила в магазин до того, как я возвращался из школы...

Слышу за дверью ее неуверенные шаги. Оживает и шевелится замок.

Я учу своих детей не открывать чужим и всегда интересоваться «кто там». Решаю сказать об этом бабуле. Ведь время волшебной сказки моего детства давно ушло, пришло другое – жестокое.

Дверь распахивается, и я сразу обо всем забываю. Счастье переполняет меня. Переступаю порог и понимаю, что не ушло то время. Здесь оно – притаилось за дверными косяками, притихло, а теперь лезет наружу запахами жареной картошки, солнечными лучами, карандашными пометками на косяке с годами моей жизни, вопит моим голосом: «Бабуля! Я приехал!»

Она всплескивает руками, обнимает меня, потом начинает суетиться – быстро уходит на кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. Оладушки. Блинки. Картошечку на постном масле из стеклянной бутылки с жестяной пробочкой, которая стоит в «холодильнике» – нише в стене под окном на кухне, где через дырочки видно улицу и соседский огород.

Я забываю, сколько мне лет, и, пока бабуля не видит, начинаю дурачиться. Разбегаюсь и скольжу по крашеным оранжевым глянцевым доскам пола из большой комнаты в маленькую, где из окна виден мостик через речку и ряд тополей, а над ними в голубом небе рассыпаны перьями мелкие белые облачка, перечеркнутые конденсационным следом самолета. Комнат всего две, они крошечные и расположены трамвайчиком. Кажется, раньше они были больше... Во мне теперь метр восемьдесят роста. Но я помню, как однажды, разбежавшись точно так же, врезался носом в чугунную батарею отопления... А вот розетка, таких уже давно нет в продаже и не может быть – круглая, из тяжелой хрупкой черной пластмассы. В нее однажды пролезли маленькие пальчики моей детской руки. Странно...

За стенкой у соседей раздаются позывные Олимпиады, с которой не улетит гигантский Мишка. Время не то, и год уже давно не тот. Но я включаю старенький бабушкин черно-белый телевизор. Пока он греется, потрепывая лампами, рассматриваю уложенные на полках мои старые игрушки, прореженные двоюродными сестрой и братом. Десятая часть бывшего великолетия! Комментатор из динамика бодро рапортует о спортивных успехах. Под его стрекотание переставляю оловянных солдатиков, поставленных на вечный пост в картонной коробке. Через сколько игрушечных сражений прошли мы вместе в былые дни! А вот и мой черный пистолет с пружинками в двух стволах, куда за неимением зарядов (палочек с присоской на конце) вставлялись карандаши. Так весело было: бац! – и рушится пирамида, составленная из цветных кубиков.

Рев трибун заставляет меня вернуться в настоящее. Сине-серое окно в мир отражает спортивные страсти, но они меня не трогают.

Я ем картошку прямо со сковороды, а бабуля смотрит на меня своими добрыми глазами ангела. В последние два года она сильно постарела. Во всем – в походке, движениях, взгляде – появилась неуверенность. Она словно боится, что не справится с чем-то. По подоконнику стучит капель февральской оттепели. Но бабуля прибавляет газ в «титане» – пузатом монстре, у которого в чугунном паху горит голубой огонек, а стальное

чрево наполнено кипятком. Он стоит там же, где был всегда – в углу кухни на маленьких кривых ножках, честно отапливая дом моего детства.

В батареях булькает. Бабуля щупает их рукой и кивает головой:

«Тепло».

Ловлю себя на мысли, что раньше никогда толком не рассматривал бабулю. В моем сознании она была голосом и теплыми руками, которые поддерживают, накормят. Я всегда торопился. Получал помощь и бежал дальше. Сейчас она сидит рядом и подслеповатыми глазами пытается рассмотреть происходящее на экране. Ее губы шевелятся, когда она читает титры.

Вспоминаю то ли сон, то ли быль. Я стою у ледяной горки. Вместо санок у меня в руках крышка от унитаза – мой скоростной болид, прокатиться на котором мечтала вся местная детвора. Идет снег. Много снега. Он очень плотный и словно пропитан светом. Светлый снег. За ним даже не видно дома. А бабулю видно. Она маленькая. В огромных валенках, в скромной искусственной шубейке из сельмага, подхваченной армейским ремнем, в залатанном коричневом платке. Ее голос звонкий, а глаза полны энергии. Теперь все не так. Бабуля быстро устает, часто садится и молча сидит, держа руку за сердце, и на ее лице, состоящем почти полностью из морщин, написано страдание. Ее седые волосы выбиваются из-под огромного гребня из коричневой пластмассы. Она пристально рассматривает фигуристку, скользящую по льду огромного далекого стадиона. Та выписывает немыслимые пируэты, а потом прыгает, заставляя бабулю ойкнуть и расплыться в улыбке. С благополучным приземлением!

Я глажу бабулину ладонь – большую, теплую, шершавую, крестьянскую. Эти руки вынянчили меня, моих двоюродных сестру и брата. Руки подрагивают. Я понимаю, что они устали. Я не знаю, как им помочь. Просто глажу их. Бабуля не замечает, она слишком увлечена фигуристами. Как раньше, когда не пропускалось ни одной спортивной трансляции. С младых ногтей я знал, что тулуп – не обязательно одежда, а тройной – не обязательно одеколон. Смешно... Она высвобождает ладонь из моей руки и проводит ею себе по лбу. Ловлю ее взгляд и сразу понимаю, что ее душа не на месте. Миг – и бесцветно-голубые, выцветшие от времени бабулины глаза становятся влажными. Что? Что расстроило тебя, моя родная?

– Наташа! – говорит она, указывая рукой на экран.

По льду скользит фигуристка. Светловолосая и белокожая. Совсем еще юная. «Айседора...» – успеваю прочитать в телевизоре. Кажется, бразильянка. Камера крупно берет лицо, и я разеваю рот от удивления.

«Наташа!»

Крупные черты лица, славянские глаза, вздернутый курносый нос, большие пухлые губы! Какая Бразилия? При чем здесь Бразилия? Ведь это улыбка нашей Наташи! Когда ей было 17 лет, как этой фигуристке.

Бабуля поворачивается ко мне и делает отчаянные знаки руками:

– Наташа!

Наташкины детские коньки висят на гвоздике в прихожей, под сломом из старых пальто, спрятанные от глаз. Это я убрал их два года тому назад, когда моя двоюродная сестра, не сумевшая справиться с тягой к спиртному, не вышла из очередного запоя. Коньки почти новые, из белой кожи, с блестящими лезвиями. Их радостный блеск показался мне тогда неуместным. С глаз долой – из сердца вон! Наташе было всего 25. Врачи сказали, что у нее отказала печень. За год до этого в пьяной драке зарезали моего двоюродного брата. Так пресеклась одна веточка моего рода. Может быть, не самая лучшая, но не менее других достойная иметь свое продолжение.

Дети – эгоисты, внуки – вдвойне эгоисты. Им сложно понять, что бабушка может любить кого-то не меньше, чем их. Но для бабули все мы были равны, она щедро отдавала нам свое тепло. Смерть брата подкосила ее физически, смерть сестры нанесла удар по ее душе.

– Наташа! – повторяет она, показывая на экран; слабая голубизна ее внезапно просохших глаз подергивается туманом.

– Это Наташа! – убеждает она меня. – Да! Это она!

Ее движения становятся судорожными. Она гладит рукой экран старенького телевизора «Родина», где сейчас парит надо льдом ее внучка.

– Это она! Посмотри!

Сходство действительно поразительное. Настолько, что на мгновение я сам начинаю верить. Но разум вытаскивает из самого дальнего угла памяти заросший травой и цветами могильный холмик и крест с фотографией. Где сейчас наша Наташа? Бог весть. Но я точно знаю, где лежит ее прах.

– Это Айседора, – спокойно говорю я, сжимая бабулину руку в своей.

Она вдруг слабеет, стареет прямо на глазах, гнется, как сорванный полевой цветок. Присаживается на табурет, склоняется над столом. Потом поднимает голову и еще раз пристально смотрит на экран телевизора.

– Айседора, – повторяет она за мною.

Трогаю венку у нее на запястье и чувствую, как колотится ее сердце. Как голубь, пойманный однажды в детстве на чердаке.

– Айседора? Да, она теперь Айседора! Она же уехала... – бабуля пытается что-то сказать, ее мысли путаются, но я крепко держу ее за руку.

Она склоняет голову еще ниже, пока не упирается лбом в мою ладонь. Я осторожно глажу ее по седым волосам и понимаю, что всё. Она вернулась.

У нее тоже есть своя волшебная сказка, как моя о детстве. В ней все мы живы-здоровы, все мы успешны. Она не виновата в том, что ее вера в эту сказку сильнее её самой. Может, виновато время, лишившее ее сил, или обстоятельства? Или никто ни в чем не виноват? Так сложилось. Так случилось. Жизнь прожита, ничего не изменить.

Я чувствую, как моя рука под бабулиным лицом наполняется теплой влагой. Вчера моя дочь, ударившись коленкой, точно так же прижалась к ладони, и ее слезы текли сквозь мои пальцы горячим и влажным. Но быстро просохли. Все проходит, включая боль.

МЭРИ ПУБЕРПОППИНС

Нас всегда было двое. Мы росли вместе в городе, стоящем на слиянии двух могучих рек, и, по-моему, это очень символично. С одной поправкой, что реки женского рода, а мы родились мужчинами. Однако это про нас говорят «не разлей вода». Мы разные. Он – светлый, стремительный, плечистый, покрытый с головы до пят солнечными брызгами веснушек и родинок, с робким пушком над губой. Я – темный и вдумчивый, неторопливый, бело-масляно-кожий, черноволосый. Он не бреет подмышек, я – брею.

В тот день мы как обычно после уроков гоняли футбольный мяч по жухлой траве. Другие разошлись, а мы все играли в одни ворота, штангами которых служили наши рюкзаки, набитые учебниками. Нам нравилось играть в одни ворота. Весь остальной пустырь становился местом для выяснения отношений. Борясь за мяч, мы могли отойти от ворот метров на двести, выясняя, кто быстрее и хитрее, чьи ноги могут оживить эту кожаную зверушку, вдруг сигающую с носка до колена, а потом, после прыжков по коленям (ох, уж эта пижонская чеканка!), удирающую со всех ног. Мы обманывали друг друга, одновременно дуря силу тяжести, выбрасывая колени, выделявая финты, на которые способны только увлеченные пятнадцатилетние. Сентябрьский ветер трепал нам волосы, обдавая теплом. Он тоже хотел обмануть нас, заставив поверить в ушедшее лето.

У нас была отличная мужская дружба, которой никак не мешали несвежие майки, запах изо рта и щербина в зубах моего светлого друга. У нас было много общего. Лицей. Качалка. Книги. Враги. Мы все делили на двоих, и, повинувшись нашим правилам арифметики, это деление делало хорошее в два раза больше, а плохое уменьшало вдвое. Разделённое делание оборачивало каждый наш шаг по пути жизни ступенькой в бесконечное будущее, на которой есть место для двоих. И каждый поворот судьбы представлялся подарком. Так было до тех пор, пока мы не встретили ее.

Она явилась в осеннем мороке, в ворохе падшей листвы. Может, ее принесло ветром? Встала позади – рыжая, дерзкая, в ослепительно белом платье с серебром – и стала смеяться. Не знаю, что ее рассмешило. Ведь она на нас и не смотрела вовсе. Мне показалось, она видит нас изнутри. Проникает в душу светоносным лучом, который каждому снится хотя бы раз, и кружится потом там кленовым листом, задевая острыми краями невидимые струны. И чувства с мыслями начинают водить хороводы, а глаза слепнут от избытка света внутри.

Гормональное безумие. Заставляющее закипать кровь, поднимающее волны-цунами телесной дрожи – от копчика до макушки. Лишающее дара речи, прошибающее потом, охлаждающее руки в тот самый ужасный (прекрасный) момент, когда она протягивает тебе свою ладошку. Зов плоти, скребущий душу острой гребенкой желаний, рвущий нервы, мерзкий в своей низменности и ненавидимый всем твоим интеллигентским существом, подлый, как униженный раб, чья улыбка-grimаса прилагается к ножу в рукаве. Но одновременно – дарящий тебе тончайшее, едва уловимое ощущение истинного счастья, когда звуки, запахи и все краски мира сливаются в одну короткую вспышку блаженства.

Я уверен, что он чувствовал то же самое. Мы с ним познавали мир попушкински («чему-нибудь и как-нибудь»...). Мы читали Мопассана, пере-

сыпая соленостями изящные блюда на пиршестве плоти. Пробежались по Камю и Прусту, пробились сквозь Мураками и одолели набоковскую «Лолиту». Но ничего не поняли, позволив молодым мозгам самим доварить сотканное из чужих смыслов затейливое варево нашего понимания жизни.

Мы только и могли, что смотреть на нее раскрыв глаза. Так бывает со щенками, которые всю свою щенячью жизнь прожили в безопасности и абсолютной уверенности, что мир любит их так же, как они любят его. И вот однажды их настигает опасность, и, не желая становиться шапкой, они сжимаются в пушистый комок и столбенеют. Их понятие о жизни вдруг сталкивается с самой жизнью – зубастой, клыкастой, готовой рвать, кромсать и резать, не знающей пощады. Шок. И в этот момент одни рычат и показывают зубы, а другие бегут, поджав уши и хвост.

Теперь мы знаем, что у нас одна группа крови, но разные резус-факторы. Должно быть, поэтому он тогда покраснел, а я побледнел.

«Бледненький брюнет!» – сказала она мне, пока я стоял истуканом, завороченно следя внутренним взором за тем, как ее рука треплет мои волосы. Заглянула мне в глаза («Ах, голубые!»). Коснулась скулы, и я впервые ощутил ее тепло и свое, поднимающееся тугими струями вверх. Источаемый ею запах свежей травы и жженого сахара добрался до моего оглушенного гулким пульсом сознания, только когда она отвернулась.

Мой светлый друг глупо улыбался, позволяя ей дотрагиваться до своего плеча. Со спины я имел смелость рассмотреть ее. О, она была великолепна! Копна рыжих волос ниспадала на плечи. Изящная, как статуэтка работы старых мастеров, ее фигура была скрыта тканью, но все преимущества молодости и красоты угадывались в изгибах, поражая притягательной силой загорелых рук, гибкостью спины и легкостью прекрасных ног. В ее смехе, грудном и раскатисто-заразительном, отзывалась энергия созидания, щедро отмеренная ей матерью-природой. Не помню, о чем они говорили. Она запрокинула голову и подарила миру еще один ласкающий ухо перелив смеха. Я вдруг заметил развитую грудь, и образ женщины – матери, любовницы, любимой – вдруг стал цельным. Она была значительно старше нас, и, видимо, это обстоятельство не давало подняться в моей душе темной буре ревности, маленьким облачком появившейся на горизонте.

Я поймал себя на мысли, что мне неприятно слышать ее смех (он был прекрасен!), обращенный в сторону моего конкурента. Как нарочно, он снял майку, обнажив свое худое, без капли жира, но развитое сухопарое тело, и я его возненавидел. Тот, кого я любил как брата, сейчас предавал меня. Я видел, как он пялится на нее, как грубо, сально и приторно трогают его сощуренные глаза тонкую ткань в тех местах, где спрятано самое нежное и сокровенное, где находится средоточие неведомой еще тогда мне страсти.

Я вдруг почувствовал, что задыхаюсь. Кровь прилила к лицу. Вспомнил, что любовь (а это, несомненно, была она) иногда сравнивают с болезнью. Так вот какие у тебя симптомы! Но доведенный до обрыва бешенства путник вдруг вышел тропой любви в долину благодушия... У меня горели уши, и я почему-то любил весь мир. И моего названного братца (хотя он и изрядная свинья) я немедленно простил, воскресив в памяти все то, что было между нами хорошего, крепкого, настоящего. Я стал смеяться и шутить, понимая, что говорю на языке приматов. Но именно этот зашкаливающий уровень глупости и несусветности помог мне обрести себя. Проблейте какую-нибудь глупость понравившейся женщине, и она наверняка оценит вашу смелость. Но если вы ей безразличны, бессилён будет и Спиноза!

Она вытряхнула из меня, как пыль из коврика, тонкий налет начитанности, лежащий поверх брутальной глыбы мужского желания, смутного и неосознанного, как бывает впервые. Я добровольно отказался от своего эго, сжавшись в точку, в ничто, оставив снаружи лишь малую толику себя разумного, способную запечатлевать видимое, слышимое, осязаемое.

Я видел, как она красиво достала сигарету и, раскурив, дала ее моему светлому альтер эго, а когда он закашлялся, резким движением вынула у него изо рта этот символ соска (прав ли был старик Фрейд?) с отпечатавшейся полоской ее нежно-розовой помады по фильтру и предложила мне. Мне не нравится вдыхать дым, но сделав затяжку, я почувствовал, что приоткрыл секрет единства противоположностей. Горечь и сладость отравляли мое физическое тело, одновременно воодушевляя горением смол тонкие материи и флюиды, сильнее бьющие у края пропасти. Окуренная картина мира – это не повод отказываться от его познания. В конце концов я не пчела, боящаяся дыма, который есть не более чем хитрая уловка охотника за медом.

Она снова смеялась. Трогала меня, потом его и опять смеялась, наполняя своим смехом пространство. Я боялся смотреть ей в глаза. Мне казалось, что она увидит в них то, что я способен изложить в одиночестве лишь своему дневнику. Прочтет во мне как в открытой книге!.. Все страхи улетучились, распуганные дымом, кроме страха разоблачения.

Взглянув вниз, я вдруг увидел физическое воплощение всех тех сложнейших и путаных мыслей и чувств, в которых я барахтался как в паутине. Меч, разрубающий гордый узел. Символ мужества, который старательно прячут. Орудие любви. Короче, мой пенис все решил за меня. Паника лишь усугубила дело. Горячая энергия жизни наполнила сосуд до краев, воплотившись в стальной негибаемой эрекции. В этот момент я мечтал только о джинсах – узких, сковывающих свободу движений – их спасительная тяжесть была способна скрыть сейчас мой позор. Весь мир вдруг заслонила собой громада, оттопырившая край тренировочных штанов под глумливый смехок моего дружка. На глазах у неё!

Я чувствовал себя голым и абсолютно несчастным. Но она не смеялась. Не проклинала меня, не угрожала вызвать милицию, не обзывала нехорошими словами, как можно было бы ожидать. Ее лицо было задумчиво-печальным. И вдруг случилось неожиданное. Она повернулась ко мне спиной, будто хотела закрыть меня от глупых насмешек моего «братца», и кинула ему мяч, неведомо как оказавшийся в ее руках.

Что было потом, я помню смутно. Мы шли сквозь ветви деревьев, я чувствовал ее руку у себя на талии. Потом рука скользнула по животу и опустилась ниже, зажав горячий пульс прохладными пальцами. Когда кусты стали густыми, мы упали в траву, показавшуюся мне мягкой как шелк. Ее волосы обняли мне лицо, а губы подарили солоноватый привкус и целую россыпь влажных следов. Она сделала все сама. Добрая Валькирия, волшебная наездница двигалась, следя за мною, пока поток горячей страсти не унес меня в небытие. Вернувшись обратно, я обнаружил в кустах горящий глаз моего товарища, следивший за нами все это время. Оставалось ему улыбнуться с высоты моего опыта. Откуда тут было взяться гневу? Необъяснимое умиротворение покрыло землю мягким покрывалом.

Пришло мое время бить по мячу.

Я выбрался на поляну, где недавно играли двое мальчиков.

В кустах у меня за спиной что-то потрескивало и постанывало. Я пнул мяч ногой, и он поскакал к рюкзакам с учебниками.

* * *

Я не знал ее имени, сколько ей лет, где она живет. Я вообще ничего о ней не знал! Так же, как и мой двойник-блондин, с хныкающим выражением лица усевшийся на стул рядом.

В коридоре прохаживались озабоченные люди в бахилах. В руках у них были стопки бумаг, исписанных нечитаемыми каракулями.

Жизнь посерела за прошедшие два месяца, краски осени выцвели, передав эстафету неумолимого времени бесцветным ноябрьским тонам.

Она исчезла, растворилась так же внезапно, как и появилась в нашей жизни. Наша Мэри Поппинс пубертатного периода. Подарила сказку в обмен на детство и растаяла в воздухе.

Из двери выглянул человек в белом халате.

«Заходите».

Мы зашли и сели на кушетку, как нам предложили жестом.

Передали свои бумажки, исписанные непонятными письменами. Я только и смог разобрать, что две латинские буквы R и W.

Доктор устало пробежался по результатам анализов и сказал так, как будто речь шла о насморке:

«Будем лечиться. И не такое вылечивали».

Марина САВВИНЫХ

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский педагогический институт (ныне – университет им. В. П. Астафьева). Работала директором Красноярского литературного лицея. С 2007 года – главный редактор журнала «День и Ночь». Автор книг стихов и прозы, многочисленных публикаций в журналах «Юность», «Уральский следопыт», «Москва», «Дети Ра», «Крешатик» и др.

Лауреат Астафьевской премии (1995). Член Союза российских писателей и Международного Союза писателей XXI века. Живет в Красноярске.

Я НЕ ЗНАЮ ПРОСТОРНЕЙ СВОБОДЫ...

Люцифер

Не навеки ль отмаялся май,
 Над оврагами пальцы ломая?
 Что ладони к вискам прижимаю –
 За раскаянье не принимай!
 Мариула ушла – не ищи...
 Не взыщи – от седла и престола.
 Аки пепел в холодной печи –
 Краснозём одичавшего дола...
 И земля не родит, и печать –
 Плотоядный оскал извращенца,
 Потому что Пречистая мать
 Для распятия носит Младенца!
 Люцифер! Это – вызов Тебе!
 Это значит – Я буду являться!
 Значит, в нашей вселенской борьбе
 Друг за друга нам вечно цепляться!
 Я – Твой горб! Я – Твой гад на песке!
 Поруганье Твоё и потеха!
 Дребезжит в моём правом виске
 Византийское чёрное эхо,
 Чтоб дышала костром при кресте
 Не руин зачумлённых зараза,
 А танцующая в темноте
 Легендарная Роза Шираза.

* * *

Не потому я изгнана из Рая,
 Что к знанию осмелилась припасть!
 Свобода бесконечно дорога
 Во мне Твою предвосхитила власть.

Ты прав, Господь, что не вложил мне в руки
Готовых истин круглые плоды:
Души неисцеляемые муки
Не горше тех, что молча вынес Ты.

* * *

Я – горе. Вот мой чёрный плащ.
А вот – верёвка и сума.
А это – память, мой палач,
Исчадьё праздного ума.
Я – нищенка. Вот посох мой.
Песок растрескавшихся губ.
Пучок лучей над головой
Высок, торжественен и скуп.
На мне – проклятье. И за мной –
Ни свежих листьев, ни греха.
А пахнет дымом и сосной
И тихим злом сухого мха.
Я сплю на этом злобном мху,
А он так горек, сух и ржав,
Что я заплакать не могу,
Мой чёрный плащ к лицу прижав...

* * *

Ускользнувшая точка отсчёта,
что едва не обрушила дом,
обрела себе место – всего-то
рядом с простеньким частным бытём:
в полумраке, в прохладном пространстве,
между книжками – в пыльном ряду,
в смутном страхе и мелком тиранстве
у злорадствующих на виду...
Прикасаюсь не следует. Это
равносильно удару ножа.
В темноте изнывает кассета,
итальянскую страстью дрожа.
Но и музыке мы не подвластны –
Не любовники и не друзья...
Наш роман, а ргіогі несчастный,
Ни придумать, ни вспомнить нельзя...
Что ж, давай... поиграем в вопросы.
Посмотри на меня и представь...
Отчего это жёлтые розы
в сновидениях странствуют вплавь?
Или – так: в раздвоенье недужном
как добро отличают от зла?
Или – вот: тебе кажется нужным,
чтобы я ещё в мире была?
Почему так темно и бессонно?
что за зверь под порогом зарыт?
...что теперь ни ответишь – резонно...
...что теперь ни отвечу – навзрыд...

* * *

Печаль-трава из глаз моих растёт...
 Печалью по канве в нетвёрдых пальцах –
 Как шёлком, вышиваю небосвод,
 Его расправив на кленовых пяльцах...
 Звезда к звезде – выводит каждый блик
 Без усталости мелькающая жилка...
 Печаль-песчинка и печаль-снежинка...
 Святой гранат и нежный сердолик...
 Или ещё – аквамарин возьми:
 Из имени извлечь необходимо
 Всё главное, что было так любимое,
 Но попусту транжирилось людьми...
 Пускай тогда, как счастье из горсти,
 Оно прольётся грустью просветленной
 На лоскуток доверчивой Вселенной,
 Которую иначе не спасти:
 Ни звёзд, ни рощ, ни свадеб, ни могил...
 И вот она простёрта между нами –
 Печаль, самозабвенная, как знамя,
 И трезвая, как «вновь я посетил...».

* * *

К дорогим мертвецам под картонные своды...
 До сих пор я не знаю просторней свободы,
 И летит моя мысль, как живая ладья,
 Над пучиной придуманного бытия.
 Поднимайте меня, достославные крылья,
 Из чумных катакомб, из беды и бессилья,
 Из-под пыток кромешных, с подвального дна,
 Где не видимы лица и речь не слышна...
 Пусть откроет мне правду светлейшая вьюга
 О геройстве врага и предательстве друга,
 О бессмертной мечте, о великой тоске,
 О кровавых осколках на чёрном песке.
 Что мне ржавые оклики поздних вигилий?
 Я сама себе нынче и Дант, и Вергилий,
 И в Летейское марево брошенный лот,
 И сигнальное эхо Лернейских болот...

Сон о небесном Петербурге

Поэту Петру Чейгину

1

галочье печалованье плач
 оттепель проталины крещенье
 отодвинь портьеру обозначь
 истинность пропорций помещенья

не январь эпоха за окном
пафос жить разбитые коленки
ты пойди ещё забудься сном
обойди молчанием календы
обойди терпением февраль
жертвенник и жертвенное мясо
есть ледышка смысла и грааль
срам и окровавленная ряса
обойди обиду всё равно
не объять искомое столицей
свет крещенский ломится в окно
и хрустит по крыше черепицей

2

всё в этом питере – возлюбленном
как боль
и даже не сподобленном проклятью
всё втуне – карамель и карамболь
и пуговицы к завтрашнему платью
и только неразборчивость твоя
доверчивость угрюмая оскома
ведёт к тому чего не помню я
поскольку с лексиконом не знакома
сей умопомрачительный словарь
возвышенная цель моих раскопок
и наизнанку вывернут январь
освобождённый от своих заклёпок
от этого над невским стон и гуд
туда туда к невыспавшимся водам
вокабулы раздетые бегут
насытить небеса законосводом

* * *

Блудные дети смежных больных эпох –
Как мы боимся друг друга и дарим скудно!..
Я поняла: через меня тебя любит Бог,
Это, конечно, вместить человеку – трудно.
Только – без предрассудков и выморочных идей –
Сам догадайся, откуда берётся сила:
Бог – Он ведь любит каждого из детей
Так, чтобы через каждого – всем хватило.

Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Нижегородской (Горьковской) области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. В настоящее время корреспондент газеты «Земля Нижегородская».

Автор сборника стихов «Рай для бездомных собак». Лауреат премии имени Бориса Пильника (2010), дипломант межрегионального конкурса «Наималы», проводимого домом-музеем Велимира Хлебникова в Астрахани (2014).

НА СЕМИ ВЕТРАХ

* * *

На семи ветрах построен город –
будто из-за пазухи на свет
вынут кем-то – на причуды скорым.
Здесь живу я словно сотни лет.
Словно сотни лет разрыты ямы
и дорог растянуты жгуты.
Спит интеллигенция в пижамах,
веря с детства в ужас темноты.
Люмпен держит топоры на съёмных,
Фёдора Михалыча не чтя.
И пыхтят дома, как злые домны,
в стетоскопе старого врача.

Я иду по кромке этой чаши:
вправо – бездна, влево – полынья.
Сердце бьётся яростней и чаще
с каждым рваным криком воронья.
Здесь зима – не то чтобы простуда,
а банальный повод прятать нос.
На вопрос «откуда?» – «от верблюда!»
отвечают чай и абрикос.
Мы привыкли жаться к этим стенам,
холод как обычай переняв.
Здесь из кожи крокодила Гены
взрослый мир пошил себе рукав.

На семи ветрах построен город –
сотни звуков, сотканные в шум.
Трубами, как пушками линкора,
метит он в небесную баржу.
Костной пудрой, выпавшей в осадок,
заметает чёрные следы
белая метель... Флакончик с ядом
и рецепт «три раза до еды» –

на дешёвом стуле у кровати.
Дочитать и выключить торшер.
Ночь, зевая, разожмёт объятия,
как в раю, который в шалаше.

Сад за оградой

Когда глядишь сквозь рабицу
до стона глаз туда,
где сад тенистый сходится в своей конечной точке,
то думать очень нравится,
что кислород – вода,
в которую ныряют все – толпой, поодиночке.
Ты видишь сон рябиновый
и яблоневый цвет,
ты видишь, что сплетения необъяснимо цепки
и тянешь пуповиною,
разжав стальной пинцет,
вселенную, которая, остыв, годна для лепки.
За ржавую решёткою
сад кажется живой
(ведь перспектива борется в глазах твоих с преградой).
Он мнитса тканью, сотканной
из листьев и ветвей,
пучиной океанскою, где dna искать не надо.

Воспоминания о море

Следы босой ступни в сыром песке,
как оспины луны тебе доступной.
Вблизи – клокочет море, вдалеке –
с волною спорит крохотное судно.
И мы – малы, и мир – воздушный шар
на тонкой нити в робких детских пальцах.
Не гнев стихий, а шалость малыша
мир этот заставляет содрогаться.

Здесь всякая деталь играет роль:
свои расправив крылья для объятий,
белеют в небе чайки – будто соль
просыпали на голубую скатерть,
могущественный орден рыбаков
с утра облюбовал святую землю
и горы – мощи каменных веков –
к большим масштабам приучают зренье.

Ты кислородом наполняешь грудь –
от вдоха облака быстрее помчались,
чтоб к тучам над долинами примкнуть,
пронзённым стреловидными лучами.

Мольберт в тиши привычнее окна,
и шире мысль распахнутой калитки.
Мурлычет разум: просит молока –
у Млечного Пути его в избытке.

Мотор

Неси, мотор, сквозь чёрный город
меня, забывшего, что путь –
имеет и длину, и скорость,
и надобность порой свернуть.
Я, затерявшийся в кавычках,
свой прежний смысл не нахожу –
вези туда, где, как обычно,
луч лунный стеблем на межу
ложится, где честны открытья
дверей заветных, где слова
вдеваются суконной нитью
в иголку, жаждущую шва.

Вези туда, где брызги стёкол
в бокалах каменных дворов
с неоновым мешают соком,
добавив светофора кровь,
кварталы. Я люблю их пламя,
их театральную игру,
в которой мы – актёры сами,
и сами – критики к утру...
Спеши, мотор, пока погоня
не загнала в глухой тупик,
где в узел линии ладони
затянет вырвавшийся крик...

* * *

Земля – кругла, а кони наши – быстры.
Вращается планеты колесо,
и, вырвавшись из пальцев альпиниста,
мелькают горы, космами лесов
играют бури, облака над миром
спешат вдогонку убывшему дню.
А мы живём в затопленных квартирах,
и, как моллюски, ползаем по дну.

Нам снится берег – золотой и тёплый,
вдали – граница неба и земли
и месяц в вышине по форме – вобла,
что высохла, покуда на мели
томилась яхта, ожидая ветра.
Но в правилах несбыточного сна –
оставить спящего без чёткого ответа,
без шанса вырвать строчку из письма.

Земля – кругла, но угловато время.
Мы сетуем на холод и на зной,
на то, что небо натирает темя
и что судьба – с горбатою спиной.
Мы верим лишь в неотвратимость смерти,
но эта вера губит на корню,
ведь ось Земли для нас, порою, – вертел
в руках того, кто запалил зарю...

* * *

Цвет мотылькового крыла
напомнит о цветах.
Лети на свет, сгорай дотла –
игра твоя – свята.
Воскреснув пёстрым лепестком,
ты вновь представишь луг –
как миллиард, скатавших ком,
зелёных тонких рук.

И в тех руках – твоя душа.
Звенит хрусталь росы,
пылает утренний пожар
в зеркалах бересты.
Приходит лето по следам
вчерашних быстрых ног,
и несмотря что даль седа –
в ней обитает бог.

Цвет мотылькового крыла
доступен, как глоток
воды, в которую стрела
макает коготок.
Пропой, тугая тетива,
о луковой судьбе,
пропой о том, что ты – жива,
что в радость петь тебе.

Пылает солнце в голове
затейливым костром,
кузнечик отыскал в траве
незапертым свой дом.
Жизнь очертанья обрела,
хоть в ней таится нож, –
цвет мотылькового крыла
на цвет её похож.

Критическая масса

Под давящие камни – вода не течёт.
Ночь спустилась на город со стапелей мрака
и теперь промышляет то лунным лучом,
то рубином «бычка», что летит мимо бака.

Мне б в такие мгновения – выдернуть шнур,
а потом и стекло лихо выбить из рамы,
чтобы звёзды – не просом для бройлерных кур –
бертолетовой солью осыпались в рану.

Топчут улицы те, кто привык к нагоде
опустевших дворов. Фонари – как святые –
отодвинули нимбами тень на щите
старой площади. Слушай-ка, ночь, это ты ли
нас, двужильных, мотаешь опять на колки,
чтобы звоном заполнить пустоты пространства?
В этой книге кудрявы страниц уголки –
так читатель растёт до критической массы...

Звезда в стакане

В стакане воды ночевала звезда –
и делала воду живой.
Дрожало стекло – так бегут поезда,
смыкая миры за спиной.
По граням стакана скользили лучи,
и взгляд находил себе смысл,
когда, не имея горящей свечи,
ложился на этот карниз.

Над рельсами небо цвело – будто пруд,
заросший травой вековой.
В пути не спалось. Ночь магический труд
вершила как будто впервой.
И поезда стук удалялся во мрак,
и мысли спешили за ним.
В стакане звезда – безмятежный маяк –
жила только светом одним.

Провинция

Стисни ранку – и выйдет кусочек стекла,
слюдяной ноготок с миллионом зазубрин.
Что-то нынче провинция пресная зла
к морякам, покидающим тесный свой кубрик.
Сохнет в раме окна обречённый пейзаж,
породнивший берёзу и угол аптеки.
Солнце летнее лезет на верхний этаж –
вероятно, всё так же, как помнят ацтеки.

Покидая подъезд – обретаешь глаза,
позже – слух и способность осмысленно верить
в то, что мир – не какая-то там полоса
между чёрным и белым, а утлый твой берег.
Все границы – условны, но в этом и суть
предпродажной иллюзии местных пристанищ –
ведь всё время есть шанс в том себя обмануть,
что святой простотой здесь когда-нибудь станешь.

Впрочем, если принять этот факт натошак,
то покажутся звезды значительно ближе,
чем в столице империи. Делая шаг
по неспешному городу, ты будто выжат
перезрелым лимоном в ленивый коньяк.
Слепо следуя промыслу певчего духа,
точишь перья, но тот, кто положит пятак
на холодное веко, промолвит: ни пуха...

* * *

Вернёмся к прежним берегам,
где всё усыпано камнями,
где плеск волны и птичий гам
нам служат речью, ведь словами
самих себя не передать
ни высям, ни бескрайним далям,
в которых чудятся опять
рубцы, оставленные сталью.

Вернёмся к старым городам,
где, на ветвях повиснув, луны
по дикой прихоти плода
налиты золотом июня,
где ноги месяц пустоту
и придают ей форму звука,
где кто-то смотрит на звезду
и тянет к ней худую руку.

Вернёмся к жаркому огню,
что не успел ещё погаснуть –
так возвращаются к окну,
где жив костёр восходов красных,
так чтят вчерашнее тепло
и греют зябкие ладони,
пока качает ветер зло
деревья, что по грудь в бетоне.

Золотая рыбка

Золотая рыбка – озаряет пруд,
плавниками плавно подметает дно,
находя в тех водах быт свой и уют,
оживляя мрак их огненным пятном.
Люди, что приходят к тихому пруду
смотрят в эту воду и дивятся, как
золотое тело своему труду
придаёт простую лёгкость лепестка.

Мы сидим у ивы, чуя запах трав,
слыша плеск и шёпот глади возле ног.
Золотая рыбка, разве ветер прав,
что тревожит рябью чёрных вод платок?

Но замрёт дыханье нервное его –
и опять прольётся золото во тьму –
плавники – как крылья голубя стекло –
мягко тронут воду и скользнут по дну...

* * *

Вращаются слова и шестерни –
их шум и скрежет в раковине уха.
Как тень швейцара стынет за дверьми –
так трость слепца живёт подлёдным стуком.

Сигнальные огни – пророчат путь,
в котором мы своих коней загоним,
вдох совершив последний, чтобы сдуть
лебяжий пух с ослабленной ладони...

Театр

Егор ЧЕРЛАК

Геннадий Григорьев (творческие псевдонимы Егор Черлак, Григорий Егоркин) родился в 1963 году в поселке Черлак, Омская область. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Автор трёх прозаических и поэтических сборников, трех десятков пьес. Публиковался в журналах и драматургических сборниках в России и за рубежом. Лауреат премии «Долг. Честь. Достоинство» Фонда развития и поощрения драматургии и журналом «Современная драматургия», премии Фонда им. В. Розова и других. Работает журналистом, живет в Челябинске.

ХРОНИКИ ЗАБЫТОГО ОСТРОВА

Антиисторические арабески в двух частях

В наступившем году Европа отметит знаменательное событие: ровно 200 лет назад антинаполеоновская коалиция разгромила войска императора Франции. Работая над пьесой, я держал в уме общеизвестный исторический факт: на заре своей карьеры юный Наполеон просил принять его на русскую военную службу. Однако Екатерина не подписала его прошение. Автор попытался представить, как изменился бы ход истории, прими царица тогда противоположное решение.

Е. Ч.

Действующие лица

КАПИТАН БАНПАРТОВ – командир инвалидной команды, комендант острова;

КУЗЬМИЧ – одноногий отставной сержант;

ЕВФРОСИНЯ НИКИТИШНА – дочь местного попа;

ГЕНЕРАЛ ЛАНСКОЙ – сотоварищ Банпартова по прежней службе;

КУХАРКА.

Часть первая

Действие происходит в простой крестьянской избе. Интерьер предельно скудный: стол, несколько лавок... Значительную часть помещения занимает выбеленная печь. В углу, рядом с иконами, на стене что-то висит. Но это «что-то» до поры затянута холстом. За дощатым столом, на котором видна табакерка, сидит капитан Банпартов. Он в офицерском мундире с эполетами. При свете лучины капитан стучит костяшками счётов, сверяется с записями, потом заносит свои вычисления в тетрадь. За окошком то и дело гремит гром, слышны порывы ветра и звуки ливня.

БАНПАРТОВ. Так, так... Попорчено мышами десять четвертей овса на четыре рубля с гривною... Убыток, стало быть, заносим в левый столбец...

В нижнем амбаре, по небрежению, от талой воды замочено ржи тридцать восемь пуд... (*Качает головой.*)

Да разве ж разумно было в эдакой низине амбар возводить? Не я ли толковал приказным, что по весне зальёт его?.. Да только кто отставного капитана послушает!.. Им бы тяп-ляп, а об казённой пользе и кручины нету.

Долго и неумело упражняется на счётах.

Ой-ля-ля! Двадцать пять целковых – без аллегориев! Сие – туда же, в левый... Побито молью пять вицмундиров зелёного сукна – на тридцать пять рублей и пятьдесят копеек. Пишем... Злонамеренно украдено мужиками при доставке провианта на остров: сухарей два мешка да солонины кадка – недельный порцион всей инвалидной команды... На один рубль и двадцать копеек ассигнациями по нынешним ценам. Заносим... Так, пошло на довольствие гарнизона: хлеба – семь мер, масла постного – одна бутыл с четвертью, проса – два пуда и десять фунтов, сыра – одна голова...

Пренебрежительно сплёвывает.

И сию глину непотребную здесь сыром обзывают! Сыр!.. Сыр – это... Моцарелла – это сыр. Пармезан – тоже сыр. Даже эмменталь – и то сыр. А тут... Глина – она глина и есть.

Подбивает итог.

Что имеем? Мда-а... Изрядная сумма, однако, выходит. Шестьдесят шесть рублей с гривною. Нет, не то... Шестьдесят пять целковых чистого убытку. Опять не сходится... Так, десяток сюда ушёл, плюс полтина, да ещё рубль и двадцать...

Эге! Об сене-то запоматовал! Сено-то кухаркина коза потравила – это ж ещё пятиалтынный накинуть. Стало быть, вкупе – шестьдесят четыре рубля девяносто копеек... Чёрт! А куда еще рубль с полтиною девался?..

В отчаянии бросает на пол тетрадку, отшвыривает перо.

Ах, ты, счетоводство тартарное!.. Помру я через него на этом треклятом острове – без всяческих аллегориев говорю! Помру – и поминай как звали капитана Банпартова. И схоронят меня не в фамильном склепе близ любезного сердцу Аяччо, а на русском деревенском погосте под простым крестом берёзовым. И благо ещё, ежели возьмут себе труд начертать: «Покойся на сём месте инфантерии капитан Банпартов Николай, сын Карлов. По своему произволу вступивши в русскую службу, оный муж прошёл три кампании и выслужил себе штаб-офицерский чин, пенсион да награду – орден святого Владимира четвертой степени с бантом»...

Оглядывается на окошко, за которым раздаются раскаты грома.

Эка, сквозануло! Ни дать ни взять – единорог шестифунтовый. Бородино!.. Аустерлиц!.. Да-а... И никто не всплакнёт над одинокой сей могилкой... Разве что кто-нибудь из моих двадцати шести инвалидов: Кузьмич, ординарец верный, да Болотов сержант. А может, и Жозефинка слезу уронит, а? Она – ну, то бишь, Евфросинья Никитишна, поповская-то дочка – особа весьма чувствительная. Бывает, серчает, когда я её Жозефинкою

дразню – а больше, кажется, ей попрекать меня и нету резонов. Ну, может, разве тем, что третий год хожу к ним в дом, а присвататься боюсь. Под Красным со своими молодцами в штыковую бросался – не трусил, под Лейпцигом на узурпаторские батареи летел – не робел, а тут... *(Критически рассматривает себя в осколке зеркала.)*

Да и то молвить: по летам уж немолод, оконтужен да истрелян в войнах не единожды, в походах потрачен довольно... Как бы того... Как бы насмешки надо мною она не учинила... *(Задумывается.)*

Хотя, по глаголу истины, и Евфросинья Никитишна особа уже нарочитого возраста. Да и знаки комплиментарные мне не единожды самолично подавала. То взглянет эдак, то вздохнёт пречувствительно... Но нет! Без аллегориев: по мне сподобней с полуротой егерей редут вражеский приступом взять, чем в поповский дом сватов засылать!..

Капитан резко встаёт, нервно шагает по избе. Несколько раз он останавливается у завешенного холстом предмета, протягивает руку, чтобы сорвать ткань, но что-то не даёт ему сделать это. Поборов искушение, капитан берёт со стола табакерку, хочет понюхать табаку, но замирает, словно заворожённый портретом на крышке.

БАНПАРТОВ. А ведь и бывало – брал редуты-то!.. Батареи цельные захватывал – со всей прислугой и амуницией!.. Под Остроленкой не мои ли ребята поймали лакомый случай на неприятельские флешки наскочить? Шесть пушек взяли да штандарт с орлом в придачу. Не про иной какой – про наш полк государь тогда сказал светлейшему: «Нет фасонистей русских егерей: они и в рукопашной не выдадут, и в шинке не уронят военной вытяжки!»

Ставит табакерку на место, берёт в руки стакан.

Славно сказано: не уронят вытяжки!.. Да только долгонько я к водке русской привыкнуть не мог, ей-ей, мутило спервоначалу. Дело понятное, водка – не мускат, не шабертен... Да только зимою на марше или там, положим, на бивуаке, когда мокрый или зазяб – как без водки российскому солдату? Бывало, выпьешь мерку, а то и две, встанешь эдак пред фрунтом... А солдаты уж знают: сейчас, шепчутся, командир «болтень» читать станет. Извольте, сударики, бюллетень так бюллетень, он в ремесле военном – надобность не из последних.

Делает вид, что разворачивает перед собой свиток.

«Солдаты, единокровные дети мои! В сей решительный для отечества час, государь призвал нас под боевые штандарты, дабы узреть усердие лучших полков своих. Не посраим же знамён егерских, окроплённых кровию командиров наших и осенённых славою побед суворовских походов! Противник крепок, но и мы могучи – чрез любовь свою к престолу и чрез веру православную...»

Вертит в руках стакан.

Ну а после бюллетеня, известно: по чарке водки каждому солдату, барабаны – бей марш-поход, штыки примкнуть!.. *(Внезапно осекается, осознав, где находится.)*

А теперь что я? Без аллегориев: хуже торгаша лабазного... Корсиканский дворянин, российский офицер, а дослуживаю свой срок на забытом богом острове. Считаю запасённую для армии пшеницу, воюю с крысами да бранюсь с кухаркой за каждый фунт рыбы для своих инвалидов. Тьфу! Впору шлафрок надевать да на печку лезть – раны прежние греть...

Внимательно рассматривает стакан. Это наводит его на определённые мысли.

Кузьмич!

Молчание.

Кузьмич, а, Кузьмич! Аль оглох?

В дверях показывается старый хромой сержант. Он одет в ветхую, но аккуратно заштопанную и чистую форму. На мундире – солдатские награды, нашивки.

КУЗЬМИЧ. Чё ли звали, ваше благородие?

БАНПАРТОВ. Звал, звал... Да нешто до тебя докричишься, огарок старый?

КУЗЬМИЧ (*не без достоинства*). Огарок – не огарок, а верный слуга престолу и вашему благородию. А коли поносительными словами называть желаете – воля ваша. На то вы и офицер, и природный дворянин. Да только вот что я вам, Николай Карлыч, скажу. Невелик грех, коли Кузьмич не враз услышал. Сами знать изволите: имею четыре ранения, чрез которые ногу потерял да туг стал на одно ухо.

БАНПАРТОВ. Ну, полно, полно. Будет, извини. Я что хотел, Кузьмич... (*Мнётся со стаканом в руке, не решаясь высказаться.*) Я вот что хотел... Ты того, Кузьмич... Ну... Караул на пристани выставлен ли?

КУЗЬМИЧ. Другой день уж стоит, ваше благородие. Я чё ли артикула не знаю? Небось четвёртый десяток во фрунте, слава богу. Федулыча на пристань определил, настрого наказал ему не спать да к куме чай пить не отлучаться. А то как случается: шёл к куме да завяз в тюрьме. И ружьё наилучшее выдал. Не то, которое в починке было, а которое вы, Николай Карлыч, давешним летом у купцов на часы выменять изволили. Браните меня, а я от слов своих не отступлюсь: переплатили тогда мы этим сатанам толстобрюхим. Часы-то уж больно важные были – с эмалью, с репетицией. Аглицкой работы – не иначе. А ружьишко так себе. Замок сточенный и бьёт шагов на полста, не боле.

БАНПАРТОВ. Хорошо, хорошо, Кузьмич... Ты меня, по всему видать, до смертного одра будешь часами оными попрекать... Как было не смеяться, сам рассуди! У нас в целом гарнизоне только и есть что три ружья да пять мушкетёнов времён потоповых. Государственное лицо на остров явится – с чем к плац-параду выйдем? Но ты меня с мысли не склоняй, об ином хочу спросить. Я это... это...

(*Неожиданно.*) Слыхал, кони ввечеру у мельника ржали изрядно. Уж не беда ли какая?

КУЗЬМИЧ. Чё ли Кузьмич первым бы не узнал, приключись в фортеции какой непорядок, а, ваше благородие? Обидно, право, отец родной. Кобыла у мельника ожеребилась. И ежели вы полагаете, что пега орловская, с подпалинкой, то ничуть не бывало. Другая принесла – та, которую

мельник у драгунского корнета сторговал... Ну, как же, Николай Карлыч! Видная такая кобылка: донская, волос густой, чёрный, что мой кивер. На левой задней ноге пятнышко ещё. А жеребёночек народился – ну такой преславный...

БАНПАРТОВ. Да, да... Пожалуй, припоминаю нечто. Ох, и горазд ты, Кузьмич, разговоры говорить! Без аллегориев – язык твой без костей.

КУЗЬМИЧ. Ась? А-а... Точно так, ваше благородие, я за словом в карман сроду не ходил. А по мне – в том стыда нету. Лишнего не брякну, а что и скажу – всё в дело. Как люди-то говорят: Пахом хром, да три ухвата в ём. Я ж кто таков? Простой барабанный староста. Я ж не из тех штабных пустословных остроумников, коих мы с вами, Николай Карлыч, довольно повидали.

БАНПАРТОВ (*рассеянно*). Повидали немало, истинно так. И от них, ты это знаешь, я завсегда в стороне держался. Но ты мне того... Зубы не зашёптывай. Лучше об деле скажи...

Вертит в руках стакан.

Ты вот что, Кузьмич... Не слыхал, баню-то поп будет сегодня топить?..

КУЗЬМИЧ (*подозрительно косясь на командира*). Чё ли будет, чё ли нет... Да и наемни, кажись, топил уже... Ох, чую, не об том вы меня, ваше благородие, пытатъ хотите. Смекаю, на какую дирекцию вывёртываете. Никак опять штоф спонадобился?

БАНПАРТОВ (*сердито*). Штоф, штоф!.. Заладил, старый походный тесак. Я тебя умничать-то враз отучу! Штоф! А хотя бы и штоф – что из того?..

КУЗЬМИЧ. Известное дело, коли у начальства удручение какое – тут тебе Кузьмич и тесак, и огарок. Не извольте гневаться, ваше благородие, но за штофом не пойду.

БАНПАРТОВ (*удивлённо*). Это что ещё за дерзости такие? Как так не пойдёшь?

КУЗЬМИЧ. Не пойду – и шабаш. Сами причину знать изволите.

БАНПАРТОВ. Да к чёрту на рога твою причину! Командиру перечить?! Да я тебя, смутьяна, за противность под розги подвергну!

КУЗЬМИЧ (*невозмутимо*). Это уж как вашему благородию будет угодно. На то вы и над всем островом начальник, и крепости сей комендант, и старший инвалидного гарнизона, и распорядитель провиантских магазинов...

БАНПАРТОВ. Да я!.. Да я тебя – без аллегориев!.. Да знаешь ли ты, злоречивый старик, что меня сама матушка Екатерина на службу к себе определила? Под шомпола тебя да в карцер клопов кормить!..

КУЗЬМИЧ. Как примыслите, так и будет, ваше благородие... Вы в команде здешней и царь, и господин, и батюшка родной. Да только сию грамотку вашу я наизусть давно знаю.

Приняв стойку «смирно», цитирует царское письмо.

«...По рассмотрении прошения, поданного на Высочайшее имя, повелевать изволим: французского дворянина лейтенанта Боунапартэ Наполеона сына Карлова, возжелавшего по своей прихоти вступить в российскую службу, записать в астраханский баталион в чине подпоручика от инфантерии и определить годовое жалованье в 80 рублей серебром. Вакации открывать оному в срок, по выслуге годов, а буде окажется возможным по службе со всеусердием и по жизни трезвой – дозволяем перевод в гвардию с производством в штаб-офицерский чин... Подписано Ея Императорским

Величеством Екатериной Второй собственноручно летом 1786 года от рождества Христова». (*Многозначительно поднимает палец.*) Во-о!.. По жизни трезвой, ваше благородие...

БАНПАРТОВ. Дурак! Что бы ты смыслил в царском слоге! То – об другом вовсе. А я тебе об ином толкую...

КУЗЬМИЧ. Может, и об ином. Да только я, Николай Карлыч, от своего не отрекусь. Водка ныне под арестом.

БАНПАРТОВ. По какому такому резону?

КУЗЬМИЧ. Вестимо по какому. С часу на час ожидаем прибытия на остров генерал-инспектора. Не сами ли вы, Николай Карлыч, распорядились давеча огни на пристани жечь да зреть в оба, дабы баркас генеральский не упустить? И от употребления напитков велели до поры воздерживаться, равно как и от закусывания оных чесноком с луком. Хотя знаете, как в старину учили? Лук – он от всех недугов!

БАНПАРТОВ (*поспешно ставит стакан на место*). Ах, да... Генерал этот... Да, да, как его... Генерал Ланской... Совсем он у меня из головы вон. Негоже, ежели генерал у нас что-то противное уставу заметит. Беды не миновать... Строг, говорят!

КУЗЬМИЧ. Строг, так точно, ваше благородие. У него, слышал, не забалуешь.

БАНПАРТОВ. Куда там! Без аллегориев – не забалуешь. Слышь, Кузьмич, а не тот ли это Ланской, что при нас некогда полковым адъютантом состоял? Голенастенький был такой, вертлявый. Всё про балы да про свои победы на петербургских проспектах толковал. Да так завлекательно...

КУЗЬМИЧ. Может, тот, может, иной какой. Сколь их у нас о ту пору перебивало – не сочтёшь. Кого подранит, другого вовсе до смерти прийдёт... А третий, глядишь, сам-друг уж в обоз от огня подале сиганул. Да так споро, будто прованским маслом смазанный. Мы ж с вами, Николай Карлыч, ежели не забыли, без проку никогда не прохладжались. И-и-и... Что вытерпели – то альни и теперь вспомнить страшно! В наступлении завсегда наш баталион в авангарде. А ретирада затеется – кому отступ войска от неприятеля прикрывать? Егерям поручика Банпартова, кому ж окромя?

БАНПАРТОВ (*прочувствованно*). Спасибо, Кузьмич... Спасибо, товарищ мой боевой... Только ты меня и понимаешь. Мы ж с тобой как те два сапога походных, на многих маршах стоптанных... Но каждому осуждательно судеб наших так скажем: да, злата и карманных богатств не скопили, вместо них – серебряные медали на грудях; парчи и батистов сроду не нашивали, отдавая предпочтение солдатскому сукну да онучкам. И не совестно нам ни за жизнь свою, ни за весь карьер! Верой и правдой государю и отечеству послужили, от Москвы-матушки до самого ихнего Парижа дотопали! Так или не так, а Кузьмич?

Кузьмич по-свойски достаёт из печи чугунок с картошкой, ставит его на стол, начинает очищать картофелины.

КУЗЬМИЧ. Да не просто дотопали, Николай Карлыч. Боёв да страстей разных вытерпели – содомный ужас! До смертного часу не забуду, в какую переделку мы с вами под Лейпцигом-городом попали. Дождь тогда ливмя лил, вот как нынче. Темно, холодно, а француз так и прёт, так и прёт, собака. Только тем и выручились, что встали на пригорке да сверху зачали огнём его ссаживать...

БАНПАРТОВ. Мы тогда славно стояли – без аллегориев. А ведь могло и хуже дело обернуться. Да! Всё беспечность наша, всё надежда на рос-

сийский авось. Ну, сам посуди, Кузьмич!.. *(Бросается к печке и чертит углем на её белом боку диспозицию.)*

Сам суди... Вот тут река, тут деревня... Мы вот здесь на ночёвку встали... А корпус графа Нарышкина аж вот здесь, за целую версту от нас. По артикулу – им бы аванпосты выставить да казаков отрядить в пикеты... Вот сюда... И сюда... А на деле что? На постой определились – и спать. *(В волнении берёт со стола табакерку, нюхает табак, косится на портрет.)*

Я тотчас скачу с рапортом к его светлости, да какой там – и слушать не желает! Француз, говорит, ещё далече. А француз – он хотя и шельма, но не дурак. Подошёл поутру да стеганул с левого крыла. И покатались драгуны хваленые вперемешку с конногвардейцами кто куда. Ежели бы не наши егеря – и сам граф в том деле не спасся, ей-ей...

КУЗЬМИЧ. Святая правда, ваше благородие! Как курёнка в ошип забрали бы. Я графских штабных-то опосля видал – кто в чём прискакал, прости господи. Этот без башмаков, другой без мундира, третий в одних рейтузах. На грех мастера нет, всё побросали, аники-воины...

БАНПАРТОВ. А ведь было, было им говорено! И не единожды. В рапорте-то я всё означил. И указал, что беспокойно у меня на линии. Просил хотя бы полдюжины пикетов выставить. Местность-то, ты помнишь, там изрытая, всё лощинки да овраги. Самое прелестное для скрытного манёвра место. А пикеты те в крайнем порядке сигнал тревожный подать могли. Но... Подвергли осмеянию мой доклад. И вот за этот пагубный авось и выпали нам безбожные галлы-святопредатели по первое число!..

КУЗЬМИЧ. Ась? А-а... Так точно, проучили, Николай Карлыч, самым калиберным порядком проучили. И как мы тогда только сдюжили, удержались на том взгорке? Я всю патронную сумку исстрелял да ещё до трёх раз в пороховую казну бегал за припасом. Насилу отбились от чертей. Зато и сами на лешаков походить стали, рожи у всех чрез дым да копоть были орудейного банника чернее. А мундиры... *(Безнадёжно машет рукой.)*

БАНПАРТОВ *(заводясь и оттого ещё энергичнее черкая на печке)*. А чего проще-то было, Кузьмич! Поставь сюда тяжёлую полубатарей под пехотным прикрытием... Вот тут застрельщиков рассыпь... Казачий полк пусть бы в оном лесочке дожидался своей фортуны. И покуда графский корпус сдерживал бы неприятельский натиск с фрунта, резервные колонны по этой вот дороге – фланговым манёвром. А для вящего успеху – гусар бы пару эскадронов да в сабли!

КУЗЬМИЧ *(скептически кривясь, бросает картофелину обратно в чужунок)*. И-и-и, ваше благородие... Да что проку с этих гусаров-то? У них всей лихости – одно шампанское вино лакать да поселянок по стогам тискать. Куды им – бросаться в эдакую затейливость! Помните небось, как унтер-офицер Торопов об гусарах насмешничал: какой с гусар навар? Так, пустые щи – хоть рот полощи.

БАНПАРТОВ. Нет, не скажи, Кузьмич. Непременно – во фланговый обход! Это как аз, буки, веди. Это как «иже еси на небеси». Главнейшее дело для достижения полного успеха! Меня сей премудрости ещё в бриеннской школе обучили, а я там не из последних курсантов был. Ты погляди, погляди, что могло статья... *(Новые стрелы на печке.)*

На плечах неприятеля врываемся в долину. Переправы – вот они, забираем их сходу, не мешкая нимало. Далее – соединяемся с корпусами Остермана и фон Палена, охватываем прибрежные крепости, отсекаем французам линии снабжения... Так... И так... А после – эдаким маневром... И вот она, виктория – без всяких аллегориев! А уж тут, Кузьмич,

без подходящего к случаю бюллетеня никак не обойтись... (*Принимает позу оратора.*)

«Солдаты, любезные сердцу дети мои! Орлы гнезда Петрова, Екатерининского и Александрова! Богатыри, явившие чудеса геройства и мужества! В сей великий момент, когда неприятель повергнут в прах и ретируется, оставивши все пушки, штандарты и вверивши вашему великодушию своих раненых, в сей великий момент говорю вам: вы посеребрили свои крыла славой победы, но впереди вас ждёт сугубый подвиг. Подвиг, достойный звания освободителя отечества от осатанелых двенадесязычных стай. И сия слава навек покроет вас позолотою благодарности соотичей и дружеских народов, понеже не ведали вы ни устали, ни покою...»

В комнату заглядывает кухарка.

КУХАРКА (*бесцеремонно*). К ужину-то чё подавать? Огурцы али капусту? А может, кашу, что с обеда осталась?

БАНПАРТОВ (*осекаясь на самом возвышенном месте*). Тыфу ты, преглупая баба! Кто тебе велел перебивать, коли тебя не спросили?

КУХАРКА. Да как не перебить, батюшка! После сам браниться станешь, как третьего дня. И дурой, и каргой величал...

КУЗЬМИЧ (*тоже раздосадованный вмешательством женщины*). А как тебя не бранить? Тебе что было велено, бестолковая? Сказали ж: баранины пожарить да хреном её как следует заправить. И кулебяку изготовить, и блинов с изюмом настряпать. А у тебя на столе что стояло? Совестно молвить – шулом какой-то бивуачный...

БАНПАРТОВ. И про сыр сказано было: пускай не моцареллу, но хотя б чеддер какой расстарайся, на стол добудь!

КУХАРКА. Чё проку, благодетель, об сырах толковать, за баранину лавочник уже по три копейки на фунт просит. А мы ему ещё за прошлый месяц должны – за муку, за масло да за ливанский кофе. И табак, к слову, он нам тоже в долг отпускал. Вкруговую ему должны.

БАНПАРТОВ. Ну, забубнила, забубнила... Должны! Самому не хуже твоего известно, что должны. Вот баркас прибудет – и провиант доставит, и довольствие денежное. Дай только срок, пусть погода установится, а то видишь, какой ветродуй. Тут пуля не проскочит, не то что баркас.

КУЗЬМИЧ. Я так полагаю, ваше благородие: эта непогодь на неделю, не менее. Примету имею на то верную: коли кулышка моя чесаться да ныть принимается – к ненастью. (*Для наглядности топает деревянной ногой.*) К холоду, к дождю... Ох, и муки мученической я тогда чрез неё принял – страсть сказать! Так хватануло осколком брандскугеля, что полковой лекарь едва в чувство вернул. А уж как меня после в госпитале врачевали – про то отдельный сказ...

КУХАРКА (*отмахиваясь*). Затвердила сорока Якова одно про всякого. Уж который раз об ноге твоей слышу.

КУЗЬМИЧ. А слыхала, так ещё одна послушай – убытку твоей бабьей стати не будет. Тебе, непутёвой, только на пользу – мужским разговорам-то внимать. А коли ноге моей не веришь, другая примета имеется. Заглянул я давеча на гумно...

КУХАРКА. Да ну тебя, Кузьмич, с приметам твоими да с обычаями! Я и без всяких примет тебе наверно укажу: коли мы через два дни с лавочником не сочтёмся, он нам не то что мяса али кофею – и полбы-то не отпустит!

БАНПАРТОВ. Что ты такое несёшь! Как так не отпустит? Мне – не отпустит?! Кто на острове гарнизонный комендант – я или лабазный суслик какой?

КУХАРКА. Ты, отец родной. Да только я и тебе без обиняков скажу: ты командир безденежный, а лавочник – он при мошне. И погреба у него полнёхоньки. Ежели не заплатим – и тебе, и всем твоим инвалидам на тюре сидеть, баркас ожидаючи.

КУЗЬМИЧ. Ой, дура! Ну и дура же! Да где ж мы ныне денег-то возьмём? Мы ж люди казённые. Коли чрез бурю жалованье да припасы не везут – разве что онучи последние скинуть, ими с лавочником рассчитаться?..

КУХАРКА (*Кузьмичу*). Онучи да портянки твои прелые ему без надобности (*подходит к капитану*).

А вот мундир сей с галунами али табакерку он бы принял. Так сам и указал.

БАНПАРТОВ (*возмущённо*). Ах, он разбойник! От веку эдакого лихоимца не видывал! Табакерку!.. Да у меня только и осталось от прежней службы, что мундир да табакерка. Я в бою её добыл! Да ни в коем разе!

Рассердившись, капитан уходит из избы.

КУЗЬМИЧ. Ну вот, осерчал. А всё слова твои неразумные. Хорош этот смрадный притеснитель лавочник – эдакие пустяки офицеру предлагать! А ногу мою деревянную ему не надобно? А то отдам... Про ногу он тебе ничего не сказывал?

КУХАРКА. Пустое болтаешь, Кузьмич. Лавочник – мужчина сурьезный, домовитый.

КУЗЬМИЧ (*грозно*). Так говорил али нет?

КУХАРКА (*взрываясь*). Он говорил, что только пеньки, мол, простодушные сподобны без проку сидеть подле магазинов – мукой, крупой да разным провиантом до верха полных. Сидят, говорил, постной кашей пробавляются и ни синь пороух не пользуютя.

КУЗЬМИЧ (*машет руками*). Замолчи, замолчи, насадка преглупая! Счастлива судьба твоя, что Николай Карлыч сего не слышал. Это что ж такое ты говоришь? Ему чё ли из магазинов под его же охрану вверенных – и воровать?!

КУХАРКА. Воровать не воровать, а так... Попользоваться... Как все другие-то прочие делают? Ключи от амбаров завсегда при нём. От большого-то небось не шибко убудет.

КУЗЬМИЧ. Вот уж воистину: тёмность твоя поперёд тебя родилась. Да не такой он человек – капитан-то наш, – чтоб урон казённому интересу чинить! Да он скорее голову свою на отруб даст, а имущество военное сбережёт! И солдата своего нипочём не выдаст. Наш капитан даром что природный корсиканец, а русского солдата насквозь зрит и в обиду ни в жисть не даст!

КУХАРКА. Ну так голодом, зная, сидеть станете. Лавочник в долг не отпустит боле. Опричь денег – одну табакерку али мундир с галунами...

КУЗЬМИЧ. Ёфу ты, ведьма! И как только язык у тебя повернётся такое говорить? Да ведаешь ли ты, что это за табакерка?! Мы оную под Малым Ярославцем у генерала французского отбили. Дело-то как сладилось... Утром ранёхонько поехали на рекогносцировку. Туман, дождичек сеет – зги не видать. Миновали аванпосты – то ли наши, то ли неприятельские – разве разберёшь? Въезжаем с казаками на речной бережок, речка у них там махонькая, Лужей прозывается. Глядь: шагах в ста – всадников

до десятка, и по мундирам видать, что птицы большие. Все при лентах, при шляпах с перьями. Засвистали казачки и понеслись вместе с капитаном нашим на француза!.. Версты три гнали проклятых, пятерых дротиками да пиками достали, двоих заарканили. А самый важный, генерал ихний, ушёл-таки. Ускакал, стало быть, да только табакерку свою обронил. Я её, понятным манером, подобрал да Николаю Карлычу самолично доставил.

КУХАРКА (*рассматривая табакерку*). Ну и чё ж в ней знатного такого?.. Была б, к примеру, золотая али с камнями. А то так, серебро... Да и в походах видать что побитая...

КУЗЬМИЧ. А ты вот сюда, сюда глянь. Видишь облик под крышкой? Портрет, значит, мадамин да подпись понизу по французскому языку: турлым-бурлым-кяхты-махты... Сие по-ихнему означает: «моя любовь согрет тебя в долгой разлуке. Вечно твоя Жозефина». Вона как!

КУХАРКА. Слов нету, барышня фасонистая. Туалеты богатые. Да только тоща уж больно. И румянец эдакий... Будто чахоточный...

КУЗЬМИЧ. И-и-и, сразу видать, что деревня лапотная. Такое производится ими намеренно, это всё от помад заграничных. А барышни и вправду у них там всё больше бледные, точно смертным гладом морёные. Но, доложу тебе, до амурных походов страсть какие цопкие. (*Молодцевато крутит ус.*) В любовных делах весьма сноровистые... Вот и до нашего капитана немало было охотниц из этих самых бельгийских немок. Но он, как только табакерку эту увидал, к портрету приценился – и всё! Будто лихоманка какая его скрутила али паралик стукнул. Как палашом отсекло: никто его сердцу боле не мил. С той поры вот об этой самой крале и мечтает, сохнет. Аж стишки затеял писать!

КУХАРКА (*вглядываясь в картинку*). Известное дело: военный мужчина до разврата завсегда падкий. Для иного и болотная тина – малина. Было бы по чему сохнуть! Стан тонкий, худой – аж раменные кости торчат. Губки узкие, чисто нитка. А глаза! Что у моей козы, право слово. Только и важности, что сарафан богатый, с кружевами. Да серьги золотые – копейки пятьдесят, я чай, за них плачено... И чё об такой горевать? Будто других баб у нас не стало. Взять хотя бы поповскую дочку, али там вдову почтмейстера. Такая маститая женщина! А рукодельница!..

Входит Банпартов. На нём уже другой мундир, попроще – сержантский. Протягивает кухарке свёрток.

БАНПАРТОВ. Вот, держи. Изволь передать твоему ходатаю, до чужих мундиров охочему. И накажи от меня, чтобы сегодня же всей штатной команде отпустил недельный рацион – без аллегориев! А ежели сего не достанет (*кивает на свёрток*), то я после от жалованья своего прибавлю.

КУЗЬМИЧ. Батюшка! Николай Карлыч! Ты что ж такое умыслил? Неужто мундир свой заложить хочешь? Так он же у тебя последний! И новый, почитай, – десяти лет не ношенный...

БАНПАРТОВ (*нарочито бодро*). Ничего, ничего, старик. Мой родитель покойный – царствие ему небесное – как говаривал? «Всё, милый Наполео, в этом мире брэнно и недолговечно. Всё дело наживное, окромя славы людской да чести дворянской...»

(*Обращаясь к кухарке.*) Ну, ладно, баба, ступай! И к ужину – чёрт с ним, с сыром – но чтоб баранина на столе стояла! Да хреном, хреном её хорошенько приправь.

Кухарка хочет уйти, но в последний момент замечает росчерки на печке.

КУХАРКА. Ой, отцы-святители! Это ещё чё такое?.. Опять всю печку испоганили! Это чё ж, в другой раз мне её белить, а? И не совестно вам, сударь? Нешто иного места нету – угольями пакостить? Извёстки на вас не напасёшься...

Раздухарившуюся кухарку почти силой выпроваживает Кузьмич.

КУЗЬМИЧ (*качая головой*). И-и-и, ваше благородие! Разве ж дело это – мундир заслужённый, кровью добытый на баранину менять?

БАНПАРТОВ. Знаю, знаю, что ты сказать хочешь. Да и сам не хуже разумею, что вся лавка купчишки этого единой пуговицы с моего мундира не стоит. Да что делать, Кузьмич? Не помирать же нам в самом деле голодным случаем у постов своих. Даст бог, погода ускромнится, придёт баркас, доставит деньги... Тогда и справлю себе новый мундир, почище прежнего!

КУЗЬМИЧ. Ась?.. Ан нет, такого уж не справите, Николай Карлыч. Этот-то вам берлинский портной шил. Был он сукна самого тонкого, баварского. Где по нынешним временам такое сыщешь? Я ж крепко запомнил, как вы, ваше благородие, в этом самом мундире да ещё при сабле и при ордене ко мне в лазарет заявились. Королевич гишпанский – да и только!..

БАНПАРТОВ (*в его руках снова оказывается стакан*). Дело служивое, Кузьмич... Ты же не печалишься об своей ноге, на алтарь отечества положенной? А мне и подавно об мундире тужить не пристало. Не на чарку хлебного вина его сменял, а на провиант своим же товарищам ратным.

КУЗЬМИЧ (*чешет в затылке*). Так-то оно так, ваше благородие...

БАНПАРТОВ (*резко*). Только так, Кузьмич, никак не иначе! Ты вот что... Сходи-ка, братец, лучше за шкаликом, а? Мундир-то, чай, помянуть надобно. А ежели заместо шкалика четвертную прихватишь – взыску не будет.

КУЗЬМИЧ (*машет рукой*). А, была не была! В нашем военном руко-месле как? Либо в покойники, либо в полковники... Я мигом, ваше благородие, она нога здесь, другая... (*Смотрит на свою деревяшку*) Тьфу ты, сатанинство треклятое! Напрочь зарпортовался...

Оба хохочут. Кузьмич уходит.

БАНПАРТОВ (*вслед уходящему*). И на пристани, на пристани проверь, чтоб маяк горел исправно! За генерала опасуюсь, погода-то, ей-ей!

Оставшись один, капитан расхаживает по избе, периодически остав-навливаясь перед занавешенным предметом. Затем берёт в руки табакерку. Открывает её, долго глядит на портрет.

БАНПАРТОВ. Вот оно как, любезная Жозефина. Служить, как здесь говаривают, – не мёд пить. Особливо в России. Да... (*Усмехается.*)

Наверное, ежели бы ты меня сейчас в этом солдатском мундире увидела, – и взора бы не удостоила, а? Да и то молвить: где уж мне, островному комендантшишке, дерзать твоё внимание заслужить! Ты во дворцах, а не в курных избах нежиться приучена, тебе небось генералы да фельдмаршалы

ручку целуют. А молодые гвардейские полковники, в альбом стишки пишут. А, пишут?.. Ах, Жозефина! Милая сердцу Жозефина! А ведь мог бы и я... *(На мгновение задумывается.)*

Да... Мог бы... Да только вот... Всё сама видишь... Но ты мне справедливость всё же отдай, выслушай и мои вирши. Чем они полковничьих плоше?

Достаёт листок, читает.

Прелестница молодая,
Прости за дерзкий слог,
Пусти, исчадьё рая,
Меня к себе в чертог!

Изведал я утрату
От пуль и кирасир,
Почтенному солдату
Доставь же гранд плезир!

Милей мне эти плечи,
Чем полный патронташ,
Твой взор сильней картечи,
Острее, чем палаш.

Твой стан прямой оглобли,
А бровь – под стать углю...
Я твой казистый облик
Фортиссимо люблю!

Призри меня, Афина!
И знай, быть посему:
Тебя, о, Жозефина,
Я приступом возьму!

БАНПАРТОВ. А!.. Каково!.. Михайло Ломоносов, ей-ей! Нет, Гаврила Державин! Или этот, как его... ну, из этих, новомодных... Имя ещё такое, огнеприпасное... Ружьёв – не Ружьёв... Мортирин? Не то, не то... во – Пушкин! Да только куда ему, хлыщу партикулярному. Тут, похоже, сам Денис Васильевич Давыдов рукой моей водил – не иначе. Вот уж кто был кудесник по части виршей. Сколь с ним выпито, сколь песен знатных на бивуаках спето!..

Не без гордости перечитывает написанное снова и снова, шевелит губами и жестикулирует. В это время в комнату незаметно для капитана входит поповна. Она тихо подкрадывается к Банпартову и ладонями закрывает ему глаза.

ПОПОВНА. Ау! Вот и не догадаетесь, кто это.

БАНПАРТОВ *(поспешно складывая листок)*. Любезная Жозе... то бишь, Евфросинья Никитишна! Да как ваши ручки не признать, побойтесь бога!..

ПОПОВНА *(убирает руки и надувает губки)*. Ах, опять вы, Николас, имя бога все поминаете. *(Крестится на иконы.)* Вот уж будет вам на

том свете! Вот увидите... А всё же не признали спервоначалу, сознайтесь, дорогой капитан! Так заняты были мечтами воображения, что и не услышали, как я вошла.

БАНПАРТОВ. Помилуйте! Какими мечтами? Рапортную ведомость начальство затребовало, вот сижу, считаю. Сами извольте взглянуть, премилая Евфросинья Никитишна: изъяны и убытки занову в сей столбец, а прибыль напротив – в этот...

Демонстрирует ей тетрадку.

ПОПОВНА. А стихотворства пиитические в который столбец вносите?..

БАНПАРТОВ. О чём вы, великодушнейшая Евфросинья Никитишна? Вот вам крест святой!..

Осекается, заметив укоризненный взгляд поповны. Она грозит ему пальцем, затем истово крестится.

ПОПОВНА. Ой, нехорошо, господин комендант! А вот это вот что?.. *(Берёт листок и, развернув его, декламирует.)*

«Прелестница младая, прости за дерзкий слог...» Это что за выразительные высказывания такие? Я чай, до казённого дела, до фуража и пороха они не касательные?..

БАНПАРТОВ *(он очень смущён)*. Не вижу тут никакой вящей выразительности. Так, некое подражательство... А впрочем, воля ваша. Да, вирши не бесталанные. Я их у одного уланского ротмистра из книжки списал.

ПОПОВНА. Ой ли? Уж не лукавите ли вы, милый Николас?

БАНПАРТОВ. Пред вами – как пред полковою хоругвью, бесподобная Евфросинья Никитишна! Всё яко на духу – без аллегориев!

ПОПОВНА. Да? А вот это в таком разе что? «Тебя, о, Жозефина, я приступом возьму!» Как вы сии отчаянные обороты объясните, капитан?

БАНПАРТОВ. Это... Сию строчку сам приписал, каюсь. Да, не удержался от искушения, дал некую волю фантазиям...

ПОПОВНА. Да полно, полно вам смущаться, милый капитан! Я и не думаю пенять. Стишки недурные, для слуха даже весьма ласкательные. Я об том, что вы за обычай взяли меня сим именем французским дразнить. Жозефина!.. Может, вы, Николас, воображаете, что оно для меня лестно? Ан, нет, совсем напротив. Мне вот папенька говорил, да и сама я в журнале читала, что ныне в Петербурге иноземные прозвания не в моде. Даже государь, слыхала, на своём тезоименитстве изрёк: «Русский победитель ненавистного узурпатора французского престола имя своё природное носить обязан равно как почётный титул, без утайки и застенчивости». Поелику впредь так и пишете: «Тебя, о Евфросинья, я приступом возьму!...» *(Спохватывается, что зашла далеко, крестится на иконы.)* Прости, господи, грешную!

БАНПАРТОВ. Да, да, разумеется. Совершенно с вами согласен, чудесная Евфросинья Никитишна. Не к лицу русскому человеку, освободителю Европы, рядиться в заграничные хламиды. Хоть и течёт во мне южная кровь, но знаю сие не хуже иных природных русаков. Только вот... Извините уж за прямоту солдатскую, – Жозефина в виршах как-то того... Благозвучнее...

(Оправившись от растерянности и принимая холодный тон.) Но, простите меня за дерзость... Вы, Евфросинья Никитишна, сюда, верно, не за-ради стишков явились, а? Тем паче в такую погоду.

ПОПОВНА (*с обиженным видом*). Ах, вот вы как... Что ж, и то правда. Папенька мой Кузьмича подле колодца встретил. Так тот рассказывает, что у гарнизонных нужда в деньгах образовалась. Мол, из этого вы даже мундир свой вы заложить велели.

БАНПАРТОВ (*раздосадовано*). Вот уж язык у старика что помело! Ей-ей, лучше бы ему в четырнадцатом годе язык вместо ноги отхватило. Забудьте это, любезная Евфросинья Никитишна! Не извольте беспокоиться ради таких пустяков.

ПОПОВНА. Хороши пустяки, коли дворянин последнее движимое имущество в заклад отдаёт! Мы люди тоже небогатые, потому и в понимание войти можем. Что, к примеру, у меня из приданого? Так, самая малость: три батистовых платья да два шёлковых, ну, беличья шубка, ратином крытая, ну, лисий салоп с капором и муфта к оному, десять одеял тафтяных на хлопчатой бумаге... (*Выразительно смотрит на капитана.*)

Разве это богатство? С таким приданым, чайтельно, замуж не вскоре выйду. Ваш брат мужчина, он что? Он дружественность питает больше к девицам зажиточным, состояние имеющим...

В разговоре возникает неловкая пауза. Поповна ждёт реакции капитана, но тот насупился и молчит.

ПОПОВНА (*осторожно*). ...И остаётся нам, девушкам незнатным, но себя блюдушим, лишь уповать на волю божию. Да в невольной праздности источать себя слезами над чувствительными сочинениями Капниста и Поль де Кока...

Снова пауза. Капитан упорно не желает развивать тему.

ПОПОВНА. ...Хотя, иной раз бывает, что и для честных скромниц счастье открывается. Возьмите пономаря дочку – за купца первой гильдии замуж вышла. Или Марью, что у приказчика на воспитании была – сосватал её целый кавалерийский поручик. Да и за себя молвить не совестно. Прошлым годом корнет Звягин предложение делал. И титулярный советник Шмидт, бывши на острове по делам крепостной переписи, руки протер и даже конфетами угощал...

В очередной раз повисает тяжёлое молчание.

ПОПОВНА (*подёрнув плечиком и совсем иным тоном*). Ах, я неспхватливая! Совсем из ума вон... Меня же к вам, Николай Карлыч, папенька прислал спросить, не нужно ли вам денег под заём? Коли случай такой приключился, мы по-соседски всегда выручить готовы. Не бог весть чем располагаем, но, питая известные дружеские чувства...

БАНПАРТОВ (*холодно*). Не извольте беспокоиться, мадмуазель. И передайте достопочтенному родителю вашему, что покамест такой крайней нужды в деньгах не имею. А буде окажется возможным...

Поповна резко закрывает лицо руками и отворачивается от капитана. Плечи её вздрагивают.

БАНПАРТОВ (*он такого оборота явно не ожидал*). Что, что такое, преславная Евфросинья Никитишна?

ПОПОВНА (*сквозь рыдания*). За что вы? За что вы – эдак?.. Чем заслужила я чёрствость вашу? Я же... Мы же в доме своём завсегда вас – как родного... От вас как от сродника – ничего не таили... А вы... К чему этот хладнокровный тон, к чему сия нарочитая манерность? Чем провинилась я, скажите?..

Ошарашенный и сбитый с толку капитан пытается успокоить поповну, подходит к ней, неловко берёт за плечи.

БАНПАРТОВ. Ах, простите, простите меня за этот тон, кротчайшая Евфросинья Никитишна! Не по злomu умыслу я... Виноват, стократно пред вами виноват... Вот он я весь – казните! Всё грубость моя солдатская, утомление от дел служебных... Нет, скорей – робость всему причинею...

ПОПОВНА (*быстро вытирая глаза*). Робость? И кого же вы робеете, Николай Карлыч?

БАНПАРТОВ (*несмело беря её за руку*). Вас, распрекрасная Евфросинья Никитишна. Сам вижу, что в пустяки впадаю, несносное иной раз говорю. А поделатъ ничего не волен, сам не свой при вас делаюсь – без аллегориев... Словно при штыковой атаке. Знаете, как там случается... Бежишь на вражеское каре, с одною шпажонкой бежишь – и чуешь, что ты – это уже и не ты как бы, а иной кто... Руки ощупаешь – твои, ноги – тоже. А всё одно – воли над ними уже ты не имеешь. Сила тебя неведомая вперёд влечёт...

(*После короткой паузы.*) Вот и ныне... Все члены вроде мои, а приказать им... Нет, вовсе не то должно мне сейчас говорить вам, преблагородная моя... моя...

ПОПОВНА (*страстным шёпотом и потупившись*). Что ж... что ж... Я не противлюсь более... Николай, милый, ежели хотите, зовите меня Жозефиною! Не стану отныне обижаться.

БАНПАРТОВ (*приближая её к себе*). Боже! Боже мой!.. Как бы я этого хотел – если бы кто сие ведал!.. Жозефиною!..

Мокрый, грязный, возбуждённый – в комнату врывается Кузьмич.

КУЗЬМИЧ. Ваше благородие, беда!.. Несчастье! Генерал-то наш... Баркас его об камни дотла расшибся. У самого устья, волна там больно злая да течение со стрежня... Поднесло к утёсу – и хрясть со всей мочи! Буря-то какая, царица небесная!.. Сейчас робята снимают баркасных-то, кои уцелели, а есть ли промеж них генерал – того не ведаю. Темно, хоть глаз коли и дождь аки из бадьи хлещет. Я за вами, Николай Карлыч, прибёг. Надобно вам на берег скорее – генерала и прочих, какие остались, выручать.

Буквально на глазах капитан преображается. Теперь он – не затюканный службой пожилой офицер, а настоящий руководитель, полководец, вождь.

БАНПАРТОВ. Так, слушай меня. Беги в караульное помещение, кличь на берег всю свободную смену. Потом – в казарму. Всех гони к пристани. Дай знать мельнику и кузнецу, путь немедля тащат туда же канаты да кошки стальные. Ежели тотчас с камней баркас не стянем – поутру щепы от него не останется. Да бегом, бегом, старый!

Выбегает вслед за Кузьмичом. Поповна остаётся в помещении одна. Второпях или сослепу, она встаёт на колени не перед иконами, а перед завешенным холстиной предметом. Поповна истово крестится и кладёт земные поклоны.

Затемнение. Конец первой части.

Часть вторая

Утро следующего дня. Та же изба, сквозь щели пробивается солнце. Очевидно, что буря утихла. На лавке, укрытый тряпьем, спит Ланской. Его мокрый мундир сушится у печки. Рядом с лавкой генеральский сон караулит Кузьмич.

КУЗЬМИЧ (заметив, что генерал зашевелился). Изволили, чё ли, проснуться, васятство? Здравия желаю, инвалид гарнизонной команды отставной барабанный старшина Ивакин!

Ланской медленно садится на лавке, вертит включенной головой.

ГЕНЕРАЛ. А-а, служивый... Здорово, здорово... Это что?.. Это где я?..

КУЗЬМИЧ. Ась? А-а... На нашем острове, васятство! Изволили прибить вчерась ввечеру, да малость с погодой не угадали. Разрешите доложить: раскроило ваш баркас вчистую. Едва из воды вас выхватить успели. Слава богу, Егорыч... виноват, вахмистр Соловейко, плавает преизядно – так он до трёх разов за васятством в самые пучины нырял.

ГЕНЕРАЛ (рассеянно озираясь). Мон дью!.. В самом деле?..

КУЗЬМИЧ. Истинный крест! Но бог, видать, есть, взмиловался он, услышал молитвы наши...

ГЕНЕРАЛ (по-прежнему вполуха слушая сержанта). Ну и как-с? Достал?..

КУЗЬМИЧ. Кого, виноват?..

ГЕНЕРАЛ. Ну, этого... За коим в пучины...

КУЗЬМИЧ. Вас, чё ли? Так точно, вот он вы изволите сидеть, васятство, – живёхонек, здоровёхонек. Сей момент чаю вам излажу, будете крепче прежнего! У нас как говаривают: половину самовара выпьешь – гусариком скачешь, а полный осилишь – драгунским полковником следуешь.

(Доверительно.) Вам, васятство, может, опростаться надобно или там поблехать – так лоханка вон она, у порога. (Собирается уходить.)

ГЕНЕРАЛ. Ну-ка, служивый, постой-ка... Что это у тебя на щеке?

КУЗЬМИЧ (трогает щёку). Это, чё ли? А-а, это чирьяк, васятство! Он по обыкновению от сырости али с постной жизни по весне заводится.

ГЕНЕРАЛ. Чем пользуешь?

КУЗЬМИЧ. Известное дело, по-солдатски: картошку сырую жуёшь да на то место прилепливаешь. Ажни и другой способ имеется. Бабы советуют, васятство, мол, козлиной мочой самое верное. Только я не верю, а лучше сказать — брезговаю.

ГЕНЕРАЛ. И думать не моги! Что за бредни! Мочой!.. Анисовая вытяжка для того аптекарями выдумана. Намакиваешь ею корпию хорошенько – и прикладываешь к чирию до пяти раз в день. Понял? Ну, всё, ступай, ступай...

Генерал окончательно сбрасывает тряпки и усаживается. Он брезгливо поджмивает босые ноги и опасливо оглядывает тесное пространство комнаты.

ГЕНЕРАЛ. Терибль... Ужасно... Что это было-с?.. Какое-то античное приключение, некий русский Улисс... Говорил же мне уездный полицмейстер не трогаться в эдакую погоду. Сидел бы сейчас у него в гостиной, играл в вист с хозяином, любезничал с хозяйкою. А она и вправду шарман... Недурна. Грудь, голос, всё такое-с... Ей бы годков десять долой – и кто знает... *(Неопределённо шевелит пальцами.)*

Впрочем, танцует она прескверно. Да и одета... Разве в Петербурге дама с положением позволила бы себе к мазурке надеть розовое глазетовое платье с жёлтыми рюшечками? Какой-то век Елизаветы, бон тон. И вот это-с... Что это такое? Она вообразила, что сие – мазурка?!

Делает несколько карикатурных па. Но внезапно останавливается, хватается за поясницу.

Ох, ох... Эка в поясу щёлкнуло! Будто прутком калёным ожгло... Видать, застудил чрез пребывание в студёной воде-с. Надо будет спиртовыми мазями растереть. Да и галлериевой кислоты у доктора спросить не худо б... Ох, опять стрельнуло! Как бы лихорадка не сделалась! *(Приваливается спиной к печке.)*

И занесёт же служебное рвение в эдакую глушь! Я уж не говорю про приличное общество-с, но тут, полагаю, и в бостон не с кем перекинуться. А потчевать станут... Забудь про рейнское, ром или там гогенхейм какой... Водку, водку подливать будут!..

(Держась за поясницу.) Впрочем-с, сейчас и от водки не отказался бы. зуб на зуб не идёт...

(В сторону двери.) Эй, служивый! Эй, как тебя там? Солдат!..

Дверь отворяется, но вместо Кузьмича на пороге появляется капитан. Он тщательно выбрит, простой мундир его отглажен. Он при шпаге и при наградах, за спиной Банпартова маячит поповна.

БАНПАРТОВ *(вытягиваясь перед начальником)*. Позвольте отрапортовать, ваше сиятельство! На вверенном мне острову происшествий не имею. Провиантские, фуражные и прочие магазины соблюдаются в целости, меж солдат инвалидной команды больных и самочинно отлучённых нет. Свободные от караула люди на плацу занимаются шаржированием. С реляцией – комендант здешней крепости капитан Банпартов. *(Салютует шпагой, при этом едва не задевая поповну и генерала.)*

ГЕНЕРАЛ *(с трудом уворачиваясь от шпаги)*. Вольно, вольно, капитан... Отлучённых, значит, у тебя нет? Правда твоя – с такого острова разве убежишь? Вода повсюду...

БАНПАРТОВ. Вода, так точно! Только смышлённый человек завсегда путь отыщет, коли нужда. Но солдат на то и солдат, чтобы пост свой блюсти аки порох в глазе. Я так полагаю, ваше сиятельство!

ГЕНЕРАЛ. Ты, капитан, вот что... Давай без этих сиятельств. Я, знаешь, люблю по-простому. Мы с тобой, чай, не в министерском присутствии. Мы люди военные и разуместь друг дружку должны с полслова, без этих разных... *(Демонстрирует салют шпагой.)* Без этих полонезов-с... *(Протягивает руку.)* Премного рад знакомству. Князь Ланской.

БАНПАРТОВ *(осторожно пожимает генеральскую ладонь)*. Точно так, ваше сия... Я такого же мнения, дорогой князь! Как мы есть питомцы военного буйного времени, то и жеманничать нам не пристало. *(Передаёт*

генералу свёрток с одеждой.) Вот, принёс вам вместо попорченного мундира. Тут сюртук, панталоны сухие да пара тёплых полчулочков. Всё чистое, доброе, от насекомых табачным листом сохранный. Так что не извольте беспокоиться.

Генерал рассеянно кивает и выразительно растирает ладонью поясницу.

ГЕНЕРАЛ. Мерси-с... А водица-то у тебя, капитан, здесь холодная... Право, не знаю, смогу ли от простуды уклониться. Случится недоброе – пользоваться-то нечем, все микстуры и капли мои утонули. Все – до последней бутылки...

БАНПАРТОВ. Нет нужды тревожиться, князь! И об этом предусмотрено.

Делает приглашающий жест. Из-за его спины выступает поповна с подносом в руках. На подносе штоф, рюмки, нехитрая закуска.

БАНПАРТОВ. Не пренебрегите, князь. Вкусите – без аллегориев – нашего здешнего хлебосольства. Вот настойка гречишная, рекомендую.

Генерал, заметив поповну, приосанивается, оживает. Накинув на плечи одеяло, выпивает рюмку, довольно разглаживает бакенбарды.

ГЕНЕРАЛ. О! Прелестно! А на здешнем острове, как погляжу, не так и скучно. И собеседники, и женщины недурные имеются-с. Ну, за здоровье милых дам, удалых поражательниц наших сердец солдатских! *(Выпивает ещё одну рюмку.)*

М-м-м!.. Хорошо!

БАНПАРТОВ. Вы закусывайте, князь, закусывайте, прошу вас! К стопке недурно было бы сыру настоящего подать, но... Но можно и рыжиками.

ПОПОВНА. На гречишном меду настоящая. Да с толикой хмеля. Мы с маменькой делали, это она меня сему искусству обучила.

ГЕНЕРАЛ *(пожирая поповну глазами)*. Препохвальная настойка, сударыня-с! Благодарите маменьку свою, кланяйтесь ей за то, что мастерица она настаивать такую знатную водку. А наипаче – за то, что есть у неё столь приятственная дочка. Да что ж мы стоим, господа? Прошу садиться, и уж не обессудьте, что я в столь необходимом виде.

Рассаживаются вокруг стола. Генерал поднимает рюмку.

ГЕНЕРАЛ. Позвольте поблагодарить хозяев за учтивый приём и потщитесь себя надеждою, что главные опасности моего предприятия остались позади.

БАНПАРТОВ. Разумеется, князь. Почту за честь оказать вам содействие во всех ваших частных и казённых надобностях.

ПОПОВНА. Уверяю вас, сударь, что пребыванием на острове вы останетесь премного довольны. Мы хотя и не столица, но в модных веяньях и светском обхождении тоже толк имеем, да! Папенька мой, к примеру, уж не первый год «Сын отечества» выписывает. Жена здешнего провиантского чиновника в переписке с самой госпожой губернаторшей состоит. А по четвергам в нашем доме завсегда сходятся господа лучшего круга: дьяк Игнатев с сыном, управляющий казённой мельницей Степан Алексеевич, провиантмейстер с супругой. Иной раз вот и Николас... то бишь, Николай Карлыч честь оказывает.

ГЕНЕРАЛ. Прелестно, прелестно-с! Ах, как жаль, сударыня, что ныне не четверг. Впрочем, имея здесь *(обводит рукой)*...

Имея здесь столь изысканное общество... В лице, если так позволено выразиться... В образе, так сказать... И подобии... Что сделает честь... Что я сказать хочу?.. Да! Наслаждаясь обществом столь благовоспитанной барышни, можно поступиться и компанией дьячка. Вот-с! Позвольте вашу ручку, неоцененная (*берёт поповну за руку*)...

ПОПОВНА (*потупив очи, но руки не убирая*). Евфросинья Никитишна...

ГЕНЕРАЛ. Да! Да!.. Именно – Евфросинья... Именно – Никитишна... Шарман... Какая премиленькая ручка!.. Изящные пальчики, царапинки, сделанные, чайтельно, каким-то шаловливым котиком. Жаль, кожа чуть смугловата... Сие от климата, от климата, сударыня, – уверяю вас! Северный климат вредит вам. У меня, знаете, тоже так было-с. В прошлом годе стал примечать: кожа погрубела и пупырышками такими вся пошла меленькими. Я и то и сё... И ртутные примочки пробовал, и присыпал персидской сиренью. Да лейб-медик знакомый надоумил: это, говорит, всё от русского скверного климата! Вот так-с!.. (*Наливает сам, выпивает.*)

ПОПОВНА. Вы находите, князь? А, пожалуй, что и так. Вы не представляете себе, каково это – проводить свои лучшие годы как бы в заточении, будучи окружённой водой и нездоровым воздухом, не имея возможности вести приятные беседы с истинно образованными людьми столичного круга. (*Спохватившись*). Извините, Николай Карлыч, я вас ни в коем разе в виду не имею...

БАНПАРТОВ. Не трудитесь извиняться, милейшая Евфросинья Никитишна! Как могу я дерзать полагать себя в числе образованных людей? Почитай, с пятнадцати лет в военной службе, изрядную часть жизни своей провёл в походах, в лагерях посреди солдат и унтер-офицеров. К чему я пригоден? (*Поднимается.*)

«Дирекция нале-во! В колонну по два с примкнутым штыком строй-ся! Для церемониального марша го-товсь!» Это я могу... Знаю, умею, люблю – без аллегориев. А расшаркиваться, любезничать да внимать эфирным материям – не приучен. Да теперь, видать, уж и не обучусь!

ГЕНЕРАЛ (*оглушительно хохочет*) Ха-ха!.. Дирекция!.. Стройся!.. Марш!.. Превосходно, капитан! Это не такая малость, как ты полагаешь... Это... Это, знаешь, способности иметь надо, да-с! А без способностей человек кто есмь? Ничтожный атом природы, как говаривал один мой приятель. Не бесталанный, энтре ноус, сочинитель... Но... Но имел случай пристраститься к скверной привычке (*стучит ногтем по бутылке*)...

Всецело отдался сему пороку-с. Далее известно-с. Сделалась горячка, воспаление пузыря, прошу прощения у дамы... Продолжительные волнения желчи обратили его в человека раздражительного, нетерпимого. Прибавьте ко всем его испытаниям подагру и водянку, которая вконец доконала несчастного. Я советовал ему почаще отворять кровь, предупреждал при сём, чтобы он не позволял пользоваться себя конопляным отваром, как иные невежественные знахари практикуют. При внутренних воспалениях, мадмуазель, первое дело – укусные ванны вкупе с регулярным принятием, пардон, рвотных порошков и слабительных растворов. А эти ложные, с позволения сказать, эскулапы знай твердят своё: отвар конопли!

ПОПОВНА. Не могу не согласиться с вами, сударь. Невежество народа нашего простёрлось до таких пределов, что даже образованные и светские люди иной раз полагают, будто желудочное нездоровье можно излечить травяными настоями! И сие говорится в наш просвещённый XIX век, когда лекарское искусство шагнуло столь далеко!

ГЕНЕРАЛ (*прижимает её руку к своей груди*). Приятно, приятно, мон шер ами, слышать такие речи! Искусство шагнуло-с... Да-с! Шагнуло, оставивши грубую натуру позади! Но что означает – далеко? Положен ли предел человеческому стремлению, бесценнейшая Евфросинья... да, да, Никитишна? (*Вспоминает о капитане.*)

Капитан... Вот ты как полагаешь: есть ли предел стремлениям или там – умовоображениям? Кто хотя бы месяц назад мог предположить меня, генерала Ланского, в сей избе, на каком-то острове? Почитай, на краю земли!.. (*Наливает, выпивает.*)

БАНПАРТОВ. Да, да, метче и не скажешь. На краю земли. И всё же, князь, откройте, что заставило вас пуститься в столь многоопасное путешествие?

ГЕНЕРАЛ. Охо-хо... Мне ли тебе изъяснять, капитан. Известно что-с: прикажет высшее начальство, и не то что на твой островок – к Ледовитому полюсу на утлой лодчонке отправишься. (*Конфиденциально понижает голос.*) Распоряжение имеется из главной квартиры – в три недели составить тщательный рапорт о запасах фуражных, съестных и особливо огневых. И нимало не позднее будущего месяца дежурный генерал должен будет представить сей рапорт не кому-то, а самому государю! (*Многозначительно шевелит бакенбардами.*)

ПОПОВНА. Неужто самому государю?!

ГЕНЕРАЛ. Именно-с! Лично – в присутствии военного министра, штабных и свитских генералов, начальников корпусов и сводных дивизий.

БАНПАРТОВ (*задумчиво*). Коли так, как вы говорите, князь, то я полагаю, что дело серьёзное затевается. Военный совет во дворце за-ради пустого карнавала собирать не станут. Никак, новая кампания?

ГЕНЕРАЛ (*с долей холодности*). Ну, это, капитан, не нашего с тобой разума дело. Ты – гарнизонный комендант, я – генерал-инспектор. Невелики фигуры. Дело наше малое и до государственной эспланады близко не касательное. (*Выпивает.*)

А только вот что я тебе доложу, капитан. Имел я тому дней десять случай банчок метать с одним гвардейским полковником. Игрочина так себе-с. И на вид не Бова-королевич: худой, мешки под глазами – верный признак отчаянных селезёночных коликов... В сих случаях лишь соляные припарки помогают, ты уж поверь мне, да и то коли в верном сочетании с анисовыми каплями. Вот-с... Но человек он пресерьёзный, с великими князьями знаком, во дворец вхож. Так он-то мне конфиденциально и сказал, что к осени всенепременно пойдём на турка войною!

Капитан вскакивает. Видно, что он очень возбуждён этим известием.

БАНПАРТОВ. На турка!.. Я знал, знал, что это скоро случится! (*Подбегает к занавешенному предмету, но так и не решается открыть его.*) И пора! И самое время – без аллегориев!.. Потому как сейчас для нас обстоятельства наиболее благоприятнейшие. Судите сами, князь. Порта погрязла во внутреннем разброде, янычары волнуются, на Балканах и в Курдистане неспокойно. Вы, полагаю, спросите об Англии и Пруссии... Англичане увязли в спорах о своих заморских владениях, с Пруссией мы имеем договор. А австрийский двор в его теперешнем положении едва ли решится вмешиваться. Армия паши разбросана по многим крепостям, пушки турецкие недурны, но они устарелые. Напротив – наше южное войско в превосходном состоянии, артиллерия усилена новейшими осадными орудиями.

ями и мортирами... (*Хватает уголь и пылко начинает чертить на печке карту действий.*)

Взгляните на диспозицию, князь! Корпус генерала Ермолова располагается здесь, корпус генерала Милорадовича – вот тут. Наилучшее положение, чтобы броситься чрез Дунай и фланговым манёвром окружить неприятельскую армию! Несколько полков и речная флотилия отряжаются для осады крепостей, а остатняя армия стремительно движется по прибрежным равнинам далее к югу – вплоть до Босфора и Дарданелл... Так... Так... А после – вот эдак!..

Теперь вскакивает генерал. Он пылко обнимает разошедшегося капитана.

ГЕНЕРАЛ. Николай! Банпартов! Вот теперь – признал! Как только взметнулся ты да стал вдоль печки маневрировать – тотчас признал! А ты всё тот же: горячий, неуёмный да на планы скорохватный... Вот как нынче встречаются старые фрунтовые товарищи – в чёрной избе, на безымянном острове! Впрочем, это пустяки-с, не правда ли? Таковое ли ещё терпеть приходилось. Что за времена были!.. Вспомни, Банпартов, сколь мы с тобой шинелей подле бивуачных костров прожгли, сколь кувшинов варенухи выдули! Не счесть! Дай-ка я облобызаю тебя...

Бывшие сослуживцы снова обнимаются и выпивают ещё по рюмке.

БАНПАРТОВ. А я вот вас сразу узнал, князь. Ещё говорю Кузьмичу-ординарцу: не тот ли это Ланской, что при нашем полку адъютантом служил? Да, времена знатные были! Счастливые времена – без аллегориев! И мы иными были, молодыми да удалыми... Хотя, князь, о ту пору у вас эдаких роскошных бакенбардов не водилось, но по части амурных премудростей вы уж и тогда достигли степеней. Век не забуду, как то ли в Литве, то ли в Курляндии вы у шефа кирасирской бригады прехорошенькую немочку отбили!

ГЕНЕРАЛ (*он польщён, но изображает смущение*). Право, Николай!.. Оставь! Такое – и при даме-с!

ПОПОВНА. Ох, не беспокойтесь, князь. Всё одно, не понимаю я ваших мужских разговоров. По мне – так все мужчины одинаки.

ГЕНЕРАЛ (*хочет, при этом приобнимая поповну*). Хо-хо... Все, да не все, благосклоннейшая Евфросинья... и так далее... Вот хотя бы нашего прехраброго капитана Банпартова взять. Неужто кто-то кроме него там, в Моравии, когда никчёмное начальство наше завело полк в чащобы непроходимые, додумался б выбираться в долину не горами, а напрямую – чрез ущелье-с? Или иной случай... Когда под Салтановкой французы наш арьергард в обжим взяли, кто как не поручик Банпартов, введя на курган батарею и поставивши оную нос к носу с неприятелем, отвратил тем самым злейшую опасность окружения? А?..

БАНПАРТОВ (*растроганно*). Премного благодарен, князь... Спасибо – без аллегориев! За память долговую, которой, увы, у наших начальников и по сию пору не объявилось. Ведь за эти два дела да и за какие прочие я не то что креста наградного не получил – даже слова доброго не услышал. Так и проходил в пехотных поручиках до самого завершения кампании.

ГЕНЕРАЛ. Неужто до самого завершения? Скорблю, скорблю, брат, об участи твоей безнаградной. Но всё горячность твоя... Она тебе враг, ей-богу. Не ты ль, когда наш корпус к Парижу подступил, предлагал

совершенно истребить оный город поджигательными снарядами? А Монмартрово предместье – с землёю сравнять?..

БАНПАРТОВ (*взволнованно*). Я и ныне от слова своего не отступлюсь. Как было не свершить праведное отмщение над варварами, спалившими Москву, державшими конские стойлища в её сорока сороков церквей?! Как не желать было предать разрушению развратное гнездо супостата, велевшего взорвать святыню русскую – Кремль, снявшему ажни крест с Ивана Великого?! И разве можно, князь, забыть те гнусности, кои злодей свершал над девами и жёнами нашими, над пленными беззащитными? А стоны Корсики, земли моей исконной, плакавшей под пятой бездушного завоевателя, – и по сей день в ушах моих.

ПОПОВНА. Bravo, Николай Карлыч! Вы, как погляжу, отчаянный патриот.

БАНПАРТОВ (*прохладно*). Очень может статься, сударыня. Только за патриотство ныне чинов и наград не дают.

ГЕНЕРАЛ. Не беда, Николай! За царём, как говорят, служба не пропадёт. Но забудем печальное. Давай-ка о деле. Я сказал давеча, что предписано мне наиподробнеею реляцию по вверенным тебе припасам составить. Все магазины обсмотреть, счесть всё самолично до последней головы сахарной. Ежели упущение какое или недостаток товару окажется – изложить в докладе отдельно. Но делать сего не стану. Да, не стану-с! Неужто я оскорблю ревизией своего старого фрунтового друга? Нет, не таков генерал Ланской! Да и диспозиция у меня ныне... сам видишь... (*Указывает на одеяло, в которое завёрнут.*)

А посему, дражайший капитан, окажи услугу – сделай опись сам. Ну, ты же знаешь как. Чтобы всё по форме было, главное – аккуратно-с. А я так тому и быть – подпишу, потому как своему военному сотоварищу доверяю яко себе. (*Выпивает рюмку.*)

Можешь не опасаться, чрез лорнет бумаги твои разглядывать не стану. Ежели какой малости у тебя в магазинах недостаёт – ну, пшеницы с дюжину пудов или пару штук сукна мундирного – не взыщу-с. Ибо в расчёт вхожу: пенсион имеешь небольшой, деревеньками за тридцать пять лет безупречной службы, полагаю, не жалован. (*Смеётся.*)

И то сказать: не запросто ж так ты к сим запасам определён! Когда такое бывало, чтоб на Руси сапожник да без сапог оставался? Не нами этот порядок заведён – не нам его, брат, и рушить.

(*После очередной рюмки на генерала нападает приступ строгости.*) Но до известных пределов! Во так-с, нежнейшая Евро... Ерфа... Помню, помню – Никитишна... (*Целует ей руки.*)

Доброта начальственная – она как антонов огонь. Затронет сей недуг один какой член, а чрез неделю глядь: уже всё тело горит. И начинает костоедица нутро точить. А от неё, между нами, одно проверенное средство – трепциановое масло с яичным желтком. Вот так-с!.. Именно, драгоценнейшая... да, да, Никитишна!.. Доброта в меру нужна-с... Как опиумные капли успокоительные... (*Стучит кулаком по столу.*) А посему, ежели я узнаю о непорядках каких или во зло употребления – пощады никто не жди-с! Приговор короткий: под караул на гауптвахту – и шабаш! На хлеб и воду! Под шпицрутены! В Сибирь! Вот он каков, генерал Ланской!..

(*Внезапно гнев сменяется нежностью.*)

Дайте, дайте вашу ручку, сострадательнейшая... Да, да, мадмуазель... Ах, что за ручка! Но, право, климат здешний немало вредит вам... Уверяю... Удаляйтесь отсель при первой же оказии, нежнейшая Ерфо... Ев-

фросиньюшка! В столицу, непременно в столицу, туда, где бурлит образованная жизнь, где завсегда отыщется истинный ценитель сих прелестей... *(Пытаясь обнять поповну, натывается на капитана.)*

А-а, капитан-с! Николай!.. А давай-ка выпьем с тобою, мон шер... Выпьем за победы русские, самовидцами и соучастниками коих мы были! Ах, годы, годы! Где вы?.. *(Вытирает слезу, но тут же внезапно вскакивает.)*

Господин комендант! Слушайте приказание: поутру снарядить судно для отбытия моего в распоряжение главной квартиры к докладу пред самим императором! Всенепременно-с! Именно-с! Извольте исполнять, милостивый государь!.. *(Столь же стремительно садится и засыпает, уткнувшись лицом в тарелку.)*

ПОПОВНА. Сомлел, сердешный... Видать, что служба – не пряник тульский. Устал... Сколько дел, сколько дел! Да ещё с баркасом недоразумение.

БАНПАРТОВ. Да, да, с баркасом... А вода-то наша, любезная Евфросинья Никитишна, и вправду никак не средиземноморская. Студёна водица северная – без аллегориев. Оттого и перебрал генерал, а от излишеств чего не наплетёшь. Только вот не всё я уразумел, об чём генерал тотчас толковал. Когда твердят по-русски чересчур стремительно – не всё успеваю понимать. Про пенсион мой поминал, про беспощадность свою к лихоимству. А об сапожнике – к чему бы сие? Князю что, новые сапоги надобно справиться?

ПОПОВНА *(уклончиво)*. Это генерал так аллегорически изволил выразиться... Присказка имеется такая простонародная.

Входит Кузьмич с дымящимся самоваром.

КУЗЬМИЧ. А вот уж и самовар подоспел! Кухарка, дура баба, вздумала его лучиной греть. А от лучины что за жар, так – слёзы одни, в аккурат – ко второму пришествию и угадала бы. Углём берёзовым – самое дело!.. *(Замечает уснувшего генерала.)* Заснул, чё ли, соколик-то наш? Немудрено, вона сколь выкушал *(кивает на бутылки)*.

Господа генералы, известное дело, люди нежные, до напитков разборчивые. Где нам четверть надобна – им и трёх стопочек достанет. Ну, давайте, чё ли, вас, барышня, да вас, Николай Карлыч, чаем угошу. Не пропадать же добру, тем паче что лавочник, дышло ему в брюхо, по такой оказии полплитки чаю порядочного отпустил.

Поповна и Кузьмич приступают к чаепитию. Но мысли капитана заняты чем-то другим, он почти не притрагивается к чашке и постоянно поглядывает в сторону висящего на стене предмета. Поповна сидит рядом со спящим генералом: то поправит одеяло, то разгладит прядь спутанных генеральских волос.

КУЗЬМИЧ. Важный чай! Я такой только в Польше и пивал. Случай там был. Шли мы форсированным маршем на Варшаву, значит, да по бестолковости проводника забрели в лес. Поплутали изрядно, вымокли, утомились. И уж под утро натыкнулись на хутор. Так, жидовское местечко – дворов с десяток, не боле. Едва подошли – из передней избы выскакивает старик да на колени пред нами. И ну лепетать: мол, господа солдаты, обороните от притеснителей... И всё эдакое... Глядим: и впрямь полный непорядок,

немчура на хуторе бесчинствует. Самовольничают там эти, как их, прости господи... *(Поповна крестится.)* Эти, имя им ещё... Ливеры... лаверы, чё ли... Как, ваше благородие?..

БАНПАРТОВ. А?.. Что? Спросил что-то, Кузьмич?

КУЗЬМИЧ. Да запамятовал, как этих чертей прозывали, что на хуторе жидовском обиды чинили?

Поповна при упоминании нечистой силы вновь размашисто крестится.

БАНПАРТОВ. Ландверы силезские. Ополчение милиционное по-нашему.

КУЗЬМИЧ. Во-во! Ландверы. Милиция – одно слово. Они тамошних людишек в грош медный не ставили. Известно: своя шейка – копейка, чужая душка – полушка. Кто женского полу — страсть как забижали, а мужчин – особливо которые позажиточней – всех обдирали дочиста. Бусурманы, только на иной лад. Мы, понятный манер, порядок быстро навели, особо ретивых да пьяных связали, в холодную посадили под караул. Уж как нас эти жида благодарили, как кланялись! Меня, Евфросинья Никитишна, иначе как «господин сержант» и не величали! А потчевали как! *(Зажмуривается от удовольствия.)*

Даром что пощипала их немецкая сволочь... На столе и ветчина вмиг объявилась, и студень, и яишня. А наливки!... Каких только душе твоей угодно. Мы чаю испросили, так они нам на ротную артель фунтов десять наилучшего отпустили. Одно жаль, постояли там мало.

ПОПОВНА. Папенька мой завсегда чай у заезжих купцов покупает. Полпуда единовременно берёт, чтобы на целый год. А у лавочника скверный чай, он его, слыхала, лебедюю разбавляет.

КУЗЬМИЧ *(аппетитно прихлёбывает из блюда, не забывая и о содержимом бутылок)*. Ничуть не бывало, барышня! Изрядный чай, сами испробуйте. Трухой, да, есть такое – малость отдаёт. Но с того какой взыск? От сырой прели да от мыша на острову куда денешься?

ПОПОВНА *(отмахиваясь)*. Фу-у, Кузьмич!.. Какие непотребные предметы ты говоришь... От мыша! *(Крестится.)* Сразу видать, что человек ты простолодный, грубый... Не чета иным... *(Поправляет воротник генеральской рубахи.)* Разве можно чувствительным девушкам об таком говорить? Я ж их страсть как боюсь – мышей-то. Тебе сие известно, ты нарочито меня дразнишь. Да теперь я и на язык его не возьму, чаю твоего – с мышами-то!

КУЗЬМИЧ *(смеётся, довольный произведённым эффектом)*. Хо-хо... Мамзель мыша напугалась. Верно, в сугубых нежностях вы, Евфросинья Никитишна, произрастали. Мышь – он что? Зверь мелкий, но смышлёный, задаром в руки нипочём не дастся. А ведь бывало в походах, что с голодухи и малым мышом не брезговали... Да! Но мяса с мыша тьфу, на золотник – не боле. Иная статья — крыса. Да особливо ежели по осени в хлебной риге изловленная...

ПОПОВНА *(зажимает уши)*. Не желаю слушать твои дерзости, Кузьмич. Не желаю! Грех тебе!

КУЗЬМИЧ *(продолжая поддразнивать собеседницу)*. По осени они зело упитанные бывают, иная с кошку – во как!

ПОПОВНА. Изволь замолчать немедля! Николас... Николай Карлыч, велите ему не дразнить меня!

БАНПАРТОВ *(рассеянно)*. Что, что такое бесподобная Евфросинья Никитишна?

ПОПОВНА. Этот противный Кузьмич! Затвердил про мышей... Ему удовольствие надо мной смеяться.

БАНПАРТОВ (*с трудом собираясь с мыслями*). Про мышей?.. Да, да, Кузьмич, про мышей я упустил. Надобно в записках добавить... Чрез мышей, кроме овса, одного только проса пять четвертей недосчитались. Ты вот что... Возьми бумаги, что я давеча писал. Завтра снесёшь их к баркасу, отдашь его сиятельству для доклада в главную квартиру. Всё понял?

КУЗЬМИЧ. Так точно, ваше благородие! Чего тут премудрого? Да только я так думаю: надобно в те бумаги и об вашем мундире вписать. Не своей же прихоти ради вы его, чай, лишились, а чрез крайнюю казённую надобность.

Услышав слово «казённая», генерал внезапно оживает. Он пытается подняться, стучит себя кулаком в грудь.

ГЕНЕРАЛ. Да-с!.. Казённый интерес есмь первостепеннейшая цель государственного мужа! Как есть я потомственный дворянин... Как верно-подданный слуга Его Величества... Да за казённое добро, коли что проведу, я любого!.. В порошок-с!.. Именно-с!..

Падает, но его вовремя подхватывает Кузьмич.

ПОПОВНА (*суетится вокруг*). В дом... к нам в дом его надобно свесть... У нас в горнице истоплено, да и чисто. Пусть выпится, сердешный.

Кузьмич с генералом продвигаются в сторону выхода. Но у самого порога генерал вдруг скидывает голову.

ГЕНЕРАЛ. Николай, друг! Сотоварищ разлюбезный! Прошу тебя, мон шер, умоляю... При кровохарканьях – только карболовыми растираниями пользуйся. Средство испытанное, я тебе дело говорю-с! А ежели горло саднит или простуда какая – нету лучше голландских порошков. Коли тебе крайняя нужда будет – я из Петербурга пришлю...

Поддерживаемый Кузьмичом и поповной, генерал уходит нетвёрдой походкой. Капитан остаётся в комнате один. Занятый своими мыслями, он нервно шагает по избе, то и дело натываясь на стол, на лавки. То он подходит к висящему на стене предмету, то останавливается у печки и вносит поправки в нарисованный им план турецкой кампании.

БАНПАРТОВ. Вот и всё... Всё, да!.. При трёх государях служил капитан Банпартов, три кампании прошёл... Ран и увечий – не счесть... Опытности и умения не занимать – без аллегориев... А вот ишь как... Такое дело затеается, а он не нужен сделается... Как там в артикуле сказано? «Выслужившие порядочный срок и угасшие телесными силами, необходимыми в полноте регулярности полевых фрунтов, удаляются с пенсионном в инвалидные команды...» (*С силой швыряет на пол стакан.*)

Дьявол! Какое угасание сил?.. Я, ежели надо, ещё прошагаю столько же! Что Европа! Египет, Персия, Индия – вот где простор для истинного военного театра! Дайте мне корпус... хотя бы дивизию! – и завтра Александрия вместе с Калькуттой падут к стопам российского монарха! А они – о телесной немочи... Да я скорее чрез бездельное сидение на сём острову

угасну, чем от походов многотрудных! С ума сойду чрез ревизские премудрости, чем от картечного свиста!

(*Сжимая кулаки.*) Губит меня сей остров... Губит и душит... Остатние силы высасывает. Сколь мне ещё осталось? Год? Два?.. А какая пропасть несвершённого! Порвать бы эти путы да туда – где барабанная дробь снова зовёт бежать на ретрашементы неприятельские, шагать в дождь ли, пургу по сорока вёрст в сутки, питаюсь тем, что по пути добыто. И жить при этом, вдыхать полной грудью! Не прозябать, умирая тихо, безвестно...

Берёт табакерку, чтобы понюхать табаку. Но, открыв крышку, забывает о нём.

БАНПАРТОВ. Улыбаешься, недостижимая моя Жозефина? Ну и смейся, тебе всё позволительно! Да и грех такую оказию упустить – не подшутить над инвалидным капитаном, принуждённым делить дерзкие мысли свои со старым сержантом да с табакеркою. (*Вглядывается в портрет.*)

Нет, нет... Ты не по злобе чувств так улыбаешься. Тут иное... Ты знаешь что-то, знаешь и не желаешь открыться мне. Но и я кое-что ведаю, да – без аллегориев... Знаю, что настанет час, и я всё одно уплыву с сего холодного и неприветливого клочка суши. Куда? Того пока не ведаю. Зачем? Тот же ответ... Может, для того, чтобы сыскать, наконец, тебя, недостижимая Жозефина моя? И коли найду – тогда берегись! Никуда боле от себя не отпущу!.. (*Задумывается.*)

Вот только... Только дай свершить эту кампанию. Клянусь, она будет последней! Я столько о ней думал минувшие месяцы... Гляди же!

Капитан подбегает к занавешенному предмету и рывком сдёргивает закрывавшую его ткань. Мы видим карту, где скрупулёзно обозначен план военных действий.

БАНПАРТОВ. Главные силы я расположу вот тут. Да, здесь самая наивыгодная позиция: речная пойма, ровная местность для манёвра. Малую армию числом в две-три дивизии с артиллерией отряжаю сюда – теснить главное войско неприятеля с фрунта. Сам же с основными силами наступаю тут, с левого крыла. Гвардейскую кавалерию вкупе с кирасирами бросаю чрез мост на противный берег. От стремительности сего манёвра зависит, сумеем ли мы захватить вражеский артиллерийский парк. Далее всё просто, пред армией открывается наикратчайший путь к побережью. Бью сюда, потом – сюда...

Пока капитан чертит на карте дополнительные стрелы, позади его на большом экране возникают кадры. Это какой-то полуслучайный набор батальных сцен: бегут солдаты, стреляют пушки, кричат раненые, плачут дети... Что там, на экране? Бородинское сражение? Взятие Александрии? Московский пожар? Ватерлоо?.. Нарастает шум: канонада, треск выстрелов, ржание коней, звуки горна...

Наконец и увлечённый театром предстоящей войны капитан замечает происходящее. Он выпрямляется, расправляет плечи и внимательно всматривается в кадры несуществующей хроники. Кого-то напоминает эта фигура многозначительного мрачного молчания... Кого? Во всяком случае не капитана инвалидной команды Николая Банпартова.

Сколько времени это длится? Год?.. Жизнь?.. Ночь?.. Постепенно экранная баталия сходит на нет. Изображение расплывается, путает-

ся, звук обрывается. Время для капитана снова остановилось... И вот уже мы видим его не в горделивой позе вождя, а сгорбленно сидящим у печки и подбрасывающим в огонь поленья старым больным ветераном. На столе за его спиной несколько опустошённых бутылок.

В комнату входит Кузьмич.

КУЗЬМИЧ. Разрешите взойти, ваше благородие? Ох, и зябко ж на дворе, мочи нет...

БАНПАРТОВ (*бесцветным голосом*). Зябко, говоришь? А ветер что? Стих ветер?..

КУЗЬМИЧ. Ветру как не бывало, Николай Карлыч. Вода – ну чистое зеркало! Капля не ворохнётся, лишь рыбёшка какая мелкая иной раз выгряет хвостом. Чудно...

БАНПАРТОВ. Что чудно, Кузьмич?

КУЗЬМИЧ. Да всё чудно, ваше благородие. Намедни ещё форменная буря ревела, а ныне вся натура словно заново родилась. Тихо, аки в раю. Давеча только егосятство нам про анисовые капли толковали да анекдоты рассказывали, а теперь – словно и не бывало никого. Надолго только ли?..

БАНПАРТОВ. Возьми терпение, Кузьмич. Генерал проспится – снова рапортованием займётся. Такой содом настанет!

КУЗЬМИЧ. Бог с вами, Николай Карлыч! Егосятство-то уж час тому как отбыть изволили. Я мнил, вам известно.

БАНПАРТОВ (*встаёт с поленом в руке*). Как так отбыл?.. Куда отбыл? Когда?

КУЗЬМИЧ. Говорю, час уж с четвертью. Баркас, как и велено было, я ещё ввечеру приготовил, грамотки ваши сургучом опечатал и чин по чину егосятству утром передал.

БАНПАРТОВ. Чёрт, какая непочтительность вышла! Вообразит ещё, что я намеренно оказал небрежение. Обо мне он не справлялся?

КУЗЬМИЧ. Никак нет. Спешили они шибко. Так спешили, что салоп с капором на пристани впопыхах оставили.

БАНПАРТОВ. Что за чепуха? Какая нужда генералу в женском салопе?..

КУЗЬМИЧ. Так это ж, ваше благородие, не генеральский салоп-то...

БАНПАРТОВ. А чей тогда, позволь спросить?..

КУЗЬМИЧ. Знамо дело, чей... Поповны... Евфросиньи Никитишны...

Капитан долго смотрит на Кузьмича, не в силах осознать услышанное.

КУЗЬМИЧ (*пряча глаза*). Поповская-то дочка того... С генералом уехала. Уж не знаю, с ведома ли родительского, только ни свет ни заря дали команду егосятство, покидали солдаты ихние вещи в баркас – и только их и видали! Вот как оно ныне, Николай Карлыч... (*Вздыхает.*)

Капитан долго сосредоточенно молчит. Он что-то обдумывает... Да, он уже решил.

БАНПАРТОВ. Скажи-ка, Кузьмич, а цел ли твой старый барабан?

КУЗЬМИЧ (*не без удивления*). Так точно, ваше благородие. На чердаке висит целёхонький, коли мышь его не погрыз...

БАНПАРТОВ. А как генерал-марш бить, не забыл ещё?

КУЗЬМИЧ. Годов семь, как не пробовал. Но руки вспомнят, ваше благородие.

БАНПАРТОВ. Отлично. Отлично, сержант! Видишь, как всё само собой разрешилось. Отлично – без аллегориев!..

КУЗЬМИЧ. Да что вы такое удумали, Николай Карлыч?..

БАНПАРТОВ. А то и удумал, Кузьмич. Хромай ни минуты не медля за своим барабаном, бей общий сбор и генерал-марш! Вахмистр Соловейко на плацу пусть команду строит. К моему приходу чтоб выдал людям все имеющиеся в цейхгаузе ружья, тесаки и ранцы с порционом сухарей. Стой! Самое главное забыл... Бюллетень-то кто подготовит? Садись, пиши...

Озадаченный Кузьмич берёт бумагу и перо, садится за стол. Капитан диктует.

БАНПАРТОВ. Пиши: «Солдаты, товарищи и дети мои! Сегодня решилась судьба наша. Как есть мы люди военные и присягой обязанные, наиглавнейший долг наш – быть в первых колоннах действующей супротив неприятеля армии. А посему гарнизонной команде в числе двадцати шести инвалидов надлежит нынче же отплыть для пополнения изготовленной к новой кампании армии. Солдаты, семейные сродники мои! Я поведу вас в обильные долины, где вы не станете терпеть нужды ни в провианте, ни в славе воинской, коей предстоит покрыть вас неистребимой позолотой памяти грядущих потомков! Орлы государевы! Расправьте же крыла свои и устремитесь вперёд, навстречу солнцу нашей вящей гордости!»

КУЗЬМИЧ. Всё?

БАНПАРТОВ. Всё.

КУЗЬМИЧ. А подпись? Отставной капитан от инфантерии Николай Банпартов?

БАНПАРТОВ. К чему эти длинноты? Две литеры поставь: Н и Б. Сего предостаточно.

КУЗЬМИЧ. Так точно, ваше благородие, куда более. Разрешите идти?

БАНПАРТОВ. Ступай. А следом, пожалуй, и я отправлюсь... Мало времени у нас, Кузьмич, адски мало...

Оставшись один, капитан берёт в руки табакерку, внимательно вглядывается в портрет. Затем решительно захлопывает крышку, засовывает табакерку в карман сюртука и быстрым шагом выходит из избы.

За сценой слышны звуки военных сборов: бьёт барабан, раздаётся топот солдатских сапог, подаются какие-то команды, бряцает оружие. Эти звуки вскоре сменяются плеском вёсел.

В комнате появляется кухарка. В руке у неё ведро с известью.

КУХАРКА. Батюшки светы! Срам-то, срам какой! Натоптали, накидали – чисто поросята. А ещё благородия! Тьфу!.. И печку опять опосля капитана белить... В который уж раз?..

Принимается белить печку. В перерывах прислушивается к звукам с берега.

Ишь, в барабан-то как крепко ударяют – аж в ушах закладывает. Это небось Кузьмич старается – первый в команде затейник. Даром что хромый. Нет, в тот раз потише было. Без барабанного бою тогда в поход отряжались. А ныне глянь чё вытворяют!.. Эко забористо: «Дирекция направо! Попарно – шагом арш!..» Не иначе комендант, его голос. Лишнего не

скажу, человек он смирный, да вот иной раз вожжа под хвост залетит... Ничего, пушай. Погуляют солдатики, а потом снова шёлковые сделаются. Известное дело, разве русскому человеку на одном месте без дела долго можно быть? Вот оттого-то и сумасбродничают. (*Замечает карту военных действий.*)

А листки-то свои военные оставили. Будет чем печку растопить. (*Срывает и мнёт карту.*)

Нет, для русского человека унылая жизнь – яко тьма кромешная. Ни радости в ней, ни удалства – хоть волком вой...

(*Снова прислушивается.*) А теперь песню завели... Это Болотов-сержант затягивает, он на весь остров песельник изрядный. Вона, шельмы, как кругло выводят, ажно под микитками зачесалось. Одно слово – служивые...

Занавес

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского госуниверситета. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

УКРАИНСКАЯ СМУТА

Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли.

Иван Аксаков, 1876

На 2014 году приходится немало юбилейных дат. Это и 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского, и 200 лет со дня рождения Лермонтова. Однако некоторые даты окрашены последними событиями в не слишком радужные, а порой и в нервозно-возбуждающие цвета. Это – 60 лет передачи Крыма Украине и 360 лет присоединения Украины к России. Тяжелая украинская смута вынуждает говорить не столько о дружбе народов, сколько об их национальных особенностях и об их отношениях не в таком уж и благостном тоне.

Вот что писал полтора века назад великий наш писатель и провидец Ф.М. Достоевский:

«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать освобожденными! Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени».

Может, целое столетие, или еще более, они будут трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России: они будут заискивать перед европейскими государствами, будут сплетничать на нее и интриговать против нее.

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для них всегда. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что будут повергаться насмешкам, ненависти и даже политическому гонению.

Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации.

У них, конечно, явятся с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец министерство в (...страну по вкусу...) и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний (...фамилию по вкусу...) согласился наконец принять портфель президента совета министров.

России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнут хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человечества...

Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше) что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство». (Дневник писателя, сентябрь–декабрь 1877 г.)

И это – и об украинцах, и об Украине, к сожалению. Что ж, соседей и родственников не поменяешь. Надо жить и находить выход. Для этого надо понимать истоки вопроса.

Первое, что следует отметить, – различие в особенностях мировосприятия русских и украинцев. Так или иначе, такие особенности имеются у всех народов – в силу исторических, религиозных и других причин.

Приведем мнения людей двух авторитетных людей, по рождению своему и культуре имевших возможность сравнивать украинскую и великорусскую натуры.

Один из них – митрополит Вениамин (Федченков), человек с очень интересной судьбой и уникальный мыслитель и писатель. Если кто не читал его сочинений, то очень и очень рекомендую. Он был епископом армии и флота у Врангеля в Крыму, служил экзархом, т. е. руководителем, православной церкви в Америке в период Второй мировой войны, затем – митрополитом в Саратове. Митрополит Вениамин, по отцу из украинцев, по матери из русских, неоднократно размышлял на эту тему – о различии русских и украинцев. В своих воспоминаниях «На рубеже двух веков» он отмечает по сравнению с русскими, некоторую леность и беспечность «хохлов» и специально заявляет: «В противоположность им (украинцам) великоросс, прошедший более суровую школу истории, преодолевавший холодный климат, дремучие леса, короткое лето, холодную зиму, бедную

землю, вырос в закаленного жизнью борца, колонизатора, правителя. И совсем не случайно это великодержавное племя оказалось во главе России...» Отметим эту находку – великодержавное племя!

Кстати, напомним этимологию слов «хохол» и «цап». Украинцы традиционно на голове носили клок волос, чуб, а отсюда и «хохол». Русские же носили бороду, а потому – «як цап», т. е. как козел, «цап» по-украински.

Вторая фигура, тоже волею судеб поставленная на стыке народов, – отец Василий Зеньковский, по рождению украинец, а по обстоятельствам жизни человек русской культуры, не знавший украинского языка, известный историк русской философии, был министром по делам вероисповеданий при гетмане Скоропадском и, конечно, был вынужден размышлять о национальных различиях. В своих воспоминаниях «Пять месяцев у власти» Зеньковский отмечает: «То, что Россия продолжала оставаться русско-украинским колоссом, поглощавшим массу украинских сил, показывало трудность отстаивания творческой отдаленности: творческие силы Украины постоянно вливались в огромный поток большого культурного дела, – и на долю чисто украинского творчества почти всегда оставалось *dii ni-poges**. Ничто так болезненно не действовало на украинскую интеллигенцию, как именно этот факт неизбежной "провинциальности", которая все время отличала украинскую культуру и на которую мы были обречены в силу ее сдавленности и слабости. Бессилие сказать что-либо большее, невозможность "зажить своей жизнью", отдельно от огромной России, рождало гневное отталкивание от России, легко переходившее в ненависть. Россия вызывала к себе вражду именно своей необъятностью, своей изумительной гениальностью, и то, что она забирала к себе украинские силы, делая это как-то "незаметно", – больше всего внутренне раздражало украинскую интеллигенцию, болезненно любившую "нерасцветший гений" Украины... Свобода и равнодушие рядом с чрезвычайной мощью русской культуры очень быстро и легко привели к полному ничтожеству затеи об особой украинской культуре... Нельзя же в самом деле огулом обвинять украинскую интеллигенцию в "ненависти" к России – ненависть может быть и была, но у немногих, у большинства же была любовь к Украине и страх за нее. Тут была налицо глубокая трагедия Украины, не сумевшей ни укрепить, ни охранить свое политическое самостоятельное бытие и вынужденной, конечно, навсегда, идти рука об руку с Москвой. Но Украина потеряла не одну политическую свободу – она потеряла "естественность" своего культурного творчества, вливаясь в огромное мощное русло русской культуры – она отдала столько своих лучших сыновей на служение Великой России».

Далее отец Василий Зеньковский пишет: «Люди обиженные всегда больше переживают небрежность к себе, чем те, у кого жизнь складывается счастливее. И украинская интеллигенция чем дальше, тем больше ощущала свое одиночество, свою роковую непонятость – и в темноте обиды и гнева закалялась любовь к своей обиженной родине, к ее "нерасцветшему гению"».

Отметим здесь еще одну позицию – «нерасцветший гений» Украины, отдельной от России... Это означает, что, шагая по пути от начальных ступеней культуры к этнографической, а затем к национальной и, наконец, к мировой, Украина была вынуждена от ступени Шевченко (украинской) переходить к ступени Гоголя (мировой и русской, но не украинской)!

Здесь уместно будет объяснить недоразумение и непонимание относительно смысла названия «Малороссия». Украинцы нередко слышат в этом

* Младшие боги; *перен.* – люди, занимающие второстепенное положение (*лат.*).

слове ущемление самостоятельности Украины. Получается будто бы, что Малороссия есть та же Россия, только меньше, а мы, дескать, уже выросли. На самом деле это излишне нервная реакция. В свое время малой Грецией называли собственно Грецию, а Великой Грецией все эллинистические образования. Великую Грецию создал Александр Македонский. По сути дела, Малороссия – это малая родина Великой России. Для русского народа это название указывает на родство с украинцами и с малой родиной. Вспомните выражение: Киев – мать городов русских. Оно неверно и неточно, но в нем опять же сказывается то же любовное отношение к общему родству и родине. Но нельзя же вечно жить в колыбели! С другой стороны, разве Украина не несет в себе оттенок *окраины*, пусть и чего-то великого, но окраины! Видимо, поэтому на Украине стали упорно требовать «выражаться правильно» – «в Украине». Мне кажется, подобные лингвистические претензии говорят сами за себя...

И еще к вопросу о менталитете. Что же за особая державность России? Интересен рассказ известного монархиста В. Шульгина. В разговоре с командиром из дивизии Котовского спросил у котовца:

«– Отчего вы так против Петлюры?

– Да ведь он самостоятник.

– А вы?

– Мы.. мы за "Единую Неделимую".

Я должен сказать, что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я с двумя сыновьями с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски-эпически дрался за "Единую Неделимую" именно с дивизией Котовского. И, вот, оказывается, произошло легкое недоразумение: они тоже за "Единую Неделимую!». Получается, что и русские монархисты, и русские коммунисты выступают за единую и неделимую Россию. Значит, ключевое слово здесь – русские и их отношение к державе.

Россия – центр, Россия – собирающее ядро, проросшее во все далекие окраины и очень живо, до болезненности, чувствующее эти края своими родимыми.

Итак, русский народ выступал за Единую Неделимую великодержавную Россию с чрезвычайной мощью культуры. Напомним, что русский язык – один от Бреста до Владивостока, и народ один, и «Владивосток далеко, но город он нашенький» (Ленин).

Теперь посмотрим на Украину. Три части территории, три группы основные населения и три языка бросаются в глаза. Одна группа – собственно украинцы (Киев, Чернигов, Полтава, Сумы, Житомир), Вторая группа – по сути дела, русские, в первую очередь из Новой России (Керчь, Севастополь, Симферополь, Одесса, Николаев, Херсон, Донецк, Кривой Рог, Луганск, Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь). И третья группа – западенцы-галичане (Львов, Ивано-Франковск, Тернополь). И есть четвертая, не очень видная и не бросающаяся в глаза, это – староруссы-русины (Ужгород, Мукачево, Черновцы).

Теперь некоторые объяснения. Украинцы не требуют особых толкований, они, собственно, и выступают на первый план у любого, кто думает об Украине. Их основная масса. Чаще всего они двуязычны, и именно к ним относится сказанное митрополитом Вениамином и отцом Василием Зеньковским. Государственного стержня мощного нет, на культурной шкале недалеко ушли от этнографического уровня. Украинцы, по идее самостоятников, и должны выступать объединителями. Однако уже в XVII веке именно эта часть населения правильно предпочла присоединиться

к России. Собралась Переяславская Рада, и Украина стала частью Великой России. Утвердить самостоятельность государственного стержня и культуры в этой обстановке не получалось. Не получается и сегодня.

Вторая часть нынешней территории Украины образовалась из отвоєванных земель в блестящем XVIII веке. В Новой России, как тогда называли эти территории, выросли русские города – Севастополь, Симферополь, Одесса, Николаев, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Луганск, Кривой Рог, Мариуполь. Там жили и русские, и украинцы, и греки, и другие этносы, но край был русским. И Новая Россия была промышленно развита – шахты Донбасса, верфи Николаева, заводы и фабрики, создававшиеся сразу под государственным напором и государственным заказом. Когда либералы-февралисты развалили империю в 1917 году, большевики стали собирать ее заново. Дабы обеспечить себе поддержку пролетарского и русского основания и усилить тем самым государственный ствол (великодержавность), Новую Россию присоединили к Украине, сделав для начала столицу в Харькове. Вроде бы получилось. Однако любой, кто следил за выборами на Украине в последнее время, легко обнаруживал, что Новая Россия голосует по-особому, отдельно от прочей Украины. Затем к этой русской Украине 60 лет назад многогрешный Хрущев своей дурацкой волей присоединил русский Крым. Города русской славы Севастополь или Керчь так и не стали, конечно, городами украинской славы. Ну, не производилось это слово. То же самое с Одессой, Николаевом и другими. Повторю: Новая Россия очень мощна, многолюдна и промышленно развита.

Третий часть территории и этнокультуры – западенцы (галичане). Присоединение Львова и западных областей Украины в 1939 году включило многоэтническую культуру в республику Украину. Там было много поляков, венгров, украинцев из Австро-Венгрии и Польши, галичан. Средний образовательный и культурный уровень у них был невысокий, и это подчеркивало чуждость культуры, внешний вид нередко европейский, «файный» (т. е. приличный, красивый, городской), в религиозно-культурно-языковом отношении они отличались от украинцев. Помню, на Владимирской горке в Киеве услышал разговор экскурсионной и явно славянской группы. Их речь мне была плохо понятна, поэтому спросил сопровождавших меня украинцев, окончивших украинскую школу, отлично говоривших на своем языке: «Кто это?» Прислушавшись, мои украинские спутники согласились со мной, что это славяне, но кто точно, не могли сказать: «Мабудь, чехи, словаки». Группа эта была западенской. Даже язык и речь оказались отличны! Про них рассказали украинский анекдот:

– Стоят Тарас с Панасом во Львове недалеко от известного Театра оперы и балета. Подходит иностранец в очках и шляпе, приподнимает шляпу, извиняется и спрашивает по-русски, не подскажут ли ему дорогу к Оперному театру. Театр рядом, но Тарас с Панасом делают вид, что не понимают. Приезжий задает тот же вопрос на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, польском, однако ответ все тот же – молчание. Приезжий извиняется и уходит. Тогда Тарас спрашивает у Панаса: «Скільки вин мов знає? (Сколько языков он знает?)» – «Семь, – говорит Панас». Тарас торжествующе: «Хиба ж оно ему дало!»

В этом анекдоте хорошо схвачено и передано чувство неполноценности, смешанное с недоброжелательством, к сожалению, весьма распространенные и среди западенского плебса, и среди интеллигенции. Помните, ведь не случайно В. Зеньковский писал о ненависти...

И наконец – народ, который называют по-разному: староруссы, бойки, лемки. Неустойчивость и расплывчатость названия уже говорит о социаль-

ной и этнической инородности русинов, как они сами себя они называют, живших то среди венгров, то среди чехов и словаков, то среди украинцев. Самоназвание «русин» – фактически самоидентификация: «я – русин», «мы – руськия люди» (это по-русински, их язык немного отличается от современного русского).

Закарпатье 600 лет не было русским, часть древнерусских земель были завоеваны венграми, потом эти территории стали в значительной части австро-венгерскими. Но в бывшей Австро-Венгрии жили люди, которые считали себя русскими, исповедовали православие. Когда они после Второй мировой войны вошли в состав России, то оказалось, что они не похожи на украинцев и на великороссов. Полтысячи лет не прошли даром. Сегодня их в разных государствах на Карпатах до двух с половиной миллионов человек, они ощущают себя особым народом, т. е. не украинцами, не словаками, не белорусами, не галичанами, и не хотят становиться украинцами и не собираются отказываться от православия. Во главе объединения русинов стоит протоиерей, настоятель кафедрального собора в Ужгороде Дмитрий Сидор. Во время войны был сформирован в Бузулуке под командованием Людвига Свободы Чехословацкий корпус, который вместе с нашими войсками, освобождал Карпаты и Чехословакию. В этом корпусе больше двух третей было русинов. После освобождения Ужгорода они обратились к Сталину, и до конца войны, полтора года, существовала автономная республика Карпатская Русь. Русины выдержали большие гонения и заключения в лагерях в Австро-Венгрии, оккупацию и войну с Гитлером, выдержали давление демократической Украины и не собираются меняться. Они хотят собственного государства, проводят выборы, у них есть правительство, совет. Они обратились к Путину 15 марта 2014 г. с просьбой помочь выжить в борьбе с фашистским режимом Майдана и создать – восстановить автономную или независимую республику Карпатскую Русь.

Добавим, что при наличии такой этнической смеси на Украине только христианских церквей – четыре. Есть католики, есть униаты (т. е. вроде бы православные, но подчиненные римскому папе), есть самостийная Украинская Православная Церковь, и, наконец, Православная Церковь Московского патриархата. Первые три – католики, униаты, Украинская самостийно провозглашенная церковь – видят главного врага в церквях Московского патриархата. Происходят столкновения, захваты храмов. Главные националисты и бандеровцы, как правило, вышли из среды униатов, причем австро-венгерских. Сам Степан Бандера этому образец – сын греко-католического священника.

Добавьте к этому еще политическую чересполосицу – коммунисты, либералы, самостийники, кто-то «За Европу», кто-то «За Россию». «Свобода», «Батькивщина», «Правый сектор», «Братство», «Удар», Партия регионов... Кто все это объединит? И можно ли это объединить? Пока никому не удавалось.

Уровень жизни низкий. Говорить, мол, Европа нам поможет, конечно, можно, но легко сообразить, что Украина много больше какой-нибудь маленькой страны, например, Греции. И если Европа не хочет подкармливать даже «свою» Грецию, то помощь европейцев Украине Майдана будет разве что символической, до смешного мизерной, да еще и окажется разворована.

На этом фоне стало очевидно, что противоречия не стираются, но усугубляются нестерпимо. Фашисты из «Правого сектора» и нацисты Тягнибока, кричащие об одном государстве и одной нации, – представьте, сколько

людей они готовы поставить под удар! А у самих украинских властей и президентов тоже до сих пор ничего не выходило. Президенты – явно не Лукашенко и не Назарбаев, и Украина – не Белоруссия и не Казахстан. В отличие от Украины в этих странах легально и официально говорят по-русски, армия есть, все коммунальные службы работают, пенсии и стипендии платят, на улицах порядок.

На Украине армии фактически нет. Пока единственное достижение армии было в том, что она по ошибке сбила над Черным морем пассажирский самолет с израильтянами на борту, после чего выяснить положение дел с вооруженными силами вообще стало просто невозможно. На официальном сайте правительства много частей и много кораблей, и обученных людей много, и дух их силен. В то же время телевизионный и интернетовский видеоряд этого, мягко говоря, не подтверждает. И вот очередной начальник Украины Яценюк, едва заступив на должность, первым делом просит у американского президента дать ему вооружение и горючее для армии...

В богатейшей когда-то стране уровень жизни упал, заводы исчезают, не уменьшается лишь количество олигархов и бандитов. Но трогать их тоже нельзя из-за их заслуг перед Майданом. Криминальные группировки, прикрывающиеся политическими лозунгами, легко принимают любого неукраинца – еврея, армянина, татарина, русского, но с единственным условием – быть активным русофобом и, мягко выражаясь, готовым на сомнительные дела человеком. Заставить эту публику работать очень трудно, и большая часть молодого поколения надолго отравлена прелестью полупреступного ничегонеделания и презрением к закону.

Сложившаяся минувшей весной ситуация высветила то вечное, что всегда работало в пользу русской державы. На большей части Украины стали собираться многотысячные митинги, на переполненных площадях зазвучало: «Россия! Россия!»

Но ведь эти настроения были всегда. Русская держава создавалась за счет добровольного присоединения народов и государств. Сегодня готовы присоединиться к России Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым, Закарпатье... А разве когда-то Грузию пришлось завоевывать? Как писал Лермонтов:

...О том,
как, удручен своим венцом,
такой-то царь, в такой-то год,
вручал России свой народ.
И божья благодать сошла
на Грузию! Она цвела
с тех пор в тени своих садов,
не опасая врагов,
за гранью дружеских штыков.

Подобная история повторялась, и не всех могла принять Россия. Как исторический курьез можно вспомнить, что в 1818 году просил Крузенштерна и Лисянского принять в подданство России Гавайские острова король Камеамеа I. Привлекали к себе, как писали в средневековых хрониках, любовью и лаской, ожидая для России только дополнительной нагрузки по защите и кормлению новых подданных. Как правило, включенные территории в составе России жили лучше, чем вне ее. Прибалтика в последние года советской власти зарабатывала 6,9 млрд руб., а тратила 9,6. То же самое происходило со всеми бывшими частями России – Совет-

ского Союза. Разве кто-то сегодня в России ждет немедленной прибыли от Крыма? Тот, кто бывал в недавние незалежные времена в Крыму и видел весь этот развал и тяжелую жизнь крымчан, не сразу даже понимал, почему так случилось в экономике. Ведь незалежная и самостийная долго твердила, что москали все сало «збили». И вот спустя двадцать с лишним лет незалежности – что изменилось к лучшему в стране? Чего же вам не хватало?

Хотим в Европу, сказали вы. Ваше право, хотя и жалко было простаков. Вот только Европе не нужны ни конкуренты, ни нахлебники. А Россию самостийные, как уже говорилось, не любят. Только в чем же самостийность, если вы хотите быть «европейцами», т. е. перестать быть украинцами?

Минувшей весной со всей очевидностью проявились факторы-векторы, которые **ведут в Россию**. Не увидеть и не услышать их было невозможно, когда о них стали кричать на площадях Украины. В лозунгах: Россия, спаси и сохрани, любовь к России, православие (возлюби ближнего своего) и, как ни покажется кому-то удивительным, коммунистические принципы социальной справедливости, труда как основы жизни, дружбы народов. (Впрочем, чему тут удивляться: коммунистические тезисы – это естественная и закономерная реакция на антикоммунизм как родовую примету новых бесчинствующих бандеровцев.) И, конечно, стремление и право русских говорить по-русски.

В ответ – уничтожение памятников Ленину, сожжение дома первого секретаря ЦК КПУ Симоненко, избиение и пытки секретаря Львовского ГК КПУ Василько бандеровцами, проклятия униатов и самостийной украинской клировой братии Московскому патриархату, отключение русских телеканалов, попытка захватить Почаевскую и Киево-Печерскую лавры, запретить русский язык и потуги прибиться к русофобской Европе, не желающей даже разобраться с тем, что происходит на Украине.

И вот факторы-векторы **ухода от России**: фашизм, ненависть, «утопим жидов в русской крови», русофобия, либерализм.

Поразительно, как застит ненависть зомбированным националистам глаза. Польша поддержала Майдан. Но ведь националисты с Майдана прямо подчеркивают свою связь и преемственность с теми, кто в вольтинском деле 1943 года «очищал» Украину от «ляхов», когда зверским образом были убиты бандеровцами от 50 до 150 тысяч мирных жителей-поляков. Однако это почему-то ничего не значит для польских властей, поддерживающих Майдан. От украинских националистов несутся призывы расправиться с евреями, и уже оскверняются и горят синагоги, избивают людей. И – парадокс! – руководители ряда еврейских организаций, всякие «эксперты-правозащитники» из числа либералов, в том числе российские, упорно не замечают бесчинств антисемитов, фактически поощряя их к новым преступлениям. Воистину: кого бог хочет наказать, того лишает разума.

На этом фоне, мне кажется, хорошо высвечивается суть России. Историки и философы постоянно пишут о неожиданных катастрофах как особенностях русского развития. Действительно, в 1916 году Россия практически выбила из войны брусилковским ударом Австро-Венгерскую империю, развернула свою военную промышленность и готова была идти на Берлин. Вместо этого, по выражению Черчилля, русский корабль затонул при входе в гавань. Как писали в средневековых хрониках, народишко соблазнился и исподличался. Начался февральский либерализм, погубивший империю и войско. Империя исчезла в два дня, как выражался наш земляк В. Розанов. Однако и возрождение России было столь же неожиданно быстрым. Если

в 1918 году офицеров убивали на улицах, то в 1920-м уже в армии действовал лозунг «Даешь Варшаву!» и дальше – «На Берлин!», в Европу. Европа долго тряслась от русского замаха. А что же с европолюбями-либералами? Напомню, что Керенский как своеобразный символ (Горбачев своего времени) имел в эмиграции и кличку «Александра Федоровна», или еще хуже – «человек, которому бьют физиономию», а когда он умер, то его пришлось везти в Европу из Америки потому, что православные люди на своих кладбищах отказывались его хоронить. В Европе же его все же похоронили, но на кладбище для людей без родины и без религии.

Россия – страна идеократическая. Есть идеология – страна живет, развивается, народ целеустремлен, энергичен, ориентирован на созидание. Нет идеологии – считай, катастрофа – народ в разброде с государством, с самим собой, во власть рвутся временщики и коррупционеры, отсюда общее падение нравственности, подмена общенациональных ценностей заботами сиюминутного выживания, морали – культом потребления. В конечном счете – смута... Так случалась не раз. Не стало православия – погибла империя. Не стало коммунистической идеологии – пропало советское государство. Но как только восстанавливается совесть и вера, пробуждается тяга к социальной справедливости, к «возлюби ближнего своего», к позиции «труд – основа жизни», русский маятник двигается – и довольно быстро! – в обратную сторону.

Православие и коммунизм явно выглядят двумя сторонами одной медали, и, слава богу, эта медаль русская. В идейной сфере маятник двинулся в обратную сторону от либерализма давно, патриотизм стал опять не просто приличным, но и едва ли не обязательным словом в государстве, народе и среди служивых людей. Служивые вовсе не значит чиновники, это, скорее, военнослужащие всех видов. Любить свою страну и свой народ естественно для человека. И Крым показал наглядно: в России всегда найдутся умные и смелые лидеры, умеющие в сложный момент взять на себя ответственность и способные к решительным действиям.

Народы и страны так же, как и люди, имеют свойство быть неблагодарными. Вспомним маркиза А. Кюстина. Роялист, выкинутый из родной страны и лишенный собственности Наполеоном, фактически был благодетельствован русскими. И он же стал образцом ненавистника России. Другой пример. Болгары в период турецкого ига получали со стороны русских всемерную дружескую поддержку и помощь, и они же и в Первую, и во Вторую мировую войну оказывались в противоположном, антирусском лагере. Вот слова митрополита Вениамина (Федченкова):

«Однажды я в магазине встретил болгарина-офицера и говорю ему с откровенным упреком:

– Как же это вы, братушки-славяне, которых Россия освободила своей кровью от турецкого ига, теперь воюете против нас?

– Мы, – совершенно бесстыдно ответил мне по-болгарски упитанный офицер, – реальные политики!

То есть где выгодно, там и служим. Противно стало на душе от такого бессердечия и огрубелости».

Можно этот ряд продолжать, и он, к сожалению, был бы очень длинным. В данном случае в этот ряд встанут те украинцы, которые вдруг заговорили о «гносных москалях»: те, мол, не только «сало съели», но и на бедную Украину напали. Непредвзятому человеку смешно и кажется глупым. Ведь Россия как раз от отличие от Запада не совалась в украинские проблемы, даже давала газ по дешевой цене, а Крым, по существу, никогда не был украинским. Украинская страница Крыма – лишь случайный зиг-

заг истории, самостийные так и не смогли им управлять, развалили все, что было возможно, довели людей до белого каления.

Какие уж тут воспоминания о просьбах украинской Переяславской рады спасти православную Украину от турок и ляхов! Ведь что интересно: русский язык существует на Украине фактически полулегально, но при этом украинский язык стал постепенно чахнуть, писатели стали писать или по-английски (таких, правда, очень мало), или по-русски. Можно ли изменить ситуацию запретами? Разве русские не давали развивать украинскую литературу? Стоит подумать над тем, что мешает развиваться культуре! Тут можно лишь высказать предположение: поскольку язык есть воплощенная система ценностей, то какие ценности несет украинский язык сегодня? Если господствующей властью на него возложена задача взращивания ненависти к ближнему своему, к русскому, то на такой базе высокой литературы не создашь. На огульной хуле и ненависти построить достойную культуру невозможно. Неблагодарность убивает душу, а значит, и искусство.

Неблагодарность как свойство человеческой природы давно описана в литературе. Как говорится, берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда... И должник начинает заниматься самооправданием: дескать, кредитор сам не очень хороший человек, и не помощь он оказывал, а преследовал свои меркантильные цели, а в результате поставил-де должника в неудобное положение, да и вообще он нехороший тип, и отдавать ему долг вовсе не обязательно. Едва ли не у всех народов мира существует поговорка: не делай человеку добра – не получишь от него зла. И все же, все же! Этот сюжет касается и «невежественной и неблагодарной» по отношению к России (Пушкин) Европы, и увы – касается и наших любимых славян, грузин, есть и другие примеры.

К сожалению, ситуация неблагодарной беспамятности повторяется часто. Разве Польша вспоминает о заслугах русских по спасению поляков от немцев в XV веке в Грюнвальдском сражении или о спасении в XX веке и о приращении русским попечением громадной территории Западной, и не только Западной, Польши?! Саакашвили (не случайно ненависть к России приводила его на Майдан в Киеве) встречал немалую поддержку среди населения Грузии, спасенной (напомню только резню в Тифлисе, устроенную Ага-Мохамедом в 1795 году) русским оружием от исчезновения. Грузия продолжала пользоваться газом, нефтью и электроэнергией по льготным ценам из России, готовясь нападать на русских миротворцев. Вспоминаю, с каким душевным страданием рассказывал об этом в Государственной Думе первый секретарь ЦК КП Грузии Георгадзе. Лучшие представители народа это понимают, испытывая боль и стыд за действия своей власти.

Так и просится сказать: ну что тут поделаешь? И все же есть надежда, есть выход. Глубинный, коренной императив русского народного характера – стремление жить по совести и по справедливости. Если удастся донести и привить этот принцип – не силой, разумеется, а посредством диалога культур, терпеливым и терпимым отношением друг к другу, пониманием национальных особенностей, то талантливость любого народа дает удивительные всходы. Так, потомок грузинских царей Петр Багратион стал русским героем. А Достоевский и Н. Лосский с польскими корнями стали великими философами и писателями, а заодно и осмысленными патриотами России.

Вот этой духовной прививки не хватает нашим российским деятелям культуры, подписавшим протест против «вмешательства России

в украинские дела». Что ж, к сожалению, смердяковых в России хватает. Их не так уж много, но они активны и требовательны, нетерпимы к чужой точке зрения. Печально, что подобные либералы живут здесь, в России, говорят на русском языке, пользуясь всем русским и в то же время ненавидя нас (думаю, что именно нас, а не государство, уж слишком постоянно они не совпадают с мнением народа).

Вспоминается анекдот про игуану. Эти ящерицы питаются падалью, потому их укус может привести к смерти. Завел либерал подобную зверушку и рассказывает профессионалу-биологу, что игуана удивительно милое существо. Мол, случайно укусив хозяина и будучи побита тряпкой, ходит теперь за хозяином по пятам и смотрит так виновато, словно прощения просит. А биолог объясняет: после укуса игуана просто ходит за жертвой и ждет ее смерти. Вот и наши прекраснотушные либералы, которые видят в бандеровцах этаких милых зверушек, могут получить сомнительное удовольствие удивиться укусу и принять смерть от фашистской гиены, выращенной Европой. И не дожидаться спасения от оболганной России...

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006 г.). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

На грани срока годности

Сборники художественных текстов или научных работ часто называют братскими могилами. В том плане, что они не рассчитаны на широкую аудиторию, а представляют интерес лишь для людей, которые тиснули туда свою научную статью для отчетности или художественный текст для удовлетворения собственного тщеславия. Время от времени можно доставать этот сборники с книжной полки, найти свою фамилию и наполнить сердце радостью – галочка поставлена.

Также и с нашими премиями. Волей-неволей приходится рассуждать о них с использованием кладбищенской образности. На братскую могилу они не тянут. Все-таки премия – это забег, в котором каждый хочет вырваться вперед, стать первым, чтобы его фамилия была прописана более крупным регистром, чем у всех остальных. Не будет большим преувеличением сказать, что это – скорее могильная плита с нацарапанной на ней эпитафией.

Так сложилось, что даже из литературной общественности мало кто помнит победителей предыдущего премиального цикла. А вот те, кому не дали, как правило, остаются в памяти. Кто-то помнит и читает такого прозаика, как Елена Чижова? Ей в свое время дали букеровскую премию, хотя фаворитом считался Роман Сенчин с действительно знаковой книгой «Елтышевы». Было ощущение, что жюри не хватило смелости его наградить, а с Чижовой проще – можно дать премию и забыть. И пусть потом ее книги обильно присутствовали на книжных полках с пометкой «букеровский лауреат», но так и растворились в пыли.

Кто-то помнит победителей премии «Большая книга» за 2012 год? Вот то-то и оно. А книгу Тихона Шевкунова «Несвятые святые», которую странным образом обошли и никак не отметили, читают с завидным постоянством. Она до сих пор на слуху.

Кто-то помнит, кто-то читал, к примеру, роман Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер»? А ведь он стал лучшим романом 2012 года по версии все того же букеровского жюри. Назвали, и роман тут же канул в Лету. Почил под спудом лауреатства. Его могильной плиты. И таких примеров масса. Посмотрите списки лауреатов – в основном все странные

названия, которые не звучат, да и не звучали. Не могли звучать. Потому как наша премиальная инерция отмечает литературу вчерашнего дня, лауреатами становятся тексты на грани срока годности, чтобы уж совсем и моментально не протухли – вот отметили.

Литература вчерашнего дня стремится к самолокализации, к замыканию в своей цеховой кастовости. Так уже было в девяностые годы, когда литераторы захлебнулись в потоке неведомых им событий, новых реалий и укрылись в своем футляре, перестав отвечать на запросы времени и людей. Когда литература попряталась по своим каморкам, чердакам, потеряв читателя и нивелировав свое значение в обществе до полумаргинальной среды. Литература вчерашнего дня так и не обрела смелости, она до сих пор крайне робка и неприметна. Она будто торопится как можно быстрее спрятаться за могильную плиту, чтобы уснуть под ней навсегда.

Жюри премий, как правило, и состоит из адептов этой вчерашней литературы, поэтому от них и не приходится требовать смелости. Смелость в нашем литсообществе, которое зачастую, особенно в таких решениях, напоминает унылую богадельню, в большом дефиците.

Бывают удачи, достаточно смелые решения, но они крайне редки и воспринимаются в качестве случайности. К этому можно отнести присуждение Михаилу Елизарову премии «Букер», Захару Прилепину «Нацбеста» (хотя и получил он эту премию не за свой лучший роман «Санькя»), того же «Нацбеста» Александру Терехову за роман «Немцы». А так – смелые решения не по разряду наших премиальных уставов.

Нацбест погубили женщины

Сначала был «Русский Букер». После достаточно смелого решения и награждения в 2008 году романа Михаила Елизарова «Библиотекарь» премия будто сама испугалась этого своего прецедента и притаилась. «Букер» и раньше был довольно странной литературной институцией, а после этого премиальная политика сделала ставку на среднюю литературу – ни то ни се. Началось это с 2009 года, с присуждения премии роману Елены Чижовой «Время женщин». Тогда, еще раз напомним, был обойден очевидный лидер того премиального сезона Роман Сенчин с романом «Елтышевы».

Видимо, после Елизарова букеровское жюри решило, что если назовут Сенчина – то это будет слишком, Нацбест какой-то получится, что не к лицу чопорному реноме премии. Возможно, решили, что роман Сенчина и так прочтут, а вот опус Елены Чижовой без принуждения в виде премиального лауреатства никто читать не будет. Но, так или иначе, образец камерной литературы, абсолютно не ориентированной на читателя и ничего ему не дающей, был назван лучшей книгой года.

После этого Чижову действительно стали много печатать, ее книги без труда можно было разыскать в книжных магазинах, чего не скажешь о ее читателях... Лично я таковых попросту не знаю.

После этого серого книжного пузыря, которым ухнул в пустоту «Букер», приключился скандал. Лауреатом 2010 года стала также Елена, но уже Колядина с романом «Цветочный крест», главная заслуга которого состояла в том, что он вернул в активный словарь слово «афедрон». Вместо серости откровенная галиматья обрела звание лучшего романа года.

Вслед за этим разгромом премии, а вернее попыткой разгрома русско-го романа, выдавая за него эрзац, «Букер» впал в откровенный анабиоз и стал одаривать шубой со своего плеча, вернее, лауреатством – добротные, но абсолютно неяркие книги, будто написанные по какой-то инерции.

Отметили ушедшего из жизни замечательного литературоведа Александра Чудакова, после приласкали Андрея Дмитриева до этого обделенного премиальными ласками, по этим же причинам на пьедестал взошел достойный литератор Андрей Волос, но от романа которого «Возвращение в Панджруд», конечно же, ожидалось много большего.

Шерше ля фам. Примерно такая же оказия приключилось с питерской премией «Национальный бестселлер». Лукавый попутал женщиной, вернее, затяжной интригой и автором-инкогнито Фигль-Мигль.

Никто из завсегдатаев премии уже не помнил, сколько раз «шедевры», подписанные этим загадочным «Фиглем», фигурировали в шорт-листе премии. Люди терялись в догадках о том, кто стоит за этим псевдонимом. А раз интрига была затеяна, то она рано или поздно должна сыграть до конца – выстрелить. Далее было бы уже поздно, просто любой интерес к этому явлению уже окончательно бы угас.

«Фигль-Мигль» изначально воспринимался как рукотворный проект, близкий к кузне Нацбеста, но категорически далекий от литературы. Особая насмешка над литсообществом, ведь над ним на самом деле надо смеяться. Не только в сенат можно провести коня. Фигню возвести в дамки, безголосого певца сделать любимцем миллионов и народным артистом – кто об этом не мечтает?..

Именно в 2013 году окончательный розыгрыш этого действия под названием «Фигль-Мигль» и произошел в питерской «Астории». В пику колядиным и чижовым показали, что совершенно нет никакого труда производить мертворожденную литературу и возводить ее в эталон. Просто вынести из обычного филфака. Особый эффект был достигнут тем, что новый опус, подписанный Фиглем-Миглем, «Волки и медведи» был в числе аутсайдеров короткого списка. Выдвинут он на премии был еще рукописью. Кстати, все выдвижения Фигля на премию шли в рукописях, каждый раз это происходило аккуратно через год: до 2013 был 2011 год, а до этого 2009-й.

Очевидными лидерами Нацбеста 2013 года были такие тяжеловесы как Максим Кантор с «Красным светом» и Евгений Водолазкин с «Лавром». В битве этих мастодонтов на первую позицию и проскочил контрабандой Фигль. Запланированной контрабандой. Еще за несколько дней до финальной церемонии приходилось слышать от сведущих людей, что лауреатом назначат Фигля. Любая хорошая сенсация должна быть запланирована и грамотно спродюсирована, так и произошло.

Фигль стал локальным информационным поводом. Свообразным перформансом. Этого автора удалось раскрутить в шлейфе Нацбеста. Но это и все. Вне нацбестовской ауры он полностью пропадает, фактом литературы не стал. Но иного и не могло произойти с искусственной выморочной прозой.

Будем надеяться, что Нацбест выберется из той фигни, в которую сам себя вогнал сомнительной интригой. Все-таки от этой премии всегда ждешь чего-то неожиданного в хорошем, не интриганском смысле. Пора выбираться из постапокалиптического состояния, из антиутопии на свет Божий.

У нас есть хорошая литература! Есть! И не надо пугать разглагольствованиями о ее смерти, вытаскивая для примера откровенный эрзац – пустоту.

А ощущение иногда такое складывается, что наше литсообщество будто в плену этой идеи о смерти литературы, зомбировано ею, отсюда и делает все возможное, чтобы доказать этот нелепый тезис.

«Лавр» в сахарной глазури

Если говорить о самой кассовой премии отечественной литературы – «Большой книге», то выбор ее в 2013 году был предельно логичен. Совершенно закономерно главный приз взял триумфатор прошлого сезона – роман Евгения Водолазкина «Лавр». На эту книгу столько вылили сахарной глазури в виде всевозможных комплиментов, сколько мало какой текст в современной отечественной литературе получал. Но это и немудрено – Евгений Водолазкин взял в качестве материала для своей книги то, в чем он как рыба в воде, – Древнюю Русь.

Второй приз «Большой книги» тоже был логичен и закономерен. Литературный критик Сергей Беляков представил серьезный и добросовестный труд – биографию Льва Гумилева «Гумилев, сын Гумилева». Беляков уже давно в теме, Гумилев его занимает еще с начала девяностых, и поэтому подход к написанию книги был достаточно осознанный и вызревший. Единственное, в чем можно упрекнуть, так это в том, что у профанного читателя, который понаслышке знает о Льве Николаевиче, по прочтении может сложиться образ ученого как профессионального дилетанта. Его значение как бы вынесено за скобки и подразумевается само собой разумеющимся. Хотя вполне возможно, что это проблема и не Белякова, а того самого гипотетического профанного читателя.

Но вернемся к «Лавру».

При внешней симпатичности от романа Евгения Водолазкина осталось весьма двойственное впечатление. Ему изначально была уготована триумфальная премиальная слава. Это он и получил сполна. Сначала шорт-лист «Нацбеста», где роман вместе с «Красным колесом» Максима Кантора числился в лидерах, но приключился Фигль. Потом была премия «Ясная Поляна» и первый приз «Большой книги». Финал «Букера». Все это вроде как безусловно. Сложилось такое мнение, что книга хорошая и относительно нее можно не скупиться в восторгах. В общем хоре, источающем елей относительно книги, иная точка зрения выглядит на первый взгляд совершенно не уместной. Но вот почему-то не оставляет мысль, что «Лавр» – это особая подмена и удивительной пустоты раженный текст.

Евгений Водолазкин – филолог-медиевист сконструировал не постмодернистскую картину русского Средневековья, а вполне себе правдоподобную фольклорную деревню, где есть и бабы в кокошниках, и мужики в кафтанах, из-под которых проглядывает современная футболка, а карман оттопыривает смартфон и суеверная темная муть в головах, как стены бани по-черному. Эти люди на окладе, приправленном чаевыми, ходят-веселят публику, речь их перемежается и церковнославянизмами, и современными неологизмами. Все в этой деревне пропитано духом диковинности и чудаковатости, как же иначе заинтриговать посетителей, ведь не блинами же едиными...

Удивительной пустоты книга. В фольклорной деревне тоже проку немало. Насмотришься на кокошники да хороводы, отведаешь чай с баранками. Кому-то это нравится. Но с живой историей это не имеет ничего общего, скорее походит на разлагающийся, смердящий труп, который все рядят в какие-то одежды и надеются оживить.

Посредственный продукт, но в изобилии приправленный усилителями вкуса. Это не «Имя розы», а скорее такой же выморочный, но более удобоваримый «Цветочный крест». Сделана ставка на экзотику. И она сыграла. Водолазкин-медиевист умело и профессионально оболъщает читателя, который имеет лишь набор шаблонных представлений о Древней Руси. У

Колядиной она более примитивна, здесь изысканней и приспособлена для утонченной и взыскательной публики. Но все равно игра. Пустая игра. «Цветочный крест», который проник в литературу, не прошел бесследно, он пустил корни. Получился «Лавр», впрочем, не лишенный колядинской физиологичности: «и в полоске упавшего света он увидел, как на внутренней стороне бедра блестит кал», «вышедшую из Устины кровавую слизь он счистил в ночной горшок». Хотя, возможно, это и есть одна из отправных точек на пути к святости, к которой движется герой Водолазкина. Кто знает.

Высокие смыслы, которые можно вычлениить из романа по ощущениям, являются какими-то пустотелыми и наигранными, а не естественными и живыми. Лекарь Водолазкина, по сути, никого не лечит, он лишь, как Кашпировский, дает установку, а все остальное зависит от провидения. Примерно так и происходит с читателем, у которого этот роман воздействует на необходимые струны и производит массу ожиданий: поэтому далее уже сам читатель заполняет пустоту своим желаемым содержанием и ему начинается казаться, что все это – заслуга книги.

Вполне возможно, что «Лавр» не случайно конкурировал с Фиглем-Миглем в Нацбесте. Как ни крути – это вещи одного стилизационного порядка. Только Водолазкин, как показал роман, умеет нравиться и быть обаятельным, а Фигль едва ли когда-то обретет эту способность. Да ему-ей это и не требуется.

Игры в прятки

Третий кит нашего литературно-премиального ландшафта, он же первый по времени возникновения, – «Русский Букер». После ряда неуклюжих и явно провальных решений – Чижова-Колядина, – эта премия стала раздавать «шапки» нейтральным авторам, которые не вызовут явного отчуждения. Принцип награждения – по выслуге лет. В 2012 году был отмечен букеровскими лаврами Андрей Дмитриев, давний участник премиальных шорт-листов, но который категорически не взбирался на пьедестал. Возможно, причину можно обозначить кратко словами актрисы Нонны Мордюковой: «Хороший ты мужик, но не орел!» Проза – добротная, но явно не дотягивающая до разряда «лучшая».

В 2013 году премией отметили прозаика Андрея Волоса за роман «Возвращение в Панджруд». С премиями ему явно не везло. Даже лучший роман Волоса «Хуррамабад», написанный еще в далеком 2000 году, был обойден ими. Так получилось, что в 13-м году по совокупности заслуг и за неимением явного лидера удача улыбнулась. Фигурировавший в шорт-листе «Лавр» Водолазкина получил «Большую книгу», а у нас действует негласный принцип времен распределения: не больше одной премии в руки. Денис Гуцко с новым романом «Бета-самец» уже получал премию, а дважды букероносцем у нас становится негоже, тем более есть масса обойденных. Остальные варианты были достаточно сомнительными, хотя после Колядиной возможно все.

На ростовчанине Гуцко следует остановиться, так как автор, по сути, вернулся в литературу после нескольких лет неудач.

В 2005 году на волне активного продвижения молодой-новой литературы, которая проталкивалась, особенно на первых порах авансами, Гуцко со своим дебютным романом «Без пути-следа» вошел в финал премии «Букер». В основных конкурентах у него числился друг на тот момент председателя жюри премии Василия Аксенова Анатолий Найман с романом

«Каблуков» (кто помнит сейчас об этом романе?). Жюри сошлось на мнении отдать премию 36-летнему Гуцко, Василий Аксенов со своим «особым мнением» отказался вручать главный приз и чествовать победителя...

Последствия этой премии были двояки. С одной стороны, как тогда заявлялось, молодым везде у нас дорога и, соответственно, был нужен герой-флагоносец нового поколения, который бы не просто стал печататься, но и прорвал предельно косную премиальную плотину. На этой волне и был отмечен роман о разгорающихся национальных конфликтах на окраинах бывшего СССР. И тема актуальная, и живой человеческий материал, так как в романе было много автобиографического. Но самого автора эта премия чуть было не сломала.

После Гуцко выпустил сборник «Покемонов день», в 2009 году вышел роман «Домик в Армагеддоне». Обе книги прошли практически незамеченными, и создавалось ощущение, что «Букер-2005» был полной ошибкой и прав остался Аксенов со своим «особым мнением». Однако «Бета-самец» при всех «но» показал, что автора совершенно преждевременно списывать со счетов.

Герой романа – вполне состоявшийся в жизни и мало чем опечаленный сорокалетний Александр Топилин. Из семьи у него только мать, периодически навещает содержанку, письмо которой, обещавшее уют, он случайно обнаружил в почте среди всяческого спама. Его семья – дом бизнес-партнера Антона Литвинова. Не случайно роман начался с упоминания «влюбленности» героя в этот дом. Здесь он «как обычно» забивается в уголок, в котором ему становится легче. В конце концов Топилин понимает, что живет не своей жизнью и в какой-то момент он стал выполнять роль второго плана при друге-колеге Антоне Литвинове. Топилин своим достатком, положением всецело обязан Литвинову, оба они, как пишет автор, «обеспеченные, глубоко положительные мужчины средних лет». Отсюда и основная оппозиция романа: альфа- и бета-самец, первый и второй номер.

Герой Гуцко не посторонний, не маленький, не подпольный и не лишний человек, он – всегда второй, бесконечно зависим от первого, желающий зажить собственной жизнью, стать в ней хозяином, но это ему не удастся, первый всегда подминает второго. Он слишком привык играть чужую роль, быть зависимым от кого-то.

Если литературный ровесник Гуцко Роман Сенчин в своих произведениях выясняет, с какого момента «пластмассовый мир» начинает побеждать человека, когда он смиряется и превращается в насекомое, то в «Бета-самце» проводится дотошное расследование причин, обстоятельств и выявление того момента, когда человек перестает жить своей жизнью, а движется по социальным рельсам чужих императивов. Попадает в мир, где ему все приходится донашивать: мысли, суждения, судьбу. Это как роль второго сына в семье, который вынужден донашивать все за старшим.

Роман Гуцко получился вполне достойный. Читать его любопытно, хотя и многое в нем предсказуемо. Важно, что сам автор в движении.

Что до победителя «Букера» Андрея Волоса, то бывший переводчик таджикской поэзии написал о знаменитом поэте Рудаки, жившем в IX–X веках. О нем мало что известно, поэтому автор производит фантазийную историческую реконструкцию. Поэт ослеплен по приказу эмира Бухары и отправлен на родину в Панджруд идти пешком в сопровождении проводника-подростка Шеракана. Долгая дорога как путь познания, естественно, преобразует. Книга для любителей восточного колорита. Волос в нем спец. Впрочем, это его роднит с Водолазкинским. Роднит и искусственность, деланность книги. Отсюда и движение по ее страницам проходит

практически безэмоционально. Едва ли эту книгу можно назвать удачей Волоса. Все хорошо, ровно, но без огня.

Бегство в историю или антиутопию. Пусть даже если времени нет, как у Водолазкина. Такую тенденцию наметили премии прошлого года. Но думается, что эта тенденция довольно искусственна, она характеризует состояние не литературы, а премиальных институтов, обладающих длинной шеей, которую они при случае норовят погрузить в песок. Одно время премии норовили направо и налево раздавать образчикам биографического жанра. Потом Нацбест вовсе отсекал биографии после «Пастернака» Дмитрия Быкова, а в «Большой книге» они проскакивают ежегодно. Теперь премиальная инерция пожелала спрятать современную литературу в историческую стилизацию. Слепить, используя символику Волоса. С литературой вчерашнего дня, видимо, комфортнее иметь дело, но вот только не читателю. Поэтому, пока действует эта инерция, лучшие и смелые книги остаются за премиальным бортом. Хороший повод, чтобы в очередной раз начать плач о потере интереса к чтению.

Елена КРЮКОВА

Елена Николаевна Крюкова – русский поэт, прозаик. Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия).

Публикуется в литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЯХ РОССИИ И НЕМНОГО СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(очень личное! на правах веселой рекламы)

Про премии

Литературные премии – непереносимое условие игры на профессиональном писательском поле. Так устроен литературный мир: если хочешь показаться – покажись на премии, лучше на громкой, и тебя увидят-услышат-прочитают.

Вроде как литературная Олимпиада: победил – герой, не победил (даже если бегаешь и прыгаешь хорошо) – значит, кто-то круче тебя, а ты иди учи матчасть и пиши лучше.

Как выставочный зал для художника. Написал картину – выставляй. Не то она у тебя в мастерской, к стене повернутая, покроется пылью.

«Да пусть покроется. Живопись-то никуда не исчезнет. А с годами только вырастет в цене, если ты мастер».

«Ничего и никуда и никогда не вырастет. Всему свое время».

«Но ведь премия – временное торжество! Пошумели – и забудут!»

«История нас не забудет».)

Итак, вы скачали из Интернета список важнейших литературных премий России. И сидите перед ним в задумчивости. Куда и что послать? Эх, была не была!

1. Национальная литературная премия

«Большая книга»

(<http://www.bigbook.ru/>)

Члены Совета экспертов – люди из редакций «Нового мира», «Октябрь», «Знамени». Толстые литературные журналы России, весьма уважаемые, с историей, с традициями, уже ставшие журнальной классикой. И их представители, понятно, мастера своего дела: уж точно увидят, кого отобрать в длинный список, а кого отсеять.

«Большая книга» принимает романы и книги рассказов, изданные – это желательно – в течение предыдущего (перед премией) и текущего (премиального) года. А еще принимает рукописи, и это своеобразная интрига (рукопись – известное или неизвестное имя? кто номинировал? а может, именно она премию получит? и на шумит!) – в длинном и коротком списке рукопись фигурирует под номером, и, если вдруг премию получит, имя и название произведения огласят.

Литературная академия – собственно жюри БК – тоже достойные имена; список впечатляет, и народу там очень много (в отличие, скажем, от «Ясной Поляны», где жюри традиционно одно и то же и немногочисленное). Посылайте туда ваши книги смело! И помните: у любого жюри, у любого совета экспертов существуют свои личные пристрастия. Жюри премии – это всегда синклит, где каждая индивидуальность при выборе работает не на желаемую объективность, а на самое себя. И жюри более, чем кто-либо другой, понимает, что за бортом и лонг-, и шорт-листа остаются (всякий раз!) замечательные книги. Не огорчайтесь и не обижайтесь, миролюбиво говорит жюри БК, значит, ваш звездный час еще не пробил!

А еще, и это тоже надо помнить, в спортивных командах любых премий, и на БК тоже, всегда есть свой круг авторов-участников; есть спортсмены опытные, и судьи их знают и на них делают ставку, а есть премиальные новички: может случиться, их и читать не будут – откроют книгу и закроют. И все закончится на этом.

Премия громкая. Лауреат БК сразу становится известным на всю страну, и на иностранные языки его переводят немедленно.

2. Национальный бестселлер

(<http://www.natsbest.ru/>)

Самая элитарная (кроме НОСа) премия: ее задумал и родил покойный Виктор Топоров, и питерская атмосфера изысканности и эстетической пристрастности наложила на мировоззрение «нацбестовцев» радостную и властную лапу. «Нацбестовцы» приветствуют эстетику, гротеск, своеобразность, необычность, модерн, конструктивизм и постмодерн, короче, рафинированную филологию, а крутым реализмом их мог победить только великий, не побоюсь этого слова, Захар Прилепин (думаю, по вечному принципу контраста). Если вы несомненный новатор – вам сюда. Если вы пишете о ржи-речках-васильках и храмах на пригорках – вам не сюда явно. Но кто знает, как сыграет судьба. Принцип контраста еще никто не отменял.

«Национальный бестселлер», в просторечии «Нацбест», непредсказуем, как живой человек. Одно могу сказать точно: люди в жюри там остры на язык, насмешливы, великолепно ироничны, могут легко и метко убить словом наповал, книжку вашу не то чтобы прочитав, а бегло и мастерски пролистав и тиснув на нее блестящую разгромную рецензию. На то он и мастер.

Единственное, что создает проблемы, если решитесь сыграть в эту премию, – институт номинаторов. Список номинаторов вывешивается слишком поздно – буквально за две недели до окончания приема рукописей. И вы бросаетесь к одному знакомому, к другому: друг, номинируй меня! ну пожалуйста! ах, уже номинируешь другого автора? о-о-о, жаль...

А если в списке номинаторов ни одного вашего друга? То-то и оно.

3. «Русский Букер» (<http://www.russianbooker.org/>)

Серьезная литературная премия. Очень серьезная. Прямо как настоящий, тот самый английский «Букер».

На «Русский Букер» стремится попасть всякий уважающий себя русский писатель. Даже не шорт, а лонг РБ – вроде как такая почетная визитка, пропуск в мир Большой Литературы (и я побывал на Букере! – и я, друзья, в Аркадии родился!). И то правда, встать в одном ряду с мастерами русской литературы (а там в ряд стоят, равняйся-смирно, между прочим, Владимир Маяковский, Олег Павлов, Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Ольга Славникова, Михаил Шишкин, Александр Чудаков, Георгий Владимов, Александр Иличевский...) и немного в этом ряду постоять – оно дорогого стоит. Имена звучат как музыка, заслушаешься. И мне дорого вот очень, что в финалистах РБ однажды побывал наш Захар Прилепин – вот, знай наших! и верю, что Захар еще «Русскому Букеру» покажет кузькину мать. Ну, в смысле, станет его лауреатом, просто в ближайшем будущем. Сомнений нет.

Что еще такого хорошего о РБ сказать? У него, у РБ, все хорошее. И серьезное. Все там не по-детски. Жюри собирается каждый раз разное, и в нем сидят не только писатели, но и люди других профессий: художники, философы, кинематографисты. Смежным искусствам привет! Хорошо это или плохо? Когда в 2010-м победил апофеозный «Цветочный крест» одиозной Елены Колядиной (а РБ, соответственно, тут же прославился, скандал был премии на руку), известный кинорежиссер Вадим Абдрашитов вполне серьезно заявил, что эту книгу можно и нужно экранизировать. Где сейчас Колядина? Где ее новые книги? Где она, озорной писатель земли русской? ау! И, главное, где фильм «Цветочный крест»? А ведь все было серьезно. Очень серьезно.

4. «Ясная Поляна» (<http://www.yppremia.ru/>)

Тоже серьезнейшая премия. С тремя номинациями: «Современная классика», «XXI век», «Детство. Отрочество. Юность». Если вы чувствуете себя современным классиком – шлите туда ваш опус! И будет вам счастье. Если вы ощущаете себя суперноватором – валяйте прямиком в «XXI век!» – и будет вам счастье. Если вы детский писатель (юношеский, школьный, подростковый, да детской книге вообще-то все возрасты покорны...) – посылайте вашу книжку в номинацию «Д.О.Ю.», и, может быть, и тут будет вам счастье!

Я очень люблю бессменное жюри ЯП. Оно прекрасно. И я бы желала, чтобы оно жило-было, как в сказке, вечно... кроме шуток... Лев Аннинский. Павел Басинский. Алексей Варламов. Игорь Золотусский. Валентин Курбатов. Владислав Отрошенко. Прежде чем посылать вашу работу на «Ясную Поляну», не поленитесь прочитать хоть одну книгу хоть одного из членов жюри. Ручаюсь, вы горды будете за нашу литературу и литературную критику. Аннинский, Курбатов и Золотусский – это несомненный бренд русской критики, и не только в России.

Премия эта глубоко копает; эти незримые нити, что связывают мысли жюри с великой русской литературой, никто не порвет никогда; по этим

кровеносным сосудам течет живая кровь – побеждают книги, в которых личное и общественное крепко сплетено, как тому в русской литературе и положено быть.

Финалистом 2013 года оказался наш земляк Олег Рябов – виват! А в 2007-м Прилепин стал лауреатом ЯП за роман «Санья». (Опять же: знай наших.)

5. Премия им. И. А. Бунина (<http://vsekonkursy.ru/?p=16004>)

Сайта у премии имени Бунина нет, вот что жалко. И приходится в Интернете выискивать – что-где-когда. Когда премия в этом году объявит сезон; и, главное, в каком литературном пространстве. Поэзия? Проза? Публицистика? Каждый год все меняется. А премия остается неизменной: ей важно, чтобы ваш русский язык был безупречен, а вы как автор не фальшивили, подобно плохому музыканту (цитирую фразу из Положения о премии): *«Попечительский совет премии исходит из бунинского отношения к русскому языку как высшему выражению духа и души русского народа. Бунин был непримирим к чрезмерной напыщенности, вульгарности и фальши. Он был обеспокоен тем, что в современной ему русской литературе терялись естественная простота и благородство художественной речи».*

Вот и вы тоже этим обеспокойтесь. Никаких чтобы матюгов! Никакой табуированной лексики! Стремитесь к высотам. Не теряйте присутствия духа. Боритесь с пошлостью и напыщенностью. Будьте просты и изящны.

Да не слушайте вы шуток моих. Посылайте туда вашу хорошую книгу. Только внимательно следите за сетевыми объявлениями про премию имени Бунина: не отправьте книгу стихов на прозаический конкурс.

Спросите, а лауреаты кто? Да все мастера сплошные: Фазиль Искандер и Андрей Волос, Даниил Гранин и Борис Евсеев, Александр Проханов и Людмила Петрушевская. Скажете, до них как до небес? Не боги, думаю, горшки обжигают. Тем более что длинный список в Бунинской премии щедрый и большой: туда входят почти все присылаемые на премию книги. Утешайтесь и радуйтесь.

6. Общенациональная литературная премия «Золотой Дельвиг»

(<http://lgz.ru/article/-17-6413-24-04-2013/zolotoy-delvig-novyuy-sezon/>)

Тоже пока нет, увы, у столь значительной премии сайта. Вылавливайте в Интернете информацию. Авось повезет.

Поскольку учредители – редколлегия «Литературной газеты» и дирекция Издательского дома «ЛГ», ищите эти бесценные сведения ежегодно на сайте «ЛГ».

Чем эта премия славна (уже, а еще не прошло и трех лет)? А вот таким явным, мощным креном в сторону неподдельной русскости, классичности и государственности. Что само по себе и не ново и что само по себе очень даже красиво и крепко. Что просто превосходно для русских писателей, как в столицах говорят, из глубинки – это то, что ЗД обласкивает провинциалов, и всем понятно, что литература – это не только Москва и СПб. Что это значит? Это значит то, что ЗД ориентирован на момент прорыва

к неизвестному автору (чуть на сказала: к неизвестному солдату, ну да мы все солдаты литературной революции). Это отраднo. Что для меня опасное таится в этой отрадности? Влада Абаимова из Оренбурга, Антон Лукин из села Дивеево Нижегородской области, Анастасия Орлова из Ярославля... все не москвичи и не петербуржцы, да еще молодые, ура глубинке! Ищу тексты. Нахожу.

«Вас астроном не заметит
Между звёздами и облаками.
Как живётся на том свете
С отрезанными языками?

Опознание, протокол, вскрытие –
Процедура эта стандартна.
Хорошо, что вы не увидели
Тела свои в трупных пятнах».

Кого-то напоминает. Кого? Все мы друг другу кого-то напоминаем. Но как вам сама эта поэзия, ее вещество?

«Иван опрокинул рюмку, закусил огурчиком.

– Ну и себе немного, – Софья вновь наполнила рюмку и залпом опрокинула, сморщила нос, тоже надкусила огурец.

– Ну шо, споем?

– Ага, – Иван быстренько вылез из-за стола, снял со стены гитару. – Про Катеньку, Катюшу?

– Я те дам про Катюшу, все бы ему про Катюшу, только про баб...

– Твоя же любимая!

– Не хочу.

Немного помолчали».

Кого-то это мне точно напоминает. Да-да: Шукшина. Или добротную прозу СССР 1950–1970-х годов.

Бродит осень рядом где-то,
Пробирается бочком.
И среди тепла и света
Жёлтый лист упал ничком.
Спрячу я листок приметный,
В свой кармашек положу —
Пусть ещё побудет лето,
Я его посторожу!

Детские стихи. Замечательно. Кого же напоминает-то? Я читала десятки и даже сотни таких вот детских стихов – когда дети росли, – вслух и с радостью. Пусть будет. Пусть живет. Пусть расцветают все цветы, сказал председатель Мао. Но – премия Дельвига?

Не слишком ли много реприз и ретроспекций для такой громкозвонящей премии? В то время как корабль мирового искусства, мировой культуры и мировой литературы уплыл далеко вперед...

И все же спасибо этой премии, что награждает талантливых ребят. И небесталанных взрослых. А опасность – куда ж мы без опасностей? Когда Никита Михалков приехал в Нижний, чтобы поглядеть, как Владимир

Седов делает журнал «Нижний Новгород», он так Володе Седову сказал: «Володя, все это прекрасно, но есть одна опасность: постарайся, чтобы твой журнал не стал провинциальной стенгазетой». Любой премии надо постараться отыскать авторов сильных, ярких, по-настоящему мощных; а награждать не по принципу: «вот NN такой славный и милый, его бы надо наградить». И награждают NN, и он счастлив, и все ликуют, а потом его никто не читает. Ибо, в худшем смысле, провинциален он.

7. НОС

(<http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/39/>)

Вот сразу видно продвинутую премию: и сайт есть, и все так четко, когда лонг объявят, когда шорт, когда финальные дебаты с фото- и видеотчетами, а все вообще завязано на ежегодной Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК). Не просто так все, а фонд Михаила Прохорова. Вот куда вас занесло. Сибирь forever!

Ой, это такая премия... Ой-ей-ей... На финалистов поглядите-ка... Лев Рубинштейн... Михаил Гиголашвили... Сергей Гандлевский... Михаил Елизаров... Маргарита Хемлин... Все так изысканно, утонченно... все такие элитарные... вот куда со свиным-то рылом да в калашный ряд? И все же говорю вам прямо: посылайте, посылайте ваши книги на НОС, ибо НОС – это питомник самой непредсказуемой современной русской литературы!

Ой, что я вру. Знакомые имена то и дело мелькают. Вот Хемлин: я ее не раз видала в шорт-листах разных других премий, в основном на «Букере». Вот Водолазкин с «Лавром» – не любить «Лавр», особенно после заслуженной «Большой книги», уже как-то не комильфо. Вот Сергей Беляков, тоже «большекниговец». Вот Елизаров, «букеровец». Вот Виктор Пелевин – ну что тут говорить, вот знаменитый Михаил Шишкин с божественным «Письмовником»... Нет, все нормально, все мастера. Но все настойчиво и обреченно бродят кругами по всем премиям с одними и теми же работами. А куда деваться? Написал хорошую книгу – так будь добр и гуляй с нею по конкурсам: ведь ты их завсегдатай. Пытались было тут выдвинуть лозунг: на каждую премию каждого года – автор, даешь новую книгу!

Не дают. Откуда столько книг-то взять? На все премии не напасешься. Мы же, грубо говоря, не рыночные писаки. А занимаемся интеллектуальной русской прозой.

И у нас романы не сходят со ступеней каждые два месяца, как у коммерческих авторов.

И каждый работает в меру своих сил, своей одаренности или своих амбиций.

Без амбиций, знаете, художника ведь тоже нет. Всякий должен прожить свой честолюбивый амбициозный премиальный период, чтобы потом, к концу жизни, как глухой Бетховен, царапать плотницким карандашом в своей заляпанной вином разговорной тетради: «Я ПИШУ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ».

Еще о премиях

Все вышеупомянутые премии, одним если словом, хороши.

Да, так, все хороши; все.

Особенно если вы становитесь ее лауреатом, или шорт-листером, или даже участником длинного списка. Оно всегда почетно. Оно, может быть,

и без лауреатских денег, да вашу книжку в Сети уже ищут, покупают и читают. Не в деньгах, как известно, счастье.

Сам себя не похвалишь – как оплеванный сидишь

Автор этой статьи не так давно стал писать вышеупомянутую интеллектуальную прозу.

Премиальный отчет:

шорт-лист «Ясной Поляны» («Юродивая») – 2004,

лонг-лист «Русского Букера» («Серафим») – 2010,

лонг-листы премии Бунина («Юродивая», «XENIA», «Царские врата») – 2011, 2012, 2013,

лонг-лист «Ясной Поляны» («Серафим») – 2011,

лонг-лист «Ясной Поляны» («Тибетское Евангелие») – 2013.

Автор – лауреат ряда других литературных премий; но в вышеупомянутый (в статье) список самых престижных они не входят. Но... еще не вечер, как поет низким хриплым голосом великолепная Лайма.

Поэзия

Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН

Родилась в г. Подпорожье Ленинградской области. Окончила Петрозаводский государственный университет. Работала учителем русского языка и литературы, возглавляла Центр развития образования Петрозаводска. Кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования и науки (1996).

Автор ряда поэтических книг и публикаций в российских литературных журналах, в газетах «Российский писатель», «Литературная Россия», в «Литературной газете». Секретарь правления Союза писателей России. Главный редактор журнала «Север». Живет в Петрозаводске.

...НИТОЧКА ВЕЧНОСТИ – МАТЕРИНСТВО

* * *

Острова, острова – золотые костры
В посиневших ладонях озёрных.
Невесома печаль, а потери – остры,
Словно ели в пейзажах узорных.

Берега, берега...
Не исхожен песок.
Здесь блаженно купается осень!
Ей тунику из листьев кидает лесок,
Но она её больше не носит.

Облака, облака...
Вы – от прошлого дым,
Где надежды мои догорают.
Но гуляют лучи по дорогам пустым
И ведут от земли и до рая.

* * *

Берез изысканная вязь
Дрожит на полинявшем небе.
Росу смакует гибкий стебель,
И в нем – земли и неба связь.

Так и во мне – творенье Божьем –
Земная соль и звездный блеск.
А солнышко по светлым пожням
Закатится в угрюмый лес.

И ночь обнимет на рассвете
Розовощекий, теплый день.

И будет, как ребенок, ветер
Плескаться радостно в воде!

И не разрушить темным ссорам
Благу ю вечность бытия.
Пока тот стебелек не сорван –
Еще не сорвана и я.

* * *

Ну что, мой ветер, лес распотрошил?
И на кого, скажи, твоя охота?
А дождь косыми струями зашил
Прореху между небом и болотом.
И там печалью больше не сквозит.
Уймись! Не рви и мой подол натужно,
Смотри – звезда застенчиво скользит...
Желаний нет. А может, и не нужно?
Ах, ветер, ветер! Мой соперник – друг!
Как будет жаль с тобою мне прощаться!
Тревожным солнцем вызревает счастье
И завершает свой последний круг...

* * *

Лес, золотистой каймой
отороченный,
В жидкие сумерки
ветки макает.
Рассвет набухает
закатом просроченным.
Словно по желобу, время стекает.
Минуты, часы, дни и недели
Вместе с листво ю
оппадающей кружатся.
И – на стареющей сморщенной
ели –
Первого снега хрустящее
кружевце.
Противоречие нерасторжимо.
Старость и молодость – жизни
единство.
Время бесстрастное
неумолимо.
...Ниточка вечности –
материнство.

* * *

Прострелен день разлукою навyleт.
И за окошком цепенеет лист.
Я уезжаю.
Отсыревшей пылью

Заляпан воздух – сумрачен и мглист.
Октябрь морозом выдавлен и выпит.

Я уезжаю.
Замыкайся, круг!
И миг прощанья суетою выбит
Из онемевших, непослушных рук.

Взаимовзгляд, взаимопониманье –
Вот лопнет натянувшаяся нить...
Она – неразрешенное признание.
Но мне ее уже не ухватить...

* * *

Еще ветра качают на весу
В заснеженной воздушной колыбели
Крохотную сонную весну,
Спеленутую бархатной метелью.

Но сок уже в березовых стволах
Идет, как кровь в пульсирующих венах,
И даже ночь покажется мгновенной –
Луна, как одуванчик, отцвела.

И, улыбнувшись розовой весне,
Я положу ей на сугроб-подушку
Из радуги с дождями погремушку –
Пусть радость к ней приходит и во сне!

Дождусь, дождусь ее я первых слов!
Они похожи на ручейный лепет.
А детвора из снега бабу лепит –
И не с метлой! А, кажется, с веслом...

А как иначе? Ей придется плыть
По быстрым рекам и, конечно, таять.
...Несется ветер южный во всю прыть,
С деревьев шлейфом зимушку сметая...

* * *

С годами мы лишь моложе.
И ценится больше вкус
Жизни. Но дом мой сложен –
Темнеет от срока брус.
В сеточке трещин печка –
Словно в морщинках лицо.
Так хочется выйти беспечно
Босой на сырое крыльцо
И, не успев одеться,
Отважно грозить грозе.
Переглянувшись с детством,
Вприпрыжку бежать по росе...

* * *

Между Ладогой и Онего,
Где горячий пахучий мох,
В колеснице июль проехал,
Август лето закрыл на замок.

Между Ладогой и Онего –
Жилы счастья и вены рек.
Путешествует на телеге
Странный искренний человек.

Между Ладогой и Онего,
Где у елей растет борода,
В предвкушении первого снега
Деревянные спят города...

Пётр ЕПИФАНОВ

Родился в 1963 г. в Сибири. Окончил исторический факультет МГУ. Работает в прозе, поэзии, занимается переводами с древнегреческого, французского и итальянского.

Публикуется в журналах «Звезда», «Знамя», «Родина», «Русская провинция», «Зинзивер», «Остров Веры» и др. В 2006 и 2007 гг. издательство «Воскресение» (СПб.) выпустило две книги рассказов П. Епифанова – «О жизни и смерти» и «Странники под куполом осеннего неба». В 2009 г. в журнале «Континент», а в 2010 г. – «Иностранная литература» в его переводе вышли подборки из сочинений французского философа Симоны Вейль (1909–1943).

Живет в Подмоскowie, в г. Пушкине.

Владимирка. Полдень

Озеро плещется в листьях раки.

Купола отблеск на повороте
в глаза ударяет меня.
Мелькнув, догорела в болоте
Подгнившего березняка головня.
Владимирка. Молнией по окну
пробегает изломанный блик.
Владимирка, тобой измеряю длину
любой из дорог моих.
На землю с острых твоих коленей
опускаясь, словно дитя, удивленно,
обвожу пепелища дорожных селений
взглядом жалостливо-отчужденным.
Здесь жила баба Вера,
вот здесь – баба Липа,
там – Гордеева Дарьюшка.
Кто-то из них
еще коротает последние дни
на желтизне государственных простынь.
А чей-то обугленный остов
откопали под пеплом
в черном провале подполья.
И в наступавшее лето
на отсырелых угольях,
будто зеленые свечи,
светились тополиные детки,
сияли новорожденные клены.
А по осени дурно запахло паленым:
курами-гриль, шаурмой,
шиномонтажной мастерской,
и огни развлекательно-торгового центра
взлетели, как деревенский пожар...
Вера, Дарьюшка, Липа...

Что толку
в подушечных всхлипах
того, кто трусливо сбежал
отсюда, с тонущего корабля,
увидев, как обрушивалась земля
у кромки ваших могил,
вырытых нетрезвой рукою
сына, соседа – любого,
что следом, на свете не мешкая долго,
за вами вдогон уходил....

Сейчас у перекрестка дороги
широкой улыбкой двери раскроет
«Пятерочка». В начищенное стекло
сияет кокарда, и дышит теплом
кобуры свино-кожаный глянец,
и щек пламенеет румянец
инспектора-крепыша,
довольного службой, собою,
цепочкой своей золотою,
что девушки любят и жизнь хороша.
И пока еще нам мигает
красный глаз светофора,
зачарованно наблюдаю,
как тонкие свечечки топольков,
что на месте Дарьюшкина двора,
там, где нынче – парковка,
отражаются в сиянье счастливом
микроавтобуса из Коврова,
играют в вороних переливах
плавных линий «Тойоты Королла».
И словно росой покрыт серебристой
корпус новенькой «Ауди»,
причалившей там, где, бывало,
слепая старуха – вековая невеста,
что жениха не дождалась
со Второй мировой,
в полдень, июльской порой,
натруженный серп у калитки
в столбик забора втыкала...

Душно. Внутри очумелая грусть
рифмой привычной тянет слова:

Русь

Ну и пусть

Не вернусь

Клонится тяжкая голова.

Слипшиеся глаза размыкаю снова:

солнце, жарой заливая салон,
пластик кресел расплавить готово,
Словно молния, по квадратам окон
пробегают изломанный блик.
Нет, скажите, что дает еще силу
зелени этих кленов и лип?
– «Лига Света» – отвечает логотип
специализированного магазина.
Балашиха. Смотрите: слева по трассе
озеро плещется в листьях ракич,
справа – Ленин под серебрянкой блестит,
разоружен и совсем не опасен.

На сиденьях переднего ряда
как фонарик, прикрытый ладошкой,
мерцают зрочки и сережки
и в поцелуе колеблются волосы –
его, цвета ореха лесного,
ее, цвета спелой пшеницы...

Пробка за пробкой. Белые полосы.
Сумасшедших лучей перегрев.
Измайлово. Автомобилей нервные толпы
грустно встречает столица
по-старинному томной
тенью своих сухопарых деревьев.

Москва – Тверь. Станция «Московское море»

Сергею Стратановскому

Тощие тела берёз-доходяг,
ладные шинели и будёновки елей,
лозняк комсомольская поросль...
Заборы, снега, провода,
лай собачий, и снова – снега и снега...
Льдами Московского моря
погребена Тверская земля...
Родины милой
потоп окаянного прошлого

Матушка Анна-княгиня,
воплем утробу не рви:
небо оглохло от треска пожаров
и грая вороньего.
Саваном снежным покрыты
голые ребра твоих городов.
Мужняя дерзкая сила
нашла, наконец, утоленье
не на полотняных твоих простынях,

а на пахучих еловых ветвях,
у Спаса Всемилоостивого,
под белокаменную плиту

Услышь, об отмищенье молящая
безумная женщина,
пророческой книги глагол:
Дондеже мимоидет гнев Господень,
схоронися,
птенцов укрывая от бури,
сокрушающей на Ливане высокие кедрь.

Слышишь, ломит дубравы
исполинского роста
отрок пламенноокий,
неведомые пролагая пути
до Дуная и до Лопской земли,
до Мунгальских улусов
и до торосов Ледовитого моря

Слышишь топот,
вбивающий в землю людские сердца?
То скачут на ликвидацию
антинациональной крамолы
аглицким чёрным сукном
по мерке обшитые
кавбригады спецназначенья
со знаком метлы и пасти собачьей

Слышишь бодрый бой барабанов
Преображенских полков?
Визг весёлый пилы и рубанка?
Молодо пахнет и пряно
виселиц в Новодевичьем
свежеоструганный брус

Слышишь, под флейту и тамбурин
маршируют, вытягивая носок,
мальчики-кантонисты –
батюшки белого царя
православно-пионерские
боевые дружины

Слышишь птичий посвист картечи?
Свинцом засекает барон Клюгенау
дикого Кавказа ущелья.
Нависли над притихшею Вильной
громады византийских соборов –
цивилизации православной форпосты...

Слышишь? Транссибирской дорогой
до сопот Маньчжурии
ревут эшелоты...

* * *

Светает. В нетопленной спальне,
всхлипывая, дрожит тело княгини,
изломавшей ногти о половицы

Сереющий воздух утра
разрезая гудком,
петербургский проносится поезд
березником, ельником,
снегами, снегами, снегами...

Александр ГУЛЯЕВ

Доктор тропической медицины, 39 лет. Работает в словацкой международной организации *Hope for the sick and poor* в Восточной Африке. Владеет несколькими языками – английский, португальский, испанский, суахили. Живет в г. Каховке на Украине, в тёплое время года выращиваеь клубнику, ежевику, виноград. В холодное время года выезжает на работу в Африку.

Финалист мультимедийного конкурса «Живое слово» в номинации «Живые истории» (2013).

АФРИКА ПРЕКРАСНА, АФРИКА УЖАСНА...**Ага. Живу один**

Спросили, а ты что, живёшь один? В Африке? На острове? Один белый? Не страшно? Сколько на этот раз? 4 месяца?

Ответил – живу один. Да, остров. Да, Африка. Да, 4 месяца на этот раз (и прошлый тоже 4 месяца), Нет, не страшно. Да, с удовольствием. Нет, не скучаю. В смысле по определённым людям скучаю. По обстановке, холоду, серости, трамвайным остановкам зимой не скучаю. Посмотрите, что тут вокруг! Когда тут скучать?

А живу не один. Дом полная чаша! Вот каждый же смотрел документальное кино... не важно о чём или о ком. Документальное. Вот и я живу не один. Документально. Не выдуманно. С различными существами и явлениями.

* * *

Буквально на вторую или третью ночь я понял, что мне приходится делить жизненное пространство с таким местным природным явлением (а иначе как это назвать?), как семейство летучих мышей. Ни больше ни меньше. По прихоти архитектора (который, наверное, и слова-то такого не знает) между комнатами в доме, где я сейчас живу, сделаны отдушники замысловатого вида и непонятого назначения. В этих отдушниках (не понимаю как) селятся птицы (типа воробей) и летучие мыши (типа отворотительные, маленькие, чёрно-серые). С «воробьями» получилось проще. Они изначально залетали в комнату, но мои увещевания, что это моя территория, подействовали. Они перестали залетать. Нашли другой выход. А вот мыши летучие настойчивыми оказались. Пришлось просто договориться, что я согласен, не принимаю экстример по их выселению, но и они должны вести себя в ответ нормально. В данном случае не прыгать на москитную сетку, хотя бы когда я внутри, на кровати. А то это очень неординарное ощущение среди ночи, а потом и зрелище. Я всего четыре дня назад в Одессе на улице Белинского подстригался, тут хлоп – самолёт, автобус, маршрутка, паром, мотоцикл и остров, спишь, и внезапно шум крыльев в комнате! Летучая мышь! Вампир, Дракулино носится в одном с

тобой маленьком замкнутом пространстве. Включаешь свет – так и есть. Летает по непонятной и непредсказуемой траектории. И опять хлоп! Всем своим отвратительным существом прямо на москитную сетку в полуметре от лица. Ох и внешность!!! А самое гадкое, что на животе крепко-прекрепко, своими отвратительными ножками-крыльями держится маленький, гадкий дракулёныш. И копошится. Пытается на спину переползти. Сучит своим крючковатыми конечностями. Хватается ими за мамкину шёрстку. И всё это я так отчётливо вижу! Эти глазки... я всегда думал наивно, что все летучие мыши слепые и там, где должны быть глаза, вообще не понять что. Разглядел. Даже не мечтал. Вот исполняется порой! Глазки маленькие, чёрные, бусинки, даже, наверное, с бровями и ресницами. И я уверен, что эти глаза видят меня и, возможно, в какой-то мере отдают себе отчёт, кто я и что я.

Первый раз реакция была предсказуемая. Отвращение и желание побыстрей избавиться от данного зрелища. Мне вообще нравится словосочетание и понятие – «моя территория». И я оправдываю для себя некоторые вещи этим. Например, сижу в госпитале, ночь, моя смена, дверь на улицу открыта, и тут по белому кафелю из-за регистрационной стойки выплывает-выползает-вышагивает луноход. Огромный, чёрный, мохнатый паук. По каналу Nature таких показывали – птицеед или яйцеед. Спилберг плюс Родригес плюс Стивен Кинг в одном небольшом, в принципе, существе. Но выглядит завораживающе, ноги рефлекторно поджимаешь. Вопрос – что дальше? Первый секундный испуг прошёл. Надо что-то решать. Луноход-птицеед ползёт, сам не понимая куда. Заблудился. «Чувак, извини, но это моя территория. Только прошу, не прыгай». Взял глянецовый журнал и указал, где выход. Паук великолепно всё понял и просто вышел.

А в Африке по-другому нельзя. Тут дикая жизнь. Вообще не стесняюсь слова – примитивная. Более примитивная. Поэтому и люблю я всё это. Тут раскрываешься больше. Больше возможностей жить более насыщенно. О чём и не мечталось...

На огромном джипе Land Rover – по ночному африканскому бездорожью, с огромными фарами на крыше. Туннель плотного света пробивает дорогу в темноте. Шарахающиеся в стороны, как полосатые галлюцинации, зебры. А потом ночная саванна, тишина, ночь безгранично окутала звёздами, звуки настоящей, дикой, каждодневной борьбы за жизнь – из темноты. И ты на тёплом капоте пыльного джипа вдыхаешь весь этот мир! И выдыхаешь... и опять вдыхаешь! И так бесконечно... И тепло... как в какой-то безумно приятной тёплой массе... воздух неподвижен... земля отдаёт всё, что приняла за бесконечно долгий, раскаленный день в районе экватора. Видишь себя сверху, континент, пунктир экватора, носороги невдалеке похрюкивают. Видишь и сам балдеешь от осознания окружающего происходящего!

Или незабываемые, незаменимые ничем впечатления от рафтинга! Спуск на надувной лодке, непредсказуемой интернациональной компанией, по обезумевшим порогам. Во время сезона дождей. Когда река полна водой, в некоторых местах аж через край. Белый Нил. Уганда. Самое начало великой реки Нил. По которой плавали на своих кораблях фараоны. Где на берегу этой реки зародились несколько цивилизаций, культур, народов. Некоторые там же и закончились сами собой, просуществовав несколько десятков столетий. Белый Нил. Выше по континенту, в Эфиопии и выше его уже называют Голубой Нил. Цвет воды, наверное, меняется. Начинается, вытекает из озера Виктория и течёт вверх по материку. А если быть объективным, то большее количество воды идёт не из озера, а из подземного

источника. В месте, где река начинается из озера, и правда видно, что откуда-то снизу включен кран, и не фонтан бьёт, но отчётливо видно – как воронка слива в ванной, только наоборот. Одно место, большое довольно-таки, как бы выше основного уровня воды. И оттуда вытекает вода. Хотя всё происходит в окружении воды. Сложно передаваемые словами эмоции. Мы прошли по Нилу 35 километров. Участки спокойной воды и участки беспокойной воды – пороги. Это что-то неописуемое и очень пугающее. Бешеные спуски в совершенно, совершенно, совершенно неуправляемой лодке. Предсказать, что будет в следующую секунду, невозможно. Вода огромными бешеными потоками несётся куда-то вниз. Были предательские мысли, что всё, конец, тут и смерть. Страшно – не то слово. Чувствуешь себя таким маленьким, слабым, лёгким. Вода рычит, бесится и швыряет лодки и человечков в ней. Человечки разлетаются в разные стороны из лодки, как прищепки из корзинки в руках разлившегося ребёнка. Совершенно нечего противопоставить воде, которая сильнее в миллиарды раз. Полнейшая беспомощность. Это испугало больше всего. Как в самолёте, остаётся только надеяться. Больше ничего сделать невозможно. Но зато как офигительно приятно после. Когда всё закончилось и чувствуешь себя победителем. Не победителем, нет, но не проигравшим, это точно: я смог, пережил! И вечером пить с таким удовольствием вкуснятину джин-тоник, радоваться, что жив, расплачиваясь совершенно неизвестными, такими смешными угандийскими деньгами. А ближе к ночи на простыне показывают смонтированное видео о пережитом дне. Под бешеный аккомпанемент Off Spring и AC/DC. Смотришь и не веришь. И с трудом узнаёшь себя в сосредоточенном чувстве на носу лодки, в красной каске, спасательном жилете, отчаянно машущем в принципе бесполезным веслом, в клокочущей, сумасшедшей воде. Ух!!!

Это то, что многие с завистью называют – настоящая жизнь...

Что происходит тут, больше не происходит нигде. Как бы это однобоко и плоскоовато ни звучало. И я счастлив и благодарен, что меня швырнуло, шмякнуло, растёрло, прополоскало, прочистило, соскребло останки, слепило заново, высушило, поставило на ноги и дало пинок – тут, в Африке.

По прошествии пары недель сначала дёрганого, а со временем нормального сожительства в одном доме с семейством летучих мышей я уяснил – всё нормально. Мы просто вместе живём. Это и их территория тоже. И совсем они не отвратительные. И детёныши не такие уж и противные. Они даже очень прикольные. Совершенно необычные существа. С совершенно нам, людям, непонятной, своей безумной, перепончатой, внизголовой жизнью. Я ещё не встречал людей в своей жизни, кто бы симпатизировал летучим мышам. Стереотип. Гигантский, ошибочный стереотип. Просто редко кому в голову приходит присмотреться к их жизни и к ним самим. А зря. Масса неоднозначных впечатлений и эмоций.

А несколько дней назад вообще произошло экстра-преэкстраординарное событие. И всё благодаря одному из достопочтенного семейства моих соседей. Даже не знаю, история немного интимная...

Но документальное же кино.

Очередное утро. Желания и действия однообразны. Естественные потребности на первом месте. Утро. Всё на автомате. На работу через 15 минут.

Сел на унитаз автоматически. Разум ещё дремлет. Сделал своё дело. Хорошо. Разгрузился. Глаза потихоньку открываются. Совершил все необходимые манипуляции, встаю, автоматически смотрю на то, что от меня отделилось, и – меня просто отбрасывает в сторону! Такого не бывает!!

Такого не бывает... Даже во сне!! Не должно быть... Я не знаю, не знаю, не знаю, как эта летучая мышь там оказалась! Но я увидел в унитазе приваленную моими отходами жизнедеятельности летучую мышь! Я произвёл на свет летучую мышь? И даже не заметил этого... Одно крыло было привалено и кокетливо прикрыто зелёной туалетной бумажкой. Вдруг она резко, свободным крылом, начала махать, махать, пытаясь взлететь. Картина просто... Мысли: «Сейчас как взлетит и всё как забрызгает! И как начнёт метаться, как они всегда это делают, и вообще всё забрызгает! Убирать? Как? Кто? Извини, дорогая...» – и я нажал на рычаг слива. Мгновенно рассудив, что раз уж такое с ней случилось, то я не буду рукой карающей, я буду рукой продолжающей её приключения. И вышел, зафиксировав взглядом, как в водоворот затягивает всё, что и кто сейчас находится в данном унитазе. Вот ситуация. И для мыши, и для меня. Какие-то выборы постоянные. Утопить мышь или убирать загаженное пространство (бред!) взлетевшей из унитаза, мной обкаканной летучей мышью. Хотя для мыши сильно много вариантов я не оставил. У неё один вариант, если жить хочет, – выжить! Я за. Я совершенно против её смерти. А там посмотрим.

А самое приятное в сложившейся ситуации, это то, что мышь до последнего сидела тихо! Не могу себе представить варианты, если бы она захотела взлететь раньше, чем я закончил. На любой из стадий. Не представляю, каким именно образом прошёл бы мой каждодневный утренний моцион. Ух, как она могла бы эмоционально разнообразить моё утро, начни она любые телодвижения подо мной.

Унитаз успокоился, перестал рычать, и я зашёл посмотреть, как же оно сложилось. Мышь, мокрая, помытая, жалкая, барахталась в чистой воде. Великолепный исход! Вот спасибо!! Просто покупались. Когда ещё придётся... Мышь скользила своими перепончатыми закорючками по скользким стенкам унитаза и, ругаясь, с надеждой и некоторым осуждением на меня смотрела. Я взял вантуз и подцепил им мышь. Она с готовностью вцепилась. Вынес на улицу. Солнце, всё зелёное – красотища, великолепное утро. Махнул вантузом, мышка-путешественница перелетела на заросле пашионфрукта и, зацепившись одной лапой, повисла вниз головой. Виси. Сохни. Поздравляю с днём рождения.

Спустя время решил проверить, висит ли? Висит. Причём совершенно не поменяв положения. Висит на одной лапе, как кажется, в неудобном положении. Ну, на этот счёт не мне судить, насчёт удобства положения. Но зато дала разглядеть себя во всех ракурсах. И фотосессию мы устроили шикарную. Даже на работу опоздал.

Ещё в одном со мной доме живёт жабка Ленка. Ленкой она стала не сразу. Месяц где-то была просто жабка. Встретились мы как-то вечером в первую неделю моего приезда. Захожу в душ – на зеркале, в нижнем углу сидит. Или как правильно сказать, приклеилась? Зеркало на стене, вертикальней не придумаешь. И жабка так компактно сложившись, прилепилась и находится. Очень мне понравилась наша встреча. Жабка как из канала «Дискавери», маленькая, пучеглазая, тёмно-жёлтая, смешные тонкие ноги, и не прыгает, а ходит, передвигает всеми четырьмя конечностями. Заглядение. И веки прозрачные.

Поделиться в интернет-переписке с одной девушкой о своей жабке, которая к тому времени уже месяц со мной проживала. Посмеялись на тему опасности поцелуев в надежде на чудо, помня сказку, – а вдруг не принцесса появится, а принц. Решили всё же, что она жабка, то есть девушка. И договорились, что не буду я с поцелуями к ней приставать. И моя знакомая, которую зовут Лена (интересная такая барышня, с неординарным

чувством юмора), предложила назвать жабку – Ленка. Резонно объяснив, мол, Ленка в душе одинокому бродяге никогда лишней не будет. Возражать было нелепо. Так к жабке и приросло это имя. Звучит даже как-то прикольно – жабка Ленка. Улыбнуться сразу хочется. Да, и веки действительно прозрачные. Когда она моргает, глаза сквозь веки видно. Изумительно!

Моё благословенное одиночное проживание в доме было бесцеремонно прервано толпой проезжающих из Южного Судана словаков. Я имею в виду «одиночное проживание» – в смысле из прямоходящих, двуногих, я проживал до этого в доме один. А тут пять человек! На целых десять долгих, бесконечных, беспокойных земных суток! Четыре девушки. Один парень. Катастрофа! Все доктора. Безумие... на один туалет... в две комнаты! И я на неделю убежал к океану, как раз звёзды сложились более чем удачно для поездки. По возвращении в дом, где ещё безраздельно властвовала толпа докторов, вечером в душе я просто от радости начал прыгать! Ленка в углу сидела... класс... Словаки что, уедут себе через пару дней. А нам с Ленкой тут ещё вахту нести.

Интересно, отличаюсь ли я для Ленки чем-то от других людей? Видит ли она меня, в смысле, каждодневно заходящего человека как что-то отдельное, или просто движущийся, большой объект? Хотелось бы верить своим ощущениям, что я не просто шкаф какой-то ходячий для обитателей нашего домика. Я к ним отношусь как к равным. Мне хватает места. Они мне не мешают. Им хватает места вместе со мной в одном жилище. По крайней мере претензий с их стороны я не заметил. А я же их воспринимаю с благодарностью и интересом, если это не больно.

На острове очень много насекомых. Просто царство всяческих разнообразнейших насекомых. Ползающих, летающих, прыгающих, жужжащих, скрипящих, свистящих, светящихся в темноте, перемещающихся в пространстве по воле ветра огромными, просто невероятными живыми, кишащими облаками. Как восторженный турист-матрасник, можно воскликнуть «вау!» и умилиться. Или, как реалист-естествоиспытатель, можно подумать: насекомые – это что? Это важнейшее звено в пищевой цепи. Насекомыми питаются огромное количество существ. Значит, раз много еды, должно быть и много едоков. А их много! Хочется остановиться и на насекомых, и на тех, кто ими питается.

Сверчок Джэдж. Ну или нечто, похожее на сверчка, какими я себе их представляю. Типа кузнечика, только меньше. Я сидел на кухне, в кресле, и обратил внимания, что кто-то прыгает вдоль стен. Интересно так, по кругу. Я наблюдал за ним минут десять. Он всё время прыгал. Смешно так задирая задние ноги. Потом почему-то остановился напротив меня.

– Привет, Джэдж, – я поздоровался первым. Имя Джэдж само сказано. Словно кто подсказал. Наверно, его так и зовут на самом деле, и я это как-то понял.

И потом каждый день мы с Джэджем где-то пересекались. В пределах дома. Он такой энергичный парень, любознательный. И, кстати, больше я не видел, чтоб он по кругу прыгал. Наверное, представлялся таким образом. Вежливый.

А недавно рассмешили. Опять-таки в очередное утро захожу в душ и вижу – сидит Ленка в углу, а у неё изо рта голова Джэджа торчит! В смысле, большая часть тела Джэджа уместилась в Ленкиной, вроде с вида маленькой, варежке. Ну удивили, шельмецы! «Ты зачем его в рот засунула? Съесть его, что ли, решила?! Тебе мух мало? Ну ты даёшь! Роба не треснет? Джэджа схавать... Просто тупо проглотить, и всё? Он же наш,

местный. Из нашего домчика. И имя есть. Он мне сам его сказал. А! это вы балуетесь... ну ладно... забавляйтесь». Выглядело это почему-то очень смешно. Я присел, чтоб всё детально рассмотреть. Выражение Ленкиной физиономии, с открытым ртом, из которого торчал Джэдж. Сверчок – изо рта маленькой, пучеглазой лягушки. Такое надо было сфотографировать. Я пошёл за камерой, а придя, был опять удивлён. Все участники предполагаемой фотосессии были на месте, но только поменяли несколько телоположения в пространстве. Ленка сидела на том же самом месте, с закрытым ртом. Джэджа там больше не было. Он сидел, накренившись, в сантиметрах десяти от Ленки. И всего лишь с одной задней ногой. Прыгающая которая. И равновесие придающая. Наверно, решил оставить Ленке на память об их горячей встрече. Дорогой подарок, смею заметить.

А в прошлый мой сюда приезд со мной в одной комнате жил паук. Долго жил. Месяца три точно. Он был тоже без одной ноги – поэтому я его запомнил, – только спереди. Слева. Такие пауки тут есть, на крабов похожи, приплюснутые. И бегают боком, как крабы. Ног восемь. Так вот, у моего паука было семь. Где он её потерял, не ведаю. Встретились мы тоже необычно. Я ложусь спать, забираюсь под полог mosquito сетки, подтыкаю её края за матрас, чтоб ни одна живая сущность ни проникла в моё ночное пространство. Удовлетворённый, ложусь, тянусь к выключателю и застываю. В самом верху, в конусе mosquito сетки, прямо надо мной находится довольно-таки большой паук. Блин. Ну зачем ты тут? Не страшно, я знаю таких пауков. Они для людей безобидные. Их можно называть домашними. Живут с людьми. Но сейчас его выгонять как-то надо. Столько незапланированных движений для уже приготовившегося спать тела. Выгоняя, обратил внимание, что с ногами что-то не в порядке у данного паучка. Не все на месте. Ну, бывает. Несмотря на то что они живут в цивилизованном доме, жизнь у них более цивилизованной от этого не стала. Так и жрут друг друга. Кто кого сможет, тот и проглотит, не прожевав, ещё живого. Часто наблюдал за птицами, ящерицами, лягушками, как они питаются. Схватил и скорей проглотить всю сопротивляющуюся насекомое. Представляю гамму ощущений, когда ты глотаешь, а оно рвётся, карабкается наружу.

Огромное количество разного размера ящериц. Но не больше сантиметров пятнадцати. А начиная вообще от одного или двух сантиметров – смешные-пресмешные. Голову задерут и чешут по кафелю, не видя препятствий! Как глюки, шныряют по потолку, по стенам, по окнам. Ящерицы самые, можно сказать, безобидные. В кровать не лезут. И спасибо.

И конечно же, птицы. Птицы везде. Птицы всякие. По официальным данным, на острове их проживает более 160 видов. 24 часа в сутки птицы поют, кричат, свистят, вопят, пощёлкивают и издают всякие другие звуки. Ночью тут не тишина. Ночью тут очень шумно! Особенно поражает воображение один из звуков. Что за птица это или другое существо, не знаю, но звук издаваемый неповторим и неожидан. Только ночью. И даже во время дождя. Когда я его слышу, у меня в воображении сразу рисуется следующая картина. Рука, кисть, пальцы девичьи, на пальцы надеты маленькие стеклянные бутылочки с разным количеством воды, и эта девичья рука плавно постукивает бутылочками друг о друга, и получается такой тонкий, удивительный, бутылочный звук. Интересно, как выглядит птица, издающая этот неповторимый по красоте звук.

Вид и размер птиц тоже удивительно разнообразен. От мелких типа колибри, больше похожих на больших летающих жуков, до огромных белоголовых орлов. Одно из семейств орлов живёт рядом с моим домом,

на огромном дереве, которому лет триста; на верхушке очень большое гнездо, и там пара орлов. Просто зачаровывает это зрелище, когда эта огромная, красивая птица летит, неся в лапах или большую ветку для гнезда, или рыбу для птенцов. Ирония – насколько красивы и грациозны белоголовые орлы, настолько же неприятный их крик. Каждое утро, всегда в одно и то же время, около шести утра, они начинают кричать! Очень громко. Павлины, кажется, мелодичней и красивей «поют». Одна знакомая не верила, что это кричат орлы. Она не могла связать воедино внешний вид и голос этой птицы. Не вяжется, правда.

Хочется говорить: спасибо! В эфир. В космос. Хорошие ощущения, когда чувствуешь себя маленькой частью всего сущего. И осознавать это. И получать огромное удовольствие от этого осознания.

Каждодневно. Ежеминутно. Повсеместно. Навсегда!

Кайф

Иду по тропинке. Со мной четыре пацана. Лето, тепло (всегда лето, тепло), птицы поют, невысокие горы вдалеке, над ними облака выделяют что-то невообразимое. Переплетаются, наслаиваются, громоздятся, приобретают самые разные причудливые формы, цвета, оттенки. Так хорошо! Хорошо. Приятно осознавать, где идёшь. Зачем идёшь.

Где иду – маленький остров на озере Виктория. Территория принадлежит Кении. Самый угол Кении. 8 километров от границы с Угандой и 17 километров от границы с Танзанией, по воде. Прикольно: остров называется Русинга. Несколько дней назад в одной огромной иллюстрированной книге об Африке вычитал, что остров этот вулканического происхождения, но остаётся неизменным около 17–21 миллиона лет. То есть ландшафт, который я сейчас вижу, был таким же в принципе и 20 миллионов лет назад. Я, живущий на этой земле 37 лет, до конца представить и объять этот срок не могу.

А куда иду? – за банановыми небольшими деревцами. Саженцами. Я тут посадкой увлёкся. Деревья фруктовые, кустарники разные, кактусы, которые вырастают в огромные, колючие, великолепные деревья, цветы необычайные. Ну, во-первых, мне это почему-то стало нравиться, а во-вторых, само название того, что сажаешь, приятно произнести вслух: авокадо, манго, пашионфрут (маракуйя), бамбук, бананы, папайи, кокосовая пальма, кактусы опять же, цветы, названия которых я никогда и не узнаю. А тут вдвойне приятней сажать всё что угодно – лето круглый год, и я физически в принципе не напрягаюсь.

У нас на этом острове госпиталь, где я и работаю, школа и детский дом. Всё находится на одной огороженной территории, на самом берегу озера Виктория. В детском доме 45 детей. Им интересно со мной, большим и белым. Мне безумно интересно с ними. Они немножко другие, чем наши дети. Они, как бы так правильно выразиться, не испорчены цивилизацией, что ли... они рады ничтожно малому. Они откровенней радуются. С удовольствием помогают. И смеются всегда! Хотя у каждого из них за спиной, в их маленьком прошлом, есть своя кошмарная история. Когда создавали этот детский дом, организаторы перед собой поставили задачу, осознавая, что возможности их ограничены, собрать худшие из худших случаев. И собрали. Практически все круглые сироты. Африка – это жёсткое место жизни. Везде не мёд, но я могу сравнивать, бывал в разных частях мира и смело могу сказать – Африка это очень сложно.

Так вот, эти дети с удовольствием помогают мне копать ямы, носить воду из озера, поливать, пропалывать сорняки. Я в свою очередь покупаю им конфеты, печенье, фрукты, и все довольны. И опять-таки лето круглый год, теплынь... Поливай только, и растёт всё само собой. Посадил саженец деревца типа пихты, сделал загородку из веток от коз и коров, через пару недель смотрю – из веток ограда листья выросли! Удивительное место этот остров. Озеро Виктория – это как-никак очень большой объем воды, и плюс экватор. Природа с первого взгляда невзрачная, блёклая, большую часть года выгоревшая, но, пожив тут и осмотревшись, не перестаёшь удивляться и изумляться. Так и хочется процитировать:

...здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью наполнилось сердце.
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...

И меня нисколько не смущает, что эти стихи были посвящены природе средней полосы России, фамилию поэта не помню. Но мне думается, пожив тут, он был бы не против данной моей цитаты. Каждый закат и каждый рассвет – это единоразовые каждодневные фантазмагорические представления. И радуги! Таких радуг я не видел нигде. И так близко. Один раз ехал на мотике вдоль озера, дорога петляла метрах в 40–50 от воды, и начался дождь! Но начался тоже своеобразно: над озером уже шёл дождь, а над островом ещё нет, светило солнце. Была чётко видна граница солнца и дождя. И вот она, радуга! Огромный, плотный, многоцветный столб, который, кажется, можно реально потрогать, метрах в ста от меня выходит из воды и улетает куда-то за гору. Непередаваемое зрелище! Или сразу две радуги, одна под другой! Отчётливые, настоящие, сказочные. Молнии, которые бьют не сверху вниз, а огромной трещиной взрываются параллельно воде. И такие мощные, яркие-преяркие, продолжительные, что невольно начинаешь понимать и уважать повышенный к ним интерес гения-чудака Николы Теслы.

Пришли с детьми в сад. Нас уже там ждали и приготовили нам два небольших, но очень крепких на вид деревца. Тут на острове есть туристическое место, разновидность гостиницы. Несколько бунгало на берегу озера, бассейн, травка, кокосовые пальмы везде, трёхсотлетние огромные-преогромные деревья, в ветвях одного из таких гигантов, на самом верху, гнездо белоголового орла-рыбака. Египетские гуси парочками гуляют. Красота и благодать в отдельно взятом месте. И есть у них при гостинице свой сад-огород. И чего там только нет! А чего нет? О! ананасов почему-то нет, а так, кажется, всё есть. И урожай круглый год! Я там в первый раз увидел дерево грейпфрута. Типа апельсина, только больше! Апельсин-переросток. И висят ещё зелёные апельсины-гиганты. Красота...

Взяли мы свои бананчики, заодно я договорился с садовником, что возьму несколько семечек грейпфрута, когда они созреют, и пошли назад. Так хорошо в мире вокруг. Так красиво, душевно, чёрные пацанята несут банановые деревца, которые мы сейчас посадим в благодатную, добрую землю, и через время не я, нет – кто-то другой сорвёт банан, съест с улыбкой, и мне, где бы я ни находился, приятно станет. Я, скорее всего, и не пойму причину своей неожиданной улыбки, улыбки в душе, когда вдруг без видимых причин – раз, и будто ласковой рукой по шерстке погладили.

Я иду, фотографирую пацанов, облака, стрекоз. Местные дети кричат издали «мзунгу! мзунгу!» («белый» на суахили) хау ар ю!», завидев фотик,

бегут к нам, машут руками, смеются, визжат, шутка ли – белый с камерой! «Мзунгу, пига пича! (Белый, сфотографируй меня!)» Подбегают, окружают, дёргают. Мои пацаны гордые, раздулись, при белом, при фотоаппарате, с бананами, покрикивают на слишком назойливых, снисходительно улыбаются.

Руни, Додрик, Одыамбо, Рэй – это имена пацанов. Одыамбо предложил по дороге собирать коровьи лепёшки, чтоб использовать их как удобрение при посадке деревьев. Лепёшек, кстати, было в избытке. Коровы и козы не пасутся в каком-то определённом месте, хозяева с утра их отпускают, и они ходят по острову и сметают всё, что могут съесть, а вечером по домам расходятся. Додрик схватил первую попавшуюся лепёшку, не успевшую ещё до конца высохнуть, перевернул её и начал разглядывать мелких насекомых и червей, живущих там. На фоне всеобщей гармонии и красоты это выглядело немного неэстетично. Я оторвал от деревца банана пол-листа и дал Одыамбо, чтоб туда собирали сухие коровьи ништяки.

Пришли в госпиталь. Я знал, что Моурин (медсестра) ждёт меня. У неё сегодня ночная смена, и мы договорились, что я подменю её на пару часов, онаходит домой поужинать и переодеться. На момент моего ухода у нас была всего одна пациентка, старушка под капельницей. Я показал пацанам, где копать ямки, и пошёл в госпиталь. Захожу, смотрю, в родзале свет горит, хм...открываю дверь и фигею! Я увидел всё одновременно, как зашёл и сфотографировал – клац! – вся стенка справа забрызгана кровью, даже плакат-инструкция по оживлению новорожденного, на котором пошагово проиллюстрировано, что надо делать, если ребёнок родился, а не дышит (внизу мелкими буквами написано: «Если ребёнок не начал дышать после того как сделали всё вышеизложенное, то обращайтесь к специалистам»), в кровати копошится ещё светлый, но уже стопроцентный негритёнок, улыбающаяся Моурин достаёт плаценту из морщащейся от остаточной боли роженицы.

– Когда ты успела?! Почему мне не позвонила, не позвала? Меня не было всего час...

– Ну вот, ты же пришёл, – ещё шире улыбнулась Моурин, – можешь пока прочистить рот и носик малышу.

– Конечно, – я схватил отсос, поменял наконечник и убрал всю слизь и прочие биологические жидкости, скопившиеся за долгих девять месяцев пребывания в тёмном, тесном, уютном аквариуме.

Это что-то нереальное, то есть редко случающееся, – такие лёгкие и простые роды. Я уходил – мамы новоиспечённой ещё не было. Значит, пришла, родила, и все живы и здоровы. Кайф!

Прочистив носик-ротик, обтерев, я запеленал новоиспечённого чело-вечка. Живи... будь счастлив... будь мудрым... здоровым... я благослов-ляю тебя... ты и не узнаешь никогда, что в первые минуты твоей жизни ты видел мою белую, вечно небритую, довольную физиономию. Жизнь – это чудо! Непонятное, непредсказуемое чудо.

Вышел на улицу: хорошо, закат, птички поют, кто-то истошно завопил со стороны озера – то ли бегемот, то ли осел. Подошел к нашему доми-ку, пацаны уже посадили бананы, лепешек добавили. Растите, деревья, большими и крепкими, радуйте нас своими вкусными плодами. Расти, ма-ленький негритосик, большим, здоровым, добрым. Спасибо тебе, Бог, что столько в мире добра, красоты, любви! Спасибо!

Критический подход

Александр КОТЮСОВ

Родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. По образованию физик. Кандидат физико-математических наук. Работал в федеральном правительстве, был заместителем министра, депутатом Государственной Думы (фракция «Союз Правых Сил»). В настоящее время депутат Думы Нижнего Новгорода.

Автор двух сборников прозы, рассказы печатались в журналах «Нева», «Знамя», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде

ФОТОШОП

О романе Сергея Шаргунова «1993»

Во второй половине сентября 93-го я заболел. Поначалу просто текло из носа. Простуда, думал я про себя, мужественно вставая по утрам на работу и уже к обеду с трудом находя сухое место в носовом платке. Постепенно становилось хуже, голову словно сжимало где-то внутри, ближе ко лбу. Я запивал боль анальгином, ненадолго облегчавшим мою участь. В конце концов я не выдержал мучений и поехал в больницу.

– У вас, молодой человек, гайморит, – глядя в мои красные глаза, участливо произнес доктор, – пойдемте-ка на рентген.

Из рентгеновского кабинета, расположенного где-то в больничном подвале за тяжелой, налитой свинцом дверью (чтобы не облучать всю больницу – в очередной раз подумалось мне) мы вышли вместе. Уже у себя доктор поднял к свету квадрат полупрозрачного черно-белого пластика и, глядя сквозь него, задумался на несколько секунд.

– Все пазухи забиты, – произнес он, качая головой, – м-да, запустили. Очень сильные отеки. Медикоментозное лечение невозможно. Уж поверьте моему опыту. Нужно протыкать. Придется потерпеть немного, будет больно.

Через несколько минут в процедурной он буднично упер мой затылок в белую кафельную стенку и, освещая свои действия направленным светом, выходящим из надетого на голову вогнутого зеркала с дыркой для глаза, сунул мне в левую ноздрю толстую иглу и надавил. Раздался хруст. Я упал в обморок.

Так памятно начались для меня события осени 1993 года. Меня госпитализировали.

Я лежал в отдельной палате. Гайморит не сдавался. Из каждой ноздри моей выходило по маленькой трубочке, закрепленных у переносицы ку-сочками белого лейкопластыря. Дышать было невозможно. Регулярно заглядывала медицинская сестра и вводила через трубки в нос лекарство. Я пил какие-то таблетки, грустно наблюдал за примкнувшим к цифре 38 столбиком термометра и целыми днями смотрел в маленький черно-белый, словно фотография моих лобных пазух, экран телевизора. Как сейчас помню – «Шилялис». Сделано в Литве. Тогда еще СССР.

По телевизору мелькали знакомые лица депутатов, Ельцина, Руцкого, Хасбулатова. Я разбирался в политическом пространстве. Узнавал каждого. Споры, дебаты, снова споры. Потом началась война. По улицам Москвы поползли танки, черным дымом закурился Белый дом. Меня выписали.

С тех пор многое забылось, затуманилось, ушло вглубь истории, стало стираться. И вдруг взгляд споткнулся о яркую обложку в книжном магазине. Сергей Шаргунов «1993». Имя писателя давно попадалось мне на глаза, в основном благодаря Захару Прилепину и «Фейсбуку», где Захар регулярно публикует ссылки на свои статьи, размещенные на их с Сергеем совместном детище – сайте www.svpressa.ru. Оттуда-то я и узнал, что есть такой писатель – Шаргунов. Современные авторы, балансирующие где-то на грани «политика–литература», стремящиеся все это изобразить с необходимой долей художественности, – люди особые. Их, таких, немного, во всяком случае тех, кто на слуху, прорвался к творческим вершинам, признанию, премиям, публичности. Проханов, Лимонов, тот же Прилепин. Тяжелая это задача – делать литературу, стараясь отвлечься от собственных политических взглядов, которые неизбежно влияют на качество написанного, в особенности если ты пишешь о реальных событиях, да к тому же происходящих в переломные для страны периоды истории.

«Финалист премии "Национальный бестселлер", – прочитал я на обложке книги. – 1993-й – гражданская война в центре Москвы. Время больших надежд и больших потрясений. Он и она по разные стороны баррикад». Это время я провел с гайморитом в больнице. Я купил роман Сергея Шаргунова. Купил и прочитал.

Необходимо признать, что автор проделал большой и значительный труд. 570 страниц в наше время, когда многие писатели стараются крупным шрифтом размазаться на трехстах страницах, – дело трудное. Шаргунову повезло с фактурой. Благодаря работе в думской комиссии по расследованию событий осени 1993 года он оказался в непосредственной близости от первоисточника, да что там в близости, можно смело сказать – в нем самом. Более точно, пожалуй, живописать события могли бы только его участники. Но самому автору в то время было лишь тринадцать. Не удивлюсь, если окажусь прав в том, что именно эта работа в думской комиссии и сформировала будущую протестную позицию Сергея. Ведь за его плечами и создание политических движений, и несостоявшееся депутатство по спискам «Справедливой России». В романе «1993» политическое кредо автора легко читается в каждой строке. Главный герой Виктор Брянцев – несостоявшийся ученый-электронщик, человек, очевидно, оказавшийся то ли по воле судьбы, то ли по собственному желанию где-то ниже своих изначальных возможностей и уж тем более амбиций, в прямом и переносном смысле ближе к земле, в подвалах, рядом с рвущимися от старости и коррозии трубами и вешающимися на них бомжами. Рвутся трубы, трещит страна, и из труб, и из страны рвется перегретый пар. В подвале авария, в стране революция. Кто-то должен все это устранять, ремонтировать, чинить. Вот главный герой и пытается. Получается плохо. И то плохо, и другое. Виктор – не самостоятельный, он ведомый. Он продукт пропагандистской эпохи. Пусть и эпохи девяностых, менее выстроенных, чем сегодняшние, десятки, двадцать лет спустя, но продукт. Перестройка, ломка государства сильно изменили героя. Из «статного, высокого, светлоглазого парняги» середины семидесятых с «широким свежим лицом» он по ходу романа превращается в нерегулярно моющего, с запахом сырости из подмышек, расхаживающего вечно в трусах по дому, подрастерявше-

го жизненный драйв мужика. Жизнь вертится по заведенному несколько лет назад циклу: электричка-работа-электричка-дом-электричка... Дом в поселке «43-й километр». Ни имени, ни истории. Какой-то километр. Рядом железка, поезда, ларек, магазин, тоска. Постоянные конфликты с женой, просто так, без причины, на пустом месте, порой от бессмысленной ревности, порой и справедливо, от ее претензий уже в его адрес. Скуку, тоску, стремление вырваться герой топит в водке. Все так узнаваемо. Какой русский не ищет в водке смысл жизни! Нет, нельзя назвать Брянцева опустившимся. Он пытается найти какой-то выход, стремится выскочить за пределы этого круга, в который сам себя и затащил в восьмидесятые годы, порвав с наукой. Наверное, только телескоп, который он смастерил в своем доме, знает о его стремлении уйти из той затянувшейся, во многом бессмысленной жизни, про которую многие бы наши соотечественники сказали – да нормально, мы все так живем. Брянцев так не хочет. Брянцеву помогает время. Трудно это, не разбираясь в политике, понять, кто прав, кто виноват. Виктор не входит в политику медленно, обстоятельно, шаг за шагом, постигая суть процессов, изучая партийные программы. Брянцев, наверное, как и многие в нашей стране, изучает политику по телевизору. Утрированный образ этого человека в трениках с вытянутыми коленками, майке-алкоголичке, протертых до дыр тапках, на годы запечатлел на экране Сергей Слепаков из «Нашей Раши». Только герой Слепакова смотрел все подряд. Брянцев интересуется исключительно политикой. Главной передачей в доме становится программа «Парламентский час». Она и превращается для Виктора в тот самый общеобразовательный ликбез и наталкивает его на мысль, что из того самого круга, по которому он ходит уже который год, есть выход. Этот выход – революция! Поиск этой революции и становится для героя основным смыслом жизни и главной целью на протяжении всех 570 страниц романа.

В прошлом году меня принимали в Союз писателей России. Принимали на семинаре, проходившем в городе Арзамасе Нижегородской области, известном на всю страну чуть ли не второй в России после Ленина революционной фамилией – Гайдар. Секретарь Союза писателей, разбирая мои рассказы, шевелил усами и поучал меня, впервые, может быть, в моей жизни слушающего, как же надо в действительности писать, делать акценты в произведении.

– У тебя в произведении не должно быть проходящих мимо героев, исчезающих, неизвестно зачем нарисованных, – говорил он. – В рассказе ладно, он короткий. А в романе такого быть не должно. Появился если кто-то в начале, слово ли сказал, сделал ли что-то, споткнулся, посмотрел – не важно. Важно, что он потом в произведении снова обязан появиться. Лишнего не может ничего быть. Не мусори в романе. Каждый по делу должен быть. Ввел героя – объясни читателю, зачем! Это как у Чехова – «Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить». Так и герои твои. Каждому свою суть надо придать.

У Шаргунова в романе героев не пересчитать. На трехсотой странице чтения я даже испытал порыв – а дай подсчитаю, сколько же у него героев? Схватил карандаш, начал ставить цифири. Один, два, десять, тридцать. Потом бросил – ведь не сначала, что ж, перечитывать снова? Большая часть героев романа появляется силуэтно, на несколько строк. Кто-то чуть ярче – запоминается, кто-то – нет. Почти каждого из этих героев автор наделяет именем, порою фамилией, а иногда и специальностью, характерными чертами. Зачем? В глазах начинает рябить. Ладно, когда идет речь о

родственников главного героя, например бабушке Виктора Антонине Андриановне из деревни Шельпяки, что в восьми километрах от рынка в Кирове, – к чему такая точность? Сразу хочется проверить. Или о попутчиках Лены, жены Виктора, встреченных ею в поезде Москва – Пермь. Евгений и Вадим. Двое случайных парней, словно боевые петухи, бросившиеся бороться друг с другом за внимание и как оказалось, потом и за тело Лены. Первая измена мужу, внезапное понимание того, что она все еще молода, привлекательна, желанна. Все описано четко, педантично. Эпизод на несколько страниц. Больше герои не появятся. Остались лишь имена. Ну хорошо, эти сделали свое дело сразу. А остальные? От остальных своих «секундно-двустрочных» героев автор оставляет имена, отчества, фамилии. Зачем? Почему? Вопросы эти остаются без ответа. Конечно, столь конкретная детализация, казалось бы, должна делать роман более правдоподобным, но это только на первый взгляд. В реальности она засоряет его обилием абсолютно ненужной информации, которая все равно забывается через несколько страниц, уходит на третий, четвертый план. Таких героев в романе огромное количество. Сторож детского сада Руслан Муратович, майор Олег Майстренко, муж подруги Лениной мачехи, ветеринар Дмитрий Яковлевич, лечивший козу водкой. Десять проходящих и больше не появляющихся в романе героев, двадцать, тридцать, пятьдесят. По три строки на героя, по пять. Не больше.

А сколько совсем незаметных, которые появляются мелкой ссылкой, даже не секундой, мгновением, намеком, полустрокой, без рода, казалось, без племени, и все равно автор методично наделяет их паспортными данными. Девочка Таня Кривошеева, с которой в школе целовался Виктор, сосед по лестничной клетке Сашка Моисеев, школьный шпаненок Мишка Зыков, старуха Мария Никитична, жившая у поля в поселке. Они проskalьзывают по всему роману, оставляя на страницах короткие упоминания о себе, и исчезают навсегда. И так далее, и так далее, и так далее... Если бы автор переписал свой роман в пьесу, страниц только двадцать у него ушло бы на перечисление всех героев. Не могу сказать, что это недостаток. Нет. Возможно, этот педантизм есть элемент авторского стиля писателя, его отличительная черта. Возможно, это столь повышенная конкретика по отношению к каждому персонажу нарочито специальна, чтобы показать, как герой движется по жизни сквозь массу случайных, быстро забывающихся людей, движется к чему-то главному, нужному, великому. Движется к перелому в истории, к войне, к революции. Не исключено. Только вот, к сожалению, все это утяжеляет произведение, делает его восприятие более трудным.

В своем романе автор стремится быть максимально точным, останавливаясь на каждой, порою самой незначительной, с точки зрения обывателя, мелочи. В аннотации романа Шаргунов характеризуется как «социальный писатель». Я бы дал его стилю иное название – «бытовой». Все выписывается до деталей, с моей точки зрения, порою лишних и ненужных. Вот взятое наугад описание телевизионной ведущей, одной из многих среди промелькнувших на несколько строк в романе.

«...молодая блондинка в светло-зеленом пиджаке и такой же юбке. У нее было слегка припухлое приветливое лицо. То и дело загорались белые буквы "Нина Бердникова"... Ресницы хлопали над голубыми, будто стеклянными глазами». Сколько конкретики в отношении еле заметного персонажа, не главного, не второстепенного, даже не третьестепенного, который больше никогда не появится на страницах романа. И снова имя и фамилия. Нужно ли это?

Вообще Сергей Шаргунов стремится (и это снова элемент той самой «бытоватости», если возможно так исказить слово) показать, что все происходящее в романе не выдуманно, а происходило в действительности. Именно для этого, убежден, в романе мелькают фамилии известных в те годы (а некоторые, хоть и немногие, сохранили свою публичность и сегодня) политиков и военных. Аксючиц, Анпилов, Баркашов, Терехов, Алкснис. Автор намеренно вводит в роман этот калейдоскоп, чтобы показать читателю реальность происходящего. Лимонов, Белов, Уражцев. Честно говоря, в определенных случаях возникает ощущение того, что называется «перебор». Шаргунов явно переигрывает в эпизодах, где Руцкой назначает Виктора Брянцева командиром отряда, а неожиданно возникший на баррикаде Анпилов ест испеченную тут же в золе картошку и обзывает главного героя Чубайсом за копну рыжих волос. А уж то, что главная героиня крестила дочь не у какого-то священника, а у известного и популярного в те годы отца Меня, вызывает недоумение. Быт сразу становится нарочито показным.

Роман «1993» четко демонстрирует, что людям, профессионально занимающимся тем или иным видом деятельности, трудно, а некоторым невозможно отрешиться от понимания того, что другие далеко не всегда знают тему так же хорошо, как автор, а порой вообще в ней не разбираются. «Это элементарно, Ватсон», – словно говорит автор. «Как вы можете этого не знать», – вторит ему Брянцев. Читатель виновато пожимает плечами. Вот яркий пример всезнайства:

«На апрельском референдуме девяносто третьего года родители голосовали так. Мама: да-да-нет-да. Папа: нет-нет-да-нет». Все! Больше ни слова. А теперь вспомните, как звучали вопросы того референдума. Думаю, ни у кого не получится. Что за референдум? О чем он? О сохранении СССР? Нет! Тот проводился в 91-м. О доверии Ельцину? Вроде да. Но это я вам напомнил. А сами бы справились? Автор не подсказывает. Он – всезнайка.

Думаю, что Шаргунов, профессиональный журналист, еще раз подчеркиваю, работавший в думской комиссии по расследованию событий 1993 года, совершает литературно-историческую ошибку, соря десятками фамилий людей в те годы известных, но подрастерявших к сегодняшнему дню публичность, не утруждая себя подчас разъяснениями того, кем является тот или иной человек. Несмотря на то что от событий 93-го нас отделяют всего два десятилетия, многое уже успело позабыться. И первыми позабылись фамилии участников тех событий. Конечно, главные герои – Руцкой и Хасбулатов – останутся в памяти надолго, закрепленные тем более учебниками новейшей российской истории, а вот фамилии других требуют конкретизации. Убежден, что людям политически неактивным и в особенности тем, кому сегодня чуть за тридцать, роман читать сложно. Все же это произведение не о третьей мировой войне, события 1993 года не изучают столь подробно в школах. Возможно, автору необходимо подумать, чтобы при переиздании (если оно будет) ввести сноски и на последних страницах по окончании романа объяснять, кем в 93-м являлся тот или иной персонаж. В этом смысле умиляет то, что чуть ли не единственный раз, когда автор снизошел до объяснения, расширения того или иного героя, касался Натальи Варлей. Про нее Шаргунов честно и откровенно написал, мол, это героиня кинофильма «Кавказская пленница». Убежден, что читатели Наталья знают намного лучше, чем Алксниса или Аксючица. Но у Шаргунова на этот счет, видимо, иное мнение. Для него политики из телевизора ближе популярной актрисы.

В романе автор пытается провести параллель между событиями на Болотной площади и описанным в романе 93-м. Это, на мой взгляд, лишнее. Подводка и окончание романа как раз о мае 2012-го. Митинг, собираются люди. Вокруг полиция, ОМОН. Зачем? Что случилось? Автор ничего не объясняет читателю. И так все должны знать. Шестое мая, проскальзывает через строку. Что за дата? «Седьмого он въезжает в Кремль», – объясняет кто-то. Кто «он»? «Его же все равно избрали». А! Начинаешь догадываться. Речь о президенте. Были выборы. Инаугурация. Но все равно – зачем собрались, что хотим? Автор не отвечает. Это же было год назад. Все должны знать. Помнить. Все? А если не знают?! Москва – не Россия. Или роман только для той узкой прослойки, что варилась в гуще событий?

Кстати, забавно, что, говоря о событиях на Болотной, Шаргунов вдруг начинает изменять себе (впрочем, это становится очевидно уже позже) и называет лидеров Болотной лишь по именам, заставляя читателя самим угадывать знакомые образы. «Сергей, похожий на Железного дровосека, с бритой головой, в черной ветровке и в черных очках», «статный матово-бледный красавец-блондин Алексей в голубой рубашке, с неподвижной, как бы приклеенной улыбкой», «большой писатель Дмитрий в безразмерной сырой футболке с полустертым Че Геварой». Удальцов, Навальный, Быков. Это вот я узнал их. А остальные? Шаргунов не называет эти фамилии. Почему? Запретили? Боится? Удалило издательство? Позвонили из Кремля? Бред. Не понимаю.

Любой, кто занимается фотографией на профессиональном или хорошем любительском уровне, знает, что такое «Фотошоп». Графический редактор, который позволяет существенным образом изменить внешний вид любой фотографии, превратить ее из простого фото в картину. В числе прочего программа позволяет создавать слои, накладывая их друг на друга. Если на обычную, сделанную фотоаппаратом фотографию наложить правильным образом, скажем, фотографию старой потертой бумаги, мы как результат на выходе после слияния этих слоев получим старинную, словно обтрепанную годами и временем работу. Наложение иная дает эффект морозного окна, наложения структуры превращает фотографию в картину, написанную песком, маслом и так далее. Шаргунов в работе над романом пользуется своеобразным литературным «фотошопом». На историю обыкновенной семьи – муж, жена, дочь, проблемы, рутина, пьянство (такая история мало кому интересна, каждая вторая семья в России узнает себя) – он накладывает слой из настоящей жизни, событий, вытщенных из 93-го года, вытщенных скрупулезно, по деталям, по черточкам.

Кстати, о скрупулезности. Прошли, возможно, те времена, когда для написания романа требовалось сидение в архивах. Компьютеризация сильно изменила жизнь. Нет, конечно, и сегодня желающие создать точный исторический роман обязаны уважительно сверить всю информацию с первоисточником. Остальным, не желающим погружаться в эти дебри и проводить время в тихих читальных залах, приходит в помощь Википедия. Что грешить, сам я при написании тех или иных своих произведений не раз сверялся с ней. Возможно, этим ресурсом пользовался и Шаргунов. Возможно, Википедию заменял ему доклад Комиссии Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по дополнительному изучению и анализу событий, происходивших в Москве в 1993 году. Доклад задокументировал каждый день, каждый час, каждую минуту. Покадровое восстановление событий. Все, что требуется от автора, это только литературно обработать эпизоды. И он это делает, впрочем, порой не сильно заморачиваясь обработкой. Так, Шаргунов описывает, например,

как некий гражданин из числа осаждавших Останкино не смог взвести гранатомет и зарядить гранату. Ему помог в этом другой нападавший, участковый милиционер. Все это описано в докладе и размещено в Википедии. С именами и фамилиями. Николай Абраменков и Михаил Смирнов. Странно только, что автор, так любящий точность, вдруг не раскрывает эти фамилии в романе. Объяснение только одно – именно здесь, когда он берет реальный эпизод, описанный другими авторами в другом, пусть и не литературном произведении, ему необходима анонимность. И подобных исторических заимствований полно. Шаргунов повествует о смерти немецкого журналиста. Все это есть в докладе. Журналиста звали Рори Пек. И снова в романе в отличие от многих других сюжетов нет имени. В принципе, как говорится, ничего страшного. И все же!

В романе можно натолкнуться и на банальности, штампы, которые, перепечатаваясь из одних сборников воспоминаний в другие, в таком же виде и попали в Википедию. Приведу пару примеров. Один связан с решившим повеситься негром из Мозамбика, которого спасает Виктор Брянцев. Придя в себя, негр начинает рассказывать о тяжелой судьбе своей страны, погибшем в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах президенте, о том, что жена его после этого вышла замуж за Манделу. Достаточно набрать в любом поисковом сайте «Самора Машел – Президент Мозамбика», и эти факты, слово в слово, выдадут нам десятки сайтов. Сергей Шаргунов не мудрствуя просто переписал их, вложив в уста говорящего с акцентом чернокожего. Поверхностное отношение автора к литературной работе особенно четко проявляется в повествовании о встретившемся Виктору в ночной Москве пьяном мужчине, оплакивавшем смерть своего начальника, – руководителя концерна «ДИАМ» Ильи Медкова. Банальнейшее описание дня рождения с Овсиенко в мини-юбке можно также найти везде в Сети, стоит лишь набрать в поисковике «Медков» или название концерна. Там везде подчеркивается – «Овсиенко в мини-юбке». Шаргунов даже не позаботился внести свои литературные коррективы. Этот штамп перекочевывает дальше к нему в роман.

Излишняя любовь Шаргунова к бытовым деталям его же самого и губит. Губит прежде всего там, где он не является специалистом и где ему совершенно объективно не хватает знаний, а в ту же Википедию мешает залезть либо лень, либо размышления о том, что читатель схавает как есть, не заметив неточностей. Подчеркиваю, это действительно неточности, понимание которых не изменяет сути романа, не дискредитирует его, но вместе с тем вселяет своего рода недоверие к написанному автором, а следовательно, портит впечатление о книге. Автор маниакально, не всегда к месту, называет конкретные даты. И в этом кроются скрытые проблемы. В ряде случаев они делают рассказ правдоподобным, как в случае с убийством отца Меня или приездом в Москву на Рижский вокзал (какая разница, на какой вокзал он прибыл?) освобожденного заместителя командира Рижского ОМОНа. В других местах даты вредят автору. Приведу несколько примеров. Автор четко указывает, когда родился главный герой, – зимой 53-го. Соответственно весной семьдесят первого, в восемнадцатилетнем возрасте, его должны были забрать в армию. Пусть даже осенью. Автор отправил служить героя в Североморск, на флот, на большой корабль «Достойный». Все бы ничего. Только вот в состав Северного флота сторожевой корабль «Достойный» был включен годом позже, в апреле 1972-го.

Следующий ляп у автора возникает при упоминании о работе автора в ФИАНе. На голубом глазу Шаргунов отмечает, что Виктор Брянцев, работая в лаборатории института, оставил на одной из деталей лунохода

отпечаток своего пальца, предварительно обмакнув его в краску. Теперь, гордится он, мои пальцы есть и на Луне. История красивая, хотя невозможная в принципе. Возможно, автор не знал, поленился посмотреть (не нужно зачеркнуть), что в советское время срок службы во флоте составлял три года и соответственно вернуться на гражданку Брянцев мог только в 1974 году. Всего в истории советской космонавтики было два лунохода. Первый стартовал на Луну в 1970 году, второй – в январе 1973-го. Ни в создании первого, ни второго Виктор Брянцев не мог поучаствовать по очевидным причинам.

Вообще Шаргунов явно некстати столь подробно описывает «физическое» прошлое главного героя. Так уж получилось, что когда-то мне довелось несколько лет проработать в теоретическом отделе Научно-исследовательского радиофизического института в Нижнем Новгороде и даже защитить там кандидатскую диссертацию. Мне, да и, пожалуй, любому другому человеку, имеющему хоть когда-нибудь отношение к физике, в лучшем случае становится смешно от описания телескопа, сделанного из банок из-под зеленого горошка и кукурузы. Вызывает сомнения и то, что в 1977 году в ФИАНе (на всякий случай – в Физическом институте Академии наук!), месте, где работали величайшие ученые-физики СССР, занимались проектированием уличных экранов, да и вообще были ли они тогда, неизвестно. Явно не стыкуются года в этой части жизни главного героя. В 1974-м он приходит из армии, поступает на Физтех, начинает учиться, бросает, а уже в 1977 году приходит в Министерство обороны согласовывать свой проект этого самого экрана. Поверить в то, что за три года из радиста Виктор Брянцев, студент-недоучка, превращается в хорошего специалиста, ученого-инженера, невозможно. В принципе, можно просто не обращать внимания на подобные мелочи, от которых точно не страдает повествование, но ведь автор сам наталкивает пытливого читателя на свои ляпы. Последней «физической» ошибкой автора становится вживление в роман личности академика Пилюгина, директора закрытого учреждения, в котором проектировали приборы для наведения. Автор косвенно дает понять, что работал Виктор Брянцев под руководством Пилюгина в 1984–1985 гг. Увы, академик умер в 1982-м. Впрочем, еще раз подчеркну, логику романа ошибки эти портят не сильно.

Больше всего обидно, что автор позволяет себе ошибаться на своем поле – литературном. Так, «Злые стихи» поэта Бориса Гунько, датированные во всех его сборниках январем 1994 года, Шаргунов зачем-то помещает в газете «Молния», вышедшей годом раньше. Что это? Непрофессионализм? Небрежность?

Возможно, автору в написании мешает собственная гражданская позиция. Ему на протяжении всего романа не удается соблюсти этот баланс между политикой и литературой, попытаться стать нейтральным, взлететь над происходящими событиями. Шаргунов сам внутри романа. И он по конкретную сторону баррикад. В романе это ощущается достаточно четко. Он с теми, кто за парламент. Он против Ельцина, против развала СССР. Не случайно в романе почти нет ни одного героя той, противоположной стороны. Люди этой стороны есть – депутаты, писатели, актеры, просто граждане. С той, противоположной стороны – почти никого. Безликая масса. Разве только Ельцин, которого Брянцев накануне расстрела Белого дома видит по телевизору. Возможно, этим писатель хочет провести границу, между народом и одним-единственным человеком, против которого выступает народ, но у которого есть власть, – Президентом России. Не исключено, что Шаргунов, работающий сегодня в оппозиционных власти

журналистских кругах, хочет лишний раз сделать отсыл в сегодняшний день, на Болотную – вот народ, а вот одинокий Президент. Впрочем, это просто мои домыслы. А вот то, что главный герой умирает не 4 октября, в день, когда был расстрелян Белый дом, когда были арестованы его защитники, а на сутки раньше, очень символично. Тем самым автор глазами своего героя как будто не признает поражения в войне, намекая, что ничего не потеряно, что нужно бороться дальше, за лучшую жизнь, против антинародного, с точки зрения Шаргунова, режима. Это подтверждается действиями внука Брянцева, мелькающего в подводке и в окончании романа. Он выходит на Болотную площадь. Для него это важнее, чем тусоваться в московском ресторане «Жан Жак».

Займет ли этот роман достойное место в библиотечном ряду, покажут годы, история. Мое личное мнение, что нет. Роман специфичен. Он написан словно для своих, осведомленных. Он не для широкого круга. Роман точно не может претендовать на фундаментальность «Войны и мира». В «1993» есть факты, есть сюжет, есть события. В романе нет мысли. «1993» о том, как было в тот год. Это бытовой роман, не социальный. Вот как-то так и было, говорит автор, это, мол, я нашел в думском докладе. Ну а чтобы вам всем не скучалось, я наложил сверху историю про Виктора Брянцева. Как в «Фотошопе», объединил два слоя. Получилась книга. Будут его читать через двадцать лет? Посмотрим. Может быть, будут. Кто-то вспоминая (а помнишь, мы тогда на баррикадах), кто-то познавая (во зажгли предки!), кто-то учась. А кто-то будет нервно пролистывать страницы, испещренные никому к тому времени неизвестными фамилиями – Бабурин, Аксючиц, Уражцев, Анпилов, Константинов... Кто это, будет думать читатель и искать их фамилии в той же Википедии. Но разве это роман, для чтения которого требуется Интернет? Впрочем, возможно, я ошибаюсь. И все будет иначе. Поживем – увидим.

Светлана ГОЛИКОВА

Родилась в Душанбе. Образование – Горьковская и Львовская консерватории, Таврический национальный университет. Автор около сотни песен, в том числе на стихи поэтов Серебряного века.

Живет в Симферополе. Водит экскурсии, бродит по горам, фотографирует пейзажи и флору, пишет краеведческие очерки и рецензии. Девиз «Крым – это образ жизни».

ПОСТГУМАНИТАРНЫЙ УЛИСС

День 16 июня стал самым длинным описанным в литературе днём. Около 1000 страниц текста, 20 000 часов работы (как скрупулёзно подсчитал сам автор). Скандальная репутация романа известна. Мнения о нём располагаются в широком диапазоне. Джойсовский опус квалифицируется как гельминтология, Новая Тора, книга для виртуального необитаемого острова.

Итак, «Улисс»: связь с гомеровский «Одиссеей» прослеживается в названии и архитектонике. Парадигма «О»: пролог – странствия – приключения – возвращение. «У»: уход из дома – соблазны и испытания – возвращение. У Гомера – преодоление опасностей, порой смертельных. Жизням джойсовских персонажей ничто не угрожает; испытаниям они подвергаются отнюдь не по воле богов. Но их одиссея – это странствия их неприкаянных душ.

Примечательно в связи с этим намерение Джойса, как он пишет, «отправить читателя во внутричерепное путешествие».

Путешествие, понимаемое как и н т е р и о р и з а ц и я. Этот метод позволяет персонажам выстроить свой внутренний мир, обрести собственные жизненные ориентиры.

* * *

Пространство романа – это лабиринт дублинских улиц, набережных, каналов и значных заведений. Именно эти декорации приличествуют новому странствователю по морю житейскому. Тот или иной фрагмент карты Дублина является принадлежностью каждой главы. Ведь карта – непреременный атрибут мореплавателя.

Лабиринт «Улисса» сложный и запутанный, но все тупики и ловушки героя вынуждены исследовать, дабы путём проб и ошибок обнаружить выход.

Время романа зиждется на круговороте, заданной цикличности. От утра первого эпизода до глубокой ночи последнего, 18-го, проходит 20 часов, но чтение романа вызывает ощущение целой прожитой жизни – не Блумсдей, «день Блума» это, а «эра Блума».

Время то останавливается – в эпизоде, когда у Блума перестают идти часы; то соскальзывает на предыдущую фазу (в серии синхронных эпизодов «Симплегады»); то разбухает – имитируя засыпающее сознание Молли; то приобретает ускорение.

В эпизоде «Быки Гелиоса» сверкающий экспресс джойсовского стиля словно набирает скорость: сначала медленно... проплывают остановки – хроники, кельтские сказания, средневековые новеллы... затем движется быстрее: Голдсмит, Поп, Стерн... И вот уже мы стремительно мчимся по просторам современных лексических земель.

Джойсовский «Улисс» состоит из 18 глав, названия которых корреспондируют эпизодам гомеровской «Одиссеи». Существует и определённое соотношение образов персонажей с гомеровскими героями. Так, рекламный агент Блум предстаёт новым Одиссеем; Стивен Дедалус символизирует Телемака; Мэрион Блум выступает в роли Пенелопы и т. д.

Те или иные образы по-разному причастны к гомеровской теме. Остроумно, к примеру, изображение дублинского Полифема как ирландского националиста, ослеплённого фанатизмом. Перманентно взвешенное состояние редактора бульварной газеты отождествляется со стихией Эола. Сцилла и Харибда – это извечное *pro et contra*: духа и материи, жизни и искусства, мужчины и женщины, красоты и правды; гамлетовское «быть или не быть».

Увлекает игра в переодевания, остроумная перелицовка, реализация метафор; эта викторина для эрудитов тренирует мозги. К тому же греческая топография занятно дублируется дублинской, а для пущей полифоничности изобретается ещё и атлас анатомических соответствий. Например, если действие 14-го эпизода происходит в роддоме – символикой данной главы будет чрево. Если девушки в баре мурлычат шлягеры – аллегорией выступает ухо. Метод строго, систематически соблюдается.

Итак, главный герой Блум – современный Улисс. Джойса восхищала полнокровность образа гомеровского Одиссея. Даже Гамлет и Фауст поделились ему менее яркими фигурами. Ведь Одиссей – и сын Лаэрта, и муж Пенелопы, отец Телемака, любовник Калипсо; воин, царь, рассказчик, знаток людей.

А вот Блум, которого построил Джойс. По замыслу писателя, это дублинский Пер Гюнт, ирландский Фауст. Джойс откровенно признавал, что Ибсен явился для него учителем, предтечей, поэтому имеет смысл сравнить Блума с Пер Гюнтом. Ибсеновский герой – больше Блудный Сын, нежели Одиссей; раб собственного эгоизма, совершающий по Великой Кривой путь, равный нулю. Он странствовал, губил и обманывал людей, но ничего не выиграл в итоге, не достиг. В финале его, пришедшего к себе самому, ожидает любящая, всепрощающая Сольвейг – норвежская Пенелопа.

Леопольд Блум имеет несколько ипостасей. Он не только Одиссей, Блудный Сын, но и Агасфер, Вечный Жид. Блум – это Одиссей с жизненным стажем Агасфера. Это у с т а л ы й Одиссей. Не случайно Блум в романе – еврей. В его ДНК – генеалогия всех иудейских царей: Иов и Давид, Моисей и Иосиф. Но, чтобы мы не поверили в это всерьёз, Джойс минимизирует, умаляет фигуру Блума, поливает химикатами иронии и травестии этого потомка библейских пророков. Все эти знатные литературные предки, приписываемые Блуму, типичному эвримену, – седьмая вода на киселе. Кто же он сам?

Невзрачный клерк, обманываемый муж. Конечно, прилично его поведение в роддоме среди своры молодых балбесов. Он незлобив, дружелюбен. Но сравним Одиссея в его инвариантных характеристиках с Блумом.

Герой хитроумен, коммуникативен, дерзновен, набожен, любознателен. Ему свойственны воинская доблесть, мужские амбиции.

Блум лишь частично выражает некоторые из этих свойств, но в иронически обесцвеченном виде.

Коммуникабелен? – В редакции от ворот поворот.

Любознательен? – Любит читать журналы в сортире.

Хитроумен? – Без ключей попадает в дом через окно.

В этом есть налёт какой-то комиковости.

Блум – одна из молекул в сутолоке жизни, антигерой, сперматозоид.

Где уж тут ирландский Гамлет – скорее уж ирландский Акакиев Акакиевич.

Но к о р р о з и я героического – это к о л л и з и я романа.

Дегероизация образа обусловлена: Джойс с теми, кто терпит поражение.

Блум – не единственный главный герой романа. По идее, житейская мудрость и человечность Блума должны оплодотворить интеллектуализм Стивена Дедалуса, второго важнейшего персонажа «Улисса».

Возможно, не столько «Блумиана», сколько «Дедалиада» занимала Джойса. Ведь Стивен Дедалус – герой первого автобиографического романа «Портрет художника в юности». Именно Стивен произносит знаменательные слова: «моё кредо – молчание, изгнание, *хитроумие*». Стивен-иезуит примеряет на себя качества Одиссея. Безусловно, Дедалус – главный герой «Улисса», хотя формально он – Телемак. И все ухищрения интеллекта у Стивена – от Одиссея. Ради знания Дедалус готов на многое – вот он, Одиссеев риск!

И ещё – ради красного словца не пожалеет и отца. Стивен стыдится отца, сам Джойс отцом тяготился. Дедалус отрекается от родных, дабы обрести «духовное родство» с якобы близким ему Блумом. Бунтарь Стивен во власти рефлексии: кто он – Икар, дерзко взмыть к Солнцу право имеющий, – или низко летающий зук?

В этой колоритной паре – Блум и Стивен – можно угледеть намёк на знаменитый тандем – Дон Кихот и Санчо Панса.

Но и Блудный Блум, и Стильный Стивен суть литературные проекции Джокера Джойса; это сросшиеся половинки авторского «я»: Бливен Стлум, Блювен Стлим.

* * *

Постоянные эпитеты гомеровского Одиссея – «хитроумный», «многострадальный». Эти качества Блум, хоть и в замызганном зеркале, но как-то отражает, – этот обесцвеченный, тусклый пара-Улисс.

Но как быть с Пенелопой – эталоном супружеской верности?

Джойсу нравилось, когда жена флиртовала. В качестве самки Молли соответствует моральным стандартам как каменного века, так и времён теперешних. Могучий витальный дух Мэрион заставляет позабыть о её куцем интеллекте. Поэтизация обыденного не входит в эстетическую систему Джойса. Пошлость жизни для него – не проблема. Он приемлет её, в неё погружён. И воплощает эту пошлость мешаночка Молли с её Да – приятием, возведённым в абсолютную степень; Да, адекватным самой Жизни.

В какой же мере «Улисс», стоящий на гомеровских ходулях, соответствует параметрам мифологического? Джойс очень точно формулирует свои задачи: он добивается того, чтобы «все события разрешались в свои космические, физические, психические эквиваленты».

Казалось бы, солидно. Но – не мало ли? Мифологическая модель «Улисса» обеднена на одно, но очень важное измерение: в ней demonstra-

тивно отсутствует категория духовной реальности. Воинствующий агностицизм Джойса не приемлет ничего, что выходило бы за пределы плоской эмпирики.

Неверие в высший смысл лишает стержня этот конгломерат текстов. Ревизия мифа завершилась отнятием у него онтологического статуса, без чего и миф – не миф. Кстати, говоря о гомеровском материале, Джойс подчёркивал отличное качество его как литературного произведения, и только.

Так что же, гомеровское в романе – миф?

Похоже, что так.

Карнавализация, деформация, выпотрошение... С набором пыточного инструментария Джойс входит в пространство мифа, отдавая при входе иронический пароль. Ирония разрушает саму атмосферу мифа, разъедает его мироощущение. По словам Сергея Хоружего, «если в модернизме х у д о ж н и к погружается в миф, то в постмодернизме м и ф погружается – в мясорубку, в центрифугу, в ускоритель элементарных частиц – куда угодно, до унитаза включительно».

У Гомера в эпизоде с Полифемом герой остроумно называет себя НИ-КТО. Этот лингвосемантический фокус – гениальная находка Гомера. Но игра местоимений увлекает современного сказителя – вплоть до того, что он находит самоценный смысл в идее nihil, н и ч т о, пустота.

Пустопорожность содержания постепенно приближается к состоянию вакуумной пустоты, абсолютной черноты глухой ночи.

Как пишет Карл Густав Юнг: «Совершенно безнадёжная пустота – доминанта всей книги. Она не только начинается и заканчивается н и ч е м – в ней нет ничего, кроме н и ч е г о. С точки зрения литературного мастерства – это абсолютно блестящее, адское порождение чего-то чудовищного».

Содержания как такового больше нет. Содержанием стала сама форма, её изощрённые протеистические метаморфозы, сверкающие оболочки стиля.

Таксидермист Джойс занимается изготовлением чучел своих литературных предшественников. Мастерство Джойса многолико: ведь он – виртуоз не только по части изящной словесности, но и по разряду словесности топорной. В любовании скотством он скатывается до скатологии.

Что же представляет собой «Улисс» по отношению к «Одиссее»?

Это римейк, намеренно переделанное чужое произведение, взятое как трамплин для собственного творчества. Система идей, проблематика оригинала целиком подменяются, а порой выхолащиваются. Выхолащенное содержание, впрочем, не обнажает зияний, ибо содержанием становится сама форма. Это дежавю, сон об Одиссее, маленький кошмар повторения; метафизический укус подражателя-аранжировщика.

«Улисс» увёл своего автора в такие дебри, где не ступала ещё нога модерниста.

«Искусство, – по выражению Хамитова, – это тайный агент будущего в настоящем». Что и позволило произведению, законченному в 1921 году, стать предтечей нынешних сногшибательных направлений в литературе. Вскоре Джойс творит своего офигенного Финнегана. Эти герметичные тексты впоследствии станут кораном ПМ-эстетики.

Художник – пророк: его вещей, хоть и слепой, взгляд провидит перспективу. Или бесперспективность. Ослепший привёл литературу к краю пропасти. Как не вспомнить брейгелевских «Слепых»!

А может, о с л е п ш и й глаз – это символ джойсовского эпизода в мировой литературе? В той чёрной ночи, которую он накликал, зрение ему, как кроту, без надобности.

...Заглянем в анатомический план. Кровь свернулась. Пульс не прощупывается. Клиническая смерть культуры вот-вот настанет.

Итак, Гомер и Джойс. Слепой и Ослепший.

Начало – и конец: два обрамляющих эпизода в многовековой истории европейской гуманистической культуры.

«Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос».

Светлое утро человеческой цивилизации – это у Гомера.

Засыпающее сознание, хохот в ночи, одиночество и чернота – Джойс.

У Гомера – море, виноцветный Понт, вечношумящая Таласса. Эол, Зефир и Посейдон.

В эпоху глобального экологического кризиса – зловонное болото, смрад похоти, миазмы испарений дегенеративных героев Джойса.

Одиссея: естественное колыхание волн гексаметра.

И – натужность, удушье, ритм рвоты – у гомерова антагониста.

У грека – гармония «фюзис» и «псюхе»; покорность высшему жребию, богам.

У ирландца – разлад духа и материи, жало во плоти, дух в пустыне. Агностицизм и пофигизм.

Платон говорил: на Гомере училась вся Эллада.

А читают ли Джойса?

Ради эрудиции – единицы продвинутых. Продираться сквозь джунгли шифрованного текста ради интеллектуального наслаждения способны немногие. (А любители непристойностей вряд ли имеют нужду в старомодном срывателе моллиных подвязок: порнографического чтива сейчас завались.)

Джойс – точный, беспощадный, гениально прозорливый регистратор сознания и подсознания своего времени. Его ли вина, что время – больное, кризисное и антигероическое?

Ответом будет ДА.

Джойс причастен к убийству гуманитарной культуры.

В Дублине скрежет зубовный.

В Итаке победа признана за Гомером.

Петропскон

Николай ПАВЛОВ

ГОСКИНО. ГОРОД ГОРЬКИЙ

Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», ибо не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Экклезиаст. Гл. 7–10

В Нижнем Новгороде с 9 июня по 13 октября 1896 года проходила XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка. Правила проведения таких выставок утвердил еще в 1829 году Николай I, готовя самую первую, Мануфактурную, как она тогда называлась. Правила были достаточно просты: все экспонаты могут быть произведены только в России. Исключение делалось для художников – пейзаж русского мастера мог быть нарисован и за границей. Полиция наблюдать за «благочином и порядком» могла только на улице – в павильонах «удовлетворять любопытство и следить за сохранностью вещей» обязаны были приказчики. Был обозначен и дресс-код – «не допускать в залы экспозиции людей в неприличном виде приходящих». Все эти правила неукоснительно соблюдались и при наследниках Николая I.

Нижегородская выставка впечатляла – на территории, большей, чем предыдущая в Москве, в три раза, даже большей, чем вся площадь Всемирной выставки 1889 года в Париже, располагались 55 казенных зданий да индивидуумы-экспоненты на свои деньги построили в два раза больше. Организаторы обо всем позаботились: доставка зрителей на поездах и пароходах со всех концов страны осуществлялась по сниженным ценам на билеты, учащиеся и солдаты пропускаясь в павильоны бесплатно. Новые гостиницы, только что построенный элегантный театр на Покровке, первый в России городской трамвай от выставки до Софроньевской площади, а там и недалеко до фуникулеров, каждые пять минут поднимающих пассажиров на гору. Сады, панорама профессора Рубо, рестораны, буфеты и киоски, цирк, ипподром, ежедневно музыка на Откосе и, конечно же, совсем рядом знаменитая Нижегородская ярмарка, которая по этому случаю открылась не в июле, как обычно, а одновременно с выставкой.

17 июля, в первый же день по приезде, после официальных приемов, в 4 часа дня Их Величество император Николай II прибыл на выставку, несмотря на страшный ливень и град. Какие мистические мысли приходили под гром и молнии в голову молодого императора, можно только догадываться – ведь Центральный павильон, куда входил царь в сопровождении свиты и министров, Нижний позаимствовал у Москвы, с Ходынки. Умельцы разобрали главный павильон предыдущей выставки 1882 года и перевезли в Нижний. Разобрали и увезли, а ямы по нашей русской безалаберной «забывчивости» не засыпали. Эти ямы-рвы и стали главными виновницами гибели почти двух тысяч москвичей, с ночи ожидавших царского подарка – пряника да кружки с двухголовым орлом. Всего-то полтора

месяца прошло, и чувство горечи от этой беды, омрачившей праздник коронации, не покидало Николая.

Три дня высокие гости осматривали достопримечательности выставки, и наконец 20 июля царь и царица в императорском поезде отбыли от платформы в Москву под несмолкаемое «Ура!». «Долго еще оставался около вокзала и по улицам народ, медленно расходящийся после проводов обожжаемой Царской Четы» – именно так писала тогдашняя «Всемирная иллюстрация». Гости приезжали, уезжали, а разудалая выставочно-ярмарочная жизнь ни на день не затихала. Павильоны закрывались с наступлением сумерек, но веселье в садах, концертных залах и ресторанах продолжалось до поздней ночи. В театре на Покровке пел нервный тенор Николай Николаевич Фигнер, родной брат террористки, в ярмарочном театре выступали труппа артистов императорского Малого театра и артисты русской оперы. Вот так гости и нижегородцы, именитые и не очень, ещё в 1896 году на Всероссийской выставке знакомились и с первым русским автомобилем конструкции Евгения Яковлева и Петра Фрезе, и первым русским радиоприёмником-грозоотметчиком Александра Попова, и «дикивинкой» выставки – стальной ажурной гиперболоидной башней гениального русского инженера Владимира Шухова, до сих пор ржавеющей где-то под Липецком, – утром обозрение павильонов, которые и за неделю не обойдёшь, а вечером развлечения и зрелища.

А совсем рядом, на ярмарочной Нижегородской улице, напротив пахнущего кофе Бразильского пассажа, развлекал публику Café-concert Шарля Омона, этакий францужско-нижегородский варьете-коктейль, своеобразная помесь «Мулен Руж» с русским кабаком, под названием «Театр концерт-парижъен», с отдельными кабинетами для наилучшего обслуживания. Именно в этом милом заведении в июне 1896 года, всего через 5 месяцев после самого первого показа в Париже самого первого кинофильма братьев Люмьер, на экране мчался поезд, прибывающий на вокзал курортного городка Ла-Сьота. Журналист М. Racatus писал 16 июня в газете «Нижегородский листок» под впечатлением увиденного: «На экране является поезд железной дороги. Он мчится стрелой прямо на вас – берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рванный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это здание, где так много вина, женщин, музыки и порока!»

Просматривая сегодня этот ставший хрестоматийным люмьеровский киносюжетик, отображающий всего-то навсего приезд пассажиров на вокзал, сюжет, который и длится-то меньше минуты, поражаешься фантазии и гениальной метафоричности эпитетов будущего великого пролетарского писателя, наводящих ужас на провинциального читателя. Может быть, именно под впечатлением этого увиденного впервые кинофильма впоследствии родились незабываемые строчки Буревестника революции:

В жизни мы – как будто на вокзале
Перед отправленьем в темный мир загробный...
Чем вы меньше чемоданов взяли
Тем для вас и легче и удобней!

Кстати говоря, этот ранний псевдоним Алексея Максимовича Пешкова просуществовал недолго: в переводе с латыни Racatus означает Мирный, Безмятежный, а в моду уже входили Бедные, Голодные, Скитальцы. И Безмятежный предпочел быть Горьким.

И еще не понимая значения произошедшего, развлекающаяся публика соприкоснулась с народившимся младенцем – новым искусством, обладающим огромной гипнотической силой, способной развлекать или отвлекать, информировать или ужасать, обучать или обманывать. Вопрос только в том, в чьих руках оказывалась кинокамера и для каких целей она использовалась.

* * *

В конце своей жизни философ Владимир Сергеевич Соловьев вспоминал о беседах в молодости со своим знаменитым отцом, вспоминал о мучившей мысли, что всемирная история внутренне кончилась и продолжать делать историю некому. «Когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне, – говорил Сергей Михайлович. – А теперь где ты новые народы отыщешь? Те островитяне, что ли, которые Кука съели? Или негры нас обновят?» А на слова молодого сына, что человечество может обновиться лучшим экономическим строем, что вместо новых народов выступят новые общественные классы, отец возражал с особым движением носа, как бы ощутив какое-то крайнее зловоние.

Вот это «особое движение носа» и сыграло злую шутку с интеллектуальной элитой дооктябрьского русского общества. Поплыла ненужная интеллигенция на пароходе в дальние края, а «грядущий хам» стал хозяином и начал разрушать все сложившиеся за века устои, как плохие так, не разбираясь, и хорошие, – не наливать же новое вино в старые меха. Властные Псевдонимы судорожно переименовывали учреждения, музеи, магазины, переименовывали пароходы: «Князь Николай Николаевич» превратился в «Ленина», «Графиня» обернулась «Сталиным», а «Фельдмаршал Кутузов» стал аж «Красногвардейцем». Переименовывали улицы – в пока еще Нижнем появились немыслимые для русского языка Наркомпросовская и Совнаркомовская, десятки улиц просто поменяли фамилии, а позже, в 1932 году, хотя Алексей Максимович и возражал из приличия, жители города стали называть себя горьковчанами. И ведь привыкли к этой полынности! Да что говорить – старинному Керенску еще больше «повезло»: из-за созвучия с Александром Федоровичем город не только переименовали, но и в звании понизили – Вадинск стал селом. В довершение процесса и всю страну обозначили пятью буквами.

Нижегородские кинотеатры не переименовывали – у них и так уже были названия в стиле модерн. А вот клубы, в которых тоже крутили фильмы, и вновь построенные, и разместившиеся в старых сословных собраниях, получили фамилии кумиров: Сталина, Свердлова, Дзержинского, Калинина, Орджоникидзе и примкнувшего к ним Спартака.

На двадцатом году советской власти в городе Горьком с населением в 644 тысячи человек было всего 4 приличных государственных кинотеатра: «Рекорд», «Палас», «Прогресс» и «Художественный». В каждом из них на видном месте висел плакат за подписью Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», перед сеансом играл оркестр и работал буфет, что по тем временам было немаловажно – даже в Москве перед войной в магазине «давали» в одни руки только полкило колбасы и двести граммов масла, а в провинции об этом только мечтали. А тут тебе и музыка играет, пиво продается и можно съесть пирожное, запив его газировкой с сиропом или без.

Самым фешенебельным из этих центров культуры был «Рекорд» – первый настоящий кинозал, созданный еще в 1910 году купцом Павлом

Сметаниным. Назывался он тогда синематограф «Бразильский», но довольно быстро, уже в 1914-м, переименовал себя в дожившее до сегодня название. К 21-й годовщине Октября кинотеатр получил новое здание с концертным холлом, двухэтажным фойе с буфетом и большим просмотровым залом.

Кинотеатр «Палас» (сегодня «Орленок») разместился в доме, построенном по проекту модного в свое время московского архитектора Франца Шехтеля. Строился он для и на деньги купцов Рукавишниковых, но... В общем недолго, пять лет всего, радовались они интерьерам. После именитых купцов революция обосновала в доме Совет депутатов Нижегородской губернии, а затем «Советский клуб», «Клуб моряков» (откуда только они взялись в Нижнем?), мюзик-холл и кинотеатр, открывшийся во времена нэпа.

Не существующий ныне «Художественный», или попросту «Художка», находился напротив здания Государственного банка на Свердловке и отличался очень маленьким фойе, так что перед сеансом стоявшие впритирку фраера были хорошей приманкой для специалистов, пришедших сюда «шопнуть бугай», потому как трудно в этакой толкотне взять жульмана на кармане.

Четвертый кинотеатр, «Прогресс», располагался в Канавине. Ярмарка, превращенная Советами и райкоммунхозами в огромную «коммуналку», где в шестиметровках «проживало» иногда по 5–6 человек (уму непостижимо – ну как могли они жить, т. е. обедать, ужинать, спать, любить на таком пространстве?), а также и близость вокзала определяли физиологию этого центра заречной культуры: пол, заплеванная кожурой подсолнуха, матерщина и взвизгивания вокзальных девиц, свист и хохот в душещипательные моменты. Говорили даже, что места в этом кинотеатре проигрывали в карты – выходит зритель, скажем, из 13-го ряда с 13-го места, а его уже поджидают в темном переулке. Конечно, это были придумки от страха, но порядочные люди побаивались ходить в этот вертеп искусства для народа.

В 1943 году открылся кинотеатр им. Маяковского, а в 1945-м – им. Белинского с очень длинным и очень узким залом. Не фантазировали – называли просто по тогдашним наименованиям улиц.

Кинотеатр им. Маяковского разместили в бывшем доходном доме, построенном еще в XIX веке и реконструированном к выставке 1896 года архитектором В. Лемке, который нарядил фасад пилястрами и античными женскими масками, растительным орнаментом. Кинозал находился на втором этаже, и к нему, богато украшенному лепниной, как и к большому холлу с красивыми большими окнами, никаких претензий быть не могло, но вот выходить после сеанса было опасно для жизни – крутая наружная железная лестница, плохо освещенная и скользкая (ведь не всегда лето), – вела в темный крутой переулок, пропахший помоями и табаком: в снежных позднее в 50-е годы соседних старинных торговых рядах много лет функционировала табачная фабрика, выпускавшая папиросы «Казбек», «Беломорканал», «Пушки» и «Норд» – сигареты тогда спросом не пользовались.

Чтобы закончить рассказ о кинотеатрах 40-х годов, вспомним еще два кинозала, открытых в 1948 году. Для этих храмов социалистической культуры воспользовались храмами Господними. Для детского кинотеатра «Пионер» приспособили кладбищенскую церковь Петра и Павла; на госте, превращенном комсомольцами 30-х годов в парк, холмики могил сравнивали с землей, а кресты и ограды отправили в металлолом. Назвали

парк именем Кулибина, похороненного на этом кладбище, – он входил в число почитаемых дореволюционеров, – но народ переименовал этот но-водел самостоятельно в «Парк живых и мертвых». В здании церкви, в храмовом притворе, поставили кумира пионеров алебастрового пограничника Никиту Карацупу с грозой шпионов овчаркой Индусом, а в кафоликоне крутили воспитывающие молодежь фильмы.

В июне 1948 года появился еще один государственный кинотеатр под названием «Колхозник». Такое сельскохозяйственное наименование дали ему, видимо, из-за расположения в древнем поселении Печеры на берегу Первого озера, возле пляжа. Оборудовали кинозал в братском корпусе старинного монастыря и обозвали «Колхозником», хотя в Печерах и Подновье жили самые что ни на есть кондовые единоличники, снабжавшие рынок на Сенной площади овощами да ягодами. Просуществовал же этот очаг социализма недолго – сохранившие веру местные жители в это заведение не ходили, а потому впоследствии построили на Сенной новый кинотеатр «Печеры», братский корпус приспособили под мебельную фабрику. А почему нет? Делали же в это время в синагоге гармошки, а в мечети располагался детский сад.

Конечно, этими кинотеатрами не исчерпывалось «количество посадочных мест». «План по пропуску зрителей и валовому сбору» выполнялся еще и за счет ведомственных клубов и передвижных киноустановок, каких в городе насчитывалось 91 (это в 1946 году).

* * *

До начала 30-х годов Псевдонимы к делам кинематографическим относились не очень серьезно – создавались какие-то бюрократические управленческие структурные аббревиатуры, но занимались они в основном хозяйственной деятельностью, финансами. Настоящее идеологическое хозяйствование началось с 11 февраля 1933 года, когда Совнарком СССР принял постановление «Об организации Главного управления кинофото-промышленности при СНК Союза ССР». Все кинофабрики («Мосфильм», «Ленфильм», «Союзкинохроника»), все кинотресты и экспортно-импортная компания «Союзинторгкино» подчинялись отныне ГУКФ. Все теперь работали по плану, все теперь подвергалось предварительному просмотру. На белоснежных экранах окончательно восторжествовало марксистско-ленинское учение.

А какие люди руководили этим кино-фото! Первым «начальником кино» стал Борис Захарович Шумяцкий, который нигде никогда не учился, но зато состоял в партии с 17 лет, с 1903 года. Победив царизм, работал торгпредом в Персии, ректором Коммунистического университета трудящихся Востока (знал бурятский язык), ректором Института народного хозяйства им. Плеханова. Начальником кино он пробыл 5 лет, вплоть до расстрела в 1938 году.

После Шумяцкого руководить кино стал Семен Семенович Дукельский. Этот деятель культуры уже окончил церковно-приходскую школу, да и к музыке и кино имел прямое отношение – с 16 лет работал тапером в кинотеатрах, а во время Первой мировой служил в музыкальной команде. Но революция всех расставляет по своим истинным местам – уже в 1921–22 годах он председатель Одесской губчека, а потом поработал и в Житомире, Екатеринославе (Днепропетровске), Воронеже. Тысячи душ отправил на тот свет своими расстрельными списками этот чекист-тапер, прежде чем пришел наводить порядок в кинопрокате. Талантливо нарисовал

образ этого заведующего делами кинематографии в своих мемуарах Михаил Ильич Ромм: как тот приучал режиссеров к дисциплине – сказано явиться к двум часам, так надо и являться к двум, а не к четырнадцати; как «проводил линию на "современную тематику"» – «Все, что не современная тематика – отменяем. Вот тут товарищ Пудовкин "Анну Каренину" собирался снимать – отменяем, товарищ Ромм "Пиковую даму" – отменяем, товарищ Юренев там "Розовое и голубое" – отменяем, потом "Суворов" тоже отменяем... Вот линия. Понятно? Пойдите и разьясните»; как он «велел прошнуровывать режиссерские сценарии, припечатывать их сургучной печатью, чтобы текст не смели режиссеры менять. И на каждом сценарии писать: "В сем сценарии прошнурованных и пронумерованных 138 страниц, на странице такой-то слово "да" изменено на слово "правильно"». Прозаведывав год и получив за кинодеятельность орден Ленина, этот специалист затем года три командовал Министерством морского флота, потом до 1952 года был заместителем министра юстиции. А закончил свое служение социализму в сумасшедшем доме, откуда до последних своих дней сообщал в соответствующие органы, что лечащие его врачи все как один агенты американской разведки, хотят его убить.

Третий патриарх киноведомства улыбочатый Иван Григорьевич Большаков уже имел высшее образование, и не одно: окончив Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, когда там ректорствовал уже упомянутый Шумяцкий, он осилил еще Институт красной профессуры, готовивший проводников коммунистической идеологии, а после этого прошел практическую школу в управлении делами Совнаркома. В общем, это был уже чиновник, подготовленный по сталинским стандартам, номенклатурщик до мозга костей. Дорога на самый верх была ему протоптана – Иван Григорьевич был родственником Вышинского и племянником Молотова. Он был к тому же прекрасным и честным исполнителем идей «великого кормчего», не рассуждая, не критикуя, не внося никакой отсебятины. Но подчиненных сотрудников не пинал и доносов на них не писал. Эти черты позволили ему и верой-правдой служить Вождю до последних его дней, и после его смерти не испытать лишений ни моральных, ни материальных. Именно Иван Григорьевич Большаков, опираясь на основополагающие выводы «Краткий курс истории ВКП(б)» и непосредственные указания Вождя, создал пантеон кумиров новой жизни.

Какой же репертуар, какое идеологическое меню предлагалось советскому зрителю 30–40-х годов? Перечень этих фильмов создавался при прямом участии Корифея всех наук, а содержание обязательно соответствовало идеологическим указаниям классического произведения марксизма-ленинизма, единого для всех учебника истории. Часто с легкой руки верного ленинца академика Отто Юльевича Шмидта инициатором и главным создателем этого шедевра называют тов. Сталина. Инициатором, вероятнее всего, он и был, но в подготовке «Краткого курса истории ВКП(б)» участвовала рабочая группа во главе с бывшим латышским стрелком, а в советское время одним из главных пропагандистов Коминтерна, красным профессором Вильгельмом Георгиевичем Кнориным (полышски Кнориньш). Только вот первое издание единого учебника истории было сдано в набор 8 октября 1938 года, а расстреляли его 29 июля. Расстреляли в полном соответствии с текстом: «троцкисты, бухаринцы, национал-уклонисты... кончили тем же, чем кончили партии меньшевиков и эсеров, – стали агентами фашистских разведок, стали шпионами, вредителями, убийцами, диверсантами, изменниками Родины». Не увидел руководитель информационного пропагандистского отдела Комин-

терна, превратившийся в «белогвардейскую ничтожную козявку», свой труд напечатанным.

Названия фильмов для народа были незатейливо просты и запоминались на всю жизнь: «Александр Невский», «Богдан Хмельницкий», «Суворов», «Кутузов», «Минин и Пожарский», «Степан Разин», «Петр I», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков». Это из ветхих денми, а из новых: «Великий гражданин» (читай – Киров), «Яков Свердлов», «Котовский», «Александр Пархоменко», «Чапаев», «Щорс». Деятели культуры и науки тоже Он внес в список: «Академик Иван Павлов» (хоть и враг, но нобелевский лауреат, «других у меня для вас нет»), «Жуковский» (конечно же, Николай Егорович), «Александр Попов», «Пржевальский», «Мичурин» (Лысенко не успел), «Белинский», «Тарас Шевченко», «Лермонтов», «композитор Глинка». К столетию со дня смерти вспомнили и Александра Сергеевича. Фильм «Юность поэта» получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Талантливый мальчик Валентин Литовский, сыгравший Пушкина-лицеиста, погиб в первые месяцы войны. Хронологически эти кинобиографии придумывались в разные моменты, но в прокате появлялись всегда в нужное время. Появился новый орден – получите новый фильм, и сразу всем ясно, кто такой Богдан Хмельницкий, а кто такой адмирал Нахимов. Не нужен Суворов – отменяем, появился орден – разъясняем. Полюбившийся зрителям «Александр Невский» создавался С. Эйзенштейном во время идейной борьбы с немецким национал-социализмом, и псов-рыцарей топили в Чудском озере. Когда же Сталин задумал пакт с Гитлером, когда Иосиф пил «хванчкару» за здоровье Адольфа, фильм запретили показывать. После вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз Александр Невский снова громил немецких псов-рыцарей, а профиль артиста Николая Черкасова (другого у художника не было) украсил красную звезду ордена Александра Невского с топорами, серпом и молотом.

Теперь о главных кумирах. Образ того, кто живет всех живых, кто жил, жив и будет жить всегда, пусть даже в мавзолее, впервые был нарисован С. Эйзенштейном в последнем фильме его знаменитой трилогии: «Стачка», «Броненосец "Потемкин"» и «Октябрь». Фильм «Октябрь» не стал таким же явлением большого искусства, как «Броненосец "Потемкин"», но именно в этой ленте, снимавшейся по разрешению Политбюро на натуре, в Зимнем, и стремившейся к десятилетию 25-го Октября превратить октябрьский переворот в Великую Октябрьскую социалистическую революцию, впервые явился народу зримый образ вождя мирового пролетариата.

Изображал Ленина не актер, а простой рабочий цементного завода Василий Николаевич Никандров, внешне очень схожий и усвоивший основные телодвижения вождя. Эксперимент, по авторитетному мнению М.И. Ромма, «не удался – смотреть на него было неприятно». Да, собственно, и эпизодов-то было всего три: Ленин на броневике, Ленин с подвязанной щекой в коридоре Смольного, в кадре титр: «Узнали, сволочи!» и финал – жестикулирующий Вождь человек с ружьями. Надпись: «Рабочая и крестьянская революция свершилась!» Из других революционеров узнаваемы Свердлов, Подвойский (сыграл себя сам) и Антонов-Овсеенко. Второго вождя Октября, Троцкого, по личному указанию Сталина срочно вырезали перед самым первым показом. Через 10 лет, к очередной годовщине, ударными темпами – всего за 5 месяцев – отсняли фильм «Ленин в октябре» по сценарию Алексея Каплера. Вождя изображал артист Борис Васильевич Щукин. Консультанты, Надежда Константиновна, Мануильский и Подвойский, утвердили этот выбор. И хотя внешне он не был похож на оригинал, грим и талант совершили чудо, и Ленина-Щукина «полюбили,

почувствовали его близким, понятным, знакомым, простым». Через полгода после выхода на экраны следующего фильма, «Ленин в 1918 году», эталон в искусстве воплощения вождя мирового пролетариата на сцене и экране, кавалер ордена Ленина, народный артист СССР Борис Васильевич Щукин в октябре 1939 года скончался в возрасте 45 лет. Сталина, появившегося в первый раз на экране, сыграл в фильме «Ленин в октябре» Семен Львович Гольдштаб, актер малоизвестный, но внешне удивительно схожий с Иосифом Виссарионовичем. Когда Молотов заменял Литвинова на посту наркома иностранных дел перед заключением пакта с Гитлером (не мог же группенфюрер СС Иоахим Риббентроп обниматься с Меером Моисеевичем Валлахом), Сталин ему сказал: «Убери евреев из наркомата». Неизвестно, сказал ли он нечто подобное при назначении на новую работу его племяннику, но только роль Сталина, начиная с фильма «Ленин в 1918 году», стала основной в жизни грузинского князя Михаила Сергеевича Геловани. Этому актеру играть кого бы то ни было, кроме Сталина, просто-напросто негласно запретили. 16 раз изобразил он Вождя и настолько вжился в эту роль, что его сердце не смогло перенести борьбы с культом личности. Сыграв в последний раз Великого кормчего в фильме «Феликс Дзержинский», он покинул этот изменившийся мир 21 декабря 1956 года, в день рождения своего героя.

Перечислять все фильмы, формирующие на долгие годы в сознании советского гражданина образ великого продолжателя дела Ленина, вождя всего прогрессивного человечества, наверное, не следует из опасения наскучить читателю. Но об апофеозе в фильме «Падение Берлина» упомянуть необходимо. Сценаристом был Петр Павленко. Этот сын ремесленника так и остался ремесленником, только в литературе. Но свои Сталинские премии он получал регулярно, причем три из четырех (все первой степени) за сценарии к фильмам «Александр Невский», «Клятва» и «Падение Берлина». В этой сфере творчества он выступал всегда не один, а совместно с талантливыми С.М. Эйзенштейном и М.Э. Чиаурели. Торжественная массовая сцена, как и положено, происходит в конце: кидают на землю знамена фашисты, бредут колонны победленных, ликуют победители. В небесах появляется самолет с эскортом, и взгляды тысяч людей всех национальностей – русских, англичан, французов – устремляются вверх, на небо. И вот самолет приземляется, все бегут к нему – солдаты, офицеры, освобожденные советскими воинами заключенные концлагерей с американскими, английскими, французскими флагами. На трапе появляется вождь победителей в белом кителе, со звездой Героя, с фуражкой генералиссимуса в руке. Он выше всех ростом, лицо доброе и мудрое. Уважительно здороваются с военачальниками: «Здравствуйте, товарищи! Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина!» Восторг. Крики: Сталину слава! Слава Сталину! Вот таким благодаря кино затверделися на многие годы в памяти народной, неведомыми путями передаваясь даже тем, которые появились на свет гораздо позже падения Берлина, образ генералиссимуса Иосифа. При этом надо заметить, что Сталин, посылая в небо своих соколов, сам летать боялся и за всю его жизнь был только один такой случай – полёт на Тегеранскую конференцию. Видимо, охрана сумела его убедить, что пролететь над оккупированным советскими войсками Ираном безопаснее, чем добираться по суше.

Но не надо думать, что все фильмы при Сталине были посвящены только ему, сонмищу вождей, его окружающих, да набору официальных героев. Прекрасный мюзикл на голливудский манер «Веселые ребята»,

который за границей демонстрировали под названием «Москва смеется», с чудесной музыкой И. Дунаевского, великолепной Любовью Орловой понравился всем и надолго. Да и джазмен Леонид Утесов, актер, по совести говоря, слабый, полюбился зрителям, потому как, по его же словам, пел он не голосом, а сердцем. «Путевка в жизнь» Николая Экка с запоминающимся Йываном Кырлей в роли Мустафы (арестован в 1937 году, умер в концлагере), «Сельская учительница», экранизации Жюль Верна, «Жди меня», «Сказание о земле Сибирской». Можно и еще добавить, и не одну, ленту – хорошие фильмы с талантливыми актерами ложились на сердце, реплики становились поговорками, цитировались. Не забыта была в кино и горьковская тема, а к десятилетию со дня смерти Алексея Максимовича в городе Горьком демонстрировались все биографические картины: «Детство», «В людях», «Мои университеты», а заодно и «Дело Артамоновых» и «Враги».

Оседлал надолго горьковскую тематику режиссер Марк Семенович Донской, который впоследствии ещё экранизировал и «Мать», и «Фому Гордеева». Его фильмы «Детство» и «В людях» получили Сталинские премии. На радостях он снял и «Мои университеты», но в 1941 году война сделала тему непремияльной. Вспоминается комичная ситуация, связанная со съемками фильма «В людях». Конечно же, фильм снимался на натуре, в Горьком, на Звездинке, где одно время Алеша Пешков жил у чертежника, обучался на дому. «Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который разбогател и тотчас объелся до ожирения». И далее: «Улицы, как я привык понимать ее, – нет; перед домом распластался грязный овраг... киснет илистый Звездин пруд...» Засыпанные еще к выставке 1896 года грязный овраг и кислый пруд режиссер, к счастью, восстановить не смог, а вот дом, объевшийся в дореволюционное время и все еще стоявший как новенький, привел в надлежащий вид: отбил штукатурку-рустику, так что стала видна дранка, отодрал кое-где доски – в общем, сделали все так, чтобы зрители знали, в каких домах жили чертежники до революции. «Не волнуйтесь! Все починим после съемок», – обещал жителем Донской. Дом с памятной доской «В этом доме в 1879–1882 гг. у чертежника-подрядчика В. Сергеева жил и работал "мальчиком" А.М. Пешков (М. Горький)» простоял лет двадцать с отбитой штукатуркой.

* * *

22 июня 1941 года жизнь изменилась сразу, круто и надолго. На повиданшей виды площади Советской (ныне Минина и Пожарского) уже на следующий день секретарь обкома по пропаганде Иван Михайлович Гурьев провожал на фронт горьковчан. 822 тысячи земляков ушло за годы войны, более 350 тысяч человек не вернулись с полей сражений.

Оставшиеся «дали на вооружение Красной армии тысячи самолетов, десятки тысяч танков, пушек и автомобилей. Рабочие, инженеры и техники города Горького произвели за годы Отечественной войны десятки миллионов штук различных видов боеприпасов», – говорил в 1945 году на предвыборном собрании Николай Алексеевич Вознесенский, расстрелянный 1 октября 1950 года вместе с Михаилом Ивановичем Родионовым, организовавшим всю эту титаническую работу. Люди работали в тяжелых условиях – выпуская продукцию для фронта, забывали о себе. Несколько красноречивых цифр: местной промышленности даже в 1945 году было выпущено 600 кроватей, 88 столов, 35 стульев! А в пищевой промышленности в 1942 году работало всего 192 человека, которые

перерабатывали так называемое «давальческое сырье от колхозников и городского населения». Осваивали выпуск кофе из зерен шиповника, джема и варенья из сахарной свеклы, зеленых помидоров и моркови. Вместо сахара было освоено производство сахарина, которого в 1942–1945 годах выработали аж 320 килограммов, что эквивалентно 40 тоннам сахара. На работу ездили на трамваях, деревянных, набитых счастливыми внутри и увешанных снаружи гроздьями «пассажиров». Автобусов не было – все довоенные 32 машины использовались только городскими госпиталями и эвакуационными пунктами. Но на работу не опаздывали – боялись. И при всем при этом уставшие и голодные люди ходили и в театры, и в кино, зачастую покупая билеты с рук.

Война внесла свои коррективы и в репертуар кинотеатров. Были выпущены в прокат фильмы, отражающие героизм непобедимой Красной армии, героизм и готовность советских людей на великие жертвы ради защиты своей матери Родины. Фильмы «Секретарь райкома», «Она защищает Родину», «Зоя», «Радуга», «Непокорённые» трудно назвать художественными. Снимались-то они в эвакуации, на Алма-Атинской студии, сценострографические возможности которой были несравнимы с «Мосфильмом» или «Ленфильмом». Но как нужны тогда были эти незатейливые патристические киносказания! Было выпущено много кинодокументалистики: боевые киноальбомы, «Ленинград в борьбе», «Разгром немецких войск под Москвой», «Борьба за нашу советскую Украину» с ужасными кадрами беды и разрухи, разграбленных храмов и музеев. Все эти ленты снимались фронтowymi операторами не в теплых павильонах. Фильм «Разгром немецких войск под Москвой» показывали во всех странах-союзниках и в Швеции, а в США, где он демонстрировался под названием *Moscow Strikes Back* («Москва наносит ответный удар»), в 1943 году получил самого первого «Оскара» в новой номинации «Лучший документальный фильм».

Выпукались и комедии: «Беспокойное хозяйство», «Воздушный извозчик», «Близнецы», «Свадьба». «Свинарку» Марину Ладынину и «пастуха» Владимира Зельдина, отснятых еще перед войной, наконец-то Вождь в 1944 году разрешил показать. А вот фильму «Сердца четырёх», снятому тоже перед самым нашествием, не везло дольше – Сталин счел его слишком легкомысленным для военного времени, и вышел он на экраны лишь в 1945-м. Необыкновенно популярным военно-приключенческим фильмом, но уже в конце 40-х годов стал «Подвиг разведчика», наверное, самый удачный за все времена фильм Киевской киностудии, тогда ещё не имени Довженко. Режиссёром этого фильма назначили Бориса Васильевича Барнета, уже в 20-е годы делавшего запоминающиеся произведения – «Мисс Менд», «Девушка с коробкой». Музыка написал невезучий Дмитрий Клебанов – фокстрот из этого фильма долгое время запрещали играть на танцплощадках, потому как под эту мелодию танцевали фашисты в ресторане. Сценаристом был новичок Маклярский. Исидор Борисович, сменивший имя на Михаил, личность неординарная. Родившись в Одессе в семье портного, он уже в 15 лет в частях особого назначения. Карьера в органах ВЧК–ГПУ–НКВД–МГБ дважды прерывалась: в 1937 году отсидел несколько месяцев как троцкист, а в 47-м вообще попросили из чекистов выйти вон. Но во время войны ум и немалые способности Михаила Борисовича были востребованы: он руководит работой диверсантов, действующих на территории, оккупированной фашистами, и под его началом действует Никанор Кузнецов, который, как учили в школе, до войны был скромным учителем, а на самом-то деле, оказывается, ка-

дровым агентом НКВД, одних только кличек сменившим несчётное количество: Кулик, Учёный, Колонист, Петров, Грачёв, Рудольф Шмидт, а во время войны обер-лейтенант, а потом и гауптман Пауль Вильгельм Зиберт. Менять имена для него было делом привычным, и потому он сменил и неблагозвучного, как ему казалось, Никанора на Николая. В фильме изображал его под именем Генриха Эккерта кумир школьниц симпатичный актер Павел Кадочников.

Когда Михаила Борисовича ушли в отставку в звании полковника КГБ (это звание приравнивалось в советской табели о рангах генеральскому в пехоте), он не пал духом – ведь ему ещё всего 38 лет! И литература становится его вторым призванием. Первую свою работу, сценарий для «Подвига разведчика», создание собирательного образа бесстрашного героя, он начал так. Был у одессита Маклярского хороший знакомый, а может быть, и товарищ, тоже одессит, уже опытный журналист и писатель Макс Леонидович Поляновский. В литературе он известен своими детскими книжками о разных странах и совместной со Львом Абрамовичем Кассилем работой «Улица младшего сына» о пионере-герое Володе Дубинине, мальчике, погибшем в 14 лет, награждённом посмертно орденом Красного Знамени.

Как Михаил Борисович рассказывал в приватной обстановке своим друзьям, он пригласил Макса к себе домой, и за коньяком с лимончиком несколько часов шла неторопливая беседа о делах минувших, о прошедшей войне, о Николае Ивановиче Кузнецове. Макс Леонидович пришел не один, а со своим литературным секретарём, дамой, окончившей Литературный институт. Она сидела в сторонке за пишущей машинкой и записывала их беседу, но не просто стенографировала, а обрабатывала с высоты своего литературного образования. «Макс меня спрашивает: где встретились Эккерт и Поммер? Я говорю: в ресторане. А литературная дама бодро печатает: "Эккерт и Поммер вошли в ресторан и, оглядевши зал, выбрали отдельно стоящий столик. – Что будете заказывать? – вежливо спросил подскочивший официант. – Как всегда, – небрежно процедили Вилли. Оркестр взорвался фокстротом, заглушая беседу офицеров"». Этот сюжет поведал мне старый знакомый, одессит, друг юности Михаила Борисовича. Имя-отчество называть не хочу, поскольку он меня на это не уполномочил, а сегодня его об этом уже и не попросишь.

Над сценарием кропотливо и энергично поработали еще соавторы Константин Исаев и Михаил Блейман, режиссер Борис Барнет, так что уже в сентябре 1947 года в прокат вышел фильм о подвиге нашего разведчика, украсившего важного немецкого генерала. Только судьба прототипа, командующего «Остгруппен» по борьбе с партизанами генерала Макса Ильгена, не совпала с версией фильма – не отправляли его в Москву, а попросту пристрелили после допроса в партизанском лесу. Кинофильм имел оглушительный успех, что неудивительно – это был первый советский фильм нового жанра: приключения разведчиков. Любит наш народ штирлицей, до сих пор у них высокий рейтинг. После этой работы Борис Барнет снял еще несколько не замеченных публикой фильмов, а получив приглашение «Мосфильма» на съемки «Заговор послов» об английском разведчике Локкарте, не сошелся характерами с руководством, парткомом и профкомом, отказался с ними работать, уехал в Ригу, ничего больше не снимал, а в 1965 году покончил с собой.

Что же касается заслуженного работника культуры, лауреата двух Сталинских премий, члена ВКП(б) с 1932 года Михаила Борисовича Маклярского, то, отсидев ещё раз по обвинению в сионистском заговоре пару лет

в местах не столь отдаленных, пока Хозяин не отправился в более отдалённые края, он написал множество книг и сценариев, благо фактического материала накопил предостаточно. Поднаторев в писательском деле, стал и других учить, директорствуя в организованных им в 1960 году Высших курсах сценаристов. А потом энергично присоединил к ним и Высшие режиссёрские курсы, создав Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссёров.

Но вернёмся на несколько лет назад. Война закончилась. Постепенно возвращались уцелевшие. Город Горький начали приводить в порядок – ремонтировали мост и трамвайные пути, пустили троллейбус, организовали таксопарк (11 «Побед» и 3 машины ЗИС-101), а ещё в конце 1948 года город получил два новых многоместных автобуса выпуска завода имени Сталина. На набережных, Окской и Верхневолжской, установили новые решетки, расконвоированные пленные немцы строили Волжскую лестницу. Заложили сквер на площади Свободы, восстановили Звездинский бульвар, а однажды в одночасье и безногие инвалиды, собиравшиеся у низкопробных пивнушек и чапков, исчезли. Город преобразался. Кончилось, казалось, время убивать, настало время врачевать и строить. А как врачевать и строить, указало Оргбюро ЦК ВКП(б) в лице генерал-полковника Андрея Александровича Жданова.

Директивные документы появились в 1946 году. В постановлении от 14 августа заклеямили «пошляка и подонка» Зощенко и безыдейную аполитичную Ахматову, в постановлении от 26 августа «О репертуаре драматических театров» осудили безграмотные, неряшливо написанные пьесы МХАТа и Малого и приказали «в качестве основной практической задачи организацию постановки в каждом драматическом театре ежегодно не менее 2–3 новых высококачественных в идейном и художественном отношении спектаклей на современные советские темы». 10 сентября дошла очередь и до кино: в газете «Культура и жизнь» опубликовали постановление «О кинофильме "Большая жизнь"»». Фильм «Большая жизнь» по сценарию Павла Нилина безапелляционно порочен и крайне слаб в художественном отношении, «авторы проявили невежество в отношении изучения темы о современном Донбассе и его людях», «все насквозь фальшиво и ошибочно». В общем, сплошное бескультурье, невежество и отсталость вперемешку с пьянством. В одной компании с авторами «Большой жизни» очутился и Сергей Михайлович Эйзенштейн со своим «Иваном Грозным». Он тоже обнаружил своё невежество, «представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». Последним выпоротым этим постановлением был Всеволод Илларионович Пудовкин, который взялся ставить фильм о Нахимове, а дело-то не изучил, не показал, «что в Синопском бою была взята в плен целая группа турецких адмиралов во главе с командующим», а вместо этого показал одни балы да танцы.

Чуть позже, в феврале 1948 года, уходя от нас, тов. А.А. Жданов и музыкантов поставил на место. Как известно, в детстве Андрюшу Жданова некоторое время учили играть на фортепиано, а потому он имел полное право сказать, что музыка Ивана Ильича Мурадели бедна и невыразительна и, главное, очень формалистична. Заодно досталось за «атональность, диссонансы и дисгармонию в произведениях» таким композиторам, как «т. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шабалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др.». Кончались все постановления обычными слогана-

ми: 1. Осудить... 2. Обеспечить... 3. Призвать писателей (драматургов, режиссёров, композиторов), проникнуться... 4. Одобрить оргмероприятия соответствующих партийных органов... Вектор был задан – за работу, товарищи интеллигенты-попутчики!

И вот, когда, казалось бы, битва на идеологическом фронте завершилась окончательной и бесповоротной победой Политбюро ЦК ВКП(б), произошло не оценённое в полной мере по своей важности событие: на экранах с осени 1948 года появилось сразу множество иностранных фильмов. Несколько «иностранцев» уже было в прокате в военное время – иногда демонстрировались подаренные союзниками «Багдадский вор» (Англия) и «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин (США). Но это так, мелочи. А тут сразу и «Девушка моей мечты», и «Восстание в пустыне», «Путешествие будет опасным», «Таинственный знак», «Таинственный беглец», «Башня смерти»... Почему? Откуда?

Время послевоенное оказалось не легче, чем фронтовое – неурожай и голод в 1946 году, накопленная за годы войны огромная не обеспеченная товарами денежная масса, заставлявшая проводить конфискационную денежную реформу, и при этом ожидание народом обещанной отмены опостылевших «карточек» – это внутри, а снаружи «демократические» режимы и Китайская народно-освободительная армия, требовавшие ежедневной подкормки. Казну надо было пополнять любыми средствами, а ведь кино тогда было вторым по важности источником доходов после водки. Демонстрировались на экранах кинотеатров и клубов картины из Потсдамского фильмохранилища гитлеровской Германии. Вывезены они были на вполне законном основании, в соответствии с решениями Ялтинской конференции союзников о репарациях. Но это были не только немецкие фильмы, а в большинстве своём даже вовсе и не германские! Из почти 4 тысяч отправленных в СССР фильмов (а всего Геббельс насобирав больше 17 тысяч) по-настоящему трофейных, т. е. немецких, итальянских и австрийских, было только 367. Остальные же были американские и английские, т. е. картины союзников. Поэтому поначалу, вплоть до полного опускания железного занавеса, голливудские фильмы стыдливо крутили в клубах, а в кинотеатрах шли немецкие и австрийские «Девушка моей мечты», «Индийская гробница», «Гибель "Титаника"», «Маленькая мама», а заодно и снова «Петер», купленный ещё до войны. Но обязательно перед показом даже американских картин на экране появлялась надпись: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома Советской армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году». Режиссёров, артистов, композиторов не указывали, а фильмы обычно переименовывали, отчасти из идеологических соображений, а отчасти подгоняя под менталитет зрителя того времени. Классический вестерн «Дилижанс» с великим Джоном Уэйном показывали под названием «Путешествие будет опасным», фильм с участием Эррола Флинна «Одиссея капитана Блада» превратили в «Остров страданий», «Морской орёл» – в «Королевские пираты», а «Ревущие двадцатые» стали называться «Судьба солдата в Америке». «Пусть звенит свобода» от греха подальше переименовали в «Друзья и враги Америки».

А ведь ещё были «Железная маска», «Три мушкетера», «Робин Гуд», «Мост Ватерлоо», «Белоснежка и семь гномов», «Серенада Солнечной долины», и этот перечень далеко не полон. Зрители с превеликим удовольствием шли на эти фильмы, залы заполнялись до отказа, а такого фурора, такого ажиотажа, какой произвел показ четырёх серий о Тарзане с Джонни Вайсмюллером, никогда, наверное, больше увидеть не придётся. За билетами в «Паласе» мальчишки, пробираясь к окошечкам касс, ползли

по головам взрослых, жаждущих билетов на сеанс. Толпа страждущих заполняла весь Университетский переулок, в котором тогда находился вход в кинотеатр. Ох уж эти фильмы, взятые в качестве трофея! Никаких тебе рабочих, а если и крестьяне – то фермеры, никаких придурковатых интеллигентов, и партия Ленина-Сталина, организатор всех побед, отсутствует. Просто люди, просто приключения отважных героев и прекрасных героинь, индейцы, шпаги, шляпы и обязательно поверженное зло. Из отчёта о работе исполкома горсовета города Горького за 1948 год: «В абсолютном выражении пропуск зрителей в 1948 году значительно превысил пропуск 1947 года: в октябре на 73%, ноябре – на 84%, декабре – на 74%. В целом в 1948 году пропущено 3 млн 350 тыс. человек против 2 млн 863 тыс. человек в 1947 году. Начиная с октября 1948 года кинотеатры города выполняют план по всем показателям, что свидетельствует о значительном улучшении работы». Вот так Голливуд улучшал работу советского кинопроката.

Потом наступило другое время: в Мавзолее, потеснив «доброе дедушку», нашли ненадолго место для «отца народов», а потом... Потом наступила оттепель. «Все били себя в грудь, клялись, что всё переменится. Активность была невероятная, некоторые режиссёры каялись, в общем, творилось что-то несусветное» (М.И. Ромм). И действительно стали появляться невероятные картины: «Летят журавли» М.И. Калатозова, «Тихий Дон» С.А. Герасимова, «Сорок первый» Г.Н. Чухрая, «Судьба человека» С.Ф. Бондарчука, «Девять дней одного года» М.И. Ромма, «Карнавальная ночь» Э.А. Рязанова. Набирали силу Л.И. Гайдай, Г.Н. Данелия, оканчивали учёбу А. Тарковский, А. Кончаловский, Р. Быков... А ещё оказалось, что можно устраивать праздники кино, фестивали, приглашать иностранных гостей, знакомить зрителей с режиссёрами, актёрами, композиторами, смотреть французские, итальянские, американские шедевры, которые совсем необязательно брать в качестве трофея.

Николай НОВИКОВ

Родился в 1948 году в Горьком, окончил политехнический институт, работал инженером на оборонном заводе. Увлечения – музыка и радитехника. Живет в Нижнем Новгороде.

ГОДЫ И ВЕЩИ

Спичечные этикетки

В мои школьные годы коллекционирование почтовых марок было занятием престижным, но довольно дорогим. Собирать же этикетки от спичечных коробков было делом простым и удобным, потому что спичечный коробок можно найти повсюду: на улице, на чердаке, в подвале, где угодно, даже в уличной урне.

Сначала коробки мы собирали на улицах Сормова, в газонах, в глубоких вентиляционных люках у стен больших домов, накалывая их на гвоздь, укрепленный на длинной палке. Часто бегали на «железку», где, путешествуя под вагонами и платформами, тоже собирали коробки.

Кто-то пустил слух, что за две тысячи собранных этикеток дают премию – велосипед, и это значительно оживило собиранье и пополнило ряды самих собирателей. Велосипедов нам не дали, но собирательство этикеток нас так захватило, что отстать от него мы уже не могли.

Позднее мы стали ходить на почту и заваливать доплатными письмами спичечные фабрики СССР, выпрашивая этикетки, и нередко получали оттуда пузатые конверты, которые вспарывали немедленно и с трепетом.

Я пристрастился к собиранью этикеток совершенно случайно. В школьном туалете второго этажа высоко под потолком проходила чугунная труба, и я с кем-то на спор добрался до той трубы, встав на перегородку и подтянувшись на руках. За трубой я случайно обнаружил большой спичечный коробок, каких в продаже в те годы уже не было.

Спрыгнув вниз, я открыл коробок, в котором было три спички, а на жёлтой наклейке был изображён сталевар со стальной кочергой. Надпись сверху и снизу просила: «Собирайте лом для мартенов». Вышло так, что эта этикетка стала началом моей небольшой, но довольно редкой коллекции – я собирал в коллекцию в основном довоенные, времён войны и сразу послевоенные этикетки, а для обмена – всякие.

Я иногда добывал новые этикетки у проходной завода, у шоферов, командированных из других городов, или во дворе гостиницы «Сормовская», где стоял большой мусорный ящик, и там находилось что-то редкое для коллекции.

Самые отчаянные и хитрые «собирали» коробки во дворе детской поликлиники у школы, где в тени сарая притих большой и белый, точно пароход, ящик для мусора, пахнущий хлоркой и медициной. Коробков в нём было видимо-невидимо! Причём там ежедневно появлялась новая партия коробков, особенно обильная в летние месяцы по причине отъездов детей в пионерские лагеря. Объяснялось это очень просто: анализы приносили по обыкновению в спичечных коробках. Таких коллекционеров-«медиков» я знал наперечёт и обмена с ними не вёл.

Мы гуляли по улицам, выпрашивали коробки у прохожих и меняли им верхнюю часть коробка, если этикетка понравилась. Нас знали, охотно показывали коробки, позволяли отодрать наклейку и никогда не бранили за это, казалось, абсолютно бесполезное занятие.

Как-то неожиданно школьный рынок стал насыщаться множеством этикеток с одной картинкой: летящая в косом луче прожектора белая чайка над гребнем волны. Этикетки не были даже разрезаны, но почему-то были старые, даже запачканные клопами. Оказалось, что стены комнаты у одного из ребят нашего класса были оклеены обоями из спичечных этикеток. Сначала он начал отдирать картинки под кроватью, за шкафом, за диваном и вешалкой. Строгая мамаша, заметив оголённые стены комнаты, хотела выдрать младшего сына, но неожиданно барак вблизи Чугунолитейного переулкa пошёл под снос, и всё образовалось само собой. На месте барака несколько лет была хоккейная коробка, а сейчас – детский сад.

Летними вечерами у нового кинотеатра «Буревестник» собиралась огромная толпа желающих попасть на вечерний киносеанс, и мы ошивались там же, выпрашивая коробки, иногда лишь на минутку покидали площадь, чтобы зайти в голубой сарай с короткой вывеской «Гир» и за 15 копеек выбить из духового ружья трудную фигуру рыбака. А иногда удавалось и незаметно проникнуть на вечерний сеанс кино.

Мишени в том тире были забавные: от меткого выстрела мельница крутилась, пушка гремела, откуда-то выскакивала кружка с пивом, а сгорбленный рыбак моментально вытаскивал блестящую рыбку из жести.

Каждый курящий имел свои спички, и лишь однажды на мою просьбу показать этикетку на коробке молодой человек в кремовом китайском плаще гордо сообщил, что спичек он не имеет, но зато имеет зажигалку, и для убедительности показал мне и своей даме никелированный брусочек с кнопкой.

Дома я тщательно отмачивал наклейки, сушил их в учебниках, складывал в целлулоидный футляр от очков, а наутро тащил в школу, где на переменах, до и после уроков шёл широкий обмен этими разноцветными знаками.

Сормовский рынок

По обочине извилистой дороги, что вела проулками мимо частных домов, высоких тополей и голубятен к Сормовскому рынку, по воскресным дням часовыми стояли многочисленные нищие, многих из которых я уже знал в лицо. Среди них было много инвалидов минувшей войны, которые передвигались на специальных тележках с ручным и моторным приводом, звеня военными наградами и пугая прохожих винным перегаром. Одни шептали молитвы, поминутно кланяясь прохожим, другие лихо играли на мандолинах и балалайках. У каждого нищего было своё законное место на обочине.

Я помню слепого нищего с кружкой в руках, которого встречал всякий раз, проходя по этой дороге на базар. Я всегда подавал ему и другим нищим мелкие деньги, которые мне специально для этого давала мать.

Ближе к рынку, у дороги, стояла голубая будочка, в которой вечно трудился один и тот же сапожник. Он занимался починкой обуви, торговал шнурками, тесьмой, сапожными гвоздиками и самодельным гуталином.

Мой отец, работавший после войны шофёром, иногда продавал проколотые камеры на «профилактику» для подмётки другому сапожнику, Японю, работавшему в заводском парке.

У центральных ворот Сормовского рынка работали «ковали», и я часто наблюдал, как, загнав очередную лошадь в деревянный станок, подковывали лошадей, которых в пору моего детства было великое множество.

По всему периметру обнесённой забором площади рынка лепились убогие ларьки, палатки, киоски и магазинчики. В этих ларьках-сарайчиках я мало чего покупал, чаще грелся или просто ошивался, подолгу разглядывая разную требуху застеклённых прилавков. У хозяйственного магазина неустанно тёрлись владельцы личных телег на мягком резиновом ходу, которые за умеренную плату перевозили купленную в магазине мебель. Впрягшись в тележку с доходным грузом, они сами себе помогали перекинутой через плечо широкой лямкой, закреплённой за колёсную ось.

Я часто бродил по товарным рядам базара между антрацитовых куч калёных подсолнухов, где можно было досыта пробовать семечки. Никогда не проходил мимо щепных рядов с дивизиями точёных солдатиков, разноцветных пирамидок, матрёшек, стаканчиков и ложек из берёзы. Часто видел, как фанерный гимнаст послушно выполнял разные упражнения, если ловкий продавец надавливал на деревянные боковины. Груды глиняных свистулек меня мало интересовали. Здесь же всегда предлагались детские плетёные стульчики и веники, а зимой – салазки. В центре маленькой площади какой-то китаец успешно торговал бумажными цветами на двух палочках, которые, разворачиваясь, превращались в красивые шары. Он же предлагал специальные кусочки чего-то, чем можно было выводить чернильные пятна.

Осенью и зимой у боковых ворот рынка, на Базарной площади (где проходит трамвайная линия), шла бойкая торговля дикими птицами, часто только что пойманными ранним утром сеткой или петлёй. Я молча наблюдал, как чижи и чечётки, теряя пёрышки, отчаянно бились в тесных пространствах клеток, и только жёлтые кенари, спокойно принимая неволю, пели длинно и однообразно.

А больше всего нам нравилось посещать ларьки уценённых товаров, где за копейки можно было купить янтарные мундштуки, целлулоидные портсигары, негодную фотоплёнку, пружины для патефона, открытки артистов и т. п.

Целлулоидные портсигары и фотоплёнку мы резали на части, заворачивали в газету, поджигали и придавливали подошвой ботинка. Получалась отличная дымовая завеса, быстро наполнявшая снизу доверху подъезды соседних домов густым вонючим туманом.

В середине шестидесятых годов началось строительство большого павильона крытого рынка. Незаметно стали исчезать и упраздняться все эти «ларьки-киоски», отбирая у меня что-то из детства.

Музыка на костях

Чёрная тарелка репродуктора «Рекорд», висевшая высоко на стене, сильно дребезжа, распевала «Ой, цветёт калина...» – первое музыкальное произведение, осознанно услышанное мною в детстве.

Маленькая комнатка на втором этаже «бондарного дома» была пропитана утренним солнцем. Было Первое мая, и к моему отцу перед демонстрацией зашли товарищи по работе. Пока моя бабушка хлопотала над закуской, компания разворачивала газетные свёртки и выставляла на большой портновский стол гранёные семиглотковые «сталинские» стаканы. Мне было тогда года три, и я крутился тут же под ногами. Один молодой человек подозвал меня и отвернул борт своего тёмно-синего пиджака:

на блестящей подкладке засияли самодельные латунные значки с контурами самолётов, кораблей, подводных лодок... Он позволил мне выбрать один, и я сразу указал на маленький самолётик величиной с муху... С улицы послышалась браваурная музыка, и компания, на ходу закусывая, забирая транспаранты и флаги, заторопилась на улицу, где сразу влилась в колонну демонстрантов с духовым оркестром впереди.

В те уже далёкие пятидесятые устраивать праздничные складчины было массовым явлением. Мои родители тоже участвовали в таких складчинах. Собирались у нас в новой квартире, а чаще у бабушки на Варе. Обязанности распределялись заранее: на собранные деньги одни закупали продукты, другие – вина, третьи отвечали за музыку и т. д. Я всегда молча сидел где-нибудь сбоку, слушал разговоры старших. Тихо говорили о внезапной кончине вождя, о закрытом письме, громче – об атомной войне и совсем громко – о новых пластинках. Пили портвейн и водку, закусывая всё это из тарелок, банок и ваз с разнообразной снедью, пели песни. Иногда дружно отодвигали стол, отчего тот, мелко дрожа и позванивая посудой, уплывал к окну. Освободившийся пяточок предназначался для танцев. Танцевали под пластинки, высоко отодвигая локоть и поминутно натываясь на мебель.

К престижному аппарату тех лет – радиоприёмнику «Балтика» подключался самодельный мотор с черной лапкой тяжёлого адаптера. Блестящий коготок стальной иглы, шипя по чёрному диску, напевал нам танго «Утомлённое солнце», которое было в моде до войны, в войну и в первые послевоенные годы.

Стальные иглы портили пластинку, и часто мой дядя отламывал от чистого костяного гребешка зубчик, затачивал его особо и налаживал вместо иглы, спасая диск.

В те же пятидесятые я впервые увидел гибкие пластинки из тонкой плёнки от рентгена с изображением грудных клеток, суставов, черепов и проч. Такие пластинки носили меткое название «Музыка на костях», а прозорливые студенты-медики окрестили их «рок на палочках Коха». Эти «шедевры», записанные на самодельных аппаратах и приставках разных конструкций, можно было приобрести из-под полы на Молитовском рынке, на ул. Советской у магазина «Грампластинки» и на ул. Свердлова у старого магазина «Мелодия» (напротив нынешнего киноцентра «Октябрь») по цене 50 рублей. Они, конечно, подрывали монополию Грампластреста и поэтому тут же немедленно сворачивались в трубочку и прятались в рукаве покупателя, чтобы потом, в кругу близких друзей, прозвучать голосом Петра Лещенко, переписанного с трофейных грампластинок, или визгом дикого рок-н-ролла.

Впоследствии я видел много таких пластинок, привозимых с курортов Черноморского побережья. Это были уже не просто пластинки «на рёбрах», а уже диски меньших размеров, долгоиграющие, с красивой фотозтикеткой «Привет с Кавказа», наклеенной на основу плёнки. Для этого размягчали рентгеновскую плёнку в тёплом фиксаже, ждали, пока она обесцветится, эмульсионной стороной наляпывали на подготовленную фотографию и прикатывали фотоваликом. Получалось крепкое соединение, на котором потом нарезали запись.

Свой простенький станок для записи я построил ещё учась в ПТУ в 1965 году. Это была самодельная приставка с резьбовым валом и рекордером из перемотанного электромагнитного адаптера к патефону. Резцы я изготовлял из патефонных игл, тщательно полируя грани, носитель звука (целлулоид) добывал в рентгенкабинетах поликлиник и фото лабора-

ториях, а полезный сигнал снимал с радиоприёмника «Ригонда» у друга детства В. Федяева. Хороших записей у нас не было, но в те годы перед настройкой телепрограмм по телевизору крутили приличную музыку.

Второй станок был построен после службы в армии уже более осознанно в содружестве с моим другом Ю. Ефрюшкиным. (Юра работал токарем на заводе и вытачивал всю механику.) Станок уже имел скорость $33\frac{1}{2}$ оборота, индикатор контроля записи и электроподогрев резца. Резцы же мы делали из хороших тонких свёрл. Тогда у меня уже был магнитофон, переделанный на скорость 19 см/сек для повышения качества записей.

Нарезав несколько пластинок с магнитофона «Днипро-12Н», можно было, подойдя вечером к молодёжному Сормовскому общежитию, моментально загнать 10–15 хитов и пройти в парк, на встречу с друзьями.

Куда подевался тот станок впоследствии, я не помню, может быть, был мною и разобран.

Официально кабинеты звукозаписи работали на Верхневолжской набережной у гостиницы «Россия» и на ул. Краснофлотской (сегодня там магазин «Цветы»), где нарезали музыку по прејскуранту на специально подготовленных для записи открытках.

В эпоху стерео, квадро, видео и лазерных дисков мода на «рентгеновскую музыку» давным-давно прошла. Да и мало кто ещё помнит те времена музыкального самиздата...

Однажды для пополнения коллекции записей Михаила Ножкина меня привели к известному коллекционеру и собирателю пластинок и записей Льву Васильевичу Голубеву, пенсионеру, почти отошедшему от дел, который потом не раз помогал мне с недостающими бардовскими концертами-«квартирниками».

...Я приезжал только после предварительного звонка по телефону, поднимаясь сквозь густой пивной дух тёмного подъезда на последний этаж к его канавинской квартире. Лев Васильевич открывал всегда сам и сразу вёл в свою плотно заставленную шкафами, этажерками, старой и новой аппаратурой комнату, на ходу жалуясь на большие ноги и расспрашивая, что мне нужно на этот раз. Я не знаю, вел ли хозяин какой-либо архив, но мне казалось, что даже если захотеть, то в этих лабиринтах невозможно сразу отыскать что-нибудь нужное. Вытаскивая и перебирая коробки и бобины, он попутно показывал мне редкие книги по грамзаписи, дорогие грампластинки, вспоминал, с кем знаком из меломанов, из каких городов ему привозили пластинки для реализации. Намекал, что о нём знали любители музыкального андеграунда из Комитета и из милиции, иногда обращались за новинками и якобы никогда не трогали. А в основном Лев Васильевич промышлял у магазина «Грампластинки» на ул. Советской и на Молитовском рынке, где продавал и покупал пластинки и перезаписи с пластинок и бобин. За глаза его звали «Лёва-нос», а сам он представлялся как «Лёва-джаз».

В первые послевоенные годы грампластинки с приличной музыкой найти было очень трудно. Высоко ценились записи Сокольского, Козина, молодой Великановой и особенно Петра Лещенко. Такие пластинки можно было купить только на базаре, куда продавцы приходили каждый со своим патефоном и фанерным ящичком с пластинками. Разноцветные патефоны выстраивались на земле в ряды, а покупатели, выбирая диски, просили продавцов проиграть пластинку во избежание скрытых изъянов и погрешностей записи. Для опробования иголки обычно не применялись, а использовались заточенные зубчики от банного гребешка, чтобы

сберечь пластинку. Наверное, чтобы как-то привлечь внимание покупателей, фанерный чемоданчик с продажными пластинками у Голубева был обит красным плюшем...

Однажды, уже в шестидесятые, знакомый сбытчик привёз ему из Грузии партию новых пластинок для реализации, и тот долго возился с ними, пытаясь поскорее пристроить. Жена, видя это, заметила ему: ты бы лучше попросил женские сеточки для волос (чрезвычайно модные и дефицитные в то время). Эти сеточки-паутинки делали в Грузии, и стоили они там в магазине 20 копеек, а у нас на рынке – 3 рубля! Тот грузин прислал ему этих сеток целую посылку, и Лев Васильевич по достоинству оценил практичность супруги.

Особых капиталов, однако, Лев Васильевич не скопил, но известность в кругу коллекционеров и любителей музыки имел широкую.

Умер Лёва Голубев, по сути, в одиночестве на восемьдесят шестом году жизни и как-то незаметно. Хоронили, по слухам, чужие люди: два-три старых меломана да несколько бомжей.

Один мой знакомый интересовался судьбой коллекции, но спросить было не у кого, да и осталась ли она или была распродана хозяином ещё при жизни...

В последние годы жизнь бобин, кассет и винила стала постепенно угасать, вытесняться CD-дисками, в Интернете можно отыскать любую музыку, и только закоренелые фанаты-меломаны считают современную звукозапись неправильной холодной цифрой, потерявшей мягкость и душевность звучания.

Стихи по кругу

Захар ПРИЛЕПИН, *Нижний Новгород*

* * *

Расскажу, раз дали слово,
с кем встречался на Покров.
Помнишь Толю Кобенкова?
С ним был Гена Русаков.

Сделай музыку потише,
я ещё не досказал.
За столом был Боря Рыжий,
Ваня Волков разливал.

На земное притяженье
пух летел с тяжёлых крыл.
Значит, был там Маркин Женя,
И Кабанов Саша был.

И давали, соловья,
буриме и гопака
три, наверное, еврея,
три, быть может, русака.

Алю мяли, брагу пили,
после вдоль и вглубь земли
поспешили, наследили,
за собой не подмели.

Сорок тысяч разных строчек,
ветку хвои к декабрю
я смету в один совочек,
себе чаю заварю.

Колокольчик беззаботный,
не заманивай меня.
До свиданья в преисподней,
до видzenia, родня.

* * *

Помнишь, барин, как, бывало, с нами
на Купалу баловал с огнём,
и когда ты прыгал через пламя,
то прожёт штаны и барский дом.

Помнишь, как загнали в сеть русалок
и потом таскали за хвосты,
чтоб не завлекали деток малых
у воды.

Помнишь, тили-тесто замесили,
возвели чудесный дили-дом,
салом по мусалам закусили,
бляху-муху хлопнули при том.

Нынче ж, барин, раннею весною
по реке с казнёнными плоты,
а вон тот, удушенный кишкою,
это – ты.

Наталья ДАМИНОВА, Москва

* * *

И город, как бесхвостая собака,
Бежал за мной повсюду. Я хотела
Стать падчерицей каждой подворотне,
Задабривала косяки и стены
Подушечками пальцев, согревала
Оконное приземистое эхо,
И прежние хозяева, другие,
Мне были, несомненно, очень рады,
Показывали кухню, зал и спальню,
И заводили ходики в прихожей,
И зов кукушки приводил в движенье
Все двери и замки, и даже кошка,
Очнувшись ото сна, бежала сдаться
Мне в руки, словно не было всех этих
Непрощеных, но пережитых судеб.
Когда часы отстукивали полночь
Я возвращалась в тыквенную темень,
И город был мне кучером на вечер,
Заглядывал в глаза, просил гостинца,
Хотел бы повилять хвостом, да нечем.

* * *

Я полагаю, в этот светлый праздник
Мы снова заживем огромным домом,
Таким знакомым щебетанием улиц,
Я – умница
С воздушными шарами,
С зеленкой на отчаянной коленке.
Карета у калитки – будет праздник,
Поддразниваю кучера и свиту.
Мы квиты, милый дом,
Воспоминая

Теперь и мне повыжигали печень,
И стало нечем
Зализать все ранки
И язвочки на той коре древесной.
Небесный отче, пусть откроют ставни,
Составы прошумят над горизонтом,
И звонким эхом отзовется память.

* * *

Таинство нахлынувшей тоски
В этом незнакомом переулке,
Чей-то говор, нестерпимо гулкий,
Видно, мне сегодня не с руки
Понимать чужие языки,
Узнавать архитектуру ночи,
Шаг мой монотонен и отточен,
Точно скороходы-башмачки
Тянут прогуляться – и квартал
На ура расщелкать, как орешки,
Таинство тоски моей залежной
Здесь еще никто не разгадал.

Словно ты вернулся в этот город
Через сотню лет, когда темно,
Здесь опять зашторено окно,
Тот, кто был невыносимо дорог,
Разгадал все ребусы, в другие
Школу, дом, эпоху перешел,
И тебя стирают в порошок
Эти перепады дорогие,
Эти наживные чудеса,
И как будто те же голоса.

Вячеслав КАРТАШОВ, *Балахна, Нижегородская область*

* * *

Синий вечер на Волгу упал,
по воде распластавшись кругами.
Солнце-воин в густой краснотал
опускает багровое знамя.
Тишиною контужен простор,
словно Вечность глядит исподлобья
на раскрытый небесный шатер
распростертый над миром Любовью.

* * *

Не вечен лед на вечных водах
до срока спящих русских рек.

Ручьев звенящая свобода
разбудит Солнце на заре.
И Свет пробьется в тесном теле
огромных сумрачных небес.
Так просыпается в апреле
от темной стужи темный лес.
В нем многоэхо разнесется
теплу и Солнцу птичий гимн.
И дух Земли седой проснется.
И мир окажется другим:
отмывшимся от лютой скверны,
простившим недругов шутя,
улыбчивым и легковерным,
как неразумное дитя...

Игорь ЛЕВИН, *Нижний Новгород*

Валерия

Душа, врасая в ласк сатин,
То теплится, то замерзает,
И полотенце-палантин
По линиям плеча сползает.

Наивность детская в глазах,
Где переливы лазурита.
В твоих, Валерия, чертах
Невинность с опытностью слита.

Идём путём порочных снов,
Из сказки в сказку попадаем.
Там – нереальная любовь,
Реальность мы не выбираем.

Но только луч дневной блеснёт,
Мираж исчезнет, явью съеден.
И эта песня промелькнёт
Средь множества подобных песен.

* * *

Запутан в золоте картин
Я вижу осень золотую,
Небес лазоревый сатин
И куртку сине-голубую.
На дуги глянцевого волос
Упали солнечные блики.
Мерцает бронзовый утёс,
Весь в янтаре и сердолике.
Твой профиль – тень от кроны лип,

А шапка – сфера с облаками.
К лучистым прядям шарф прилип,
Замотан резвыми руками.
Ты скрылась в пестроте витрин,
В светах игриво-полосатых.
И листьев яркий серпантин
Испепелён огнём заката.
Осенним золотом звеня,
Сбежала ты в пределы сказок,
Где гуси-лебеди летят
И шелест трав зловещ и вязок.

Ярослав КАУРОВ, *Нижний Новгород*

* * *

Голуби рвутся в окно,
Как на огонь мотыльки.
Там за стеклянной стеной,
За ледяной пеленой
Дали небес глубоки.

Участи нашей гонцы
С веточкой с той стороны
Смелые, словно птенцы,
Звонкие, как бубенцы,
Потусторонней страны.

Голуби рвутся в окно...

* * *

Тюремщику снится тюрьма:
Подвалы ее, коридоры...
На кухне опять кутерьма,
Стряпухи – такие же воры.

Воруют еду у воров,
Баланда все жиже и жиже,
Скрипит заржавевший засов,
Параши пузырится жижа.

Он нужен, и он защищен,
Он слышит мучения, крики.
Он свой, он родной, он закон,
Он скромный и все же великий.

Уволен по выслуге лет.
В траве, детворою примятой,
Он видит не солнечный свет,
А холод и мрак казематов.

И денег хватает вполне,
И нрав у любовницы кроткий,
Но в каждом знакомом окне
Он все – таки видит решетку.

Над старой деревнею тьма.
Стекает слеза на щетину.
Тюремщику снится тюрьма.
Так плачут седые мужчины...

* * *

Лоренцо Медичи «Великолепный»,
Любезный Микеланджело патрон,
Внес в бесконечность праведную лепту
И в вечности себе поставил трон.

А Леонардо был с богами в дружбе,
Дукат фортуны ставил на ребро,
Но много лет он состоял на службе
У герцога миланского Моро.

И щедрость папы Юлия Второго,
Гармонию призвавший на дуэль,
Создавший красоту, что вечно нова,
Божественный прославил Рафаэль.

А что от вас останется, синьоры, –
Бесцветные квадраты и кубы?
О, вы не представляете, как скоро
Истлеют ваши хладные гробы.

* * *

(Из цикла «Песни Хаджи Насреддина»)

В ночи барханов пламя стынет,
Светил мерцают фонари.
Вокруг великая пустыня!
Но как прекрасно! Посмотри!

Здесь были города, святыни,
Кропили жертвой алтари,
И нет людей, одна пустыня.
А как прекрасно! Посмотри!

Аллах от века и доньше
Повсюду, и у нас внутри,
И мы любимся пустыней.
О, как прекрасно! Посмотри!

Путь к смерти, словно путь к вершине,
И звезды как поводыри.

Чем может привлекать пустыня?
Но как прекрасно! Посмотри!

Кселена ЛИТВИНОВА, Саратов

Подари мне...

Бродит ветер – невидимый бес,
Поднимая листву мотыльками...
Подари мне кусочек небес,
Что еще не закрыт облаками.

Посмотри, серой кошкой приник
Уже дождик сонливый к окошку...
Подари мне тот солнечный блик,
Что еще согревает ладошку.

Видишь? Это ноябрьская тень
Там над улицей кружит пустою...
Подари мне один летний день
Перед долгой холодной зимою.

Ольга КОСОВА, Кстово, Нижегородская область

* * *

Радость материнства – свет в глазах,
А в её глазах так много муки.
Поднимая взор на образа,
Молим милости у той, чьи руки
Обнимают бережно дитя,
Сердце ж рвётся. Знает, при Пилате
Где-то, тридцать лет всего спустя
За людей пойдет сын на распятие.
...Милость ждем, молясь на образа,
Просим Матерь Божью не случайно,
А у Богородицы глаза
Так добры и так всегда печальны.

* * *

Устала? А кому легко?
Спешу, да только мало толку.
Летала, помню, мотыльком.
Теперь хомут натер мне холку.

Пру напролом через кусты,
Просвет не видя чуть левее.
Зову, кричу до хрипоты
И становлюсь грубей и злее.

Себе вписала в эпикриз
И бесталанность и бессилье.
Что ждёт в итоге срыв или криз,
И стану прахом или пылью.

Я от отчаянья кричу,
Хочу увидеть неба просинь.
Сломались крылья. Не лечу.
И за зиму будет осень.

Устала. А кому легко
Бежать по замкнутому кругу?
А если снова мотыльком?
Сейчас... Лишь подтяну подпругу.

Дмитрий ЛАРИОНОВ, *Нижний Новгород*

Перспектива

Пролетая над каньоном,
чайка – становится галочкой.
Даль ограничивается зеленым
лесом. В поднебесное, сине-алое
смотрит девочка. Распустила волосы.
Щурится. Солнце на медальоне.
Жизнь – цветоносные полосы
дней недели. В ее ладонях.

Пролетая над каньоном,
ласточка – становится точкой.
Когда бы мог подобрать синоним –
сообщил бы иначе, а вновь – отсрочка.
Расстояния не намажешь на хлеб,
о тебе лишь слова – упорядочил.
Наутро, в каждый пробел
ставил точки и галочки.

*Птиц рисовать
не умею.*

Светлана ЛЕОНТЬЕВА, *Нижний Новгород*

Ноты

Как печальны, как яблочны ноты –
так бывает в черновиках.
Моя матушка, вышла из моды
эта блёкляя блузка в цветах.
И янтарные бусы не лечат,

хоть так явен целебный эффект,
золотое твоё сердечко
от хвороб, от безудержных бед...
Я не знала всю немощ мелодий
задушевных, чтоб мир был един!
Ноты старенького комода
и разохшихся летом гардин!
Ноты шкафа, часов, звуки неба,
сумасшедших, поранивших рот!
Мы хороним тебя.
Как нелепо
это слово! И время не в счёт.
Не ошибка ли? Не показалось?
Поминальный обед и кутья...
Что осталось?
Лишь мелочь, лишь малость –
блузка, бусы из янтаря.
Во дворе, где сидели потом мы,
кем-то выброшенного – в репьях,
злых и цепких, – чужого котёнка
две царапины на руках...

Марина МАРЕНИНА, *Нижний Новгород*

Мы – боги

Ты прав, мой друг, что мы с тобой – не боги,
И наш удел – лишь обжигать горшки,
Но отчего-то тают эти строки
В глазах метафизической тоски.

По жизни – семимильными шагами,
Любовь, надежда, вера – все слова.
В абсурдной кем-то созданной программе,
Ты знаешь, эта тема не нова.

«Зачем?» – вопрос великого начала,
И до сих пор ответа на него,
Как ни крутись, пока не получалось
Из мудрецов еще ни у кого.

И можно биться головой об стену,
И можно даже выйти из окна –
Признать придется разума измену,
И в этом вовсе не моя вина.

Признать, и не сворачивать с дороги,
Крушить химер, как странный Дон Кихот.
Ты говоришь, что мы с тобой – не боги,
А я скажу – совсем наоборот.

Евгения МИЛЬЧЕНКО, *Самара*

* * *

Это было давно – и прошло, точно не было вовсе.
Утро ткёт полотно из лучей и теней,
Ветер звуки и запахи носит
Вдоль по улице, тронув фарватер реки,
В тихих заводах дворики, в омотах окон.
Я боюсь вспоминать, потому что легки и звонки
Нити – струны, соцветья, штришки,
Из которых так тщательно соткан
Этот вновь народившийся день.

* * *

Испуганная, синеглазая – прынула,
В серый день без следа – канула.
Растерявшаяся, унеслась, исчезла,
Чиркнув синим по глазам лезвием.
Ты моя безголосая песенка,
Без тебя всё пусто и весело,
Даже улица дохнула неизвестностью
В бездыханном декабре месяце.

* * *

Ах, воздушные гибкие змеи
Лёгких сумерек грозовых,
Невесомые космеи –
Воплощённый замедленный вихрь.
Сонной нежностью исполнен
Переполненный жизни вдох,
В отдалённом сверкании молний
Крылья реющих лепестков.
Сонм парящий святых предчувствий
На связующих, на живых
Стебельках, из меня идущих,
Прорастающих в этот вихрь.

Наталья МУХИНА, *Нижний Новгород*

* * *

Философская крепость и... грусть!
И премудрость высокого слова.
Белоствольная, вешняя Русь...
Как таинственна в дымке лиловой!...

И тиха, и почти неземна,
И веками в любви безупречна...
Так любить нас... ты можешь одна
Так любить!.. И тем более – вечно...

* * *

Вот она, моя вечная грусть.
Вот она, моя тихая радость.
Торможу, потому что клонюсь,
Окунаясь в мечты и во младость.
Снег под фарами кос и блескуч,
Плавно мысли приходят в порядок.
Лес кругом затемнён и могуч,
А простор – суеверен и гладок.
Дальний свет... Как загадочна ночь!..
Кто-то тоже не ищет награды...
И меня, и его обесточь, –
Дай побыть хоть минуточку рядом...
Но дорога, внимая рулю,
Заколдованно: трогай да трогай!
До чего ж я тебя люблю,
Ох, дорога моя, дорога!..

* * *

Метель бродяжит: снежные овины
Намечет – раскидает в белый чад...
Где и подсветит лунной половиной...
...Передний край.
И нет пути назад.

Юрий ПРЯДИЛОВ, Павлово, Нижегородская область

Мой новый век

Когда в полях родного края
Бурьян да лес теснят жнивье,
Я неизбежно понимаю,
Что это время не моё.
Упавшей фермы ржавый остов
Да след заросшей колеи...
Восторг свободы девяностых
Как дым рассеялся вдали.
Мой новый век, мне очень трудно
В тебя поверить и принять.
Ведь на сознание подспудно
Стоит советская печать.

Нас жить учили по-другому:
Честнее, проще и скромней,
Но закрутил коварный омут
Дела и помыслы людей,
Сменив возвышенные цели
На обеспеченный комфорт.
Ряды достойных поредели,
И мы теперь другой народ.
В толпе и топчут, и калечат
Не за идею, а за куш.
И в храмах вспыхивают свечи
За упокой невинных душ.
Я знаю, век вперёд умчится.
Мы завершим неравный бой.
Но всё надеюсь, что случится
С ним сделать шаг не вразнобой.

* * *

Летит быстротечное время,
Сгорает и тает во мгле.
Здоровое, сильное семя
Не всходит на чахлой земле.
Тот дух деревенский утрачен,
Который я так уважал.
Вдоль улицы высятся дачи
Заезжих крутых горожан.
Под звуки изменчивой моды,
Покинув свои города,
От скуки на лоно природы
Народ потянулся сюда.
Далёкий от прежних традиций,
Не ведавший сельских забот,
В крестьянство не переродится
Подобный случайный народ.
Могло ли хоть бабке, хоть деду
Присниться в кошмарном бреду,
Что внуку, идущему следом,
Сподобят такую судьбу.
Они здесь пахали и жали,
Метали стога на лугу,
На фронт мужиков провожали
Под плач и проклятья врагу.
Земля здесь пропитана потом
И духом людского труда.
Здесь конский мне слышится топот
И пёстрые снятся стада.
Осенней порою печальной,
Где вдаль убегают леса,
За речкой, за просекой дальней
Мне предков слышны голоса.
Их голос звучит с укоризной,
И внятна их краткая речь,

О том, что не смог я по жизни
Продолжить их труд и сберечь.
Безликое время сурово,
А цели всегда далеки.
Встаю я и двигаюсь снова
Злодейке-судьбе вопреки.
Но не убежать от сомнений,
Что снова увижу вдали
Крестьянина трёх поколений –
Старателя русской земли.

Лирическое письмо

Став невольником глупых традиций,
Я вас в гости, увы, не зову.
Пусть вам лучше однажды приснится
Деревенька, в которой живу.
Вы увидите красные горы
И реки убегающей плёс,
Склон крутой и звериные норы
У подножия старых берёз.
И болото – низину предгорий,
И небес золотистый венец...
Я не рыцарь каких-то историй,
У которых банальный конец.
Скоро хлынут весенние воды
И шальная весна заспешит,
Но застыли летящие годы
На границе холодных вершин.
Те вершины с годами всё ближе.
Раньше были совсем не видны.
Только солнце холодное лижет
Беспредел незнакомой страны.
Где-то там, в высоте поднебесья,
Там, где нет ни весны, ни зимы,
Бесконечная грустная песня
Торжествует над призраком тьмы.
Ну, а если туда, как и всякий,
Вдруг уйду, никого не виня, –
По деревне завоют собаки,
Потому что любили меня.

Владимир РЕШЕТНИКОВ, Семенов, Нижегородская область

* * *

Уходили двое в ночь,
Погружались будто в воды
От сует суетных прочь,
С глаз долой толпы-народа.

Уходили навсегда
Иль на время – не сказались.
А за ними по следам
Шла чернеющая зависть.

Ночь была настоль нежна –
Без стыдливого предела,
Даже зависть, и она
Простыньёю побелела.

А к утру взметнулась, прочь
Улетела сизой птицей.
Уходили двое в ночь,
Да забыли возвратиться...

* * *

В прокуренном автомобиле
Везу, которой не везло:
Наверно, ей недоплатили
За древнее за ремесло.

Разгладив деньги, снова скомкав,
Она опомнилась: о, чёрт,
Сегодня – именины Кольки!
И по пути купила торт.

Мне было очень неудобно
Её стенаниям внимать,
Но я узрел, подъехав дому
Мальца, встречающего мать.

От радости он, милый, ахнул.
Глаза – того гляди, и съест!
Я вспомнил – деньги ведь не пахнут,
И взял купюру за проезд.

Владимир САВИНОВ, *Починки, Нижегородская область*

Осенний разговор с другом

Осень золото сыплет в дырявый карман.
Солнце пятки природе щекочет.
А она, натянув одеяло-туман,
Всё никак просыпаться не хочет.

Славный день сентября тихо ждёт у ворот,
Чтоб укрыть нас теплом и любовью.

Отложу все дела и пойду в огород.
Надо выкопать свеклу с морковью.

С другом детства в душе заведу разговор –
Размышление на тему успеха.
Не прими эти мысли, дружище, в укор –
Ну, зачем ты в столицу уехал?

Чтобы биться об лёд, править в волнах людей
К миражу, что успехом зовётся?
Чтоб топтать с мегафоном асфальт площадей
И кричать, как нам плохо живётся?

Ладно, ладно! Не ты! Это кто-то иной
В новостях на экране мелькает.
Заведённой толпе ощутить не дано,
Как по капле вся жизнь утекает.

Помнишь, пели про кукол и про балаган...
Помнишь, в сердце бурлила свобода...
Мы смеялись, и каждый из нас полагал:
Сам я стану себе кукловодом!

Но, увы! Паутина житейских страстей –
Не осеннее кружево луга...
Сеть долгов, подработок, семей и детей...
Вот уже мы не видим друг друга.

В этой гонке по кругу среди миражей
Жажда скорости рушит границы.
Тошнота перегрузок и круть виражей.
Цель близка!.. Или это лишь снится?

Как же выбраться нам из липучего сна,
Чтобы, птичьему гомону внемля,
Вспомнить – кто мы, откуда. Чтоб жить, осознав,
Для чего мы попали на Землю.

Шум толпы заглушает мелодии дня.
Кукловоды играют народом.
Я отверг предложенье зачислить меня
В оппозицию к власти Природы.

Присягнув ей недавно, пытаюсь ползти
Сквозь едучий иприт технологий.
Пусть мой разум ослепший уже не спаси,
Только б сердце не сбилось с дороги.

Я учусь у крапивы, сосны, лопуха
Быть довольным лишь тем, что имею.
Пробуждаться весной, а зимой затихать.
Я учусь... Но пока не умею...

Я могу лишь без спроса хватать да ломать,
У других отнимать без возврата.
Долго терпит Природа – усталая мать –
Ропот старших на младшего брата.

Не даёт им раздуть наш семейный конфликт.
А младшой – день за днём всё капризней!
Он не чует, в какую историю влип,
Так подняв цену собственной жизни.

Видно, любит нас мать... Или – сверху приказ...
Но поныне мы кем-то хранимы.
Крутим жизни шарманку, шумим возле касс...
А кометы проносятся мимо.

В мегаполисах пенится гордость и спесь.
Жизнь в кредит под пиццанье хайтека.
Там в бурлящих ретортах готовится смесь
Для создания сверхчеловека.

Он шагнёт, не скрывая голодный оскал,
Вскроет сердце планеты-старушки.
А когда не найдёт в нём того, что искал,
К Марсу двинется с лазерной пушкой...

Эк, меня понесло!.. Ты, дружище, прости...
Во – развёл я бодягу какую!..
Будет случай своих стариков навестить –
Заходи... Под пиво потолкуем.

Эх!..

Чудный нынче денёк людям боженька шлёт.
Просто так. Словно высшую милость.
Вот и грядку добрал... Вот и весь огород...
Дай-то бог, чтобы всё сохранилось...

Сергей СТЕПАНОВ, *Нижний Новгород*

* * *

Подавали ей устрицы на обед –
эта девочка дьявольски хороша.
Эта девочка знала цену себе,
но черна была у неё душа.
Ей за благо – боль причинять другим.
Полюбить её – это смертный грех.
Только любим мы не кого хотим –
это выше наших желаний всех.

Я носил охапками ей цветы,
по трубе водосточной к ней ночью лез,
и меня арестовывали менты
за невинный мальчишеский интерес.
А она флиртowała, с кем ни пришлось,
наблюдая, какой у меня был вид.
Я терпел. Но однажды, как гейзер, злость
прорвалась из хранилищ моих обид.
Я сказал... Я не помню, что я сказал.
Это было где-то в начале дня.
Ничего не помню. Только глаза,
где читалось, что любит она меня.
Я не вник. Ушёл. Впору в петлю влезть.
Это явь была? Или только сон?
Это месть? Ну, да. Ну, конечно, месть
самому себе. До конца времён.

* * *

В этом городе спеет опять алыча,
и меня посещает неправильный сон,
и закат – он кровав, как топор палача,
алычовый закат надо мной занесён.
Этот город – мой враг. Он взрезает тайком
мякоть сердца, как в черной тельняшке арбуз,
но вся разница в том, но вся разница в том,
что арбуз этот сладок, а я – не к добру.
Этот город – как вязкая в лужах смола,
он расставил везде на форштадтах посты,
он мечту мою ловит с глазами щегла,
но глаза эти выцвели до слепоты.
Сколько прожили мы в сухомятку и врозь,
и не думали, как ни старались, о том.
Так давай же помянем мы, что не срослось,
что лишь бред, по которому плачет дурдом.
Я бы плюнул, конечно, и даже растёр,
но въедается это, как аэрозоль.
Я в театре абсурда неважный актёр,
потому что свою я не выучил роль.
И какой уже год, и какой уже день
этот город не может простить мне того,
что я города этого серая тень,
только память его, только эхо его.

* * *

В клетке молчат чижи,
долго не слышно их...
Как же теперь чужи
мы для себя самих!
Как теперь ни кружи,
знай свой, сверчок, шесток.

Знаешь, ты завяжи
память на узелок.
Чтобы не развязать,
чтобы нам стать сильней,
чтобы не рассказать
мрака беды своей.

* * *

Никто не встречает возле крыльца,
бурьян в огороде пошёл в загул...
Я старше теперь своего отца,
сажусь на его стул.
Мне кажется: дом сохранил тепло
его больших натруженных рук.
И он был всегда – надёжный оплот
от всяких житейских вьюг.
Та же скатерть на старом этом столе
и запах вчерашних щей...
На сколько земных утрамбованных лет
рассчитана память детей?
Забудут нас, как забыли мы
свой род. Не в ту вышли дверь.
И то, что замарано, не отмыть,
и прокляты мы теперь.
Кому насильно ты будешь мил,
когда то пожар, то дым?
И ветер гуляет между могил –
ветер большой беды.

Галина ТАЛАНОВА, *Нижний Новгород*

* * *

Значит, поздно.
И нет уже лёгкости,
Чтоб летать на качелях любви.
И робеем от странной неловкости,
Что огонь затушили в крови.
Значит, поздно.
Метелица белая
Остужает мой лоб и лицо;
Будто снежника ягоды спелые,
Сыпет снег на моё пальцецо.
И ловлю я губами горячими
Свежий снег, забывая слова.
И смотрю я глазами незрячими
На тебя –
Ни жива ни мертва.

* * *

Снова сердце ёкнуло беспечно,
Снова чуда жду, как в двадцать лет.
Только жизнь, как праздник, быстротечна,
Как петарды, тает в небе след.
Так не стой в раздумье на пороге,
Закружи, как вихрь свистящих выюг.
Замети назад пути-дороги,
Зацелуй в моих глазах испуг,
Что лечу куда-то обмирая,
Будто в детстве с горки ледяной,
И боюсь уже не столько края,
А того, что снова быть одной.

* * *

Весна нахлынула дождём,
Что лил всю ночь
И день субботний.
И мы опять чего-то ждём
И дышим чуточку свободней.
Бежит, как горная река,
Ручей по краю тротуара,
Друг с другом слиты облака.
Лишь мы по-прежнему не пара.
Всего за сутки стаял снег.
Земля как в сбитой марле рана.
А половодье чувств и рек
Запахло в воздухе дурманно.
И, на краю судьбы застыв,
Одна стою, без половины,
Как на разломе скользкой льдины,
Как на плоту, на ней поплыв...

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ, *Ставрополь*

СОЛО СУДЬБЫ В СУДЬБЕ

путь от себя к себе
кажется бесконечным –
чёрным? лучистым? Млечным?
вечным? беспечным? встречным? –
кругом, где А и Б
рядышком не стояли...
вряд ли – подряд, едва ли
клавиши на рояле,
выдохнув *до* и *ре*,

песенку о добре
 сложат в безлюдном зале...
 роза на серебре –
 жёлтая, в сентябре:
 ангелы отпевали
 поздний поклон тебе...

круг от судьбы к судьбе
 кажется хаотичным –
 креном катастрофичным?
 казусом архаичным? –
 танцем – назло волшебю
 или божбе... гитаре
 бредить в ночном угаре
 струнами *ми* и *фа*...
*ми*лый *фа*зан! гагаре
 выдерет перья дрофа –
ми-фа до-резан факт?!
 демоны проорали:
 в небе полно аварий!
 (цицера: голытьбе –
 мне, и тебе, и нотам –
 лучше летать по субботам
 в поисках А и Б...)
 соло судьбы в судьбе...
 песенка Рождества,
 песенка о добре –
 долгая, как строфа,
 кружит в хрустальном зале...
 роза на серебре –
 красная, в январе...

шаг от судьбы к себе
 кажется алогичным –
 синим листком больничным?
 чёртом сугубо личным? –
 ложным вокалом... *back*...
 путь от себя к тебе,
 круг от тебя к судьбе –
 сердце стучит при ходьбе?
 врёт, лукавые тётки...
 йог, улыбайся йоте...
 как хорошо в полёте! –
соль не мешает плоти,
 бабочкой пляшет *ля*,
 свет бирюзы? – *Земля*!
си засияла: звёздно!
 значит, ещё не поздно
 песенку о добре,
 снова на *до* настроив
 спеть над страной героев (?),
 гениев (?) или изгоев (?) –

сам выбирай на заре...
до-ре-ми-до-ре-ми-ре...
демоны охмуряют:
роза на серебре –
жёлтая в сентябре...
ангелы ободряют:
красная в январе...
песенку о добре,
песенку о судьбе –
без виража в запой! –
под Рождество запой:
путь от себя к себе...
А обнимает Б...
соло судьбы в судьбе...
роза на серебре –
красная в январе...

Александр БАЗУРИН

Родился в 1996 году, оканчивает 11-й класс 46-й школы Нижнего Новгорода. Награжден дипломом первой степени на городской конференции Научного общества учащихся, проводившейся Нижегородским госуниверситетом им. Лобачевского, за доклад об обороне Осовца. Увлечен книгами по русской истории.

«АТАКА МЕРТВЕЦОВ»

Осовецкая крепость и ее забытые герои

На Западе ее называют Великой войной. В нашей же стране Первая мировая как развязанная царем и мировой буржуазией с непонятными для простых людей целями оказалась не очень популярной, к тому же пригнущена в российской исторической памяти последующей революцией и Гражданской войной. Однако и в Первой мировой Россия играла исключительно важную роль. На русском фронте было сосредоточено 50% наличных боевых сил, и именно на русский фронт приходится половина всех сражений и побед. Напомним, что в этой войне впервые появились военная авиация, танки. Впервые образовались сплошные линии обороны, а для военных сначала обозначился теоретический тупик позиционной обороны, а затем и его разрешение в знаменитом Брусиловском прорыве. Это прорыв фактически сыграл роль переходного сражения для всей войны, по сути дела, выбив из боев Австро-Венгрию и показав невозможность победы немцев в войне.

В последнее время о Первой мировой стали вспоминать чаще, но чаще вовсе не означает достаточно. Сегодня хотелось бы остановиться на таком героическом эпизоде той войны, как оборона крепости Осовец.

Когда-то Валентин Пикуль, читая о героизме защитников Брестской крепости, вспомнил о похожем подвиге русских воинов – обороне крепости Баязет во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Он написал хорошую книгу, по ней поставлен фильм. К сожалению, до сих пор нет похожих произведений о защитниках Осовца. Снят небольшой полудокументальный фильм на телевидении, и это почти все. Есть небольшая военно-научная книга А.С. Хмелькова, профессора и генерала, участника обороны Осовца, изданная в 1939 году малым тиражом для военно-инженерных кадров Красной армии. А между тем защитники крепости Осовец достойны, как и защитники Бреста и Баязета, больших литературных полотен.

Там, где миру конец, стоит крепость Осовец

Сегодня остатки этой крепости находятся на территории Польши, а в начале прошлого века это была территория Российской империи. Для за-

щиты границ на западных рубежах Генеральный штаб спланировал ряд крепостей. Проектными работами руководил знаменитый русский инженер-фортификатор, герой Севастопольской обороны генерал Э.И. Тотлебен. Он спроектировал и крепость на реке Бобры в 50 км от Белостока, которая строилась с 1882 по 1914 год. Место было выбрано очень удачно: на север и на юг от этого места лежали обширные болота и реки. Наркомат обороны в своем издании описывает местность так: «В этом районе почти нет дорог, очень мало селений, отдельные дворы сообщаются между собой по речкам, каналам и узким тропам. Противник не найдет здесь ни дорог, ни жилья, ни закрытий, ни позиций для артиллерии». И даже зимой только в сильные морозы все замерзает. В малые морозы дорог не бывает – мешают многочисленные теплые ключи. Русские солдаты в 1914 году сочинили стишок:

Там, где миру конец,
Стоит крепость Осовец.
Там страшнейшие болота,
Немцам лезть в них неохота.

Единственный проход через многокилометровые болота был перекрыт этой крепостью – сравнительно небольшой, однако достаточно современной на тот момент: бетонные казармы и подземные переходы, капониры с электростанциями для освещения рва и даже единственный тогда в России бронированный артиллерийский дот.

Гарнизон в течение обороны менялся, но в основном состоял из великолепных артиллеристов (как показала жизнь, они были лучше немецких), 19 батальонов пехотных стрелков (хорошо подготовленных и с высоким боевым духом) и 8 батальонов ополченцев (к сожалению, плохо подготовленных и не обладавших ни умениями, ни боевым духом). Командовал гарнизоном сначала генерал-лейтенант Карл-Август Шульман, которого сменил в январе 1915 года генерал-майор Николай Бржозовский.

Ураган огня и железа

Война началась 1 августа. Она очень быстро докатилась до Осовца. Передовые части 8-й германской армии в составе 40 батальонов подошли к крепости и попытались взять ее, что называется, с ходу. В ходе упорного сопротивления 21 сентября войскам гарнизона пришлось отойти от передовых позиций. Этот отход позволил немцам начать обстрел крепости из тяжелой артиллерии. Но благодаря двум фланговым контратакам русских 28 сентября обстрел был прекращен, и немецким войскам пришлось в спешном порядке отходить, оберегая свою артиллерию. Взять крепость с налету не удалось. Бои за Осовец превратились в затяжные.

Характер Первой мировой войны не угадал никто, ошиблись все стороны. Немцы раньше отобилизовали свою промышленность и обеспечили войска снаряжением, когда у русских еще не заработало в полную мощь военное производство. Этот период нехватки всего и вся для русских войск со стратегическим отступлением 1915 года. Крепость приобретала большое значение, и 3 февраля 1915 года немцы решились на второй штурм. Сначала им пришлось сражаться с русскими передовыми пехотными силами, но стойкость защитников не позволили неприятелю пробиться к крепости. Были предприняты атаки на позиции крепости, но они не увенчались успехом и отбивались пулеметным огнем с позиций

и крепостной артиллерией. Немцы просто не доходили до проволочных сетей – они, остановленные огнем, несли потери и поворачивали обратно.

После неудач на первой линии обороны немецкое командование приняло решение начать артобстрел крепости, который и начался 25 февраля. Германские войска применили осадную артиллерию, в том числе и 4 «Большие Берты» калибра 420 миллиметров. От их снарядов оставались воронки шириной 12 и глубиной 3 метра. Таких орудий у немцев было произведено всего 9 штук, но они были уникальными: самые большие пушки, в то время производившиеся. Их называли «убийцами крепостей». В странах Антанты, куда входила и Российская империя, подобного вооружения не было. Этим подчеркивается значимость Осовца для немцев: из 9 пушек 4 штуки было отправлено бомбить маленькую крепость. Тяжелая артиллерия немцев выпустила около 400 тысяч снарядов разных калибров. Но на территории самой крепости было зафиксировано только 30 тысяч воронок: расположение крепости вблизи болот позволило снизить эффективность огня немецкой артиллерии до 13% (снаряды тонули в болотах, расплескивая воду и грязь и причиняя мало вреда). Тяжелее всего пришлось гарнизону, когда заговорили «Большие Берты». На западном форте один выстрел такого орудия полностью разрушил укрепленную бетоном караульную казарму. Майор Спалек вспоминал в одном из польских журналов: «Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх, земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня. Впечатление было таково, что ни один человек не выйдет целым из этого урагана огня и железа».

Однако крепость сражалась! Из тыла подвезли два морских дальнобойных орудия, и именно ими были подбиты две «убийственные» Берты, затем от точного попадания русского снаряда взорвался немецкий склад боеприпасов. Немцев это напугало, они срочно вывезли оставшиеся «Берты» подальше от крепости: благодаря мастерству русских артиллеристов они уже лишились двух уникальных орудий. Обычно хватало одного их них, а здесь четыре оказались бессильны. Результат был просто поразительный!

Ситуация в Осовце очень волновала командование русских войск в этом районе. Крепости был отдан приказ продержаться еще хотя бы 48 часов и обещано прислать помощь. Но комендант Осовца заверил, что нет оснований для беспокойства. От истины он ничуть не погрешил: пехотные полки почти не несли потерь, и главнейшие защитные сооружения остались целы. Во время артобстрела особенно доставалось крепостным батареям, которые так хотел выбить противник. Но бетонные укрытия не пробивались артиллерийским огнем, и максимум, что могло произойти – это повреждение самих орудий, которые, впрочем, очень быстро менялись на новые.

Таким образом, артиллерийский обстрел крепости не принес таких результатов. Противник, израсходовав большое количество снарядов, 7 марта прекратил бомбардировку и ограничился только стрельбой по батареям и тылам крепости. Второй штурм и «убийцы Берты» не помогли. Осовец выстоял!

Облако смерти: даже пушки покрылись окисью хлора

В середине марта 1915 года немцы прекратили атаки на крепость. По данным русской разведки, численный состав противника резко сократился

из-за вывода войск, и осталось примерно 18–20 батальонов пехоты против русского гарнизона в 15 батальонов.

В апреле и мае 1915 года разведчики начали сообщать о фортификационных работах, проводимых немцами на передовых позициях. Немцы работали и днем, и ночью, стремясь максимально приблизить свои окопы к крепости, а также опутать их как можно большим количеством колючей проволоки. Было очевидно, что они готовят плацдарм для наступления и стараются максимально обезопасить себя от вылазок гарнизона.

В крепости же в это время жизнь была сравнительно спокойная: враг был пассивен, бомбардировки не возобновлялись. Кроме того, река Бобр разлилась, болота наполнились водой, а отводные рвы-каналы вышли из берегов. Крепость стала неприступной в прямом смысле. Но, несмотря на это, комендант крепости приказал проводить разведку по всему фронту крепости, а также возобновить фортификационные работы. Началось усиление передовых позиций большим количеством укрытий от артиллерии, создавались дополнительные и восстанавливались старые позиции во всех фортах. И если в тылу крепости работа была спокойной, то по переднему краю противник в любой момент мог открыть орудийный и пулеметный огонь, поэтому перед фронтом они велись только ночью. В конце июля немцы приблизили свои окопы на 150–200 метров к проволочным заграждениям крепости. Они готовились к химической атаке. Потерпев неудачи в двух штурмах, противник решил применить ядовитые газы. У защитников же крепости не было средств защиты от химического оружия.

6 августа 1915 года в 4 часа утра, дождавшись попутного ветра, 30 немецких газовых батарей пустили газ (хлорпикрин с примесью брома) на позиции крепости. По описанию очевидца, «все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть – вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава погорела и легла на землю, лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости – части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым зеленым слоем окиси хлора, предметы продовольствия, хранившиеся без герметической укупорки – мясо, масло, сало, овощи, оказались отравленными и негодными для употребления».

«Все живое на открытом воздухе было отравлено насмерть...» В первую очередь – боевые смены артиллеристов, наблюдателей и корректировщиков. Не участвовавшие в бою люди спаслись в казармах, убежищах, жилых домах, плотно закрыв двери и окна, обильно поливая их водой. По описаниям очевидцев, концентрация ядовитых веществ была столь велика, что на фронте шириной в 8 километров и глубиной до 20 километров погибли все домашние и полевые животные. По мнению немцев, защитники крепости также должны были погибнуть. К слову сказать, на подобное изуверство не осмелился даже Гитлер во Второй мировой войне. К атаке приготовились 14 батальонов пехоты – около 7 тысяч солдат и офицеров. Они должны были штурмовать крепость после газовой атаки при поддержке артиллерии. Немцы пригласили множество журналистов, которые должны были описать очередной «блестящий» успех германцев в успешном для немцев 1915 году.

Газы нанесли огромный урон защитникам: 9-я, 10-я и 11-я роты перестали существовать, от 12-й роты осталось примерно 40 человек, от остальных – около 60. При таких условиях, когда все позиции защищают около 100 человек, немцы легко могли бы захватить крепость. Но у них

самых были проблемы: на правом фланге атакующие попали под свои же газы и, понеся огромные потери, не смогли далеко продвинуться, остановленные огнем остатков 12-й роты; на левом фланге немцы не смогли проделать проходы в заграждениях и были отброшены появившимися из Осовца разведчиками 225-го полка. В центре же атакующие проделали в заграждениях 10 проходов и могли начать штурм Заречного форта. Положение было критическим – противник с минуты на минуты пойдет в атаку, а встречать его некому. Но комендант, оценив обстановку, приказал бросить в контратаку всех выживших бойцов, а крепостной артиллерии – стрелять по передовым окопам. Артиллерийский огонь замедлил наступление противника и отрезал его от резерва.

Вид атакующих был ужасен...

Для контратаки были посланы 8-я, 13-я и 14-я роты 226-го полка. 8-я и 13-я, потерявшие половину личного состава, развернулись в наступление вдоль железной дороги, а 14-я рота, объединившись с 12-й, выбили противника из передовых окопов, захватив несколько пленных.

13-я рота, увидев немецкие наступающие части, встретила их криком «Ура!» и бросилась в штыковую атаку. 70 человек шли в штыковую атаку на 7 тысяч! Однако не столько героическое соотношение бойцов восхитило мировую прессу. Не столько сама атака, сколько вид атакующих поверг немцев в такой ужас, что те, не приняв боя, бросились назад. Вид атакующих действительно был ужасен: обмотанные кровавыми повязками головы, куски легких, выплевываемых от страшного кашля, на гимнастерках... Эти солдаты уже не боялись ничего – по сути, они уже были живыми мертвецами. И немцы не выдержали и побежали...

Репортеры, приглашенные посмотреть на газовую атаку и последующий захват крепости, назвали этот момент «атакой мертвецов». Под таким названием это событие и вошло в мировую историю. Во время отступления много немцев погибло от огня крепостной артиллерии и на проволочных заграждениях. Также из-за сильного огня по передовым окопам немецкие войска и там не смогли отразить контратаку. К 11 часам все позиции крепости были очищены от войск противника. На повторную атаку противник так и не осмелился, хотя эта атака могла и увенчаться успехом, потому что позиции защищала всего три роты, половина противоштурмового снаряжения было уничтожено и больше никаких резервов у крепости не было. Однако и в этих условиях немцы взять Осовец не смогли.

На судьбу крепости повлияло общее отступление русской армии 1915 года. Резко менялась линия фронта, русские войска оставляли территорию Польши. Гарнизону был дан приказ об эвакуации, которая началась 18 августа. Железная дорога была уже перерезана, и тяжелую артиллерию и снаряды пришлось вывозить на своем горбу. Каждое орудие тянули по 30–50 артиллеристов или ополченцев. Все время эвакуации из орудий крепости велся огонь для маскировки отхода. Гарнизон ушел в местечко Суховоля, артиллерия вывезена в Гродно, а инженерное управление отправлено в Псков. Грузы в основном были вывезены заранее. В 19 часов 23 августа были подожжены жилые здания, а в 20 часов подорваны крепостные сооружения. Саперы-взрывники ушли к своим частям. Немцы отважились занять пустые развалины крепости лишь 25 августа, т. е. через два дня после ухода русских войск.

К слову, Осовец смог продержаться в 36 раз дольше, чем огромная первоклассная крепость Новогеоргиевск, гарнизон которой состоял из

64 батальонов пехоты при 1000 орудиях тяжелой артиллерии и защищал 33 форта. Осовецкую обороняло только 27 батальонов пехоты при 71-м тяжелом орудии, прикрывавшем 4 форта. При этом на крепости нападали примерно равные силы неприятеля: на Новогеоргиевск – 45 батальонов пехоты при 84 орудиях тяжелой артиллерии, а на Осовецкую крепость нападали 40 батальонов пехоты при 68 тяжелых орудиях. Новогеоргиевск сдался через 10 дней боев, сдав противнику все орудия и 80 000 пленных. Осовец защищался 11 месяцев, взят не был, оставлен по приказу, и снаряжение осталось, конечно, в руках русских. Сработали все стороны обороны: удачное расположение самой крепости и композиция сооружений, профессиональное и волевое руководство крепости, хорошо обученный гарнизон и великолепные действия артиллеристов. Напомню, что в результате контрартиллерийской борьбы были выведены из строя 2 «Большие Берты» из 9 произведенных в Германии. У крепости была хорошая материальная база, укрытия, снабжение, еда, санитарное обеспечение. Защитников не сломила даже газовая атака. Оборона Осовца – один из самых замечательных подвигов Первой мировой войны, а может, и всех войн!

Константин Фролов-Крымский написал стихотворение «Крепость Осовец»:

В то утро, сырое и мглистое,
Средь польских болот и лесов
Нам было приказано выстоять
Всего сорок восемь часов.
Пред нами – безумные арии
Снарядами рвут горизонт.
За нами – Российская армия
Пытается выровнять фронт.
Мы верим, как пращурьы верили,
молитву вложив нам в уста,
В корону Российской империи
И крест православный Христа.
В годину лишений обильную
Нам выпал счастливый билет –
Своею породой двужильною
Опять удивить Белый Свет.
Мы перетерпели, мы сдюжили –
Никто не покинул рядов! –
Когда нас германцы утюжили
Снарядами в сорок пудов!
Но вдруг, без пароля и отклика,
на саван предутренних рос
зеленое хлорное облако
нам западный ветер принес.
Увы! Удушение газами –
Для нас как на голову снег.
Спасибо немецкому кайзеру!
Добрейшей души человек!
Когда-то тевтонские рыцари
Сходились один на один.
Теперь их султаны повыщвели,
А в ножнах иприт и зарин.
Зловещее хлорное облако

Прошло как Всемирный потоп,
Лишив человеческого облика
Того, кто забился в окоп.
Растерянность, ужас, безволие!..
Из тысячи русских стрелков
Едва уцелело не более
Какой-нибудь сотни штыков.
Плодами германского «гения»
Живое стирая с Земли,
Семь тысяч ландскнехтов Вильгельмовых
Брать «мертвую» крепость пошли.
Шутили, смеялись и топали...
Как вдруг – холодок по спине;
В смертельном дыму над окопами
Возникла шеренга теней.
В своем окровавленном рубище,
В зеленой от хлора пыли
Они – между прошлым и будущим –
Восстали, как из-под земли.
Они приближались с винтовками,
приклады прижав у бедра,
И, харкая кровью и легкими,
Хрипели сквозь зубы «ура!»
От этого хрипа утробного,
От блеска в незрячих глазах
Германское воинство дрогнуло...
И вдруг повернуло назад!
Как будто спасаясь от бедствия,
С отчаяньем дикой орды
Неслись белокурые бестии,
Сминая свои же ряды!
Пусть помнит в веках человечество
Ту жертвенность наших отцов,
Что в тяжкие годы Отечества
В атаку вела мертвецов.
Полгода рукой мускулистою
Мы били зарвавшихся псов!..
А нам было велено выстоять
Всего сорок восемь часов.

Пусть это не «Бородино» Лермонтова, что ж, о Первой мировой войне вообще у нас писали немного, об Осовце и вовсе почти ничего...

Бессменный часовой

С крепостью Осовец связана и еще одна история. Она попала в газеты, однако революционное время и неразбериха не дали возможности по свежим следам установить ее точную фактическую основу. С 1918 года руины Осовецкой крепости были включены в состав независимой Польши. Уже с 1920-х годов они вошли в ее систему оборонительных сооружений и начались работы по реконструкции крепости.

При разборе завалов в одном из фортов был обнаружен каменный свод подземного тоннеля. Чтобы увидеть, что за ним находится, пробили дыру.

Подбадриваемый друзьями, один из солдат пролез в нее, но стоило ему сделать несколько шагов, как раздался окрик: «Стой! Кто идет?» До смерти испугавшийся солдат вылетел через дыру на поверхность. Рассказав все офицеру, он получил от него взбучку за трусость и глупые выдумки. Чтобы подать пример, офицер сам спустился вниз, где его также окликнули. Но на этот раз был также слышен и передергиваемый затвор винтовки. К своему счастью, офицер хорошо говорил по-русски и объяснил невидимому собеседнику, кто он такой и зачем пришел. На вопрос, кто он сам, таинственный человек ответил, что он часовой, поставленный охранять склад. Как оказалось, этот часовой простоял на посту, как он сам и говорил, примерно 9 лет, но остался верен присяге и по-прежнему был готов защищать свой пост до конца. После долгих переговоров часовой согласился выйти из подземелья, но по халатности польских солдат, которые забыли завязать ему глаза, он потерял зрение.

Солдат поведал свою историю. В тот день, когда был взорван склад, он стоял на посту в подземном тоннеле. Из-за суеты во время закладки взрывчатки перед взрывом никто не проверил, есть ли кто на складе. Прогремел взрыв, и солдат потерял сознание. Придя в себя, он смог побороть отчаяние и пошел осматривать место своего жилья на ближайшее время. К его счастью, склад был полон еды, а стены тоннеля были влажными и на полу были лужи. Таким образом, солдату не грозило умереть голодной смертью. Позже забытый часовой обнаружил узкую вентиляционную шахту, через которую пробивался мутный дневной свет.

На складе был большой запас свечей, но один раз горящая свеча вызвала пожар, который ему, к счастью, удалось потушить. Уже в темноте ему приходилось со штыком в руках бороться с полчищами крыс, которые привлекали запасы еды. Эти сражения продолжались до самого освобождения.

Несмотря на одиночество и темноту, солдат продолжал соблюдать русские армейские традиции. Так, каждую субботу он проводил банный день. Бани у него не было, и он обходился тем, что брал чистое белье на складе. Оружие свое он держал в абсолютном порядке, а вооружен он был винтовкой Мосина образца 1891 года. Когда его освободили, его винтовка была смазана маслом и в идеальном состоянии.

Как его ни уговаривали польские власти остаться в Польше, часовой хотел вернуться на родину. Он был отправлен в СССР, где его подвиг не воспели, а имя этого героя до сих пор неизвестно. О нем вспоминал в свое время известный писатель С.С. Смирнов, рассказавший миру о подвиге защитников Брестской крепости. И кажется символичным, что этот рассказ связывают с героями обороны Осовеца, – он еще раз подчеркивает их нестигаемую стойкость и верность Родине.

Наталья ЗАЙЦЕВА

Родилась и проживает в Нижнем Новгороде. Окончила исторический факультет Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского в 1996 года., в архивной службе с 1990 года. Сфера научных интересов – историко-документальное краеведение.

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ЭШАФОТА

Страшное слово. Вы представляете, как под жадные крики толпы палач заносит топор над головой приговоренного, рубит, тело падает и кровь стекает в щели между неплотно сколоченными досками...

Убеждение в спасительности устрашающего примера побуждало к исполнению наказания с наибольшей публичностью. Из просвещенной Европы мода на эшафоты до Нижнего Новгорода дошла к середине XIX века, когда законом от 21 января 1846 г. был введен «обряд публичной казни». Знаете, новые веяния, реформа судебной системы, благие пожелания... В общем, хотели улучшить работу по воспитанию граждан и перевоспитанию преступников.

Нижегородское губернское правление поручило устройство эшафота брендмейстеру пожарной команды I Кремлевской части (находившейся на углу совр. ул. Костина и Б. Покровской). До 1869 г. сборкой-разборкой и хранением эшафота занимались пожарные. Впоследствии устройство эшафота вменили в обязанность смотрителю 2-го корпуса Нижегородской тюрьмы. (Сейчас в темно-сером здании бывшей арестантской роты и тюрьмы на углу Большой Покровской и пл. Горького расположены факультеты повышения квалификации и заочного обучения МВД РФ.) Итак, приказано – сделано. В скучный, серый порядок исполнения наказаний был внесен элемент торжественной театральности.

Выглядело это так. Преступников, приговоренных к лишению всех прав состояния и ссылке, в обязательном порядке подвергали обряду публичной казни. По формальному требованию Нижегородского городского полицейского управления на площади (где-то в районе памятника М. Горькому) напротив 2-го корпуса тюрьмы ставили эшафот. Собирали его быстро – за полчаса; назначенные на работу 40 арестантов перетаскивали бревна, доски, железные крючья, обручи и другие материалы и приборы (общим весом, как уверял губернский архитектор, до 60 пудов) и скоренько сколачивали помост – может быть, и для своей казни. Для надзора за ними выделялся военный конвой – 6 человек солдат 3-й пехотной дивизии.

Смотритель 1-го корпуса замка (на пл. Свободы), а чаще всего его помощник – старший надзиратель набирал группу ссыльных арестантов, над которыми надо было провести обряд публичной казни, и передавал их на попечение помощника полицейского пристава. Заключенным вешали на шею дощечки с обозначением преступлений, (осужденных за убийство отца или матери накрывали черной материей), сажали в высокие черные «позорные дроги», и в 12-м часу дня в сопровождении палача и под конвоем солдат процессия торжественно отправлялась по улице Полевой (ул. Горького) к эшафоту. Причем в Нижнем существовал такой странный обы-

чай – во время следования на место публичной казни и обратно в замок палачу прохожие подавали деньги.

На высоком помосте с лестницей и веревочными перилами были установлены деревянная «кобыла» для наказания плетьюми, черный столб и приспособления для клеймения. По Уложению 1845 г. плети стали высшим телесным наказанием для «подлых сословий», они упоминались в 134 статьях и назначались, невзирая на пол и возраст, в количестве 30–100 ударов при каторжных работах и 10–30 – при ссылке на поселение. Итак, палач выводил преступника на эшафот и после зачитывания приговора привязывал его к «кобыле» и сёк, стараясь класть удары крест-на-крест и наблюдая, чтобы конец трёххвостой ременной плети не касался головы и бока. Непосредственно за наказанием плетьюми для профилактики побегов следовало наложение клейм, также публично и рукою палача. Вместо прежнего клейма ВОРЪ, в 1845 г. определили ставить на лбу – К, на правой щеке – А, а на левой – Т (каторжный). Недаром в народе палачей называли «катами». От клеймения освобождались лишь глубокие старцы, несовершеннолетние, женщины (с 1753 г.) и лица из привилегированных образованных сословий. С XIV по XVII в. в России клеймили калёным железом, а с прогрессивных времен Петра I и по 1863 г. делали это особыми штемпелями, на которых были насажены стальные иглы, образовывавшие буквы; иглы эти вонзались в тело, и ранки затирались смесью индиго и туши. Представьте это варварство, оно было обычно и в Нижнем Новгороде, и в уездных городах всего 140 лет тому назад. Представьте ужас тех, вероятно, нередких случаев, когда человека осуждали невинно, уродовали и клеймили вечным позором до конца его дней. Конечно, гораздо мягче обращались с дворянами, осужденными на публичную казнь: над ними просто преломляли шпагу и на 10 минут ставили к позорному столбу.

Однако праздники правосудия в Нижнем Новгороде частенько омрачались отсутствием должного финансирования. Постоянно возникал вопрос о «постройке» нарядной одежды для парадных выездов палачей, которую в законе почему-то не предусмотрели, и губернскому начальству приходилось не только изыскивать деньги на это, но и придумывать сами костюмы. «Заплечных дел мастеров», как они сами себя называли, набирали из преступников, осужденных на каторгу. Их освобождали от наказания плетьюми и ссылки в Сибирь, выдавали двойные «кормовые деньги» и одежду, положенную для арестантов. Жили палачи в тюрьмах, как и все осужденные, но в отдельном от арестантов помещении, иногда со своими семьями. В 1867 г. после многолетней переписки губернатор Одинцов распорядился (второй и последний раз в нижегородской истории): «построить» палачу для публичного исполнения приговоров кумачовую красную рубаху, плисовые черные шаровары, красный шерстяной кушак, пару кожаных сапог, черный суконный кафтан (поддевку), меховую шапку и нитяные перчатки. Ну, а так как казни проводились почти еженедельно и работа эта была не только нервной, но и грязной, вещи очень быстро приходили в негодность. И в декабре 1874 г. очередной палач жаловался: «В дождливое осеннее время, во время выезда на публичную казнь, я должен следовать за позорной колесницей в довольно ветхих котгах и в грязном арестантском кафтане, так что я очень легко могу подвергнуться простуде» и слезно просил: «хотя бы выдать сапоги». Ему было отказано.

Да, в системе исполнения наказаний всегда пытались экономить. За 1875 г. эшафот ставили 34 раза, и никто эти работы оплачивать не собирался. В январе 1876 г. военные отказались от конвоирования арестантов

на сборке-разборке эшафота из-за «неполучения за это платы». Нижегородский губернский комитет общества попечительства о тюрьмах предложил отдать работы по установке и разборке эшафота в подряд вольнонаёмным рабочим. На что смотритель тюремного замка майор Григорьев ответил, что это «неудобоисполнимо и невыгодно для казны» и лучше будет все-таки оплатить работу конвоиров, как и требуется «по положению — по 6 копеек за человека». Полгода губернское правление упиралось, судило, рядило, вело переписку и в мае 1876 г. авансировало на оплату конвоя целых 5 рублей. После этого майор попросил снять с него обязанности по установке эшафота «на том милостивом внимании, что на него возложен смотрительский надзор за 2-м тюремным замком, за рабочим домом, за женской тюрьмой и за двумя тюремными больницами». Прошение Григорьева оставили без ответа.

Проблемы возникали не только на устройстве эшафота. Долгую переписку смотритель вел о покупке за 45 копеек чёрного покрывала для убийц и жаловался, что «во вверенном ему замке имеется всего только семь досок с разными надписями преступлений для надевания на арестантов при исполнении над ними обрядов публичной казни» и просил «ввиду крайности» купить новых 30 штук и поправить старые, «на которых надписи от частого употребления стерлись».

Да, обряд проводился часто и довольно халтурно. Осенью 1877 г. случился очередной скандал: по ошибке вместо содержавшейся в женской тюрьме 37-летней ссыльной Натальи Сатиной, осужденной за поджог, казнили несовершеннолетнюю Матрену Самойлову. Тюремщики, не удостоверясь в личностях заключенных, отправили вместо одной арестантки другую. И хотя со стороны казненной жалоб на должностных лиц не поступило, старшему надзирателю Ивану Рубцову объявили «за нерадивость» выговор.

Торжественный, страшный обряд превратился в надоевший фарс. Время таких представлений прошло. В сентябре 1878 г. государь император по докладу министра юстиции повелел: преступников, присужденных к лишению всех прав состояния и ссылке, высылать на поселение или в каторжные работы без исполнения над ними обряда публичной казни. В декабре 1878 г. эшафот вместе с позорными дорогами продали с торгов за 20 рублей.

История эшафота в Нижнем Новгороде закончилась. Правда, во времена столыпинских реформ во дворе тюрьмы поставят виселицу, но это уже совсем другая история.

Эпистолярный

«ПРИМИТЕ, МОЙ КНЯЗЬ, ЗАВЕРЕНИЯ ИСКРЕННЕЙ ДРУЖБЫ...»

Письма А.Д. Улыбышева князю В.Ф. Одоевскому

Чтение переписки талантливых, блестяще образованных людей, наделенных эрудицией, остроумием и одним из ярчайших проявлений того, что называют игрой ума, иронией, принадлежит к лучшим наслаждениям записных читателей. И дело не в том даже, что мы узнаем из их писем новые факты, подробности прежних времен и чужих судеб (что само по себе тоже не лишено приятности). Но под пером личности значительной даже и разговор о погоде или о плохих дорогах обретает значение общечеловеческое, вызывая у нас то улыбку, то собственные ассоциации и параллели.

И адресат, и автор публикуемых здесь писем* – люди замечательные. И тот и другой оставили заметный след в истории русской культуры. Владимир Федорович Одоевский (1804–1869) – один из самых разносторонних мыслителей своего времени, прозаик, автор «Пестрых сказок» и удивительной книги «Русские ночи», одной из ключевых тем которой были «высшие мгновения жизни художника». А кроме того, это был авторитетный литературный критик и критик музыкальный, сыгравший исключительную роль в развитии русской мысли о музыке.

Его корреспондент Александр Дмитриевич Улыбышев (1794–1858) – писатель, глубокий знаток театра, меценат и музыкант-любитель (аматёр, как говорили в XIX веке), написавший первое в мировой литературе фундаментальное исследование о Моцарте, вошедшее во все учебники по истории музыки. Он был автором и других книг и статей о музыке и музыкантах в те времена, когда об этом писали редко, что дает полное право судить о нем как об одном из зачинателей музыкальной критики в России.

В молодости Александр Дмитриевич, весьма успешный чиновник российского иностранного ведомства, входил в столичный интеллектуальный бомонд. Редактировал *Journal de Saint-Petersbourg*, печатался в других изданиях. Был членом и в каком-то смысле даже одним из идеологов литературно-критического околосексантистского кружка «Зеленая лампа», бывал в литературных гостиных и музыкальных салонах, в кругу литературных и музыкальных знаменитостей, в числе которых были А.С. Пушкин, М.И. Глинка, М. Виельгорский, А.С. Грибоедов, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич и другие. По-видимому, там в конце 1820-х годов Улыбышев познакомился и с князем В.Ф. Одоевским. Сходные музыкальные и литературные интересы могли сблизить их.

Но в 1830 году Улыбышев внезапно покинул столицу и уехал в свое нижегородское имение Лукино. Занялся хозяйством и сочинением книги о своем любимом Вольфганге Амадее Моцарте. А чуть позже, переехав на жительство в губернский Нижний, создал свой музыкальный и театральный салон, ставший одним из самых заметных культурных явлений середины XIX века в Нижнем Новгороде. Его связь с петербургской и московской культурной элитой на долгие годы прервалась или почти прервалась. Редкие

* Фрагмент этих писем был в 1911 г. опубликован в сб. «Музыкальная старина», СПб. (В. Б.).

приезды бывших приятелей и знакомцев в Нижний на ярмарку, редкие его поездки и письма – вот все, что связывало теперь Александра Дмитриевича с прошлым.

Письма, которые представлены здесь современным читателям, во всяком случае два из них, связаны с самым ярким моментом его творческой жизни. В 1843 году в Москве вышла его книга «Новая биография Моцарта». Это был итог кропотливого двенадцатилетнего труда. Тщательного изучения биографии великого композитора, всего, что было написано о нем на тот момент, и изучения моцартовской музыки: по нотам или в живом ансамблевом исполнении, для чего им были привлечены к домашнему (и не только домашнему) музицированию все мало-мальски способные нижегородские музыканты.

Получив тираж, Александр Дмитриевич отправляется в Петербург. Судя по дневниковым воспоминаниям самого Улыбышева, Петербург встретил его дружески: «Из знакомых домов едва мог я посетить десятую часть. Время теснило меня чрезвычайно, я кружился в каком-то вихре удовольствий и хлопот. Книги моей я роздал экземпляров до 30, между прочим, Графу Нессельроде, Графу Канкрину, сенатору Челищеву, Дегаю, М. Виельгорскому, А. Львову, Графу Лавалю, М. Глинке, сочинителю "Руслана и Людмилы". С этим последним я виделся очень часто, и мы свели истинную дружбу <...>» Он провел там двенадцать дней – с 25 января по 6 февраля 1843 года. Это было начало успеха главной книги нижегородского «отшельника».

Сохранившиеся в фондах Рукописного отдела Российской национальной библиотеки письма Улыбышева князю В.Ф. Одоевскому – отголосок этой поездки. Писем три. Два из них датированы. Письмо от 2 апреля 1843 года написано сразу по возвращении домой из этой знаменательной поездки. 10 декабря 1852 года датировано письмо, написанное спустя девять лет после неё. Но очевидно, что возобновленное в 1843 году общение, большей частью, по-видимому, эпистолярное, активно продолжалось. Одно письмо (оно стоит первым в подборке), практически не письмо даже, а записка, датировано 2 февраля, год не указан. Но скорее всего, судя по содержанию, записка отправлена городской почтой или с посыльным именно в дни пребывания Улыбышева в Петербурге зимой 1843 года. Это послание предшествовало встрече двух старых знакомых.

Рукописный текст довольно трудно читаем, тем более что написаны письма по-французски, ведь именно французский был языком светского общения русских дворян в XIX веке. Редакция выражает благодарность за основательный труд переводчице Наталье Евгеньевне Тепловой, доктору филологических наук, преподавателю департамента французского языка и французской литературы университета Конкордия (Монреаль, Канада). Комментарии в сносках принадлежат переводчику и публикатору.

*Валерия БЕЛОНОГОВА,
кандидат филологических наук*

I

[Письмо Улыбышева, известного музыканта и сочинителя книги о Моцарте, на франц. яз. к Кн. Одоевскому]*

Мой Князь,

Приехав сюда восемь дней назад, я бы уже давно явился к вам, если бы Г-н Волков из путей сообщения не сказал мне, что семей-

* Пометка чужим почерком на верхних полях страницы (*прим. перев.*).

ный траур не позволяет Вам принимать посетителей. Не смогли бы Вы оказать мне любезность и сделать для меня исключение? Я уезжаю в субботу 6-го, и мне было бы очень тяжело уехать из Петербурга, не повидавшись с Вами, мой Князь, и не передав Вам мою наконец-то вышедшую книгу. Писатель и выдающийся музыкант, Вы вдвойне являетесь самым компетентным судьёй, которого я мог бы разыскать по всей России, где, в общем, литераторы плохо знают музыку, а музыканты не смыслят в литературе. Таким образом, смею просить Вас, мой Князь, назначить мне время в утренние часы, с сегодняшнего дня и до субботы, а пока принять заверения искренней дружбы и глубочайшего почтения.

2 февраля*

Ваш покорнейший слуга
А. Улыбышев

II

Мой Князь,

Прежде всего, позвольте мне ещё раз поблагодарить Вас за любезный и радушный приём во время моего последнего короткого пребывания в Петербурге. Я никогда не забуду, что, несмотря на Вашу сложную работу, занимающую большую часть дня, Вы сообразовали принять меня по-дружески и разделить со мной по-простому Ваш ужин, замечательный кулинарией и тонким остроумием, что Вы уделили мне несколько очаровательных часов вместо прошенных мною нескольких минут. Действительно, как можно забыть такие часы, когда три типа памяти создают эти воспоминания: память разума, память сердца и память желудка, самая верная и самая долгая у многих почтенных людей.

Моё путешествие прошло хорошо. Из Петербурга до Москвы я добрался почтовой каретой; из заснеженной Москвы, где меня встретили мои сани, я доехал до Нижнего за 32 часа, благодаря шоссе, соединяющему теперь эти два города и которое, как говорят, скоро будет проложено до Казани. Какое великое благодеяние являют эти шоссе, постепенно заменяющие наши адские летние и зимние дороги! Они хорошо показывают нашу полуцивилизацию, тогда как железная дорога представляет полную цивилизацию нашей эпохи, некоторые из лучших плодов которой уже вкусили вы, жители Петербурга. Нет ли уже у вас железных дорог и пароходов, газового освещения и газет, мягкой мебели и беспринципности, более или менее эпансипированных женщин, командитных инженерных обществ**, меркантильной и продажной прессы, литературного Гостиного Двора, откуда из каждой лавки доносится: «Господин, сюда пожалуйте-с. У нас лучший товар-с. А там всё дрянь. Абмануть-с***»? У вас всё это уже есть и даже ещё больше того. Счастливики!

Что же до нас, провинции, – мы ещё находимся за тысячу вёрст от этого славного социального преобразования. Поверите ли, но у нас ещё есть отдельные люди, которые сомневаются в применении фабричных

* Год в письме не обозначен, так как оно, по-видимому, было отправлено городской почтой или с посыльным в дни пребывания А.Д. Улыбышева в Петербурге в конце января – начале февраля 1843 года (В.Б.).

** Командитное общество, т. е. товарищество на вере; учреждается для ведения промышленных, кредитных и торговых дел. Одни члены не принимают участия в ведении дела, но зато и отвечают только своими паями, другие же распоряжаются всем и ответственны в размере всего своего имущества (В. Б.).

*** По-русски в оригинале (*прим. перев.*).

и паровых принципов в литературе, которые наивно сожалеют о великой поэзии, о великой музыке, о старательном и добросовестном труде, об энтузиазме, о преклонении перед идеями, об обожевлении искусства, – одним словом, о духе прошлого, когда писатель или художник жил после смерти, но умирал с голоду при жизни. Знаете, мой Князь, я сам принадлежу к этим оригиналам, допотопным и ископаемым, так как отдал 10 лет своего существования и 20 тысяч рублей личного дохода на написание и публикацию книги, которая, как я и предполагал и прямо говорил, не найдёт у нас ни читателя, ни критика. Но я надеюсь на внимание и, может быть, даже на одобрение со стороны некоторых людей старых взглядов^{*}, коим являюсь и я, которые могут оценить поставленную задачу и до смешного терпеливую работу над этой книгой, которые смогут судить обо мне как литераторы, знающие грамматику, и как музыканты, которые понимают контрапункт. Такие люди здесь большая редкость, и они сейчас далеко не модны. Упомянуть их – это, в каком-то роде, назвать Вас. Вы меня поэтому простите, дорогой Князь, за повторное беспокойство по поводу этой несчастной книги. Приглашая меня написать Вам, Вы приняли обязательство мне ответить. Так вот, скажите мне, было ли у Вас уже время просмотреть мои три тома, что Вы о них думаете, и могу ли я рассчитывать на статью Вашего пера для О. Записок^{**}. По сегодняшний день, из-за непонимания, все газеты молчат о моей работе, за исключением С. Пчелы^{***}, которая отозвалась о ней весьма лестно, но так и не поняв её и, по всей вероятности, даже не прочитав.

Однако от Вас я жду не комплиментов. Я жду от Вас обоснованную оценку, искреннее мнение, высказанное с полной откровенностью, которую автор вправе просить от уважаемого им критика, которую он должен желать, если он сам себя уважает. Если бы Вы могли утрудить себя прочтением или повторным взглядом на четыре мои последние страницы (заключение), то Вы увидели бы ту просьбу, с которой я обращаюсь к критикам, и как мало значат для меня политика и печатные комплименты.

Сразу по возвращении в Нижний, я просил графа Толстого^{****} захватить ко мне, так что я выполнил Ваше поручение. Мне показалось, что он был искренне тронут тем вниманием, которое Вы ему уделяете, и он непременно воспользуется Вашей благосклонностью, если его дела заставят к Вам обратиться^{*****}.

* Здесь и далее подчёркнуто в оригинале (*прим. перев.*).

** Несколько нам известно, в «Отечественных записках», о которых говорит здесь Улыбышев, статья В.Ф. Одоевского о книге «Новая биография Моцарта» так и не появилась (В. Б.).

*** В «Северной Пчеле» (1843, № 39) появилась хвалебная, но «пустая» рецензия на книгу Улыбышева (В. Б.).

**** Граф Николай Сергеевич Толстой (1812–1875), сын нижегородского вице-губернатора С.В. Толстого, первый председатель Макарьевской уездной земской управы, троюродный брат Льва Толстого, автор «Заволжских очерков» (1857), нескольких статей и рассказов в «Отечественных записках» и «Русском вестнике», музыкант-любитель, нижегородский помещик, слывший чудачком. Семья Улыбышевых в 1830–1840-е годы была в дружеских отношениях с графом Н.С. Толстым и его женой графиней Лидией Николаевной Толстой (урожденной Левашовой) (В. Б.).

***** Возможно, граф Н.С. Толстой намеревался обратиться к князю В.Ф. Одоевскому, одно время служившему в Министерстве внутренних дел, за поддержкой в очередной стычке с нижегородским губернатором. Об этом рассказывал в своих воспоминаниях инженер А.И. Дельвиг (В.Б.).

Прошу передать уверения в моём высочайшем уважении Госпоже Княгине, примите и Вы, мой Князь, моё искреннее почтение и глубочайшее уважение.

Лукино
2 апреля
1843

Ваш покорный слуга
А. Улыбышев

P.S. Мой адрес. Его Прев. Александру Дмитриевичу Улыбышеву в Нижний Новгород.*

III

Дорогой Князь, Ваше последнее письмо застало меня за подготовкой к отъезду**, рассеянным, утомлённым и немного больным, так что я не смог ни Вам ответить, ни пойти на вечер к Графу Виельгорскому***. Прошу меня извинить.

Прикладываю к этому письму моё ходатайство, по которому я прошу быть принятым в члены Вашего общества посещения бедных****. Если Господа члены сочтут меня достойным этой чести, прошу Вас, мой Князь, прислать мне несколько экземпляров ваших правил и протоколов, а также подробную инструкцию о том, что нам предстоит сделать здесь, для того чтобы основать филиал общества, председателем которого Вы являетесь, чтобы в малом масштабе реализовать здесь то, что Вы крупномасштабно делаете в Санкт-Петербурге. Надеюсь, у меня будет достаточно усердия, но я не могу ручаться за результаты, во-первых, потому что капиталы в Нижнем в основном средние, во-вторых (и это главное), потому что я в плохих отношениях с губернатором Князем Урусовым****, от которого во многом зависит участие средних и низших классов. У этого дражайшего человека, похоже, природная антипатия даже к мало-мальски благовоспитанным людям; свидетели тому генерал Шереметев*****, один из ветеранов Балканы и Варшавы, и Даль*****, которым Урусов оказал ту же честь, что и мне, честь их искренне ненавидеть. Однако, есть, вероятно, способ привлечь его внимание к нашей деятельности, воззвав если не к милосердию, так к самолюбию этой бестолковой особы. В конце концов, мы сделаем всё, что

* По-русски в оригинале (*прим. перев.*).

** К отъезду из Петербурга домой в Нижний Новгород (*В. Б.*).

*** Граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–1856), государственный деятель, музыкант, композитор-дилетант, хозяин известного музыкального салона в Петербурге (*В. Б.*).

**** Благотворительное общество посещения бедных, созданное В.Ф.Одоевским в 1846 году в Петербурге (*В. Б.*).

***** Князь Михаил Александрович Урусов, генерал-лейтенант, с 1843 по 1855 год нижегородский губернатор (*В. Б.*).

***** Генерал-майор Сергей Васильевич Шереметев (1792–1866), тайный советник, нижегородский губернский предводитель дворянства (1837–1846), один из богатейших нижегородских землевладельцев, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления Польского восстания 1830–1831 гг. (*В. Б.*).

***** Владимир Иванович Даль (1801–1872), действительный статский советник, в 1849–1859 гг. управляющий Нижегородской удельной конторой, врач, писатель, автор «Толкового словаря живого великорусского языка», сказок, повестей и рассказов. В годы жизни Даля в Нижнем его дом на Большой Печерской был одним из культурных центров города (*В. Б.*).

возможно, и, как говорится в немецкой пословице, Ein Schelm thuet mehr als was er kann*.

Желаю Вам счастливого Нового года, мой дорогой, хороший, любезный Князь, и прошу передать уверения в моём высочайшем уважении Госпоже Княгине; примите и Вы мои заверения искренней дружбы и глубочайшего почтения.

Нижний Новгород
10 декабря
1852

А. Улыбышев

Публикация и комментарии Валерии БЕЛОНОВОЙ
Перевод Натальи ТЕПЛОВОЙ

* В оригинале немецкая поговорка звучит так: «Ein Schelm, der mehr thut als er kann». Дословно она переводится: «Шельма, который делает больше, чем он может сделать». Эквивалента этой поговорке в русском языке нет. Приблизительно перевести её на русский можно как-то так: «Шельма, который взялся за гуж». Благодарим за помощь в прочтении старонемецкого рукописного текста Vera Bischitzky (Berlin) (В.Б.).

Реплика

ПЯТЬ СТРАНИЦ ИЗ ДНЕВНИКОВ

Владимир Седов (2014) – Иван Бунин (1919)*

Страница первая...

2014 год. Вл. Седов:

Пригласили на модное сейчас «шоу», нижегородское Comedy club.

Много молодежи, современной музыки, девушки, парни, симпатичные лица, приятные, прямо Наташи Ростовы и Печорины.

Начало.

На сцене небритое, немывтое полусонное слабо говорящее на человеческом языке существо...

Анекдоты, мат, сиськи, письки...

В зале хохот.

Оглядываю зал. Рты смеются, а в глазах тоска.

Устали от этих сценических клубных словопихателей в дырки, руки, уши.

Приносил свою новую книгу «Зеленое пальто».

Не отдал.

1919 год. Ив. Бунин:

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гаврилиаду», произносил все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, – большой гонорар, говорит, дадим.

...Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

...Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

– Вы домой? – говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

– Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чувствует:

* Вл. Седов. «Дневники» (2014 год) – Ив. Бунин. «Окаянные дни» (1919 год).

– А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает всходить в большую моду.

... Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

Страница вторая...

2014 год. Вл. Седов:

Сдал свою вещь (рассказ «Пенсия») в журнал «Вертикаль».

Сам его никогда не читал.

Слышать – слышал, видеть видел, но не читал. А зря.

Когда напечатали, пришлось почитать от корки до корки. С кем буду в соседях.

Стало стыдно.

Надо было бы все же вначале почитать то, что называется – «литературный журнал».

1919 год. Ив. Бунин:

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительное. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, претенциозное, рассказывающее о самых страшных вещах... И никто этого не видит, не чувствует, не понимает, – напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

... Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупредил: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт или художник». В украшении чего? Виселицы, да еще собственной? Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию», полное благородного негодования. Еще глупей.

... Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина – словом вся и всех, за исключением какого-то «народа»...

...Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

– Как чем? Да ничем, ест что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолет ли теперь?

Страница третья...

2014 год. Вл. Седов:

На новогоднем вечере подошел ко мне известный нижегородский краеведческий писатель, позиционирующий себя как единственный живой классик нижегородской литературы.

Заглядывал в глаза, тряс руку и все просил прощения.

Чем меня очень удивил.

Когда-то в трудные дни я его очень хорошо поддержал: дал работу в своем журнале, платил зарплату из своих личных денег, отметил юбилей. Всегда считал его хорошим функционером в литературной жизни, но не очень талантливым писателем. Тем более никаким не «классиком».

Он знал это и в «благодарность» поливал меня и мой журнал грязью везде и всюду.

А теперь – «прощение».

Непонятно.

1919 год. Ив. Бунин:

Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя и пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно...

...Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящие пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «каждой красоты, добра и справедливости!»

... Лжи столько, что задохнуться можно.

Страница четвёртая...

2014 год. Вл. Седов:

Что было первым: «болотная» литература или «Болотная площадь»?

Наверное, все же «болотная» литература, оплаченная, лживая, абсолютно чужая, за которой стоят иногда даже талантливые писатели, с яростью призывающие народ идти и разрушать.

А будет ли от этого народу лучше? Это не важно. Главное – звать разрушать. Разрушать легко. Строить тяжело.

На что клонут? Конечно, на то, что легко.
И вот тебя уже читают! Вот ты уже и гений!
Призывы, кругом призывы...
Вся литература заполнена призывами... и «гениями» с призывами.

1919 год. Ив. Бунин:

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все – литература особенно – выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении».

... Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади – за то, что позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, – толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» – Как они одинаковы, все эти революции!

... Толстой говорил: «Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью».

Страница пятая...

2014 год. Вл. Седов:

Борис Акунин, трудолюбивый, много пишущий эрудированный человек, запускает новый проект (История Государства Российского. М.: АСТ, 2014).

Там нет так полюбившегося нам знаменитого сыщика Фандорина, происхождения которого, правда, не всегда вписывались в истинность исторических событий.

Но это бог с ним. Жанр детективного романа прощает эти авторские вольности.

Но вот вышел труд, уже претендующий перевести писателя «Акунина-Пикуля» в писателя «Акунина-Карамзина».

Это будут фундаментальные десять томов, где герои – не вымышленный сыщик, а правители и народ государства Российского.

А это уже серьезно.

Там и даты, и ссылки на первоисточники, там есть все.

Там нет только народа русского.

По акунинскому шедевр, не было, а значит, и сейчас не существует русского народа.

Государство российское есть, а народа такого как «русские» – нет!

Вроде глупость.

А считаешь с датами, даже с днями из глубины веков и картами древними, и тебе докажет писатель Акунин – нет русского народа.

Нет!

И это вышел только первый том.

А вот что будет дальше, задумаешься.

И кому и как ляжет этот бред в мозги, вопрос? А главное, для чего? Тоже задумаешься.

Ведь товарищ Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) – человек неглупый, и успешный, и талантливый, умеет через свое «перо» убедить, заставить поверить, в то что пишет.

Хотя пишет явную наглуую ложь и выращивает ее трепетно и осторожно, для явного провокационного воздействия на разум будущего поколения государства российского.

1919 год. Ив. Бунин:

Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от желания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали.

...Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать – так противны теперь этим Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» – «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние – и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства – и сделал Дон-Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон-Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину – и наплодил тысячу Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. – Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого.

...Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, переберите или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, – сколько откроется темного, греховного, несправедного, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

P.S. Вот так, дорогой читатель, мало что изменилось в России и литературе за 95 лет.

Читатель пишет

Владимир ПЕТРОВ

Родился в 1951 году в Горьком. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа (ныне РАТИ). Работал в нижегородских театрах – драматическом, ТЮЗе, «Комедия». В гостящее время сотрудник Нижегородского Дома актера, живет в Нижнем Новгороде.

НОВЫЕ ВЕРСТЫ СЕРГЕЯ ЧУЯНОВА

Заметки о книгах «А Россия не простила», «Городецкие рассветы»

*По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.*

*Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одна.*

Александр Пушкин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

За свою творческую жизнь Сергей Чуянов совершил множество поездок, так что ему не привыкать преодолевать новые и новые версты, после которых возникают разные «книги-версты».

У Вульфа есть книга очерков под названием «От Бродвея немного в сторону», где он пишет о культурной жизни Нью-Йорка на примере повседневной жизни небольших театриков, кафе и улиц, отстоящих от центра города. Вот и Сергей Чуянов, казалось бы, на первый взгляд, отошел от своей центральной темы последних лет – оперного театра – и написал две небольшие книжечки: «А Россия не простила» и «Городецкие рассветы».

Но свернув в сторону от нашего «театрального Бродвея», он не оставил своей основной пушкинской темы, которой верен многие годы.

Инициатор и художественный руководитель телемарафонов «Болдино-97», «Дорога к Пушкину», «Пушкинский день на ННТВ», автор и ведущий ряда программ «Дорога к Пушкину», автор и режиссер программ и фильмов о музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», Пушкинских праздников поэзии, научных конференций «Болдинские чтения» и пр. и пр. – он не мог не откликнуться на события последних лет, связанных с Болдинским музеем и темой «примирения» Дантеса и Пушкина.

Верста первая,

или Книга С. Чуянова «А Россия не простила». Н. Новгород, 2012

Несколько слов о структуре книги. Известный журналист сделал ретроспективную подборку публикаций в последовательности, если угодно,

временных вех на тему «примирения» Дантес – Пушкин, изложенную в газетах и изданиях, как историческое свидетельство различных мнений и раздумий по этому поводу – высказывавшихся как в наши дни, так и в минувших веках.

Открывается череда вех статьей С. Чуянова «А Россия не простила» («Нижегородская правда» от 30 июня 2007 г.), которая и дала название всей книге.

Автор с иронией рассказывает о том, как два наших чиновника – глава местной администрации Болдино В. Жариков и директор музея великого русского поэта Ю. Жулин отправились в г. Сульц («пассаж», да и только!) посетить могилу Дантеса в его родовом гнезде с целью посмертного «примирения» двух соперников. Не лучшим образом поступил и генеральный консул России в Страсбурге Владимир Коротков, «благословивший» паломников от Пушкина к Дантесу, сказавший: «Попытаемся очиститься от старых предрассудков, ибо они мешают дальнейшему сближению и взаимопониманию между двумя великими народами Франции и России» и договорившийся до того, что А.С. Пушкин якобы простил Дантеса?!

Далее С. Чуянов приводит выдержку из «Болдинского вестника» №26 от 4 апреля 2007 г., где сообщается о председателе Торгово-промышленной палаты г. Тамбова Н.Ф. Калинове, предложившем сотрудничать Болдинскому музею с музеем-усадьбой «Знаменское-Кариан» в Тамбовской области – родовым имением Загряжских-Островских, откуда родом Наталья Гончарова по линии матери. Н.Ф. Калинов после встречи в г. Страсбурге с генеральным консулом России В.Л. Коротковым получил официальное предложение посетить г. Сульц.

Таким образом, чиновники от культуры (болдинский и тамбовский) вместе с представителем администрации Б. Болдина решили «помирить» Пушкина и Дантеса. Была делегирована целая группа в родовое поместье Дантесов. И что из этого вышло? Привезли бюст Пушкина, герб рода Пушкиных; рассматривался вопрос об организации «Пушкинского уголка» в замке Дантесов. Налицо явный нравственный абсурд, который в изложении С.П. Чуянова приобретает по краскам звучание фельетона.

Далее С. Чуянов приводит статьи Екатерины Сажневой «Проклятие рода Дантесов» и «Гусиное перо Дантеса» («МК» от 21 и 25 апреля 2006 г.).

Из них читатель узнает, что корреспондентка ознакомилась с отчиной Дантесов, встречалась с праправнуком Дантеса, Лотером Дантесом, посетив могилы Екатерины Николаевны Гончаровой (Катрин Дантес) и Дантеса. Выяснилось абсолютное незнание Лотером Дантесом, разбогатевшим на мусоре, поэзии А.С. Пушкина и его жизни (достаточно сказать, что имя няни Арины Родионовны вызвало у него неподдельное удивление).

Вторая статья Сажневой информирует о судьбе замка Дантесов, проданного некоему Филиппу Шмерберу; приводятся откровения Лотера Данеса о том, как нелегко носить фамилию Дантес/, и его стишок на эту тему – «Семейное проклятие», в котором дается явно зауженное, кучее понимание вопроса. Вот небольшие выдержки из его «опуса»:

...Один проводил время, провоцируя,
Другой предпочитал ухаживать.
Первый писал гениальные стихи,
Второй просто хотел быть любимым.

...Женщина их столкнула,
А смерть их разлучит,

Ибо поэт, большой любитель дуэлей,
Сам ткал себе саван.

...И вы, историки без завтра,
Вы, щелкоперы без этики,
Запомните: это настоящая правда
О том, что тогда произошло.

Желая расширить спектр мнений, опытный публицист включил в книгу статью Лили Хазиной «Пушкина хотят подружить с Дантесом» («Нижегородский рабочий», № 35 от 3 июля 2007 г.).

В ней идет речь об истории «культурного обмена» между Сульцем и Болдином и приводятся мнения специалиста по PR («надо иметь чувство достоинства»), финансиста («почему бы и не примириться? сын за отца не отвечает; пример с немцами после ВОВ») и учителя («Пушкин бы не одобрил такого сотрудничества»). Как видим, мнения разделились.

Другая статья – «В Болдино едет бюстик Дантеса?» в «Нижегородском рабочем» (№151 от 9 октября 2007 г.) показала резко негативное отношение читателей к инициативе работников Пушкинского музея. Приводится высказывание одной крестьянки: «Дантес – убийца!».

Принципиально твердую позицию занимает в данном ряду вех статья «Пушкин Дантеса простил?...» Ларисы Барановой-Гонченко, статс-секретаря Союза писателей России (журнал «Новая книга России», № 2, 2008 г.).

Вывод суров и прост: простил ли Пушкин Дантеса – это вопрос отнюдь не международной дипломатии. Это вопрос русского духа и сердца. Это вопрос, если угодно, народного волеизъявления.

Так же тверд в своей позиции Дмитрий Георгиевич Панфилов, канд. фил. наук, председатель общества пушкинистов «Захарово» («Что искал в России Лотер Дантес?», статья в книге «А.С. Пушкин в Подмосковье и Москве». Материалы XII Пушкинской конференции 13–14 октября 2007 г.).

Панфилов скептически рассказывает о приезде в Россию Лотера Дантеса. Идет перечисление мест и событий: Москва, Питер, Музей-квартира на Мойке, кафе и пр.), проект Лотера о возможном открытии в замке Дантеса бани «а-ля рус» с девочками и пр., фальсификация московского телевидения – сюжет о якобы примирении при встрече Юрия Владимировича Геринг-Пушкина и Лотера Дантеса. Итоговое заключение Панфилова: дуэльный счет противников и сторонников «примирения» – 1:1, что само по себе вызывает тревогу.

В конце книги ряд современных мнений-вех С. Чуянов постепенно и логично переводит и встраивает в историческую хронику «Из летописи жизни и творчества Александра Пушкина» (с января 27 1837 г. по 29 янв. 2 час.45мин. – день смерти поэта).

Звучат гневом и болью отклики современников Пушкина и более близких к нам по времени авторов на смерть поэта. Письма В.А. Жуковского и В.А. Жуковскому; стихи на смерть поэта – Э.И. Губер, А.Г. Родзянки, Н.П. Огарева, Д.Д. Минаева, Э.Г. Багрицкого, А.И. Тургенева, Льва Шестова (о Герострате), А. Ахматовой, В.А. Соллогуба («Из воспоминаний»)...

И, наконец, как эталон нравственного чувства в отношении к событиям тех дней и к самой дуэли – стихотворение М. Лермонтова «Смерть поэта».

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;

Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

...И вы не смаете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Так к финалу книга С. Чуянова приобретает гражданское звучание, мобилизует защищать наши национальные ценности, активно пробуждает мысль и стремление читателя составить собственное мнение, которое у меня невольно сформировалось в следующие строки:

Вот и наш чиновный мир решил приобщиться к мировому процессу интеграции культур и справил свою культурную потребность «до Парижу». И зазвенела бубенцами тройка побойчей, то бишь какой-нибудь лайнер, и полетели «примирители» ни более ни менее как до Страсбурга (ведь почему-то лишь там суд – «неподвластный звону злата»...), дабы получить «благословение» НА ПРИМИРЕНИЕ от кого бы вы думали – от самого генерального русского консула во Франции.

Чиновники нашего времени наводят своеобразные опасные мосты с вельможным миром времен Пушкина через командно-культурную модель партийного совка и через inferнально-бюрократичный мир времен Сухово-Кобылина, чему у нас, в Нижегородском Доме актера, есть прекрасный пример в работах петербургских художников курса Эдуарда Кочергина.

Но если раньше власть при издержках своей деятельности могла впасть иногда в некую забавность в виде «чиновничков» типа Тяпкина-Ляпкина или Бобчинского, то сейчас она приобрела хамелеонский характер интернационального плюрализма. На эту опасность, как и на то, что у некоторых граждан может появиться «стертая» позиция (как у того финансиста), и указывает книга Сергея Чуянова «А Россия не простила».

Впрочем, наши болдинские и тамбовские бобчинские все-таки придумали, как о себе напомнить: вот де, живут в российской глубинке, где творил убиенный гений, такие-то и такие... Так передайте Евросоюзу, что и мы здесь не лыком шиты, а можем и бюстик принести... и уголок пушкинский открыть...

Но, господа, прежде чем «ДЕЛО» делать, надо прежде еще и мужика изловить, дабы он вам его, это дело, и сделал. А мужик-то, можса, и не согласится срубить баньку «а-ля рус» или триумфальную арку примирения меж Дантесом и Пушкиным, ибо глубока скорбь и велика сила любви к Гению Народа. Об этом вы и забыли!!!

Итак, книга «А Россия не простила» позволяет сделать несколько важных нравственных выводов:

Во-первых, дуэль и смерть поэта – факт истории, которому на тот момент дали свою оценку современники Пушкина. (Чуянов приводит высказывания его современников.)

Во-вторых, задаваясь подобным вопросом о «примирении», вопрошающий делает как минимум методико-философскую ошибку. Желание примирить факт истории (результат дуэли) с историей выглядит примерно так же нелепо, как царь Ксеркс, велевший высечь море за свой неудачный военный поход на греков. Ход истории и ее факты имеют объективный характер, и никому не дано субъективным эмоциональным желанием его изменить. Оно вот такое, и никакое другое.

В-третьих, «гений и злодейство – две вещи несовместные». И говорить о каком-то мире меж ними – просто пустая, пошлая и преступная риторика.

И, наконец, говорить о прощении Дантеса – это все равно что простить того, кто захотел бы выкинуть Владимирскую Богоматерь в фекальные стоки или поджечь храм (как это и сделал Герострат – пример, который приводит Чуянов из классика Льва Шестова).

Выпустило сборник С.П. Чуянова издательство «Нижегородский музей», тем самым данная книга приобретает, говоря языком музейщиков, характер и статус исторического артефакта, явившего нам наглядно фиксацию той самой «толерантности», которую кроме как предательством перед памятью поэта не назовешь.

Маленькая книжка становится принципиальным этическим тестом на вековой вопрос о гении и злодействе.

Негоже нам, русским людям и всей России, да и Европе, лукавить на этот счет в вековом споре Добра и Зла. И тут уж отступать некуда, уместно вспомнив хорошую, опять же французскую, поговорку – «На войне как на войне». Мы часто стали смешивать позиции Добра и Зла, подлости и душевности. Такая стертость становится нормой жизни и, страшно сказать, внедряется насильно в менталитет народный, который издревле был добр, честен, бесстрашен, бескорыстен.

И недаром С. Чуянов приводит как эталон мнения по поводу события дуэли всем известное стихотворение М.Ю. Лермонтова «На смерть поэта».

Книга указывает на то, где проходит граница между «толерантностью» и Истиной.

Спектр мнений дает нам срез духовного состояния нашего общества, и хорошо, и остается приветствовать, что С.П. Чуянов возобновил полемику в этом вопросе своей книгой, в которой четко зафиксировал нравственные вехи-версты.

Проезжая мимо них, путник-читатель как бы «сканирует» себя, проходит своеобразный тест на верность избранного им пути. И, что здесь важно, через данную книгу каждый должен пройти самостоятельно, чтобы прийти к другой вехе, где «русский дух, где Русью пахнет», где на «неведомых» (а теперь уже ведомых) с помощью исследований Сергея Петровича) дорожках стоят невиданные городецкие звери – улыбающиеся львы, коты в цилиндрах, дородные русалки и прочий фантастический мир Городца, перефразированный и одухотворенный талантливой рукой художника Расторгуева. Итак, мы подъехали...

Вторая верста,

или «Городецкие узоры» (художник Евгений Расторгуев), Городец, 2013

Книга вводит нас в мир, где комфортно русской душе, которая наконец-то вернулась после долгих суетных метаний к себе самой: отдыхает и не рвется сердце, упорядочивается все естество, и приходит «...дум высокое стремление...». И не к этим ли верстам, где «есть покой и воля...», и стремился всю жизнь Пушкин, ярким примером чему была Болдинская осень. К ним, к этим верстам, стремится наша русская душа.

Автор живо излагает биографию городецкого художника Евгения Анатольевича Расторгуева – то дает ему слово, приводя стихи и выдержки из книги «Записи из Зазеркалья», то лаконично анализирует его работы – картины и «царство», как говорит Чуянов, керамических фольклорных фигурок.

Неспешное размышление над творчеством художника; так и чувствуется – перелистываются альбомы, эскизы, рассматриваются картины, автор сверяет свое мнение с записками самого Расторгуева. Идет процесс ис-

следования творчества (вспоминается Уильям Хогарт и его книга «Анализ красоты»).

С. Чуянов ищет и находит истоки творчества, взаимодействие стилей Расторгуева и других художников. Виден широкий взгляд и нетрафаретный подход в оценке работ городецкого самородка, вставшего заслуженно в первые ряды крупных художников русского искусства и искусства Запада. С. Чуянов находит общее в стилях картин Расторгуева и Марка Шагала.

Для читателя в книге, может быть, не хватает иллюстративного материала. Например, нет картин, выполненных в кубистской манере, или «аэроплана над Городцом» и пр. Но даже при минимуме иконографического материала автору удалось донести до нас духовный мир героев картин, выражаясь словами самого Расторгуева, как «городецкую балагурность». На чем точно сошлись журналист и художник – это «театральность», изначально заложенная в произведениях Евгения Расторгуева.

«В его пандах (техника масляной пастели), – пишет Чуянов, – разыгрываются целые театральные действия со своими сюжетами: «Городец», «Игра с манекеном», «Ловец бабочек», «Объятия», «Черная и ангелята», «Бодание», «Похищение»».

Евгений Расторгуев также признавал свою причастность к театральной эстетике: «Я не бытописатель своего Городца, это скорее Балаганный Волшебный фонарь, который искажает и цвета, и факты, на полотне творит ту фантазмагорию, от которой приходят в восторг дети, но равнодушны взрослые». В книге Чуянова приводятся высказывания художника о явлениях жизни и искусства. Они поражают сочной и точной образностью, объемностью анализа и новизной.

Общение с художником многое дало стилистике журналиста. Конечно же, язык С. Чуянова более лаконичен, может, в чем-то более скуп, чем расторгуевский, но в отдельных местах есть четкие образные оценки. Виден и богатый эстетический опыт рассказчика, прочувствованность каждой его мысли, отраженной в абзаце или фразе. Это – труд души, результатами которого и делится автор с читателем, побуждая его познакомиться ближе с творчеством Расторгуева – художника, поэта, писателя, открывая нам поистине городецкую Атлантиду.

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна...

Мчится куда-то тройка-Русь через мглу перестроек и мракобесия, выдумываемых новых реформ и чиновничьих прожектов и презентативных проектов. Но плохо что-то поддается она лакированным презентам, оставаясь все такой же «непричесанной» для прагматичного Запада. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» Дух нельзя увезти и передать в виде бюстика. Все, чем богат народ, остается всегда в его душе и в таких городках, как Городец.

Две книги Сергея Чуянова – своеобразные дорожные вехи, которые не велят нам сбиться с пути.

Детская комната

Любовь СИДОРОВА

Родилась и живет в Москве. Член Союза писателей России. Окончила Московский государственный лингвистический университет (бывший Институт иностранных языков им. Мориса Тореза).

Автор трех книг сказочных повестей, новогодней интермедии для детей, шесть сезонов идущей в московском государственном театре «Бенефис».

Дипломантка конкурса им. П.П. Ершова 2008 года.

ОРЕХ С ЗОЛОТЫМ ЯДРОМ

Черная собака гналась за белой кошкой. Бедная кошка совсем выбилась из сил, спасаясь от преследовательницы, которая никак не хотела оставить свою жертву. Наконец, собака загнала кошку к темному пруду, поросшему ряской. У кошки уже не было сил бороться, и она упала в пруд. Довольная собака убежала.

Однако жертве повезло. Дело было летом в лесной загородной местности, в дачном поселке. Там отдыхала на каникулах Таня, девочка лет двенадцати. Ее дача стояла около пруда, и именно в тот момент Таня вышла погулять. Она видела конец погони, когда собака загнала кошку в пруд. Таня любила и жалела животных. Она вытащила бедняжку из пруда и принесла к себе в дом. Побывав в пруду, кошка, конечно, утратила свою белизну. Когда Таня ее помыла – причем кошка несколько не сопротивлялась, – то восхитилась ее красотой. Она накормила свою подопечную и уложила спать на коврик. Проснувшись, кошка испугала Таню.

– Спасибо тебе, Таня, за твою доброту, – сказала она человеческим голосом.

– Так ты говорящая кошка? – с трудом произнесла девочка.

– Я не кошка, я Лесная фея. А черная собака, которая меня преследовала, – злая Колдунья. Я могу принимать любой облик. Мне сегодня захотелось стать белой кошкой. А Колдунья вдруг превратилась в черную собаку да как налетит на меня! От страха я потеряла волшебную силу. Но ты меня спасла: вытащила из пруда, помыла, накормила, спать уложила. Я отдохнула, и волшебная сила ко мне вернулась. Теперь могу принять свой настоящий облик.

И на глазах у Тани белая кошка превратилась в красивую девушку с золотыми волосами, в белом платье. Таня не могла прийти в себя от изумления и восхищения.

– Чем тебя отблагодарить? – спросила Фея.

– Мне ничего не надо, – ответила Таня. – Я и так счастлива, что познакомилась с феей.

– Тогда я прощаюсь с тобой. Но как только тебе понадобится моя помощь, сразу появлюсь.

Фея исчезла. Таня снова вышла погулять и тут уж не на шутку испугалась. К ней бросилась та самая черная собака, которая преследовала кошку, вернее, Лесную фею. Собака яростно залаяла на Таню, а потом превратилась в темноволосую женщину в черном платье со злым лицом.

– Гадкая девчонка! – закричала она. – Как ты посмела сорвать мой план? Я так обрадовалась, что, наконец, победила эту глупую, рассеянную

Лесную фею, которой почему-то все восхищаются, а ты вернула ей волшебную силу. Сейчас последуешь за мной в мой черный дворец. Отгадаешь три загадки – отпущу, не отгадаешь – пеняй на себя.

Таня хотела убежать, однако ноги сами понесли ее за Колдуньей. Бедная девочка надеялась, что к ней на помощь придет Лесная фея, но вместо Феи подбежала маленькая черненькая собачка и стала обнюхивать платье Колдуньи.

– Пошла вон! – крикнула Колдунья.

– Неужели это вы? – вкрадчиво заговорила Собачка. – Я слышала, вы самая могущественная Колдунья, и так давно мечтала познакомиться с вами! Пожалуйста, возьмите меня к себе в услужение! Вы не думайте, я не простая собака, а волшебная. Смотрите!

Собачка превратилась в черную бабочку и стала летать вокруг Колдуньи.

– Вы не только самая могущественная, но и самая красивая, – лепетала Бабочка. – Вот говорят, Лесная фея красивая. Да ничего особенного в ней нет. Разве можно сравнить ее с вами?

Колдунья расплылась в улыбке.

– Ну, ладно, возьму тебя в прислуги, – сказала она. – Следуй за нами.

Бабочка подлетела к Тане и... превратилась в Лесную фею. Девочка чуть не вскрикнула.

– Тише, – предостерегла Фея. – Я сделала так, чтоб Колдунья меня не слышала и не видела в образе феи. Сейчас все тебе объясню. У волшебников, даже самых могущественных, есть свои слабости. Колдунья поддается на лесть. Вот и теперь так растаяла, что даже не поняла, кто я. Знаешь, какие три загадки она тебе загадает? Это, скорее, испытания. Поскольку я ее помощница, мы будем вместе давать тебе задания. Первое испытание: мы обе превратимся в одинаковые черные жемчужины. Ты должна будешь нас отличить. Когда возьмешь меня в руку, я стану белой. Это увидишь только ты, Колдунья не увидит. Второе испытание: мы обе превратимся в черные розы. Когда ты поднесешь меня к лицу, я стану белой. И, наконец, третье испытание: мы обернемся белками. Что же мне сделать, чтобы ты меня отличила? Пожалуй, буду махать хвостом.

А вот и черный дворец. Фея превратилась в Собачку.

– Не будем терять времени, сразу к делу, – сказала Колдунья, когда они вошли в зал, обставленный черной мебелью. – Загадка первая: мы с помощницей сейчас превратимся в черные жемчужины. Твоя задача – угадать, кто есть кто. Не угадаешь – сама станешь жемчужиной.

Колдунья и Собачка исчезли. На столе лежали две одинаковые черные жемчужины. Таня взяла одну жемчужину в левую руку, другую – в правую. Жемчужина в левой руке осталась черной, а жемчужина в правой руке побелела.

– В левой руке у меня Колдунья, а в правой – помощница, – решительно заявила Таня.

Жемчужины исчезли, и перед Таней вновь стояли Колдунья и Собачка.

– Угадала, – с досадой проговорила Колдунья. – Но не радуйся. Простое везение. Это не значит, что будет везти и дальше. Загадка вторая: теперь мы превратимся в черные розы. Не угадаешь – сама станешь розой.

Колдунья и Собачка исчезли, а на столе появилась ваза с двумя одинаковыми черными розами. Понюхала Таня розу слева, она осталась черной, понюхала розу справа – она стала белой.

– Слева – Колдунья, справа – помощница, – смело объявила Таня.

И вот перед ней вновь Колдунья и Собачка.

– Опять угадала! – недовольно пробурчала Колдунья. – Ну, еще не вечер, все зависит от третьего испытания. Сейчас мы станем белками. Не угадаешь – быть тебе рыжей белкой.

Появились две белки, но... они обе махали хвостами. Девочка растерялась. Что же делать? Колдунья всегда была слева, Фея – справа, – рассудила она.

– Слева – Колдунья, справа – помощница, – проговорила Таня, на этот раз неуверенно.

Перед ней опять Колдунья и Собачка, да только Колдунья справа, а слева – Собачка.

– Ха-ха! – торжествующе захохотала Колдунья. – Постоянного везения не бывает. Ты проиграла, Татьяна. Теперь станешь белкой. Убирайся из моего дворца, твое место в лесу!

Не успела она договорить, как и дворец, и Колдунья, и Собачка исчезли. Таня, то есть Белочка, оказалась в лесу. Невозможно себе представить страдания белки, которая только что была человеком. Мимо проходили люди, кто-то даже кормил ее с руки. Но это расстраивало Белочку еще больше, потому что люди разговаривали на непонятном ей языке. «Хоть бы появилась какая-нибудь белка», – подумала она. И ее желание тут же исполнилось: по деревьям скакала белочка. Вот она прыгнула на березу, на ветке которой сидела Таня.

– Давай знакомиться, – сказала Таня на беличьем языке.

– А мы уже знакомы, – ответила Белочка. – Это я, Лесная фея. Я знаю все языки, в том числе и беличий. Прости меня, Таня. Я тебя подвела. Я ведь говорила: у всех волшебников есть слабости. Моя главная слабость в том, что я рассеянная. Сначала по рассеянности не сразу заметила, как Колдунья превратилась в собаку, и из-за этого лишилась волшебной силы. А сейчас не подумала, что Колдунья в образе белки тоже может махать хвостом. Она очень разозлилась, когда ты разгадала две загадки, и от раздражения замахала хвостом. Однако белка – не худшее. Хорошо, что ты стала белкой, а не жемчужиной и не розой. Жемчужина неживая, а роза хотя и живая, но не может двигаться, тем более скакать по деревьям.

– Дорогая Фея, ты не могла бы меня расколдовать? – попросила Таня.

– Нет, заклятие слишком сильное, – грустно сказала Фея. – Но не отчаивайся. Спасение есть. На свете существует орех с золотым ядром. Если его разгрызешь, то чары спадут и ты вновь станешь девочкой Таней. А Колдунья утратит волшебную силу.

– Где же этот орех? – с нетерпением спросила белочка Таня.

– К сожалению, найти его очень трудно. Он покрыт точно такой же скорлупой, как все лесные орехи, поэтому на вид его не отличить. Придется грызть орех за орехом, пока не найдешь. Я тебе помогу, тоже буду искать. Но я не могу долго с тобой оставаться. Меня ждет хозяйка. Я сказала, что поищу цветок, чтобы украсить ее платье. Как ты думаешь, какой цветок подойдет гордой Колдунье, падкой на лесть?

Белочка Таня посмотрела вниз. Под березой росли лютики.

– Может быть, лютик? – предположила Таня.

– Пожалуй. Ладно, начинаем грызть орехи, искать золотое ядро. А Колдунья скажу, что долго подбирала достойный ее цветок.

Белки прыгали по кустарнику, грызли орехи, но все они были простые, с обычными ядрами. Лесная фея спохватилась, что Колдунья рассердится за ее долгое отсутствие, сорвала лютик и поспешила в черный дворец. Белочка Таня тем временем продолжала тщетно искать орех с золотым ядром. Вскоре опять прибежала белка. На этот раз Таня узнала Лесную фею.

– Немудрено, что ты не можешь найти орех с золотым ядром, – горячо заговорила Фея. – Его в лесу нет. Он в кармане у Колдуньи! Когда я прикрепляла лютик к ее платью, то увидела у нее в кармане орех. Я сразу поняла: это он! Зачем ей носить в кармане простой орех, верно? Я кое-

что придумала. Сказала Колдунье, будто она прекрасно танцует и я хочу стать певчей птицей, чтобы она танцевала под мое пение. Отпросилась полетать по лесу и выбрать, кем мне стать. В самом деле, какой бы птицей обернуться?..

Не успела Фея договорить, как прилетел черный дрозд и запел.

– Может быть, дроздом? – предложила белочка Таня.

– Точно, дроздом, – согласилась Фея. – Во-первых, он красиво поет, во-вторых, черный. Колдунья любит этот цвет. Бежим скорее к Колдунье. Ты сядешь на дерево около дворца и станешь ждать. Сейчас лето, жара, окна открыты. Я буду петь, Колдунья – танцевать. Когда орех выпадет из кармана, не теряйся: прыгай во дворец через окно и разгрызай орех.

Фея превратилась в дрозда, и они с Белочкой понеслись к черному дворцу. Птица влетела в окно, а Белочка села на ель и заглянула в зал. Лютик на черном платье Колдуньи выглядел нелепо.

– Не могу налюбоваться вашим платьем, – сказала Фея. – А как я вам в облике дрозда?

– Ничего, – ответила Колдунья. – Приятный цвет оперения. Послушаем твой голос.

И Фея запела так же красиво, как тот дрозд, даже еще красивее.

– Что скажете о моем пении? – спросила Птица.

– Недурно, – ответила Колдунья. – Правда, некоторые ноты, пожалуй, неверные.

– Мне бы очень хотелось, чтобы вы станцевали под мое пение!

Колдунья неуклюже закружилась.

– Восхитительно! – сказала Птица. – Но если добавить темпа, будет просто потрясающе.

– Я танцую медленно, потому что ты неправильно поешь, – заявила Колдунья.

Птица принялась выводить быстрые трели. Колдунья закружилась скорее.

– Какая грация! Никогда не видела ничего подобного! – вставляла между трелями Фея.

От похвал Колдунья завертелась, как самая быстрая карусель, и у нее из кармана выпал-таки орех. Белочка Таня мгновенно прыгнула в открытое окно, подобрала орех, разгрызла его и увидела, что ядро золотого цвета. Белочка не мешкая съела его, и что же? Ей показалось, будто вся мебель во дворце уменьшилась. Это произошло потому, что она стала человеком, а люди ведь больше белок. Для верности Таня посмотрелась в зеркало, висящее на стене.

– Противная девчонка! – закричала Колдунья. – Ты украла у меня орех с золотым ядром и отняла волшебную силу! Помощница, сделай что-нибудь! Проучи негодницу!

– Не могу, – возразила Птица. – Не привыкла отвечать злом на добро.

С этими словами Дрозд превратился в Лесную фею.

– Так это ты? – поразилась Колдунья. – Глупая, рассеянная Лесная фея? Как я могла не распознать? Я ведь была такой могущественной!

– Не спорю, ты была довольно могущественной, – сказала Фея. – Но даже у самых могущественных волшебников есть слабости. Твоя слабость в том, что ты слишком любишь лесть. Прощай!

Не успела Фея договорить, как черный дворец исчез вместе с Колдуньей. Таня и Фея стояли у того самого пруда, куда упала белая кошка. Только пруд теперь был чистым и прозрачным.

– Каким красивым стал пруд! – восхитилась Таня. – Ты его таким сделала?

– Да, – улыбнулась Фея. – Это мое последнее волшебство на сегодняшний день. Мне пора прощаться с тобой, Таня. Но знай, что в трудную минуту я к тебе обязательно приду.

Фея исчезла. Правда ли все это было или Тане почудилось? Девочка бросила взгляд на пруд. Он оставался чистым и прозрачным. Значит, правда?..

Анна ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

Окончила филологический факультет Нижегородского государственного университета и факультет теории и истории изобразительного искусства Нижегородского государственного лингвистического университета. Кандидат филологических наук.

Замужем. Есть сын и дочка. Работает на радио.

Из цикла «ВСЕГДА ТАК»

Мама всегда так

Вот мама всегда так. Скажет что-нибудь – и сразу это произойдёт.

Прыгаешь, прыгаешь по дивану. Это очень весело. А потом мама как-как скажет:

– Сейчас упадешь!

И тут же падаешь.

Или бегаешь-бегаешь по всей квартире, ну, как будто гонки. Как будто я – гоночный автомобиль, а за мной другие гоночные автомобили едут из комнаты в комнату. Пока мама ничего не говорит – я быстрее всех еду, то есть бегаю. А потом вдруг мама останавливает:

– Хватит уже, отдохни.

– Не хочу я отдыхать! – говорю я. И убегаю от мамы.

И тут начинается. Мама кричит мне вслед:

– Врежешься ещё куда-нибудь!

И всё. Один, может быть, два круга по квартире – и обязательно врежешься. В диван или в косяк. Если не врежешься, то поскользнешься или споткнешься. Всё равно больно.

Даже не знаю, что делать. Может быть, прыгать и бегать, когда мамы рядом нет?

Я попробовал. Стал прыгать тихонечко-тихонечко, чтобы мама не услышала. Так и не упал. Надоело мне низко прыгать, я стал прыгать выше. Потом ещё выше. Потом совсем высоко, как только могу, и ещё руками махать. Всё равно не падаю. А когда я стал подушки с дивана кидать, мама услышала. Вошла в комнату и тут же говорит:

– Успокаивайся давай, а то свалишься.

– Нет, мама, не свалюсь! – твёрдо решил не падать в этот раз.

Ещё только три разочка подпрыгнул – и свалился. Мимо дивана прыгнул. Вот всегда так.

Мечта

Мне очень хочется научиться летать. Я бы до самых облаков долетел.

Обычно мама говорит, что если очень хочешь, то надо тренироваться и стараться, и всё получится. А про полёты даже мама говорит, что не получится.

На самолёте я летал, но я хочу не так. Я хочу сам, как птичка. Но у меня крыльев нету.

Осенью ветер подхватывает жёлтые листья, и они летят. Иногда очень высоко.

Я залезаю на лестницу. С лестницы – на перекладину. Руками цепляюсь и вишу, вишу, вишу... жду ветра. Вдруг меня тоже ветер подхватит, и я полечу.

У меня уже сил не хватает, но я ещё немножко вишу, пока не начинают руки болеть. Тогда я спрыгиваю на землю. Отдыхаю чуть-чуть и снова на перекладину лезу.

Папа говорит:

– Правильно, занимайся, будешь сильным!

А я не хочу быть сильным. Я просто летать хочу.

Вот что я умею

Олька научилась ноги в рот засовывать. Все улыбаются и хвалят Олю:

– Вот, Олька, молодец! Вот как ловко получается!

Тоже мне достижение! Я тоже так могу.

Прихожу я к родителям и говорю:

– Мам, пап, смотрите, что я умею!

Они на меня оборачиваются, и я им показываю, как я могу большой палец ноги в рот засунуть.

– Сын, ты что делаешь?! – сердится вдруг мама. – Ты же ногами по полу ходишь, зачем ты их в рот суёшь?

– Не кормят тебя, что ли? – подхватывает папа.

– Я тоже хочу быть молодец... – отвечаю я. Обидно, честное слово! У меня ещё лучше, чем у Ольки, получается, но никто меня не похвалит.

Мама замечает, что я грустный стал.

– Ты чего, – спрашивает, – обиделся, что ли?

– Ничего, – отвечаю. Конечно, я обиделся.

– Ты же знаешь, что не надо ноги в рот совать? – говорит мне мама и за руку берёт.

– Ну, мама, а почему же Ольке можно?

– Олька по полу не ходит, – говорит мама.

Точно, об этом я и не подумал.

– Вы её даже хвалите за то, что она ноги хватает, а меня ругаете... – объясняю я маме.

– Сыночек, – говорит мама, – но ведь она же совсем маленькая. Она не умеет ещё ничего. Ногу схватила – и то молодец. А ты у меня вон какой вырос, много всего умеешь! По лестнице лазить, кувыркаться, на кольцах висеть, на перекладине...

– Ага, даже вверх ногами! – добавляю я. – Хочешь, покажу?

– Вот видишь! – Мама помолчала и добавила: – Сам подумай, когда ты слово правильно читаешь, все радуются. А я тебе всю книжку могу прочитать – и никто меня не хвалит!

Тут я маму простил совсем и обнял. На самом деле несправедливо. Обнимаю я её и говорю:

– Я теперь тебя буду хвалить, хочешь?

– Давай, – улыбается мама.

– А мне тогда можно ноги облизывать, как Олька? – спрашиваю я. – Я сначала вымою!

Мама вздыхает:

– Всё-таки ты ещё маленький.

Ничего себе маленький. Маленькие вообще-то сами ноги мыть не умеют.

Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад побед», 1995 г.), гран-при фестивала «Зодчество-98» («Архотека»).

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

Оксюворон

Пролетает белый Ворон, сам собою очарован.
 Дуб выходит с топором на защиту от ворон.
 Слон в посудной лавке примеряет плавки.
 Тянет уж свое брюшко сквозь игольное ушко.
 Чудо-юдо-рыба-кит гладит старые шнурки.
 Крокодил на почте отправляет срочной
 Телеграммой саночки для своей Оксаночки.
 Новая рубаха привыкает к телу.
 Только Черепаха ничего не делает.

Прилетает белый Ворон, говорит: я оксюморон.
 Но кричат со всех сторон: может быть, оксюморон?!
 Старый Грач ворчит всюю: вы уже совсем оксю...
 И такой стоит галдеж, что уж замуж невтерпеж.

Колесо

По дороге катится колесо,
 Одно колесо, безо всякой подвески:
 – Хошподи, как же мне холосо! –
 Шепелявит оно по-детски.

Никто не крутит над ним рулем,
 Куда захочет – туда шлифует,
 И бензин не грозит колесу рублем,
 И гаишник не оштрафует.

Это что впереди – затор?
 Перекресток забила пробка?
 Колесо колесит во двор,
 Пробивает гнилой забор –
 Речка, мостик, а дальше тропка
 Через поле, через леса!

Нет преграды для колеса.

Русский смех

Николай ДЕНИСОВ, *Кстово, Нижегородская область*

Волшебная палка

Шел в офисе ремонт. Строители отбивали со стен мраморную плитку, привинчивали бруски и крепили на них картонные европанели.

В вестибюле сидел охранник и висел телефон. По нему посетители звонили в нужные кабинеты. Не всегда удавалось застать того, кого искали. Приходилось ждать, от нечего делать глазеть в окно.

Как-то в жару на подоконнике оказался обломок бруска. Его кто-то поставил в распор рамы, чтобы окно не закрывалось.

Ну, торчала в окне палка и торчала. Просто палка. И в то же время не просто: она делала свое дело. И это оценили. Кто-то на ней шариковой ручкой написал: «Палочка-выручалочка». Резонно. У кого-то с палкой появились ассоциации, и было добавлено «Волшебная палка». Ну, раз волшебная, значит, «Бесценная», решил третий. Четвертый не согласился и проставил цену «10 000 рублей». Но эта цена продержалась недолго – на следующий день «рубли» были заменены на «баксы».

Потом кто-то написал на палке один номер телефона, другой и еще. И все нужных людей. Последней стояла запись: «39-47 Главбух». Кто-то обиженный добавил – «Жмот», еще один такой же уточнил – «Денег не дает».

Шел мимо Павел Леонидыч, главбух. Сто раз мимо ходил, внимания на «волшебную палку» не обращал. А тут боковое зрение на «жмота» сработало. В нем сразу все встрепенулось, схватил он «волшебную палку» и, как человек культурный, чтобы никто не видел, потихоньку в цветник сунул. Огляделся и как ни в чем не бывало пошел дальше.

На следующий день, проходя по вестибюлю, главбух искоса, как заправский преступник, поглядел на подоконник. Палка была на нем, она подпирала створку окна. Павел Леонидыч огляделся, видит ли кто, схватил палку, быстро вышел на крыльцо и забросил ее за клумбу, в кусты. С сознанием исполненного желания он удалился.

На следующей неделе, проходя мимо окна, Леонидыч косился на подоконник. Он был пуст. Главбух уже стал забывать про «волшебную палку», как в пятницу она появилась вновь. На ней добавились новые записи, а слово «жмот» было жирно обведено. Ход производственного процесса у Павла Леонидыча был нарушен. Леонидыч, не помня себя, схватил палку, выскочил на улицу, прыгнул в джип и понесся по трассе. Остановившись у реки, он вытер пот со лба и бросил «волшебную палку» подальше в воду. Палка медленно скрылась за поворотом.

Леонидыч уж совсем и забыл про «волшебную палку». Появился душевный настрой и даже улучшились финансовые показатели фирмы. Однако через четыре дня, когда он проходил по злополучному вестибюлю, взгляд его невольно зацепился за что-то на подоконнике. Там лежал такой же обломок бруска. На нем красной пастой было выведено: «Палка волшебная». И несколько телефонов сотрудников.

Внизу Леонидыч прочитал: «39-47 Главбух»...

Татьяна УТКИНА, Кстово, Нижегородская область

О, ЖЕНЩИНЫ

Всю ночь ворочался в постели,
То щёки тёр, то дёргал ус.
Уснул под утро, еле-еле,
Приняв решение – «Женюсь»,

Проснулся в настроеньи чудном,
Отбросив все сомненья прочь,
Пускай далось решенье трудно,
Жить одному уже невмочь.

Полдня толкался у прилавка,
Всё выбирал тебе кольцо,
Купил букет в соседней лавке,
Сменил носки, побрил лицо,

Я оглядел себя критично:
«Да, я мужчина хоть куда!
Немолодой, но симпатичный,
А брюки мяты – ерунда.

Образование имею,
Во всём умею меру знать;
Наверно бросишься на шею,
Наверно будешь обнимать».

Пешком тащился три квартала
И долго ехал на метро.
Ты дверь открыла и сказала:
«Сходи-ка, вынеси ведро».

Я мусор бросил у порога,
Пошёл за водкой в магазин:
«Да ну их, этих баб, ей-богу,
Уж лучше буду жить один».

* * *

*Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.*

Юрий Левитанский

Каждый – жертва собственных затей,
Выбирает сам (чего уж проще),
Не страну, прописку и детей,
А друзей, врагов, жену и тещу.
А потом, на склоне лет, в ночи,
Мучаясь без сна в своей постели,

Охает тихонько и ворчит:
«И куда глаза мои глядели?»

* * *

*Писать стихи – опасный труд,
Я слышал, ангелы босые
Шептались: долго не живут
Поэты в снеговой России.
Поля, поля да старый лес
Но, как цветы любви и боли,
Поэты падают с небес
И тихо умирают в поле.*

Борис Селезнёв

Писать стихи – опасный труд,
Быть пародистом – нет резона:
Поэтам ангелы поют,
А пародистам – лишь ворона.

Вокруг поля да старый лес,
Поэтов голос тише, тише,
Поэты падают с небес,
А пародисты только с крыши.

Вновь осень, лето позабудь,
Цветы любви и боли мокнут,
Поэт умрёт когда-нибудь,
А пародиста, точно, кокнут.

* * *

*Вслед за прошедшим стадом
По пыли босиком
С подойниками бабы
Идут за молоком.
Идут не по дороге,
Плывут, как облака,
Так гладки руки, ноги
И так круглы бока.*

Олег Рябов

Взяв под вечер в руки ноги
Я на луг пошёл гулять,
Вижу – бабы круглобоки,
И коровы им под стать.

Я стою, чешу в затылке,
Головой совсем ослаб:
Невозможно без бутылки
Отличить коров от баб.

* * *

*Правильный мальчик, а так ли он плох?
 Всё же он верит в какой-то порядок,
 В дядей порядочных верит и тётъ,
 И благонравному этому взгляду
 Что объяснишь про взыгравую плоть.*

Владимир Важдев

Заметает зимний сад
 Белою порошей,
 Был всегда я меж ребят
 Мальчиком хорошим.

Я в порядочных людей
 Верить не стыдился,
 Но потом, вразрез идей,
 Без ума влюбился.

Как взыграла по весне
 Плоть моя непрошено,
 Понял я, что нет во мне
 Ничего хорошего.

* * *

*А на подушке волосок
 Нашла – конем он был потерян.*

Галина Дьячкова

У подъезда, за спиной
 Шепчутся старушки:
 Обнаружен волос твой
 На моей подушке.

Вот и муж уже ворчит,
 Повышает голос:
 На подушке вновь лежит
 Твой забытый волос.

Почему ты всякий раз
 Волосы теряешь?
 Не ходи ко мне, Пегас,
 Если ты линяешь.

Анастасия УСТИНОВА, Новокуйбышевск, Самарская область

* * *

Вдыхая нервно дым твоей сигары,
 Я думала – ты гадко поступил,

Когда в своём прокуренном рок-баре
Ты на другую взгляд свой обратил.
А мне казалось, я почти влюбилась,
Пробившись через дружеский барьер.
Но почему и ты, скажи на милость,
Как все – банальный пошлый лицемер?
Пускай несётся в адрес новой дуры
Твоих словес любвеобильных дым...
Неужто безразличен вид мой хмурый
Тебе, кто был так нежно мной любим?
Моя любовь в душе перекипела.
Я пальцем покрутила у виска
И новую дурёху пожалела,
Достойную такого дурака!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Олег Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий Бирман

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному
округу ПИ № ТУ 52–00924
от 20 февраля 2014 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «Издательство «КНИГИ»»

Рукописи принимаются
по электронной почте:
zemlyaki-nn@yandex.ru
или по адресу:
издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нижний Новгород»
обязательна.

Подписано к печати 15.05.2014.

Тираж 1000 экз.

Цена свободная

12+

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61